

Анатолий Ярмолюк

## ЖАРЕННЫЕ РАКИ

### ВЗГЛЯД НА МИР С ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ

#### ТРИ БЕЛЫЕ РОЗЫ НА ПАМЯТЬ

## ЖАРЕННЫЕ РАКИ

*Мы не умираем. Умирает время. Проклятое время. Оно умирает непрерывно. А мы живём. Мы неизменно живём. Когда ты просыпаешься, на дворе весна, когда засыпаешь – осень, а между ними тысячу раз мелькают зима и лето, и, если мы любим друг друга, мы вечны и бессмертны, как биение сердца, или дождь, или ветер, – и это очень много. Мы выгадываем дни, любимая моя, и теряем годы! Но кому какое дело, кого это тревожит? Мгновение радости – вот жизнь! Лишь оно ближе всего к вечности. Твои глаза мерцают, звездная пыль струится сквозь бесконечность, боги дряхлеют, но твои губы юны. Между нами трепещет загадка – Ты и Я, Зов и Отклик, рождённые вечерними сумерками, восторгами всех, кто любил... Это как сон лозы, перебродивший в бурю золотого хмеля... Крики исступленной страсти... Они доносятся из самых стародавних времён...*

*Где-то я это читал... Или нет – эти стихи ненастным осенним вечером мне продекламировал бродяга на вокзале в одном сибирском городе, когда я маялся на мокром осеннем перроне в ожидании попутного поезда. Да-да, это было именно осенью. Я помню – весь перрон устилала палая листва, прибитая к асфальту дождем, хотя Бог весть, откуда налетели те листья: никаких деревьев поблизости не росло, а виднелись одни только мокрые вокзальные здания и такие же мокрые переходные мосты и рельсы. Бродяга подошел ко мне, и попросил денег. У меня оставалось сто рублей, и половину я отдал ему. В знак своей признательности он продекламировал мне стихи. Он сказал, что больше ему нечем со мной рассчитаться за мою доброту – хотя я и не требовал от него никакого расчета, и не считал жалкие пятьдесят рублей выражением собственной доброты... «Что, хороша поэзия?» – спросил у меня бродяга, закончив декламировать. «Хороша», – искренне ответил я. «Тогда – докажи!» – потребовал бродяга. «У меня скверная память, – сказал я. – Но то, что ты мне сейчас прочитал, я всё же запомнил. Было бы плохо, я б не запомнил...» И, прикрыв глаза, чтобы лучше вспоминалось, я прочитал наизусть первые пять или шесть строчек. «Да... – сказал мне бродяга. – Стало быть, мы и впрямь в расчете...» И, прощально взмахнув рукой, бродяга пошел прочь – по палой, прибитой осенним дождем листве. И больше я его никогда не встречал...*

*Или – я всё-таки это где-нибудь прочитал? Или – эти слова мне однажды просто пригрезились, допустим, на том же самом вокзале в сибирском городе, когда я стоял на перроне и ждал попутного поезда, и была осень, и был дождь, и весь перрон был усеян мокрой палой листвой невыносимо багряного цвета?..*

Если беды нет – то её и нет. А вот если беда есть, то она всегда похожа на те бесконечные сериалы, которыми под завязку забит ваш телевизор: за одной серией следует другая, за другой – третья и четвёртая, за третьей и четвёртой – пятнадцатая и девятнадцатая, и нет этим окаянными сериями ни края, ни изводу. Так и беда: как начнётся – ну точь-в-точь тебе сериал с грустным и печальным содержанием и, должно быть, таким же самым финалом, если, допустим, в беде вообще существует какой-нибудь финал!

Вот, к примеру: ещё в пятницу, на прошлой, то есть, неделе, у вас должна была окотиться ваша коза Дульсинея, или, по-простецки, Дуля. Да нет, точное дело – именно в прошлую пятницу, ну, максимум – в ночь с пятницы на субботу ваша Дуля и должна была окотиться, потому что – а как же иначе-то? А иначе-то и быть никак не должно, потому что – на то имеются природные законы, которые никому не дано права нарушать – в том числе и козе Дульсинее.

Нет, и в самом деле: если, скажем, вы в начале весны ездили в соседнюю деревню Болтуны и самолично беседовали там с единственным на три деревни окрест козлом по имени Президент, а затем, вернувшись от Президента, принялись уговаривать свою Дульсинею – в том смысле, что нечего, мол, тебе, многоуважаемая Дуля, воротить нос от Президента, дело-то тут сама знаешь, какое – экстренное и житейское, а то, что этот самый Президент тебе вроде как и не по нраву, – так и что с того, мало ли кто кому в жизни не по нраву, а жить-то надо или не надо, рожать-то надо или нет? Надо, ты говоришь? Ну, и не вороти тогда своего козьего носа, подумаешь, цаца какая нашлась, а назавтра-таки пойдём мы с тобой к Президенту и всё сварганим как того следует по законам природы, а уж потом пускай он тебе, этот Президент, и не нравится – хоть в семикратной пропорции. Тем более – рассуди сама – никого другого, кроме Президента, на три деревни окрест и нет, так-то вот, Дулечка, так-то, а рожать тебе надобно или не надобно? Вот и раскинь своими козьими мозгами!..

Да... И вот назавтра, с самого раннего утра, совместно с вашей разлюбленной Дульсинеёй вы отправляетесь в соседнюю деревню Болтуны, где обитает этот меланхолик – козёл Президент, чтоб он сдох, падло такое! В попутный автобус, вас, конечно, не впускают, потому что – кто же вас пустит в автобус с козой, да, впрочем, вы, по причине козы, даже и не претендуете на посадку в автобус, а шествуете себе по обочине по направлению к Болтунам: в одной вашей руке, стало быть, верёвка, к обратной стороне которой привязана за рога Дульсинея, а в другой вашей руке – мешок, да и не просто себе мешок, а – мешок с тремя кочанами капусты. Капуста – она, понятное дело, для Президента, потому что этот Президент – такая двусмысленная и непредсказуемая сволочь, что без капусты он, чего доброго, на Дулю и глядеть не станет, а не то чтобы чего ещё... А с капустой, пожалуй, всё и сладится, потому что Президент весьма охочий до капусты, об этом знает всё людское и козье народонаселение на все три деревни окрест. Тут, главное дело, соблюсти психологическую пропорцию и очерёдность: первый кочан – чтобы Президент очнулся от своей меланхолии, второй кочан – чтобы Президент заметил Дульсинею и воспылал к ней необходимой степенью страсти, и третий кочан – когда Президент, как того следует, сделает своё дело. И сделает, куда ему, паразиту, деваться: во-первых, Дуля – коза заманчивая, то есть чёрная с белой проплешиной на лбу, это же полным охламоном надобно быть, а не козлом, чтобы не зажечься к такой-то козе пылом и страстью, во-вторых, три кочана капусты – это вам не хухры-мухры, а – само то, что надо, а в-третьих, у вас с Президентом ещё со вчерашнего дня имеется конкретная договорённость... Короче говоря – всё должно быть в ажуре, из чего следует, что с началом осени Дулька должна и разродиться, а чего ж?

Ну, и вот: вы, значит, шествуете себе по окраине дороги, а кругом-то кругом – благодать Божья! Только вообразите себе: первые приметы весны, небушко – высокое и синее до головокружения, от деревьев по краю дороги исходит отчаянный весенний дух, внемля которому, на ветках восседают и радостной дурниной орут вороны. Да и у вас самих от этого духа такое ощущается душевное настроение, что хоть бери да ори вместе с дуррами-воронами, а вдалеке, представьте себе, уже виднеются Болтуны с обитающим в них козлом Президентом! И такая у вас в соответствии со всеми вышеозначенными реалиями проявляется окрылённость, такие у вас начинают возникать фантазии и мечты, что будто это не вы Дулю, а, скажем, Дуля ведёт вас на какое-нибудь заманчивое

свидание, и вы – молоды, и вы знаете, что вас там ждут и вам там рады, и вы счастливы, вы счастливы...

Да, так вот. Тогда, значит, было начало весны, а теперь – уже и осенью веет, и вороны орут совсем не такими, как весной, голосами, а совсем наоборот, такими голосами, в которых чувствуется горькая воронья тоска перед наступающей вскорости зимой... так вот, из всего того следует, что Дульсинея должна была разродиться ещё в минувшую пятницу или, в крайнем случае, в ночь с пятницы на субботу. Но – минули и чпятница, и суббота, минуло даже уже и воскресенье и уже, между прочим, наступил понедельник, а у Дули, вопреки законам природы, никаких тебе предпосылок... Ну, разве это не горе горькое, скажите на милость? Разве это не первая серия сериала под названием, предположим, «Наша разнесчастливая жизнь»?

А вторая серия, то есть ваше второе горькое горе, – это калитка на вашей ограде. А, вернее, даже не столько калитка, сколько упорный ветер, которую уже ночь настойчиво веющий со стороны недалёкой реки. А, ещё вернее, второе горе – это и ветер, и калитка заодно, потому что – ветер настойчивый и целеустремлённый, а калитка – перекобоченная и сползшая с одной петли, а оттого и скрипучая до невозможной чрезвычайности. И, стало быть, получается так: дунет ветер – калитка скрипнет, дунет ветер ещё раз – калитка скрипнет опять, и так, между прочим, продолжается всю ночь до полной бесконечности, и если вы – в весьма преклонных годах, то какой, скажите, вам может быть ночной сон при таком-то несмолкаемом ночном скрипе? Никакого сна, тут и рассуждать не о чём: а вдруг, раз за разом думается вам, такой скрип – это совсем даже не шалости ночного ветра и кособокой калитки, а – к вам тайком пробираются какие-нибудь супостаты и воры? А что, думаете вы себе, – и очень даже запросто! Например, чтобы увести Дульсинею из сарайчика, или – стибрить картошку из погреба, а то и вовсе – лишить вас жизни! Конечно, жизнь ваша – преклонная, оно, казалось бы, по этой самой причине и держаться за неё не шибко-то стоит, всё едино не завтра, так послезавтра отправишься в своё последнее путешествие на другой берег недалёкой реки, где испокон веку располагается деревенское кладбище, а ведь всё едино – страшно! Притом ещё как страшно – до холодной жути! Потому что одно дело – помереть смертью натуральной, божеской, в своё собственное время, и совсем другое дело – смертью зловещей, мучительной и супостатской! Да и вообще, смерть – она такая гостья, что хоть бы её и вовсе не было, безрадостная, короче говоря, гостья. Тем более – проживаете вы в стариковском одиночестве, никакой другой живой души, чтобы вас защитить, кроме козы Дульсинеи, рядом с вами нет, а из Дульсинеи – что за защитница? Её бы саму, эту дуру Дульсинею, кто-нибудь защитил...

Вот потому-то вы и встаёте по тридцать четыре раза за ночь – то есть, как дунет ветер, как заголосит под его порывами кособокая калитка, так вы и встаёте, а, встав, с выжидательной тревогой приникаете к холодному ночному стеклу: кого, дескать, шальной лихоманец несёт в ночь да за полночь? А это никакой и не лихоманец, а всего лишь дуэт ночного ветра и вашей кособокой калитки. И, убедившись в том, вы возвращаетесь в свою старческую стылую постель, чтобы при следующем скрипе опять подняться и опять приникнуть к чёрному стеклу – а вдруг на сей раз это именно как раз и есть супостаты, а никакие не ветер и не калитка?.. И так – едва ли не всякую ночь, а если, предположим, ночной ветер отчего-то не дует и, соответственно, калитка не голосит, то всё едино вы не спите и прислушиваетесь – а отчего она нынче не скрипит: главное дело – все предыдущие ночи скрипела и голосила, а сегодня – нате вам, не скрипит...

О-хо-хо, короче говоря, а ведь это – ещё не вся ваша беда, есть ещё и третья, и даже четвёртая серия ваших бед! Да-да, есть и третья, и четвёртая серия! Третья серия, между прочим, связана с тем же самым треклятым ночным ветром и, на этот раз, со старой яблоней, растущей в самый притык к восточному торцу вашей немудрящей избы. Главное дело, и толку-то от той яблони нет никакого, недоумение это голимое, а не яблоня, то есть не производит она ни цвету, ни, соответственно, плодов, а просто –

привыкли вы к ней, у вас жизнь – на излёте, и у нее тоже на излёте – ну и пускай себе растёт, коль уж так. А оно, вишь ты, как несуразно вырисовалось! Вначале даже и непонятно было, – а что же оно такое стучит и царапает по ночам о крышу? Будто чья-то большая незримая рука – стучит и стучит, царапает и царапает... Мало того концерта, который закатывает вам еженощно мокрый речной ветер и сползшая с одной петли калитка, так ещё и эта невидимая рука! Такое впечатление, будто это смерть, проникнув всё-таки сквозь вашу скрипучую калитку, пытается теперь пробраться и в ваш дом, и царапает своей костлявой ручищей о крышу, пытаясь её разрушить и таким образом добраться до вас – не в дверь, так окольным путем... Конечно, страшно, – а вы как себе думали! До холодного ночного пота доводит вас это царапанье, до тоскливого умоисступления!

А оказалось, что это, слава Богу, никакая ещё не смерть, а всего лишь старая бесплодная яблоня. Да и не вся, между прочим, яблоня, а только одна её ветка, которой яблоня облокотилась о крышу, и когда дует ночной ветер, ветка как раз и царапает о крышу, и скребёт крышу, так, что вам чудится – это ваша смерть царапает и скребёт... Ликвидировать бы ту ветку, а заодно и калитку подправить, да только как вы её ликвидируете и как вы её подправите – при вашей-то старческой, приводящей вас в отчаянье, немощи? И хоть ты плачь, и хоть ты смейся, – а никак вам ни на яблоню не взобраться, ни к калитке подступиться... ах, старость ты, старость, ах, одиночество ты, одиночество!

Вот то-то и оно... а ведь, как уже было сказано, у вас имелась ещё и четвертая серия вашего горя, и, между прочим, эта самая четвёртая серия имела даже своё собственное наименование, причем довольно-таки вычурное, паскудное и противоестественное, если разобраться, наименование – Генка Собакин по прозвищу Укушенный... Да-да, Генка Укушенный... и, между прочим, вся Генкина родня также прозывалась Укушенными: и Генкин отец Спиридон, и Генкин дед Варфоломей, и, сдается, даже прадед, имени которого никто уже и не помнит – все были Укушенными. А отчего оно так, то есть, по какой такой причине все они прозывались Укушенными, кто их всех укусил, по какой такой причине и за какое такое конкретное место – поди, разбери за давностью времени и недостаточностью информации...

\* \* \*

Однако тут нам просто-таки необходимо сделать сюжетный финт в сторону и сообщить, что речь в данном рассказе идёт, слава Богу, вовсе даже и не о вас, а о – Лизавете Федотовне Бумагиной, одинокой и едва ли не семидесятитрёхлетней старухе, и по этой причине, то есть по причине своего одиночества и семидесятитрёхлетия, немощной, пугливой, несчастной, неприкаянной, угрюмой... ну, в общем, всякому должно быть понятно, какими жизнями обитают на свете старухи, подобные Лизавете Федотовне Бумагиной. А то обстоятельство, что в начале рассказа употреблялось слово «вы» во всех своих мыслимых падежах, склонениях и спряжениях, то его, это самое обстоятельство, вы можете считать не более чем иносказательным и фигуральным предисловием к дальнейшему повествованию. Именно так.

Да, так вот: четвёртую беду Лизаветы Федотовны Бумагиной звали и впрямь несколько мудрёно – Генка Собакин по прозвищу Укушенный, или просто – Генка Укушенный, а иногда и того проще – Укушенный... однако даже и не в этом юморе было дело. Дело было в другом. Дело заключалось в том, что этой четвёртой беды Лизавете Федотовне было никак не избежать, было никак невозможно от неё отвертеться, потому что – ну как ты её, скажите на милость, минуешь и как ты от неё отвертишься? Весь смысл этой беды заключался в том, что Генка Собакин по прозвищу Укушенный, по причине всеобщей занятости всего прочего более-менее трудоспособного деревенского населения, был человеком, можно сказать, необременённым, вольноопределяющимся и

вдобавок хоть и до полного своего паскудства капризным, но, тем не менее, сговорчивым, и по причине своей сговорчивости он всегда бывал и сыт, и пьян, и нос у него был постоянно в табаке – а всё, скажите, отчего? А всё оттого, что в деревне Кочубеевке, где обитала старуха Лизавета Федотовна Бумагина, таких старух, как она сама, водилось изрядно, душ, наверно, двадцать пять, если не все тридцать, и все они, можно сказать, молились на Генку Собакина, потому что – кто же ещё при всеобщей занятости кочубеевского народонаселения мог, к примеру, отрихтовать старухам скособоченную калитку, взобраться на старую яблоню и отпилить на ней ту самую ветку, да и вообще – мало ли какого горя может быть у старух, подобных Лизавете Федотовне Бумагиной? То-то и оно, что немало...

Впрочем, тут надобно ещё сказать, что кочубеевские одинокие старухи хотя и молились на Генку Собакина, однако же, молились они на него изнехотя, скрепя, можно сказать, сердце молились, сквозь зубы и вперемежку со старушечьими матюгами, потому что Генка Собакин при всей своей волноопределённости и сговорчивости был, о чем уже намекалось выше, личностью довольно-таки жлобистой, и не имея себе конкурентов, любил иногда драть с несчастных одиноких старух за свои эксклюзивные услуги даже не две и не три, а порой – двадцать три старушечьих шкуры с цыганским придатком. А если к тому же учесть, что большинство пожилых старух подвержены одной всеобщей особенности своего старческого характера, а именно изрядной прижимистости, то, даже, не обладая мало-мальской фантазией, можно с лёгкостью вообразить, какие драматические сцены иногда разыгрывались под сводами кочубеевских крыш между кочубеевскими одинокими старухами и Генкой Собакиным по прозвищу Укушенный...

Да, так вот. Именно к Генке Собакину, этому окаянному барбосу и оглоеду, и решила обратиться старуха Бумагина за помощью. А помощь эта, понятное дело, заключалась в следующем: во-первых, отрихтовать, как того следует, калитку, чтобы она, значит, не голосила по ночам, во-вторых, забраться на старую бесплодную яблоню и отчекрыжить ту самую ветку и, в-третьих, если будет надобно, сгонять по-быстрому в Болтуны и разыскать обитающего там ехидного скотского фельдшера Арона Израилевича, чтобы, значит, этот Арон Израилевич явился к Лизавете Федотовне и обследовал козу Дульсинею на предмет её несоответствия природным законам, а заодно, прежде, обследовал на тот же самый предмет и двусмысленного козла Президента, потому что очень могло статься, что дело было вовсе даже не в козе Дуле, и именно-таки в Президенте, и именно из-за Президента коза Дуля вступила на путь попраiania природных законов и соответствий.

Ну и вот – с такой-то троякой целью старуха Бумагина и зазвала, значит, Генку Собакина к себе во двор, и затеяла с ним специальный деловой разговор на предмет, стало быть, калитки, яблоневого ветки и, если надобно будет, то и на предмет Арона Израилевича, Дульсинеи и Президента.

– Так это мы запросто! – вдохновенно отозвался Генка Собакин. – Если, конечно, мы с тобой, Федотовна, сговоримся относительно самого главного предмета, то есть насчёт необидной для меня платы за мои труды.

– А какие, к примеру, будут у тебя запросы за такие незначительные твои услуги? – с двусмысленной подозрительностью спросила у Генки Собакина старуха Бумагина.

– Ну, – многозначительно произнес Генка Собакин, и закатил вослед за произнесённым междометием истинную качаловскую паузу, а вослед за паузой последовала и не менее качаловская речь: – Ты вот сама рассуди, Федотовна... Вот ты говоришь – тебе надобно, во-первых, отрихтовать калитку. Не спорю – надобно, потому что калитка у тебя – недоразумение горькое, а не калитка: на последней петле висит. Того и гляди окончательно рухнет, и будет тогда у тебя, Федотовна, не хозяйство, а голимый проходной двор – хоть на паровозе к тебе заезжай... Так ведь она же – калитка, понимаешь ты это или нет своим старушечьим умом! Я, может быть, с этой твоей

калиткой промудохаюсь до самого солнечного заката и поистрачу на этой твоей калитке все свои последние немногочисленные силы! Далее – и того серьезнее: яблоня! Ведь это же на неё надобно взобраться, чего надобно на там отпилить, затем – спуститься обратно... просто-таки немислимые труды предстоит мне совершить, если как того следует, вдуматься в такую трудоёмкую перспективу! А про предлагаемые тобой Болтуны – так тут и вовсе без ужаса рассуждать невозможно! Две версты туда, да столько же – обратно, да ещё попробуй там разыщи и уговори Арона Израилевича, который, как тебе известно, человек ехидный... Короче говоря, Федотовна, такса моя тебе известна и без моих дальнейших на этот счёт комментариев и коммюнике: за всё про всё – полноценный с тебя литряк, и такая же полноценная стаканюга предварительно – в качестве допинга и для творческого вдохновения...

– А не многовато ли будет, ежели тебе ещё и этот... допинг? – решив сэкономить хотя бы на малом, а потому негодующе произнесла старуха Бумагина. – Ну, для чего тебе это... как его... творческое вдохновение? Ты что, Генка, – калитку мне собрался рихтовать, или, обратно говоря, песни в телевизоре горланить? Вдохновение какое-то выдумал... не понимаю я прямо-таки этого твоего вдохновения и твоих речей на этот счёт!

– Ну, – развел на это руками Генка Собакин, – такая уж у меня капризная и утонченная натура, что без вдохновения я не могу никак... просто-таки не смыслю я себя без вдохновения! А насчёт того, что не многовато ли будет – то такие твои речи, Федотовна, и вовсе не выдерживают никакой серьёзной политической критики. Или ты, Федотовна, не смотришь по вечерам в телевизор и по этой причине не ориентируешься, как непредсказуемо ведёт себя вся мировая экономика! Цены на международной нефтяной бирже бьют все немислимые рекорды – понятно тебе или не понятно? Я уже и не говорю про газ или, допустим, алюминий... И как же ты можешь в свете вышесказанного мною произносить это невозможное словосочетание, то есть не многовато ли мне будет? Не многовато, Федотовна, а даже некоторым образом наоборот, едва ли не маловато! Но, учитывая мой сговорчивый характер и моё благоговейное отношение к твоей персоне... короче – ступай-ка ты, Федотовна, за допингом, а я тем временем стану настраивать свой интеллект на мажорную ноту. И поторопись, Федотовна, поторопись, потому как я – человек укушенный, о чём, Федотовна, ты прекрасно знаешь... То есть, ежели ты опоздаешь с допингом, или, чего я тебе никак не советую, вовсе зажилишь это дело, то могут случиться непредсказуемые последствия, проистекающие из моего противоречивого характера. Я могу даже и в припадок грохнуться на твоём дворе, а это, Федотовна, зрелище душераздирающее...

Ну что вы прикажете делать с таким окаяннм и несусветным оглоедом, как этот Генка Собакин? В какие ещё дискуссии можно вступать с таким невозможным паразитом – тем более после таких его слов и, тем более что в смысле понимания законов мировой экономики и прочих мировых политических выкрутасов Лизавета Федотовна была почти стопроцентно некомпетентна? Оставив на время Генку Собакина и тихо проклиная международную нефтяную биржу со всеми её непредсказуемыми и в отчаяние приводящими экономическими кренделями и синусоидами, старуха Бумагина поволоклась в собственные потайные кладовые за допингом.

Хотя, если называть все вещи и явления предельно собственными именами, стенать Лизавете Федотовне не было никакого особенного резону. Именно так – никакого резону и никакого особенного смысла. Потому как, чего, спрашивается, старухе Бумагиной было страдать и стенать, когда этого самого допингу в её потайных кладовых было – целая лошадиная бадья и три четверти ведра в придачу, так что хоть ты даже по три раза на дню черпай из этих запасов, и то, пожалуй, не заметишь никаких мгновенных убытков, а разве только убытки постепенные? Да при таких-то запасах, образно изъясняясь, старуха Бумагина запросто могла бы вступить в экономическое соревнование с международной нефтяной биржей – если бы, конечно, она что-нибудь смыслила в мировых экономических синусоидах...

А потому отодвинем в сторону все старушечьи неактуальные причитания и стенания, и пока старуха Бумагина тащится в свои потаённые кладовые, скажем тем временем о главном. Не быть этих лошадиных запасов допинга у старухи Бумагиной просто не могло, потому что – такова была жизнь, которой обитала старуха Бумагина и всё окружающее её народонаселение. Ну, в самом деле: как же им не быть, таким запасам, когда на белом свете существует множество вещей и явлений, которые когда-нибудь надобно соединять до кучи, а без этих запасов они просто-таки принципиально не соединимы? Вот, скажем, с одной стороны существует на земле сползшая с петли калитка, существует старая, разросшаяся до пугающего самоуправства бесплодная яблоня, существует коза Дуля и козёл Президент и, между прочим, существует ещё и животный фельдшер и ехидный при том человек Арон Израилевич, а с другой стороны – существуешь ты сама, существует этот мордоворот Генка Собакин, существует международная нефтяная биржа со всеми её непредсказуемыми вывертами, существует ещё целая уйма всяческих непредвиденных жизненных явлений – и как ты всё это, спрашивается, воссоединишь, если у тебя не будет того, что выстаивается в лошадиной бадье и в трёх четвертях ведра?..

А ведь и это ещё, между прочим, не всё, вот ведь в чём заключается неистребимая закавыка жизни! Ведь ещё и ты сама нет-нет, да и приложишься к кружечке с этим самым, как выразился паразит Генка Укушенный, допингом: не так, конечно, чтобы часто, как, допустим, тот же несусветный нервомотатель Генка, а по преимуществу – в праздничные вечера, то есть в те твои отдельные жизненные моменты, когда ты отчётливо и ясно понимаешь, что хоть оно сегодня вроде бы и праздник, а всё едино – никто к тебе не придёт, никто не завернёт и не поздравит тебя с праздником, потому что – некому, по большому счёту, к тебе заворачивать и некому тебя поздравлять, окромя козы Дули, – а какая, скажите на милость, из Дули поздравительница: грех один, да и только! Одна ты на всём свете, Лизавета Федотовна Бумагина, как есть одна... просто-таки невозможно даже подобрать сравнения, до какой степени ты одна... да и для чего оно тебе нужно, сравнение, какой в нём прок, в этом сравнении, чем оно тебе поможет?..

Ну, и вот: а в твоих потайных кладовых между тем плещется и отстаивается... короче говоря, ты прекрасно знаешь, что именно там отстаивается и плещется, и, к тому же, ты прекрасно знаешь, что в определённых жизненных ситуациях то самое, что плещется и отстаивается, может быть и целебным бальзамом для твоей одинокой старушечьей души... а дальше, думается, и продолжать-то не стоит, потому что и без продолжения всё ясно-понятно. Но всё-таки вкратце – скажем: а затем, после всего, ты призываешь к себе козу Дульсинею, обнимаешь её, и вы начинаете петь с ней дуэтом жалостливый репертуар из телевизора, и Дульсинея, даром что она дура рогатая, при этом рыдмля рыдает, да и ты сама рыдаешь с ней на пару... и никто не видит этого вашего плача в четыре глаза, потому что некому его видеть – на всём белом свете некому! Ох, жизнь ты наша, житуха, пропащая и невразумительная... однако же не будем отвлекаться от сюжета, и потому просьба считать последний абзац иносказательным и отвлечённым лирическим отступлением от сути дела.

...Обещанного допинга Генка Укушенный дождался стоически, тут же употребил его по прямому назначению, с чувством закусил поздним, едва ли не последним на бабылизаветинном огороде огурцом, и приобретя та ким образом необходимую степень вдохновения, принялся за калитку. А сама старуха Бумагина тем временем отошла к сарайчику, дабы ещё раз посмотреть, как по отношению к природным законам чувствует себя коза Дульсинея. По отношению к природным законам коза Дульсинея чувствовала себя всё так же, то есть никаких вразумительных, явных и косвенных симптомов чадорождения у неё по-прежнему не наблюдалось, и расстроившись от такого обстоятельства предельно, старуха Бумагина опять потащилась к Генке Собакину смотреть, как он рихтует калитку.

Стариковский путь, даже если мера его – двадцать четыре шага, долог. Поэтому, когда Лизавета Федотовна подошла, наконец, к калитке, калитка была уже отрихтована и висела как ей и полагается – на двух своих петлях, а сам Генка Собакин, слышно было, шебуршился на верхушке старой, облокотившейся о крышу, яблони. Старуха Бумагина подошла к яблоне, углядела на ней Генку, и, поражённая, всплеснула руками.

– Да что же ты это такое творишь, кормилец ты мой ненаглядный, лихоманец тебя раздери! – запричитала она. – Да кто же это так делает, чтобы пилить, равновесия при том не соблюдая и покренившись на сторону? Да ведь эдак ты скоро окончательно перекобочишься, утратишь всё своё последнее равновесие и грохнешься оземь и, чего доброго, отобьёшь себе всю свою селезёнку и печень, срамота ты неразумная и пьяная!

– Ты, Федотовна, меня не учи, – ответил сверху Генка Укушенный не совсем трезвым голосом. – Я этих веток, если ты хочешь знать, за свою жизнь перепилил – тыщи! Тыщи, понятно тебе или не понятно? И будучи накренившимся набок, и во всяких иных прочих конфигурациях. И, между прочим, – ничего... А твои слова по поводу моей селезёнки я отношу на счёт твоей старушечьей несознательности в смысле законов физики и земного тяготения...

Может быть, Генка намеревался сказать что-нибудь ещё, но не успел. Не иначе, как внемля тем самым физическим законам, о которых Генка только что разглагольствовал, подпиленная яблоневая ветка с ужасным треском обломилась, Укушенный враз потерял остатки своего равновесия и с шумом и грохотом вместе с веткой грянулся оземь. И – замер в противоестественной конфигурации лицом вверх, а задницей куда-то в левую сторону...

– Да благодетель ты мой! – в искреннем испуге заголосила Лизавета Федотовна и со всех старушечьих ног кинулась к неподвижному Генке. – Убился, как есть убился... то есть вусмерть, в прах и в хлам! Ох, горюшко ты мое горькое... ведь говорила же я ему – грохнешься! Вот и грохнулся, сердешный... Ох! Ах!

– Накаркала, старая? – замогильным голосом отозвался Генка, и вслед за этим его задница приобрела правильное, то есть гармоничное со всем остальным Генкиным организмом, положение. – Грохнешься, грохнешься... Вот и грохнулся... а ты как думала! В соответствии с законами... ой!.. ай!.. с законами психомагнетизма! Ты слыхала или не слыхала о такой науке – психомагнетизме? – И с этими словами Генка вначале встал на четвереньки, а затем и вовсе поднялся на ноги, а, поднявшись, принялся ощупывать и мять свой организм во всех его доступных местах. – Относительно печени до конца не уверен, а что касается моей собственной селезёнки, то, думаю, полная хана моей селезёнке! Где-то сейчас она бултыхается в самом низу моего организма, хотя ей, мыслю, полагается быть где-то посерединке... Вот так-то, Федотовна... это и называется – психомагнетизм. Короче говоря, помимо честно заработанной платы, мне требуется ещё и компенсация – за мою отшибленную селезёнку. Понятно это тебе или не понятно, старая?

– Это растираться, что ли? – враз уразумев, о какой компенсации ведёт речь Генка, а потому до чрезвычайности убитым голосом спросила старуха Бумагина.

– Неразумные твои речи, Федотовна, – сказал Генка Собакин, тщательно прислушиваясь к своему организму, внутри которого бултыхалась в хлам отбитая Генкина селезёнка, а, возможно, даже и вся какая есть печень. – Нам, то есть философически мыслящим индивидуумам, растираться без надобности. Потому как растираться самогонкой – это противоестественно натуре... Это какая-то извращённая философия, ежели самогонкой – растираться... ежели ты, Федотовна, желаешь о том знать. Ну, стало быть, вали за моей честно заработанной платой и за компенсацией в придачу. Да поторопись, а то ведь ты знаешь – я человек укушенный, а потому за феномены своей



психики никакой ответственности не несу... тем более – после такого моего вселенского падения!

Да, правы были умные люди, правы безусловной и не подлежащей никаким сомнениям правотой! Горе в одиночку не ходит, оно, зараза такая, уж ежели начнётся, то точь-в-точь походит на те самые ежевечерние сериалы по телевизору: как за одной серией непременно следует другая серия, за нею – третья, за третьей – четвёртая, пятая, двадцать пятая и так далее до полной бесконечности... Так и горе: за одним горем следует другое, третье, сорок третье (помнится, в начале нашего рассказа мы упоминали уже о том, что всякое людское горе напоминает телевизионные сериалы, однако на то она и мудрость, чтобы повторять её периодически, от чего она, эта мудрость, становится лишь мудрее и значимее)...

Нет, и впрямь: полтора литра и ещё предварительный стакан за какую-то дурацкую калитку и жалкую ветку на старой яблоне – это же удавиться впору от такой несуразной и в отчаяние приводящей арифметики! И, главное дело, предупреждала ведь старуха Бумагина этого барбоса Генку: грохнешься ты с той ветки, ой, грохнешься, потому что – где это видано, чтобы пилить нараскаряку и набок накренившись! Нет, говорит, не грохнусь, потому как мне ведомы эти... как их там... все, какие есть, физические законы! Были бы ведомы, так, может, и не грохнулся бы, и не пришлось бы тогда старухе Бумагиной тащиться сейчас за дополнительной поллитрой, вводя, таким образом, саму себя в совсем уже неопишуемые и несправедливые убытки. Ох, и холера же, если разобраться, этот самый Генка Собакин, прямо как есть холера, и всё тут! Только того и добра, что он не убился с яблони совсем вусмерть, а убился только до отбития своей окаянной селезёнки, а то, чего доброго, пришлось бы тогда старухе Бумагиной ещё и под суд идти! А что – и очень даже запросто! Явился бы участковый уполномоченный товарищ Балабанов, всё бы измерил и зафиксировал, составил бы все свои протоколы – и готово дело! И ступай-ка ты, Лизавета Федотовна Бумагина, на старости своих лет под суд! Погнала, сказали бы, человека на свою собственную яблоню, скопытился он оттудова до полного смертоубийства, тебе и отвечать! Свободное дело – и поди ты что-нибудь докажи тем судьям, не говоря уже о товарище Балабанове... Ох, горе наше горькое, стариковское, неприкаянное и одинокое!..

...С тремя принесенными Лизаветой Федотовной поллитрами Генка Укушенный распорядился мастерски и со знанием дела: две тут же распахал по карманам своих обшарпанных и измызганных брючищ, из третьей отхлебнул единым духом чуть ли не половину, прощально махнул старухе Бумагиной рукой и с оставшейся половиной бутылки стал удаляться вдоль по улице.

– Да кормилец ты мой! – жалобно закричала вослед Генке старуха Бумагина. – Да куда же ты это уходишь, дела не доделавши? А – кто за тебя отволокет к реке спиленную яблоневую ветку, вместе с которой ты грохнулся давеча оземь? А – кто сходит в Болтуны за Ароном Израилевичем?

– Странные речи я от тебя слышу, Федотовна! – остановился посреде улицы Генка Укушенный. – Или ты не знаешь, что я теперь – человек без селезёнки? Ты где же видела, чтобы человек, будучи с отбитой напрочь селезёнкой, таскал на себе всякие неудобноносимые грузы? Медицинская наука, Федотовна, таких иллюзий не предусматривает! И уж тем более странно человеку без селезёнки идти в Болтуны за Ароном Израилевичем...

И ещё раз взмахнув прощально рукой, весёлый и пьяный Генка Собакин продолжил своё шествие вниз по улице к недалёкой реке, паразит он такой. А старуха Бумагина, таким образом, осталась ещё с одной свалившейся на нее серией горя – громадной, валявшейся едва ли не посреде двора яблоневой ветвью. Вот для чего, скажите на милость, Лизавете Федотовне нужна была эта ветвь, об которую запросто можно было, запямятовав о её существовании, споткнуться в темноте и сломать себе все,

какие есть, ноги! А уволочь ветвь к реке самостоятельно старухе Бумагиной, при всей немощи её стариковского организма, не было никакой возможности. И за что, спрашивается, она отдала этому Генке Собакину едва ли не два литра самогонки? Чтоб он захлебнулся той самогонкой не позднее, чем сегодня вечером, мурло этакое! Чтобы он до наступления рассвета утоп в недалёкой отсюда реке!..

\* \* \*

...И тут-то старуха Бумагина услышала отдалённый крик козы Дульсинеи. И услышав этот крик, Лизавета Федотовна тотчас же забыла и о валявшейся посреди двора яблоневого ветке, и о Генкином окаянном вероломстве, и обо всём прочем на свете. Не разбирая дороги, она со всех своих стариковских ног помчалась к сарайчику, потому что прекрасно понимала, в чём были суть и смысл козьего крика. Суть и смысл были в том, что козе Дуле, как она по глупости своей ни противилась природным законам, пришел-таки черёд рожать. Ну а где роды, там и крик: всякая живая тварь, производящая на свет другую живую тварь, при этом кричит на весь белый свет, и коза Дульсинея никак не могла быть исключением из этого великого правила. Говорят же вам – природа.

Опять повторимся – стариковский путь, даже если он в полтора десятка шагов, долог, и это также великое правило, из которого нет ни исхода, ни исключения. А потому, пока старуха Бумагина доковыляла до сараюшки, где коза Дульсинея совершала величайшее вселенское таинство – произведение на свет новой жизни, эта самая жизнь произвелась безо всякого старушечьего в том участия. Да притом – какая жизнь! Крохотное, чёрное с белой лысинкой на лбу и тремя белыми и одной чёрной ножкой существо, качаясь, стояло посреди сараюшки, а рядом стояла коза Дульсинея и смотрела на это существо счастливыми материнскими глазами. Чудо, чудо! Чудо – как и всякое появление новой жизни на этой земле! Вот так.

Всё последующее время до самого вечера у Лизаветы Федотовны было заполнено приятными хлопотами, то есть такими хлопотами, что Лизавета Федотовна даже забыла обо всех прочих своих старушечьих горестях, в том числе и о так по-прежнему и продолжавшей дико валяться посреди двора неприбранной яблоневого ветке. Не до ветки было старухе Бумагиной и не до прочих своих житейских передряг. Перво-наперво старуха Бумагина испросила у счастливой матери, у козы Дули то бишь, позволения взять её козлёныша на ночёвку из сарая в дом.

– Ты, Дуленька, не сомневайся, – сказала старуха Бумагина козе, – оно, видишь ли, так полагается. И что с того, будто бы сейчас не зима, а всего лишь начало осени? Края наши – северные и непредсказуемые, сама, небось, знаешь. И может такое случиться, что сегодня – вроде бы и начало осени, а к ночи – завьюжит-забуранит так, что упаси и помилуй! И-и-и-и! Вот просто-таки назло: возьмёт – и завьюжит... Так что пускай лучше он, твой козлёныш, переночует у меня в доме – пока не оклемается и не встанет на твёрдые ноги. Ты, покамест, его как того следует, покорми, а потом я его и заберу... Ну, что глядишь на меня, дура рогатая, – я дело говорю! А и бестолковое же ты создание, разлюбезная Дульсинея! Шестой уж раз рожает, пора и в соображение войти, а между тем понятия в тебе – просто-таки никакого!

Высказавшись таким конкретным образом, старуха Бумагина выползла из сараюшки и потащила к себе в дом – готовить ложе для новорождённого козлёныша. Ложе это было известного свойства – клок сена за печью в углу и плошка с водой, если козлёнышу, чего доброго, захочется посреди ночи напиться. Плошка у Лизаветы Федотовны имелась дома, а за сеном она завернула к недалёкой копне, которая вероломными и двусмысленными стараниями Генки Собакина была заготовлена загодя, то есть ещё летом, и была предназначена для зимнего прокорма Дульсинеи и тогда ещё только обязанного родиться козлёныша.

Копна, как было сказано, находилась неподалёку, но стариковский путь, как опять-таки уже было сказано, долог, и потому, пока старуха Бумагина тащилась к копне за сеном, а затем, уже с сеном, от копны к дому, она успела передумать несколько пришедших к ней дум, самой актуальной из которых была дума о том, как именно следует назвать народившегося козлёныша. Этот козлёныш был мужского полу, поэтому и называть его следовало именно мужским именем, а никак иначе – это старуха Бумагина прекрасно понимала. А вот каким конкретно мужским именем следовало назвать козлёныша – на сей счёт у Лизаветы Федотовны не было решительно никаких окончательных вариантов и соображений. Назвать его Президентом? Так ведь имеется уже в округе один козёл Президент, для чего же к нему ещё и другой? Два козла Президента – это получится двусмысленность и путаница, и ничего больше. Может, назвать козлёныша в честь Генки Собакина, а? Тоже неподходящий вариант: многовато чести будет Генке Собакину от такого наименования. Да вдобавок, чего доброго, Генка Собакин не так это дело поймёт и оскорбится, а, оскорбившись, откажет Лизавете Федотовне в своих эксклюзивных услугах. А если и не откажет, то, может, и того хуже – начнёт за свои услуги драть с Лизаветы Федотовны не три, не четыре и не пять, а целых семнадцать шкур одновременно! С него, с паразита, станется, совести-то в нём, в этом Генке, нет никакой; и как тогда Лизавете Федотовне жить, и что ей тогда делать, а? То-то и оно. Нет уж, Генку Собакина лучше не задевать – ни в положительном, ни в отрицательном смысле. А, может, новорожденного козлёныша назвать Ароном Израилевичем? Оно, конечно, получится красиво и почтительно, но вдруг и Арон Израилевич, единый на три деревни окрест скотский фельдшер, точно так же, как и обормот Генка Собакин, отнесётся к этому делу неадекватно, и начнет, таким образом, будучи при том человеком ехидным, творить старухе Бумагиной всяческие ехидные пакости – например, пропишет Дульсинее при надобности какое-нибудь неправильное лекарство, а то и вовсе не пропишет никакого? Ох, грехи вы наши тяжкие, жизнь ты наша бесталанная и горькая! Нет уж, лучше и Арона Израилевича не задевать... А уж о том, чтобы назвать новорожденного козлёныша именем участкового уполномоченного товарища Балабанова, Лизавета Федотовна даже и думать не думала – настолько товарищ Балабанов был мужчиной серьёзным и положительным, и настолько Лизавета Федотовна его уважала и боялась.

«А назову-ка я этого козлёныша Эдиком!» – вдруг выстрелила в голове у старухи Бумагиной мысль, и до такой степени эта мысль было мгновенной и неожиданной, что Лизавета Федотовна даже остановилась на полпути и едва не выронила из рук охапку пахнущего минувшим летом сена. Откуда, спрашивается, в старушечьей голове могла возникнуть такая мысль, почему именно Эдиком? А ляд его ведаёт, откуда и почему. Будто бы некое мгновенное озарение вдруг нашло на старуху Бумагину, будто бы ей что-то припомнилось... что-то такое, о чём она давно уже и думать позабыла, и вот теперь это сокровенное и нежданное... какое-то мимолётное воспоминание о былом, какое-то скоропалительное предчувствие... всё это вдруг взяло да и всколыхнулось в старушечьей душе, и она подумала: а назову-ка я своего козлёныша Эдиком! Эдиком, Эдуардом... да... Будет, должно быть, очень красиво: козлёныш, а затем, в будущем, козёл Эдуард... может стать, будет даже ещё красивее, чем козёл Президент или, допустим, козёл Арон Израилевич...

Старуха Бумагина встряхнула головой, собрала свои расхристанные чувства воедино, поудобнее перехватила сено и протиснулась в отрихтованную Генкой Укушенным калитку. «Значится, назову я его Эдуардом, – подумала Лизавета Федотовна, запирая калитку свободной рукой. – Козлёныша, то есть. Именно так – Эдуардом... то есть Эдиком...»

Постелив сено в закутке за печью, старуха Бумагина выпрямилась и бездумно засмотрелась в оконце. Оконце выходило на недалёкую отсюда реку, и оттуда, со стороны реки, надвигался вечер. Вечер всегда надвигался со стороны реки, и его

наступление всегда было видно именно в это самое оконце: такое в старухином доме было расположение окон и дверей, или, как однажды выразился всё тот же окаянный барбос Генка Собакин, «такая в твоём доме, Федотовна, роза ветров». Что такое «роза ветров», старуха Бумагина не понимала да и понимать не шибко желала, однако же, наступление вечера она видела в своё оконце всегда, когда в него в подходящее время смотрелась. Каждое наступление вечера начиналось так. Тонкая, сизая, прошитая там и сям розовыми нитями пелена надвигалась со стороны недалёкой отсюда реки... вначале эта пелена была едва ощутимой, была совсем ещё тонкой и невесомой, и розовые нити, пронзающие эту пелену, были тончайшими и едва заметными... но пока пелена плыла от реки по направлению к дому, где жила Лизавета Федотовна, она, эта пелена, становилась всё гуще и непроницаемее, а розовые нити, сшивавшие её, из розовых становились багряно-алыми... и когда пелена подступала к дому старухи Бумагиной и застилала то самое оконце, в которое старуха Бумагина наблюдала, она, то есть пелена, была уже тяжёлой, сумрачной и плотной, а скреплявшие её нити из кроваво-алых превращались в подернутые пеплом мерцающие пунктиры... будто бы они, нити, успели, пока пелена придвигалась к старушечьему дому, отгореть, выстыть и запорошиться сизым пеплом... точь-в-точь как в печи отгорают, выстывают и обволакиваются пеплом дровяные уголья... Бесчисленное количество раз наблюдала старуха Бумагина наступление вечера, и сегодняшнее наблюдение ничем не отличалось от всех предыдущих – за одним лишь исключением... вернее, это было даже не исключение, а как бы некое предчувствие... да-да, именно так – предчувствие. Отчего-то старухе Бумагиной сегодня казалось, что из этой, прошитой пепельными нитями полумглы вдруг возьмёт да и выйдет некто... опять-таки – ляд его ведаёт, кто именно должен выйти из этой полумглы, и, главное, для каких таких надобностей он выйдет... но он таки выйдет, и этот, вышедший, будет иметь прямое и пронзительное касательство к старухе Бумагиной... отчего-то именно такое, а не какое-нибудь иное, было сегодня чувство у Лизаветы Федотовны. Наваждение какое-то, а иного слова и не подберешь.

Встряхнув головой и даже похлопав себя для острастки ладонями по щекам, старуха Бумагина вышла из дому и потащилась проторенной тропой обратно в сараюшко – за козлёнышем. «Нет, и впрямь, – подумала она попутно, – а назову-ка я его Эдуардом! То-то деревенский народ удивится! Даже этот несусветный паразит Генка Собакин – и тот, наверно, удивится. Даже Арон Израилевич, хотя он человек ехидный, также, должно быть, удивится, когда я его позову обследовать козлёныша на предмет соответствия... Даже участковый уполномоченный товарищ Балабанов, должно быть, удивится от такого имени...»

Когда Лизавета Федотовна доковыляла до сараюшки, коза Дуля уже покончила с процессом кормления своего будущего Эдуарда и теперь просто глазела на него со счастливым материнским восторгом, и счастливые материнские думы витали при этом в её козьей голове. «Вот ведь, какое диво дивное я произвела на свет! – думала, должно быть, коза Дуля. – И, главное дело, он, этот мой шестой по счету детёныш, совсем даже не похож на своего папашу – этого несимпатичного мне подлеца Президента! Ну, прямо-таки – ни капельки непохож, вот ведь какое получается дело, а похож он на меня – вон даже белая лысинка у него на лбу, совсем как у меня...»

– Покормила, что ль? – возникла, наконец, в сараюшке старуха Бумагина. – Ну, тогда давай своего красавца сюда. Давай и не сомневайся, – впервой, что ли? А наутро получишь его обратно. А сама пока спи-отдыхай, потому что роды – это тебе дело трудоёмкое и требующее отдохновения... сама небось должна понимать, дура ты рогатая...

И высказавшись таким окончательным образом, старуха Бумагина, прижимая к своей старческой груди козлёныша Эдуарда, поволоклась обратной дорогой. В который уже раз скажем, что старческий путь – он всегда долог, а тем более, если ты ещё и не одна, а с драгоценной, в виде козлёныша Эдуарда, ношей на руках... в общем, тут всё

понятно и никаких дополнительных комментариев более здесь не требуется. И, стало быть, пока Лизавета Федотовна таким образом шествовала от сараюшки к дому, сиреневая, прошитая огненными нитями пелена успела не только добраться от недалёкой реки до Лизаветиной избёнки, а и сгуститься, и укутать собою и саму избёнку, и ведущие к ней стёжки-дорожки, и весь окрестный мир, и небо с расхристанными на нём облаками... Одним словом, наступил самый что ни есть пахнувший осенью вечер, и, вероятно, по этой самой причине старуха Бумагина не сразу заметила, что у её собственной, отрихтованной ещё днём этим гадом Генкой Собакиным калитки стоит некто. Главное дело, этот самый некто стоял тихо, не шевелясь, не кряхтя и не кашляя, а то бы старуха Бумагина коль уж не увидела, то непременно бы услышала кряхтение и сопение своего таинственного гостя. Но – она никого не увидела и не услышала, и совсем уже было вознамерилась, прижимая Эдуарда к своим старческим грудям, шагнуть в избу, но тут...

– Лизавета, а Лизавета! – послышался голос от калитки. – Слышь, Лизавета... ты ли это или кто-нибудьещё?

Этот голос настиг старуху Бумагину не сразу, да и когда настиг, она не сразу взяла в толк, кто же это её может окликать от вечерней невидимой калитки. А когда до Лизаветы Федотовны дошло, то ей тут же показалось, будто бы кто-то невидимый и всемогущий враз выпустил всю кровь из её старческих жил, а взамен налил холодной осенней воды из недалёкой отсюда реки... Потому что – старухе Бумагиной показалось, будто бы она узнала голос... будто бы она когда-то его уже слышала... в какой-то иной своей жизни и в каком-то ином времени, но – слышала, неоднократно слышала... Слышала, да и напрочь позабыла, и вот теперь этот самый голос неожиданно окликает её от окутанной тьмой калитки... ты ли это, дескать, Лизавета, или это не ты, а кто-то иной... окликает и будит в старухе Бумагиной смутные и совершенно ей не нужные тусклые не то ощущения, не то воспоминания...

– Это кто же там такой? – спросила старуха Бумагина, не оборачиваясь. – Это кто меня окликает и отрывает от дела, когда уже голимый вечер?

– Я, – просто ответил невидимый голос, помолчал и произнёс что-то совсем уже несуразное: – А? Что? Ничего! Жареные раки. Приходите в гости к нам, мы живем в бараке...

Похоже, более Лизавете Федотовне никаких разъяснений было и не надобно: старуха Бумагина деревянно повернулась, спустилась с крыльца и бессмысленно прижимая к груди козлёныша Эдуарда, пошла навстречу голосу. Сколько было шагов от крыльца до калитки – ну, двадцать, ну, двадцать пять – не более того, но эти шаги старуха Бумагина всё шла и шла, а они всё не кончались и не кончались... они не кончались до такой степени, что Лизавете Федотовне даже успела прийти в голову мысль – так, дескать, отныне всё и будет, до самого, что ни есть, последнего Божьего Суда... то есть она будет идти, и идти, и идти в темноте, прижимая притихшего козлёныша Эдуарда к своей старческой груди, а эти двадцать пять шагов всё не будут и не будут кончатся, и только Божий Суд положит им предел...

Но – до Божьего Срока было, наверно, ещё далековато, потому что старуха Бумагина проделала, наконец, все свои нескончаемые и неверные шаги, и ничего за это время не случилось, а просто – Лизавета Федотовна, упёршись в калитку, остановилась и молча уставилась на тёмный силуэт напротив.

– Ну, здравствуй, Лизавета Федотовна, коли это и впрямь ты, – смутно знакомой сыпучей скороговоркой произнес тем временем силуэт. – Здравствуй, старая любовь... Предельно рад, что ты ещё жива. Я, как ты видишь, жив также... Это у тебя чего такое на руках-то?

– Козлёныш, – отстранённо сказала старуха Бумагина. – Только что родился... несущу домой, чтобы ночью случаем не замёрз... потому как – ночью возможны заморозки... Козлёныш это...

– Козлёныш, – пошарил рукой во тьме силуэт, и натолкнувшись рукой на Эдуарда, дребезжащее рассмеялся. – В самом деле – козлёныш... Да... Ну, здравствуй, говорю, Лизавета...

– Как же ты меня нашёл? – по-прежнему отстраненно спросила старуха Бумагина. – Столько уж лет минуло... и вот на тебе... как же ты меня тут отыскал?

– Ну, это долгая и, можно даже так сказать, почти детективная история! – вновь задрезжал силуэт. – Отыскал вот... как видишь... правильные мне, оказывается, выдали координаты относительно твоего местонахождения. Долгонько, между прочим, я к тебе добирался... через всю, можно так сказать, Рассею... а ты как себе думала, Лизавета! И вот, стало быть, добрался...

– Ну... – неопределенно произнесла старуха Бумагина.

– Вот те и ну! – выдохнул силуэт. – Вот здесь твой адресок... у самого своего сердца, можно сказать, храню... а то как же иначе? Иначе, Лизавета Федотовна, просто-таки никак... Всё это время хранил рядом с сердцем адресок-то, и, между прочим, неоднократно переписывал заново, когда старая бумажка трепалась и протиралась... Ну, здравствуй, Лизаветушка, здравствуй! Может, пригласишь к себе в дом старого знакомца, а? А то темно, прохладно и сыро... река у вас тут неподалёку, что ли?

– Река... – сказала старуха Бумагина.

– Ну, я так и подумал! – воскликнул силуэт. – Коль прохладно и сыро, то, стало быть, и река... а то как же иначе! И что же, большая река-то?

– Большая... – сказала старуха Бумагина.

– Большая – это замечательно, – скрипуче сказал силуэт. – Мне, знаешь ли, нравятся большие реки. А малые реки – мне не нравятся... они отчего-то нагоняют на меня тоску, образуют тесноту в душе и непонятное сомнение...

– Я знаю... – сказала старуха Бумагина.

– Ну и вот! – обрадовано воскликнул силуэт. – Конечно, ты это знаешь, потому что...

– Потому что всю мою жизнь взбаламутили твои реки, – сказала старуха Бумагина в вечернее пространство. – И большие, и малые... всякие.

– Да не то ты говоришь! – запальчивой скороговоркой возразил силуэт. – Не то ты сейчас говоришь, Лизавета! Не о том ты рассуждаешь! То есть как это так – взбаламутили всю твою жизнь? Что означают эти твои слова – взбаламутили? И вовсе даже всё это не так... то есть разве я не писал тебе оттуда писем? – силуэт махнул куда-то во тьму рукой. – Ну, скажи: разве я не писал тебе оттуда писем и не слал телеграмм... целых, наверно, в общей сложности девятьсот штук писем и телеграмм! Или – разве я к тебе не возвращался с тех рек, а? Ведь каждый раз – как уходил, так и возвращался... или ты всё это позабыла, Лизавета?

– Я помню... – сказала старуха Бумагина.

– Ну и вот! – радостно подытожил силуэт. – А ты говоришь... эх, Лизавета ты, Лизавета! Так как же насчёт того, чтобы ты пригласила меня в свой дом, на ночь глядя... тем более, что и река поблизости, и зябко, и вообще?..

– Пойдём, – произнесла старуха Бумагина, и более ничего не сказав, повернулась и пошла.

– Вот так спасибо тебе, Лизавета Федотовна! – совсем уже радостно задремал силуэт, устремляясь следом. – Уж что спасибо, то спасибо! А то, понимаешь ли, я издали, через всю, можно сказать, Рассею... а уж и ночь приближается, и река, говоришь ты, поблизости... вон как от неё тянет сыростью, от реки-то! Я вот за тобой следом... то есть след в след... с чемоданишкой... а то как же иначе! А иначе, Лизавета Федотовна, и нельзя... то есть никак нельзя... то есть это просто-таки невозможно... ежели, предположим, без чемоданишки...

Прижимая к своей старческой груди тихий и тёплый шерстяной комочек – козлёныша Эдуарда, старуха Бумагина шла к своему дому и почти не слышала болтовни шедшего за нею следом силуэта из тьмы, а не слышала она оттого, что размышляла совсем об ином. Ею вдруг овладела странная мысль, или даже не мысль, а некое странное чувство. Старухе Бумагиной вдруг почудилось, что это не она идёт сейчас во тьме от калитки к своему дому, прижимая к груди тихого козлёныша Эдуарда и ведя за собой своего неожиданного гостя, а... или даже не так – это всё-таки идёт она, Лизавета Федотовна Бумагина, но – как будто бы она идёт не от калитки к дому, а возвращается из собственной молодости в свою же собственную старость... Эта её собственная молодость как будто бы вдруг возникла у вечерней калитки, настойчиво и неотвратимо позвала к себе старуху Бумагину, и повинувшись её зову, старуха Бумагина устремилась на зов собственной невесты откуда вдруг возникшей молодости, и соприкоснулась с ней, и это, между прочим, было очень болючее соприкосновение, болючее почти до полной душевной невыносимости... и вот теперь старуха Бумагина вновь возвращается из собственной молодости в свою собственную безрадостную и одинокую старость, и чем ближе к дому, тем эта старость представляется безрадостнее и неотвратимее, и перехватывает у Лизаветы Федотовны её дыхание, и чугунуют её шаги... Удивительное, странное и страшное чувство... ничего подобного старуха Бумагина никогда до этого не испытывала и не ощущала, и вот нате вам, неожиданно испытала и ощутила, и притом как раз в тот вечер, когда коза Дуля разродилась, наконец, козлёнышем Эдуардом, и по идее надо бы радоваться и праздновать, но какой уж тут праздник – при таких-то делах и самоощущениях?..

– Входи, – сказала старуха Бумагина через плечо своему идущему за нею следом гостю, когда сама ступила на порог. – Здесь худая ступенька... смотри не оступись вместе со своим чемоданишкой...

– Не извольте сомневаться, Лизавета Федотовна! – тотчас же бодро задремал почти не видимый во тьме гость. – Это уж ни в коем разе... то есть чтобы я оступился, да притом ещё с чемоданишкой... это просто-таки ни-ни... оборони, как говорится, и помилуй!..

Старуха Бумагина ничего не сказала, а просто вошла в тёмные сени, через них – в самую избу, нащупала свободной рукой выключатель, зажгла свет и не взглянув даже в полглаза на копошащегося где-то в недрах тёмных сеней своего нежданного гостя, принялась пристраивать на ночлег козлёныша Эдуарда. Умаявшееся дитя – оно и есть умаявшееся дитя, и неважно, какое именно это дитя – козье, людское или какое-нибудьещё: едва коснувшись сенной подстилки, Эдуард тут же и уснул. Старуха Бумагина загородила доской закуток, выпрямилась, несколько минут озабоченным глазом смотрела на спящего Эдуарда, убедилась, что с ним всё в порядке и что спит он так, как и полагается, и только затем обернулась к своему нежданному гостю, который выбрался, наконец, из сеней и теперь стоял, переминаясь у порога и держа в руках свой чемоданишко.

– Вот, значит, какой ты теперь стала, Лизавета, – сказал гость, заметив, что старуха Бумагина на него смотрит, и сам в неё вглядываясь. – Давненько, однако же, мы с тобой не виделись... то есть я хочу сказать, что и сам я, наверно, кажусь сейчас тебе в

диковину. Да... Время, Лизавета, – это такая сила, с которой мы ничего поделаться не можем, как ни старайся и ни силься... так-то вот, Лизавета Федотовна... так-то вот.

– Давай сюда свой чемоданишко, – сказала старуха Бумагина, протягивая руку, – да и сам проходи также... Лёгкий, однако же, твой чемоданишко! Не нажил, стало быть, богатства-то?

– Твоя правда, Лизавета, твоя правда! – тут же застрекотал гость, проходя в глубь комнаты. – Как говорится, всё свое ношу с собой... как этот самый... то есть как его... ну, один древний философ. И чемоданишко мой лёгкий, и богатства я не нажил... как есть ты кругом права, Лизавета! Такие, стало быть, получаются у нас дела...

– Ужинать-то хочешь? – спросила старуха Бумагина.

– Да не так чтобы уж шибко, – отвел глаза вечерний старухин гость. – Днём-то я, конечно, ел... ещё когда ехал в поезде, стало быть... покудова расспрашивал у моих попутчиков каким, значит, образом половчее найти дорогу к твоему жилищу... да ведь то было днём, а сейчас уже – глухой вечер... так-то вот.

На это старуха Бумагина ничего не сказала, а лишь по-старчески пожевала губами и молча стала собирать на стол. Буханка чёрного хлеба, картошка в сковородке, последние огурцы с грядки, первая малосольная капуста, селёдка и поллитровка самогонки – таков, значит, был ассортимент ужина.

– Умыться бы мне – с дороги-то, – сказал старухин гость.

– Вон там – умывальник с полотенцем, – показала рукой старуха Бумагина.

– Не, – мотнул головой старухин гость и просительно произнёс: – Мне бы, Лизавета Федотовна, иначе... то есть умыться... да. Чтобы, значит, я вышел на крыльцо, и чтобы ты поливала, и чтобы вода стекала с моих рук вниз, прямо во тьму... Ты знаешь, Лизавета, пока я ехал сюда... то есть к тебе... ну, короче, пока я ехал на поезде... а дорога, Лизавета, была долгой... ты даже и не представляешь, какой она была долгой... а как же ей, то есть дороге, быть короткой, когда я ехал из такого далекого далёка, что покамест у тебя здесь – вечер, то там уже и утро... но это сейчас не важно, Лизавета, сейчас, понимаешь ты, важно другое... значит, там, в поезде, мне однажды и пригрезилось: стою я будто на твоём вечернем крыльце, и ты мне поливаешь из кувшина, и вода стекает с моего лица и моих рук куда-то вниз, прямо во тьму...

– Кувшина-то у меня никакого и нет, – не сразу отозвалась старуха Бумагина после столь долгой речи своего гостя. – Был, да в позапрошлом году упал и весь разбился... может, тебе из ведёрка полить?

– Пускай из ведёрка, – тут же согласился старухин гость. – Из ведёрка – оно, наверно, даже лучше... вода, ежели, допустим, она из ведёрка, получается тонкой и звенящей...

– Ну, пойдём, – опять-таки не сразу промолвила старуха Бумагина. – А ведёрко – в сенях...

На крыльце царила тьма, от недалёкой реки ощутимо пахло прелью, первым палым листом, холодеющей речной галькой, рыбой налимом и еще многими иными прочими запахами надвигающейся осени. «А хорошо всё же, что я догадалась взять козлёныша Эдуарда в дом на ночёвку, – подумала старуха Бумагина, стоя с ведёрком воды и ожидая, пока из сеней выползет её незванный гость. – А то как бы ночью и впрямь заморозок не грянул... Эвон какой дух подозрительный от реки...»

Незванный гость, наконец, выполз из сеней и смутным силуэтом остановился на крыльце.



– А хорошо здесь у тебя, Лизавета! – сказал он, вроде как бы приносиваясь к царящей над землёй тьме. – Право слово – хорошо... просто отдохновение для души, честное слово! Тьма-то какая – прямо-таки бархат, а не тьма! И рекой, между прочим, пахнет... так ты, Лизавета, говоришь, что есть поблизости река-то? Это хорошо, что есть... и что поблизости... я люблю, когда недалеко – большая река... Ну, где там у тебя твоё ведёрко?

Старуха Бумагина малость помедлила, наклонила ведёрко, и из ведёрка, журча, полилась во тьму вода. Старуха Бумагина даже не глядела, подставлял ли её негаданный гость руки под невидимую струю или не подставлял... отчего-то Лизавете Федотовне этот факт был совсем не интересен. Но гость, должно быть, свои руки под невидимую струю всё-таки подставил... он то ли эту струю нащупал, то ли узрел во тьме каким-то особым вечерним зрением... Бог, короче говоря, его ведаёт, этого гостя.

– Ах, и хорошо! – то и дело восклицал гость, фырча и кряхтя, и старухе Бумагиной вдруг почудилось, что это фырчит и кряхтит вовсе даже не её нечаянный гость, а некий заблудившийся во тьме большой ёж или, допустим, хорь, который минувшим летом для чего-то зачастил в убогое хозяйство Лизаветы Федотовны, да так, похоже, ничего для себя и не найдя, однажды ушел и больше уже не вернулся. – Ах, как замечательно... то есть именно как раз то самое, что я и ожидал! Вода, понимаешь ли, попадает на мои руки и на моё лицо и невидимо стекает вниз, во тьму... и хорошо таки, что она – не из кувшина, а из ведёрка... потому что ежели она из ведёрка, то получается такой звенящей и тонкой, что просто-таки моё почтение! Ох!.. Ах!.. Ух!..

Вода в ведёрке, наконец, закончилась... то есть старуха Бумагина этого, конечно видеть не могла, она просто почувствовала – только что вода в ведёрке ещё была, и вот ее уже там нет, она иссякла, истекла тонкой и звенящей струёй во тьму и там, во тьме, пропала и сгинула, ушла в сырую землю.

– Вот полотенце-то, – протянула старуха Бумагина руку во тьму.

– Вот так спасибочки, – тотчас же отозвалась тьма, и полотенце исчезло из старухиной руки. – Вот уж спасибо тебе за это, Лизавета Федотовна... потому что твой полотенце мне сейчас надобен просто-таки до самозабвения... а то как же иначе! А иначе-то, Лизавета Федотовна, никак... вытирание, Лизавета, вослед за умыванием, это, ежели ты желаешь знать, вторая часть приснившегося мне в том поезде видения...

Старуха Бумагина опять-таки никак на все эти ахи, фыркания и восторги не отреагировала, а просто постояла четыре минуты на тёмном крыльчке, повернулась и с пустым ведром в руке пошла в дом.

\* \* \*

...Ужинали они не торопясь, истово и чинно, как оно, вообще-то, и полагается ужинать в русских деревнях, когда, притом, и сама ты, и твой гость – преклонные старики, да ещё и не виделись Бог весть сколько времени. Для начала, конечно, выпили самогонки. Всё здесь было просто: неожиданный старухин гость налил два стакана, один, значит, стакан придвинул к Лизавете Федотовне, другой поставил напротив себя самого, малость помедлил, помялся и покряхтел, а потом произнёс вступительный тост:

– Ну-с, Лизавета Федотовна, за встречу. Встретились, стало быть... после стольких лет нечаянной разлуки...

Они манерно чокнулись стаканами, разом выпили до дна, закусили, затем, ничего не говоря, Лизаветин гость повторил заход, то есть, иначе говоря, налил повторно – правда, на сей раз уже не по полному стакану, а лишь по половине. Эту половину они выпили, уже не чокаясь и безо всяких тостов, и только после этого старуха Бумагина

начала постепенно выбираться из прострации, в которую поверг её неожиданный гость, и приходит в соображение.

Значится, такое получается дело, само собою стало думаться старухе Бумагиной. К ней, будто с неба свалившись, то есть совершенно нежданно и негаданно и притом на ночь глядя, прибыл гость. Да и не просто гость, а, можно сказать, гость особенный. Чем, спрашивается, таким он был особенный, этот самый гость? Ну, как же: этого гостя Лизавета Федотовна, если разобраться, знала едва ли не всю свою сознательную жизнь, со времён легкомысленной и падкой на всяческие мечтания своей юности она его знала, вот в чём было дело! Хотя, если опять же разобраться, лучше бы было Лизавете Федотовне и вовсе никогда не знать этого своего гостя... может быть, и жизнь тогда у Лизаветы Федотовны сложилась бы как-нибудь иначе... даже наверняка так оно и было бы тогда с её жизнью... но ладно, ладно, тут всё надобно обдумать по порядку и рассовать по своим собственным полочкам.

Так вот. Гость. С этим гостем у Лизаветы Федотовны с самой её юности, когда она, само собою, не было еще никакой Лизаветой Федотовной, а была просто Лизой, Лизанькой, а то и просто Лизкой-заразой (это её так прозывали некоторые грубые личности в обмен за её тогдашнюю красоту), была любовь. Да притом такая это была любовь, что наше вам почтение, загляденье и предмет для посторонней зависти, а не любовь, вот так-то! Он забирался к ней в окно по приставной лестнице и устилал её ложе (их совместное, если выражаться предельно откровенно и точно, ложе) цветами: когда это была весна, то черёмухой, тюльпанами и сиренью, когда было лето – георгинами, астрами и ромашками, когда было осень – хризантемами, а если была зима – преимущественно розами, и это было удивительно и трогательно просто-таки до умиленных слёз... то есть откуда он их добывал, эти чудные розы, когда на дворе лютвала беспредельная и всеобъемлющая зима? Но он их добывал, и устилал ими любовное ложе...

Конечно же, они тогда намеревались пожениться, они думали о свадьбе, они говорили о свадьбе, они строили совместные планы на всю свою долгую жизнь, и это, разумеется, были замечательные планы, это были такие планы, ради осуществления которых стоило жить и плакать счастливыми слезами, и помереть в конце без сожаления, потому что – это, несомненно, была бы блаженная смерть, рядом друг с другом и в один день. Да... Вы, может, скажете, что всё это – не оригинально и даже банально? Но им тогда, двум молодым любовникам, плевать было с самого высокого тополя на чьё-нибудь мнение и чьи-нибудь похожие ни их собственные, мечты, желания и устремления. Любовь не терпит сопоставлений, она не приемлет ничьих мнений и замечаний, всякая любовь, если это, конечно, любовь, а не что-нибудь иное, всегда оригинальна и неповторима, вот так-то... во всяком случае, таковой она всегда кажется двум любящим сердцам.

Итак, они мечтали о свадьбе. И она, эта их счастливая свадьба, конечно же рано или поздно совершилась бы, но... Вот именно – но. Но – у Лизаветиного возлюбленного... как бишь его звали, за давностью лет и посреде ежедневной житейской суеты старуха Бумагина уже успела и позабыть его имя... так как же его всё-таки звали... ах, да – его звали Эдуардом, такое вот дело! Его звали Эдуардом, и это, между прочим, было дополнительным, если можно так выразиться, поводом для Лизаветиной любви. Тогда, во времена безвозвратной Лизаветиной молодости, мало кого звали Эдуардом, всё больше были Иваны да Степаны, а тут – Эдуард... в него, в Эдуарда, можно было влюбиться за одно его необыкновенное имя!

Так вот: конечно же, они мечтали о свадьбе, однако у Лизаветиного возлюбленного Эдуарда имелась одна завиральная и неистребимая идея... иначе сказать, одно неодолимое стремление, одна неизгладимая страсть – периодически, и притом на долгое время, исчезать из дому и отправляться бродяжить по белу свету... безо всяких конкретных целей и устремлений, а просто так – по непонятному ни ему

самому, ни всем прочим окружавшим его людям, душевному устремлению. В особенности Эдуарда влекли большие, широкие и длинные реки. Вот как только кончалась долгая северная зима, как только реки освобождались ото льда и на них простуженными голосами начинали кричать первые пароходы, так Эдуарда тотчас же одолевала непонятная, лютая, прямо-таки цыганского пошиба тоска. Всё оказывалось побоку – и лазание по приставной лестнице в любимое окно, и цветы на любовном ложе, и сама любимая, то есть Лизавета... всё, всё! Эдуард записывался на первый же попавшийся пароход... и, между прочим, совсем даже неважно было, куда направлялся этот пароход – вверх по течению, вниз по течению или, допустим, в какую-нибудь другую сторону... и отбывал на этом пароходе до самых белых мух, когда останавливались реки и не было, следовательно, никакой возможности больше по этим рекам путешествовать. Тогда, конечно, раскрасавец Эдуард возникал пред Лизаветой собственной своей обросшей бородой и потрёпанной всевозможными речными ветрами персоной, и у них всё начиналось сызнова... то есть опять было лазание в окно Лизаветиной спальни по приставной лесенке, опять было ложе в цветах и всё иное прочее, что всем этим прелюдиям сопутствует.

А с наступлением следующей весны раскрасавец Эдуард опять начинал непонятно томиться, опять ему надобно было отправляться в дальние края, будто он был и не человек вовсе, а большая, таинственная, лишь на время принимаемая человеческий облик птица. И он таки туда отправлялся на первом же попутном пароходе, а Лизавета оставалась ждать, и чего она тогда ждала, на что она тогда надеялась – теперь уже, за невозможной давностью лет, и непонятно... Впрочем, чего уж тут такого непонятного – говорят же вам, что Лизавета надеялась на свадьбу, но это было вначале, а потом эти надежды становились всё глуше и глуше, а потом, сдаётся, они и вовсе выветрились и сошли на нет от такого непонятного и непереносимого поведения Эдуарда, а ещё потом на место этих выветрившихся надежд пришли другие надежды, потому что человек так устроен, что он не может жить без надежд...

...Правда, случалось, что и посреди лета (посреди сезона – как любил говаривать сам Эдуард) он появлялся в окне Лизаветиной спальни... он появлялся с неизменной, в соответствии со временем года, охапкой цветов, и Лизавета тут же таяла и от этого неожиданного появления, и от цветов, и, разумеется, от самого своего возлюбленного Эдуарда... Боже, Боже, да лучше бы ничего этого и вовсе никогда не было... может, тогда и Лизаветина жизнь сложилась бы как-то иначе, а не таким, как сейчас, неприкаянным и тоскливым кандибобером! Но... Вот именно – «но»... «Но» – это самое безнадёжное, самое безысходное, самое горькое человеческое слово...

...– Что же ты молчишь, Лизавета? – прервал эти старушечьи раздумья неожиданный гость Эдуард. – Я спрашиваю – чего же ты ничего мне не скажешь, и ни о чём меня не спросишь после стольких-то лет нашей с тобой разлуки?

– А всё-таки – лёгкий этот твой чемоданишко, – очнулась старуха Бумагина, и полупьяно усмехнулась, говоря эти слова. – Не нажил, говоришь, богатства-то?

– Не нажил, – с прежней готовностью подтвердил старик Эдуард. – То есть предельно правильно ты мыслишь и выражаешься, Лизавета, – не нажил. Не нажил – и всё тут! И нового не нажил, и то, которое было, растерял на своих путях-дорогах... Такие, стало быть, дела, Лизавета Федотовна... такие вот дела!

– И отчего же не нажил? – спросила старуха Бумагина.

– Ну, – развел руками старик Эдуард, – это – вопрос сложный... то есть непростой вопрос... так сказать – натурально философического свойства. А на философические вопросы, Лизавета, так сразу и не ответишь... на них надобно отвечать постепенно, с рассуждениями, сопоставлениями и прочими аллегориями. Давай-ка лучше мы с тобой выпьем, Лизавета! Вкусная у тебя самогонка, и пища твоя вкусная... давно ничего эдакого

я не ел и не пил... возможно даже – со времен нашей с тобой юности... Ты помнишь нашу с тобой юность, Лизавета... не забыла ли ещё ты её, а?

– Ну, давай выпьем, – сказала старуха Бумагина, не отвечая на поставленный перед ней вопрос.

Они выпили, закусили, и долго молча сидели напротив друг друга – просто сидели, и всё. А потом в закутке зашевелился и задышал козлёныш Эдуард. Старуха встала и отправилась посмотреть, что козлёнышу надобно: за нею встал и отправился следом и старик Эдуард. Козлёнышу, судя по всему, не надобно было ничего. Он просто встал, прошелся взад-вперед по закутку, потянулся, пошелестел сеном и улегся опять, только уже на другой бок и головой к печке, а своим куцым хвостом к дверям.

– Зверёныш, – сказал старик Эдуард, глядя на козлёныша из-за старухино плеча. – Звериное дитя... Как хоть ты его назвала, этого зверёныша?

– Эдуардом его звать, – ответила старуха Бумагина.

– То есть это как? – удивлённо поднял голову старик Эдуард.

– Эдуардом, – повторила старуха Бумагина, и невольно удивилась и сама.

И, между прочим, было чему удивляться. Оказывается, нежданно-негаданно получилось необыкновенное совпадение, а, может быть, даже какое-то неосознанное чудо. Ещё сегодня утром в её жизни не было ни одного Эдуарда, а сегодня, к ночи, их оказалось целых два: один – козлёныш, а другой – её вечерний гость и стародавний любовник старик Эдуард. Это ли не чудо? Или всё же – нечаянное совпадение? Наверно, все-таки чудо – потому что ведь мучило же сегодня старуху Бумагину какое-то смутное предчувствие или не мучило? Мучило: ей, помнится, чудилось, будто из надвигающихся со стороны недалёкой реки сумерек к ней непременно явится кто-то... он и явился, нате вам пожалуйста – её давний любовник старик Эдуард, такой давний, что она и думать-то о нём давно позабыла... Ну и вот, и следует ли после этого удивляться двум Эдуардам – одним из которых был только сегодня родившийся козлёныш, а другим – старик Эдуард? Хотя, наверное, и следует, потому что на то оно и чудо, чтобы на него удивляться. Да. Естественно.

...– Тёзки, стало быть, – прервал старухины раздумья ее гость. – Ну, не так и плохо... небольшая путаница может получиться в дальнейшем... но ничего, подходяще... будет, я мыслю, смешно и весело...

– Что? – подняла голову старуха Бумагина.

– На двор бы мне выйти, – отвел глаза старик Эдуард. – Пройтись, подышать, послушать реку... в ночи её, то есть реку, ты знаешь, как дивно слышно? Очень даже дивно... до душевного потрясения просто-таки... будто кто-то большой и добрый общается с тобой на понятном тебе языке и наречии...

– Ну, иди, – чувствуя себя полупьяной, сказала старуха Бумагина. – Иди и общайся... и слушай. Со стола, я думаю, убирать не надо?

– Не надо, – сказал старик Эдуард. – Вернусь – выпьем, поговорим... Нам о многом с тобой надобно поговорить, Лизавета... О многом, понимаешь ты это или нет?

– Иди, иди, – сказала старуха Бумагина, и когда её гость, гремя чем-то в тёмных сенях, удалился, она прошла к столу, села, подпёрла голову рукой и задумалась.

Разумеется, она задумалась о своем неожиданном госте. Или, вернее, о той ситуации, в которую её ввергло появление гостя. Или, ещё вернее, о том и другом одновременно. Несмотря на хмель, мягко круживший голову, Лизавета Федотовна прекрасно понимала, что в её одинокой и, казалось бы, до самой гробовой доски налаженной жизни предполагаются неожиданные и, можно даже так сказать,

основополагающие изменения. Да-да, основополагающие изменения – да и как, скажите, им не быть? Нет, скажите, коли вы такие умные, как им не быть, этим изменениям? Неожиданно, как сентябрьский снег на голову, возник старухин давний любовник Эдуард... эта её изжитая печаль, эта её давняя маета и грех... воспоминания о нём старуха Бумагина давным-давно загнала в самый что ни есть потайной уголок своей души, и в течение всей своей жизни никогда без особенной надобности в этот уголок не лазила, а в последние, предельно старушечьи времена, так и вовсе туда не лазила, потому что – для чего, потому что – какой в том прок и смысл... и вот нате вам – нежданно-негаданно он припёрся, Эдуард, он возник, и вмиг растревожил этот самый уголок до самого его донышка, до самого его, можно сказать, предельного основания!

Это, значит, было, во-первых, а ведь намечалось ещё и во-вторых, и, если предельно вдуматься и вникнуть, то и в-третьих, и, может быть, еще и в-четвертых, и Бог весть ещё в каких! Да-да, именно так оно и получалось, если уж вдумываться в сложившуюся ситуацию по-настоящему! То есть – мало того, что он, Эдуард, на старости лет возник, так он ещё и, если опять-таки предельно вникнуть в его полупрозрачные намёки и полунамёки, по всей видимости, намеревался бросить якорь у этой пристани, а, иначе говоря, поселиться у старухи Бумагиной на своё дальнейшее жительство! Да-да, именно так оно и получалось, если к тому же учесть его лёгкий, будто невесомым ветром наполненный, чемоданишко... а уж постоянный якорь намеревался старый Эдуард у старухи Бумагиной или, наоборот говоря, якорь временный – это на данный момент было делом несущественным... именно так – несущественным. Главным было – старик Эдуард припёрся и намеревался причалить к старухиной пристани. Так-то.

Вот такие, стало быть, вырисовывались перспективы в Лизаветиной жизни – и, спрашивается, как было ей, Лизавете Федотовне, к таким перспективам относиться? Гнать своего древнего, давно минувших времён любовника в три его беспутные шеи, несмотря на все его полунамёки, невесомый чемоданишко и грядущую ночь? Уж что-то, а такое-то право применительно к своему давнему любовнику старуха Бумагина имела, это уж будьте себе уверены!

Нет, и впрямь: кто как не этот суесловный и дребезжащий старик испортил и пустил, можно сказать, под откос всю её нескладную одинокую жизнь? Он и пустил, а то кто же ещё? И для чего, спрашивается, теперь-то, на самом что ни есть закате лет, он, этот её бывший любовник и так и не состоявшийся муж, нужен старухе Бумагиной, что она будет с ним делать, как станет уживаться? Совместно вспоминать годы минувшие и такую же минувшую их любовь? Больно нужно – теперь-то, на предельном закате лет... да и растрava это душе... ох, какая же это, должно быть, растрava! До полной, наверно, невыносимости!

Может, оставить его до утра переночевать, и утром наладить в обратный путь-дорогу? Отправляйся, сказать ему, обратным курсом, мало того, что ты испоганил и исковеркал всю мою жизнь, так ещё и на старости лет нет от тебя возможности помереть спокойно! А ежели, будем говорить, он не захочет, чего доброго, отправляться обратным курсом и начнёт предъявлять какие-нибудь претензии и выражать какие-нибудь недоумения, уговорить Генку Собакина, чтобы он смотался в Болтуны, отыскал там и доставил на место происшествия, то есть в Лизаветино жилище, участкового уполномоченного товарища Балабанова, и пускай уже товарищ Балабанов выпроваживает Лизаветиного нечаянного гостя куда подальше – в кандалах, по этапу или вообще как угодно! А то, что товарищ Балабанов с таким делом запросто справится, в том уж сомневаться не приходится...

Или всё-таки – оставить его у себя жить? Вникнуть, так сказать, в его полунамёки – и оставить? Не сразу, конечно, оставить, а сперва понаблюдать, как следует, за всеми этими полунамёками и до самого утра делать вид, будто она, старуха Бумагина, этих полунамёков в упор не замечает и не понимает, а утром, как только всплеснёт первым

утренним всплеском недалёкая отсюда река, взять да и сказать как бы изнехотя: поживи, дескать, у меня, коли такая твоя охота, а там – время покажет... Нет, и впрямь – а, может, оставить старика Эдуарда у себя в сожителях, а? Что из того, что он, подлец такой, пустил под откос всю её жизнь? Теперь-то, на самом краю жизни – что из того? Всё было – да чёрным былём поросло, серым прахом замелось, зелёной тиной покрылось, во времени сгладилось... и, может, благодаря всему этому и не будет той самой душевной растравы, которой старуха Бумагина столь преждевременно и опрометчиво опасается? Ну, взметнулась её душа при неожиданном виде своего давнего любовника, ну, полоснуло по душе болью, а дальше-то, может, будет и ничего... дальше, может, всё утихомирится, упокоится и уляжется, а? Тем более что старичок он, этот Эдуард, должно быть, шустрый, через всю, говорит, Рассею сюда, то есть, к старухе Бумагиной, добирался, и коли он случаем не врёт, то такой он, чего доброго, и в хозяйстве сгодится, и не надо тогда будет старухе Бумагиной каждый раз кланяться за всякой мелочью этому оглоеду Генке Укушенному! Да, думы, думы, а как поступить на самом деле – кто бы присоветовал? Некому присоветовать, в том-то всё и дело...

Однако же – куда он запропастился, этот запоздалый Лизаветин гость? Сказал, что пойдёт подышать, и как это ещё он выразился... пообщаться с окружающей местностью – и вот уже почитай целый час дышит и общается! Уж не заплутал ли он в незнакомой тьме или, чего лихого, уж не утоп ли с полупьяну в недалёкой отсюда реке? Этого ещё не хватало старухе Бумагиной вдобавок ко всему остальному её горю... да ну, ерунда, вернётся! Чемоданишко остался здесь, в избе, стало быть – вернётся! Ага, вот, сдаётся, и он: грюку-то в сенях столько, будто это не ветхий старик возвращается, а, допустим, участковый уполномоченный товарищ Балабанов пришёл с обыском и ищет у старухи Бумагиной незаконную самогонку, не может найти, сердится и оттого в сердцах крушит и швыряет всю, какая подворачивается под руки, старушечью утварь!..

– Тьма-то у тебя какая, Лизавета, в твоих сенях – просто-таки анафемская утроба, а не сени! – заявил старый Эдуард, выбравшись, наконец, из тёмных сеней и возникая в комнате. – Отчего там у тебя такая тьма, Лизавета?

– Оттого что свет не включается, – рассеянно ответила старуха Бумагина, отрываясь от своих непростых дум. – Раньше-то там горело, а затем – перестало... вот уже года два как не горит. То ли чего там перегорело, то ли по какой другой причине... А наладить-то и некому, а сама я не понимаю... да и дорого выйдет, если кого-то просить. Так вот и живу – без света в сенях...

– Только того и делов? – радостно рассмеялся старый Эдуард. – Ну, это беда поправимая... это для нас – враз... два притопа, три прихлопа! Ты ведь знаешь, Лизавета, что я ходил на кораблях... долгое время ходил, половину своей жизни, а то, может, и больше... да. Так чему только я на тех кораблях не выучился – даже и по электрической части... а то как же иначе! А иначе, Лизавета ты моя Федотовна, и нельзя... такие, стало быть, получают интересные дела. Завтра с утречка, значит, и займёмся твоими сенями. И будет, Лизавета Федотовна, в твоих сенях свет... просто-таки наиярчайшая иллюминация в твоих сенях будет!

– Ну... – неопределённо произнесла старуха Бумагина, да на этом весь её ответ и закончился.

Опять сели за стол. Самогонки в бутылке оставалась ещё добрая половина. Старый Эдуард налил в оба стакана по половине, поднял свой стакан, дождался, пока Лизавета Федотовна потянется к своему стакану. Выпили, не чокаясь и без тостов, помолчали...

– А дивные у вас здесь ночи, то есть в этой твоей деревне Кочубеевке! – сказал, наконец, старый Эдуард. – Я, когда ещё только собирался к тебе, и затем, когда я уже к тебе ехал на поезде... а ехал я, Лизавета, уясни себе, издалика, через всю, считай,

необъятную Рассею... так вот, значит, всё это время я думал: а какие там у неё, то есть у тебя... ну, то есть в этой твоей деревне Кочубеевке ночи? Отчего-то, Лизавета, мне это казалось очень важным – то есть, какие здесь ночи... да.

– Гм, – сказала на это старуха Бумагина, поставила на стол стакан и подперла полупьяную свою голову кулаком.

– Да, – сказал старый Эдуард, – вот именно... какие тут ночи. И оказалось, дорогая ты моя Лизавета, что здесь у вас – просто-таки удивительные ночи... изумительные ночи! Тишина, тьма, от реки веет добрым духом... ты знаешь, Лизавета, каким добрым духом веет от всех на свете рек? Не бывает на свете недобрых рек, Лизавета, все реки – добрые... Да... А сверху, Лизавета, с невидимого неба, то и дело раздаются удивительные звуки... будто где-то там, по небу, все летят и летят лебеди... все летят и летят, курлычут и курлычут... будто бы, понимаешь, рыдают.

– А это и есть лебеди, – сказала старуха Бумагина, взглянув зачем-то в непроницаемо тёмное окно. – Это и есть лебеди... Здесь, неподалёку, река, ну и, стало быть, при ней обитают лебеди. Много лебедей... с белыми крыльями. Весной – прилетают, а осенью – обратно... и когда они улетают, целыми ночами напролёт кружат по небу и всё курлычут и курлычут, курлычут и курлычут – будто плачут...

– Лебеди, – сказал старый Эдуард.

– Лебеди, – подтвердила старуха Бумагина.

Они опять замолчали, и опять первым разговор начал старый Эдуард.

– Как же ты оказалась в этой деревне, Лизавета? – спросил он.

– А, – махнула рукой старуха Бумагина, – как оказалась, так и оказалась... случайно, можно сказать, оказалась. Тётка здесь жила по материнской линии... ну, а затем она взяла и померла, а домик-то и остался. Вот я в него и перебралась... с той поры так здесь и живу... лет, наверно, уже пятьдесят, как тут живу, а то, может, и больше...

– А зачем же ты перебралась сюда, Лизавета? – спросил старый Эдуард.

– А затем, – не сразу и очень четко, будто и не была полупьяной, ответила старуха Бумагина, – чтобы быть подальше от тебя. Чтобы ты меня тут не нашёл. Чтобы мне тебя не видеть более никогда в жизни! Понятно тебе, зачем я сюда перебралась, или не понятно?

– Вот, стало быть, как, – так же не сразу и так же почти что трезвым голосом сказал старый Эдуард. – Вот, значит, как оно получается... какой, то есть, любопытный коленкор вырисовывается в твоём ответе, Лизавета... А я ведь искал тебя, Лизавета! Ах, как же я тебя искал... когда вернулся с того рейса и пришел к тебе, а тебя – и нет... А тебя, Лизавета ты моя Федотовна, и нет... а я в тот раз, помнится мне, привёз с собой большой букет водяных невиданных лилий... огромный, знаешь ли, такой букетище, величиной почти что в сноп... а тебя-то и нет! А тебя-то и нет... да. А потом эти лилии и завяли... ты знаешь, Лизавета, это были такие цветы, что всего только на одну ночь, а затем они увядают... И вот они завяли, и я отправился тебя искать... я спрашивал у всех, куда ты подевалась, но никто не знал... а я все тебя искал и искал, искал и искал... И когда ходил по рекам – искал, и когда не ходил по рекам – тоже искал... И на севере, и на юге, и по течению рек, и против течения, и на мокрых чужих пристанях, и на пыльных земных дорогах... Бесконечно я тебя искал, Лизавета... всю свою оставшуюся жизнь. Такой вот, значит, вырисовывается коленкор...

– Зачем? – спросила старуха Бумагина, взяла в руки твердый зеленый огурец и зажмурила глаза. Отчего-то так – с зажмуренными глазами и с огурцом в руках – ей было

легче слушать и переносить те слова, которые сейчас ей говорил её бывший давний возлюбленный старик Эдуард.

– Зачем? – недвижно сидя на табурете, переспросил старый Эдуард. – Как же ты, Лизавета, можешь задавать такой несусветный и невообразимый вопрос? Как же ты его можешь задавать, Лизавета... как он только у тебя выговаривается, этот вопрос? Зачем... Как же я мог не искать тебя, Лизавета? Ну, ответь – как я мог тебя не искать? Вот и искал...

– Плохо ты меня искал, – теребя огурец и не открывая глаз, сказала старуха Бумагина. – Коль до сих пор не нашёл, то значит – плохо...

– Как мог, – мешком сидя на табурете, сказал старый Эдуард. – Как мог... По пыльным земным дорогам и по мокрым речным причалам, на севере и на юге, днем и ночью, зимой и летом, по течению и против течения... Как мог... всю свою жизнь – искал и искал... Давай мы с тобой ещё выпьем, Лизавета. Ты не хочешь? Ну, так я сам... ты не будешь против, если я выпью сам... то есть без тебя? Как же ты жила, Лизавета... без меня? Как же ты прожила свою жизнь?

– Прожила вот, – сказала старуха Бумагина.

– Да, – сказал старый Эдуард. – Прожила... это точно. Прожила... замужем, должно быть, побывала?

– Побывала, – сказала старуха Бумагина.

– Да, конечно, – сказал старик Эдуард. – Жизнь – она, зараза, долгая и путаная... одной-то – как её коротать и распутывать? Одной-то – оно несподручно... да. замужем... понятное дело. И где же он теперь, твой муж?

– Побыл и ушёл, – бесстрастно сказала старуха Бумагина, теребя огурец.

– Не ужились, стало быть, – кивнул старый Эдуард. – И отчего же не ужились, если не секрет?

– Не ужились вот, – сказала старуха Бумагина.

– Ну, а детки-то? – спросил старый Эдуард. – Детки-то у тебя как – имеются?

– А – не твоё дело! – с неожиданной даже для себя самой резкостью сказала старуха Бумагина. – Не твоё это дело, понял?

– Понятно, не моё, – кротко сказал старый Эдуард и покачнулся на своей табуретке. – Прости, коли такой неловкий у нас с тобой получается разговор...

– Там, – очень даже не сразу отозвалась старуха Бумагина, и не ясно было, прощает она таким образом своего давнего любовника за эти его проникающие в её старушечью душу слова или наоборот – не прощает, – там – коза Дульсинея... в сарайчике. Пойду взгляну, как она себя чувствует... только сегодня утром разродилась... мало ли что. Побудь, я скоро...

– Может, и я с тобой? – несмело предложил старый Эдуард. – Посвечу, поддержу... мало ли чего... ночное, можно сказать, время... тьма-то над миром какая... прямо страсть, а не тьма!..

– Не надо, – сказала старуха Бумагина, поднялась и скрылась в тёмных своих сенях. Хотя эти сени, как уже говорилось, и были тёмные, но ни один звяк не послышался оттуда, когда старуха Бумагина сквозь них проходила. Ну, понятно: свои сени – это вам не чужие.

Здесь следует сказать, что коза Дульсинея, в общем и целом, была ни при чём: старухе Бумагиной надобно было выйти совсем по другой причине. Ей надо было выйти, чтобы побыть одной... ей очень надо было побыть одной, без старого Эдуарда – хотя бы



миг, хотя бы минуту, а лучше того, целых десять, а то и все пятнадцать минут. Это ей надо было затем, что последний вопрос старика Эдуарда всколыхнул и достал старуху Бумагину до самого её душевного основания, до самого последнего нервного предела. Потому что – это был вопрос, что называется, в самую тютельку.

Детей у старухи Бамагиной и впрямь не было, и не было их у неё, между прочим, как раз таки по причине старого Эдуарда, её давнего любовника, с которым она когда-то давным–давно намеревалась навеки соединить свою судьбу и жизнь. С детьми у старухи Бумагиной получилось вот что. Тогда, когда старуха Бумагина, будучи ещё юной и соблазнительной Лизаветой, а вовсе никакой не старухой, уехала от своего беспутного возлюбленного Эдуарда в деревушку Кочубеевку, здесь, в Кочубеевке, она очень скоро почувствовала, что – в положении. Причиной тому был, конечно же, этот негодник Эдуард, кто ж ещё-то, больше было некому. И перед старухой Бумагиной, которая в ту пору никакой, конечно, старухой ещё не была, во всей своей неллицеприятной откровенности встал вопрос: что делать? Конечно, о том, чтобы дитя вытравить или учинить над ним ещё какое-нибудь лихо, не могло быть не то что речи, но даже и размышления на эту тему не посещали Лизаветину голову, потому что не такие тогда были времена и, соответственно, не такая была тогда моральная подоплёка жизни. Но ведь – надобно же было что-то делать, не так ли? А — надобно было рожать, надобно было, как тут ни крути и ни размышляй, готовиться к таинству появления на свет Божий новой жизни, которая ни сном ни духом не была виновна в том, что её папаша – оголтелый прохвост и сомнительная блудная личность.

Лизавета к тому и готовилась, и в принципе дождалась того момента, когда через какой-то неполный месяц эта самая новая жизнь должна была появиться, и она бы, конечно, появилась, никуда бы она не делась, но...

Вот именно – но. Опять – но. Если в доподлинности разобраться и вникнуть, то вся человеческая жизнь как раз и состоит из этого самого «но». Что-нибудь путное, что-нибудь доброе и счастливое с тобой, как ты его ни жди и как ты на него ни надейся, может никогда и не произойти, а вот это распроклятое «но», хочешь ты того или не хочешь, – а всё едино явится перед тобой во всём своём сомнительном и непотребном величии, во всей своей сволочной и назойливой неприглядности, во всей своей сокрушительной, нерассуждающей и неумолимой силе – хоть ты прячься от него под кровать, хоть ты беги от него за край света, а оно всё едино явится – и всё тут... Да, может, и не единожды, подлюка такая, явится, а будет путешествовать с тобой по земле все твои годы, и то и дело возникать перед тобой и возникать, возникать и возникать – хоть ты молись, хоть ты чертыхайся, хоть ты заберись на крышу и кричи оттуда кукареку... И получается: живя на этой земле, человек запросто мог бы быть счастлив – но... Но. Но. И – всё тут, и никого тебе исходу, и никаких тебе альтернативных вариантов...

...Господь его ведает, что оно и по какой такой причине произошло с Лизаветой: то ли она надорвалась, то ли не убереглась от сырых и тягучих, благодаря недалёкой реке, вечерних туманов и застудила свою утробу, то ли ещё что–нибудь, а только приспичило Лизавете рожать, когда оно, по всем подсчётам, ещё было не надобно и не полагалось – аккурат впритык к восьмому месяцу. А рожать на восьмом месяце – это же сплошное смертоубийство, а не роды, человеческая натура не так устроена, чтобы рожать на восьмом месяце, для человеческой природы такие роды противоестественны и преступны по самой своей природной сути! Ну и вот, а Лизавета заохотилась отчего-то рожать именно впритык к восьмому месяцу – и родила мёртвое дитя. Родила мёртвое дитя! Сказали, что это мог быть мальчонка... сынок, стало быть, Лизаветин. Такие дела...

Конечно, попервоначалу Лизавета горевала, рыдала по ночам в подушку, а днём – в разнообразных потаённых углах, и всё искала причину своего несчастья. Такая причина, разумеется, вскоре отыскалась, и это был никто иной, как Лизаветин минувший любовник и блудный элемент Эдуард. Ну, конечно, во всём был виновен Эдуард – кто же

ещё-то? Если бы не он, этот Эдуард, то ничего и не было бы: ни Лизаветиного положения, ни её отчаянного бегства в немыслимую деревню Кочубеевку, ни мёртворожденного дитяти, ни потаённого, скрытого от всего мира плача над своей разнесчастной судьбиной, ни бессмысленного ожидания того, что вот де этот самый паразит Эдуард вдруг возьмёт, да и когда-нибудь заявится в Кочубеевку, отыщет Лизавету, упадёт к её ногам, а далее всё будет хорошо и замечательно...

Впрочем, горевала Лизавета не так чтобы и долго: молодость, знаете ли, не располагает к долговому горю, для молодости свойственно постоянное ожидание радости, счастья и прочих удовольствий жизни. Тем более – вскоре в Лизаветиной жизни появилась, если можно так выразиться, прелюдия к этим самым жизненным удовольствиям, а именно – жилец соседних с Кочубеевкой Болтунов по имени Степан, а по жизненным ориентирам – заведующий колхозной болтуновской свинофермой. «Мне, – сказал Лизавете этот самый Степан, – до глубокой фени вся твоя несурзная предыдущая жизнь, потому что я имею конкретные виды на твою жизнь нынешнюю и тем более будущую – вот такой я откровенный и заманчивый для тебя человек! Короче: а выходи ты за меня замуж! Человек я – не какой-то там легкомысленный путешественник, а некоторым образом совсем наоборот – заведующий свинофермой со всеми вытекающими отсюда основательными и полезными для жизни последствиями. Хочешь – будем жить в моём доме в Болтунах, хочешь – у тебя в Кочубеевке, а пожелаешь – то и двояко, то есть временами там, а временами сям. Ну, так как – сговорились, что ли?»

Сговорились, а отчего бы и не сговориться? Жизнь – она, стержога, порою такое коленце перед тобой зайдёт, что, дабы разогнуть это коленце в его первоначальное состояние, не только с заведующим свинофермой Степаном, а и вовсе невесть с кем в сговор войдёшь! Иными словами – легко ли было ей, то есть Лизавете, коротать свои бесконечные одинокие ночи и дни, ни на что конкретное не надеясь и никакими внятными жизненными перспективами не располагая? То-то и оно, что нелегко. Понятное дело. Одним словом – сговорились. Зажили в Болтунах, а свой домишко в Кочубеевке Лизавета задвинула засовом, заколотила досками, да до поры до времени о нём и позабыла...

И прожили они, то есть Лизавета со своим мужем Степаном, почти год. То есть – как раз до того самого крайнего предела, за которым последовало осознание, что – неладно что-то получается в их совместной жизни, что оно бы, по-хорошему, надобно жить как-то иначе, да только как тут заживёшь иначе, коли иначе – не получается никак... Такая вот закавыка, такое вот житейское коловращение. Короче: несмотря на все ночные, дневные и иные прочие совместные с мужем Степаном старания и усердия, Лизавета всё никак не беременела... вот не беременела она – и всё тут! А Степану, само собою, надобно было другое... то есть ему надобен был наследник и продолжатель его жизненных перспектив. И как ни крути, Степан был стопроцентно прав в своих недоумениях и претензиях, потому как – что же это за такая семейная жизнь, ежели без наследника и продолжателя: одно бессмысленное сожитительство, а не жизнь. «Где мои дети? – то и дело мрачно вопрошал Степан у своей супруги Лизаветы. – Слышишь или нет, Лизавета, – где мои дети? Почему их нет, и не предвидится?» И что могла Лизавета ответить на такие, предельно справедливые, мужнины упрёки? Ничего она не могла на них ответить...

Съездили в город к доктору – и Лизавета будто окунулась в зябкую осеннюю реку. «А не будет у тебя, голубушка, никаких детей! – врезал Лизавете, а заодно и Степану, правду-матку доктор. – Я готов свой докторский колпак съесть в подтверждение таких своих слов! А отчего не будет – на то имеется научная причина. У тебя, голубушка, когда-то случился выкидыш, не так ли? Оттого и не будет... Увы и ах!»

...Степан её бросил сам, по своей собственной инициативе. Лизавета, собственно, и не возражала: Степану, о чём уже говорилось, надобен был наследник и продолжатель, и что тут было Лизавете возражать? Хоть ты завозражайся... Она

вернулась в Кочубеевку. Генки Укушенного тогда, сдаётся, ещё и на свете не было, а зато был Генкин будущий отец, Спиридон Укушенный: он-то, этот Спиридон Укушенный, и отодрал от Лизаветиных окошек доски, потребовав с Лизаветы за это своё незначительное действие предельно несправедливую по тем временам сумму – три рубля с полтиной тогдашних денег. И зажила Лизавета в своём кочубеевском домишке, как с горы покатила...

Больше она замуж никогда не выходила, потому что – для чего, что было в том проку? Да и – слух окрест пошёл, что в женском смысле пустая она, никудышная и бесперспективная... Жила, трудилась (одно время – даже работницей на той самой свиноферме, которой заведовал её бывший супруг Степан). Любила ли она кого в своей дальнейшей жизни? А кто его разберёт, любила или не любила. Всякие мужики в её жизни, конечно, случались – как же без этого? Молодые и немолодые, свои и заезжие, холостые и которые при жёнах... Иные норовили напроситься к ней, иные – приглашали к себе, а бывали и такие, которые стремились затащить её во всякие укромные места – в колхозную ли камору, под речной ли разлапистый куст... Одних Лизавета забывала сразу же, других – помнила и даже тосковала по ним... Всякое, короче говоря, случалось, но – была ли то любовь? Или – одна лишь внутренняя растрата и душевная рана, и ничего более? Или же – даже и душевной раны не было, потому что – бывает ли она вообще, эта душевная рана, или это одни только неосязаемые красивые и бессмысленные слова... ведь её, эту душевную рану, даже если она и есть, все едино не пощупаешь, и повязку на неё не наложишь, и никакой микстурой её не удовлетворишь...

Все эти думы, воспоминания... короче, вся эта душевная маета всколыхнулась в старухе Бумагиной неожиданно и враз, как только старик Эдуард произнес свои напрасные слова относительно её, Лизаветиных, несостоявшихся детей, и вот для чего старухе Бумагиной надобно было выйти и побыть в одиночестве от своего нежданно приключившегося гостя. Она и вышла, и когда вышла, то новая неожиданная мысль, а, вернее, новое неожиданное ощущение, а ещё вернее – то и другое враз вдруг снизошло на старуху Бумагину и одолело её, и пригнуло её к сырой земле так, как, бывает, шальный ветер пригибает к земле ракиты, растущие вдоль недалёкой реки. Старуха Бумагина вдруг ощутила себя старой. То есть, конечно, она и до этого не считала себя молодой... да нет, не о том речь, не в этом была суть... суть вырисовывалась в другом... она, эта самая растреклятая суть, вырисовывалась такими сложными кандибоберами, кренделями и синусоидами, что её, холеру, не сразу и ухватишь, вот ведь какое дело-то...

Да, старуха Бумагина не считала себя молодой... это было бы несусветной глупостью и срамным позорищем перед Богом, людьми и собой самой, если бы она мнила себя молодой, какая уж тут молодость... но старуха Бумагина не считала себя и старой... она, по большому счету, вообще не считала себя никакой, то есть она просто-таки не задумывалась над всей этой житейской бодягой, над всем этим летоисчислением, а просто жила, просто влекла, если кому-то угодно такое выражение, телегу своей жизни, и хотя и смотрелась изредка на себя в зеркало, но вряд ли видела в нём свои старческие морщины, потому что смотрелась она, по большому счёту, не на себя, а сквозь себя. Наверно, так ей было легче жить и проще коротать свою одинокую старость... а в общем, дело было даже и не в этом, а... говорю же, сложно выразить эту самую окаянную суть, потому что – как ты её можешь выразить, когда даже сама старуха Бумагина – и то её выразить не в состоянии?..

Короче: Лизавета Федотовна вдруг почувствовала себя старой... это было мгновенное и беспощадное ощущение, которое враз пригнуло её к земле, как ветер пригибает ракиту у недалёкой реки. И причиной этому, а, правильнее будет сказать, виной этому был, конечно же, её негаданный гость старик Эдуард. Вот именно, что – старик. Старик. Ста-рик. Когда-то раньше, тысячу лет назад, Лизавета Федотовна знала его удалым и молодым, а тут вдруг он взял да и заявился во всём своем жалком, потрепанном, ветхом виде... и Господи ты, Господи, вдруг подумалось Лизавете

Федотовне, а я-то сама – не такая ли?.. И я ведь такая же самая, потому что не может того быть, чтобы он, мой прежний любовник Эдуард, постарел, а я сама – осталась прежней, молодой и по всем своим параметрам распрекрасной! И я ведь такая же самая, как и он... Да вот же она, эта сволочная суть: одно дело – быть стариком, и совсем другое дело – вдруг почувствовать себя стариком. Именно! Между этими двумя сторонами медали есть всё-таки разница, – и какая притом разница! Да, да... Ах, ты ж, бывший мой разлюбезный Эдуард, откуда же и каким таким шалым ветром тебя ко мне принесло! Какую же невыносимую занозу ты загнал этим своим неожиданным появлением, старая ты и потрепанная жизнью блудная персона!

А коза Дульсинея тут совсем даже и не при чём: что с нею станется, дрыхнет, небось, сейчас в своем сарайчике, рогатая дура!.. А что касаясь огурца, который старуха Бумагина взяла в руки во время беседы со стариком Эдуардом, да так бездумно с ним и вышла во тьму, то этот огурец она нечаянно и незримо для себя уронила во время своих довольно-таки безрадостных воспоминаний и размышлений, и об этом огурце более не вспомнила. Что ж, всё правильно и закономерно: бывают в жизни моменты, когда огурец представляется предметом абстрактным, бессмысленным и к делу не относящимся...

\* \* \*

Когда старуха Бумагина вернулась в дом, то, во-первых, на старых настенных ходиках обозначалось половина одиннадцатого вечера, а во-вторых, старый Эдуард сидел на своём прежнем месте и внимательно смотрел в тёмное окно – до такой степени внимательно, будто он видел там невесть какую интересную картину. Но никакой картины там, понятное дело, быть не могло, а была одна сплошная тьма, а из звуков – только мягко шлёпающий по чёрному стеклу ночной ветер, дующий со стороны недалёкой реки.

– А, Лизавета Федотовна! – оторвался от своего созерцания старик Эдуард, услышав, должно быть, шаги за своей спиной. – Долгонько же тебя не было... я прямо-таки уже в волнение впал... не случилось ли, думаю, часом чего-нибудь эдакого... потому как тьма над миром – кромешная... Ну, и как коза – почивает? Почивает, говорю, коза-то?

– Что с ней станется, – проронила старуха Бумагина, помаялась посреде комнаты, а затем прошла к столу и села.

– Это – хорошо, – мелко засмеялся старик Эдуард, и старухе Бумагиной показалось, будто это не он засмеялся, а она сама держала в руках сито, а сито вдруг прорвалось, и из него рассыпался и раскатился по всей комнате мелкий горох. – Это – хорошо, когда в хозяйстве всё ладится... то есть и коза, и вообще... А разнообразные мелкие неполадки... то есть электричество в твоих сенях... и ещё я смутно видел во дворе – лежит там большая то ли ветвь, то ли цельное дерево... то есть все это мы завтра – мигом и в два счёта... Поднатужимся – и одолеем... хоть куда... хоть на дрова, хоть вообще... В два притопа, три прихлопа... Ну, чего же ты молчишь, Лизавета?

– А чего мне тебе сказать? – не сразу отозвалась старуха Бумагина. – Ну, чего ты желаешь, чтобы я тебе прямо сейчас сказала? Не знаю я, чего тебе сказать...

– А тогда давай мы с тобой споём! – предложил старик Эдуард. – Нет, и впрямь – а давай мы с тобой споём, Лизавета! Может, ты помнишь, как мы с тобой пели тогда... когда-то... в былые, так сказать, наши времена... то есть, конечно, больше пел я, а ты преимущественно слушала, но всё же, всё же... Ну, так давай мы с тобой, Лизавета, споём!

Услышав про песнопения, старуха Бумагина лишь устало перекосоротилась, и ничего более. Оказывается, она помнила ещё, что это были за песнопения: эти воспоминания, несмотря на невообразимую давность лет, из её старушечьей памяти так и не выветрились. Каким беспутным и непредсказуемым был старик Эдуард в далёкой

своей молодости, таковы были и его песнопения. Пел он, тут же припомнилось старухе Бумагиной, преимущественно одни лишь всяческие срамные и дурацкие частушки, а припев к этим частушкам был всегда один и тот же, ни к селу, ни к городу... нелепый и глупый был припев... погодите–ка, что же это был за припев? А, ну да: «А? Что? Ничего! Жареные раки. Приходите в гости к нам, мы живём в бараке...» То есть – это были как раз те самые слова, по которым старуха Бумагина, собственно, и признала старого Эдуарда, когда он возник из предвечерних сумерек и окликнул её у отрихтованной Генкой Укушенным калитки. Должно быть, и сейчас тоже старухин гость начнёт исполнять свои дурацкие вариации с не менее дурацким припевом. Ну, пой, птичка, пой, коли так уж тебе пожелалось...

– А давай, Лизавета, мы с тобой споём! – не дождавшись ответа от старухи Бумагиной, в третий раз произнёс свое предложение старик Эдуард. – А ежели ты, допустим, не желаешь, то я и сам... как когда-то, в дни нашей давней молодости. Я, значит, стану петь, а ты – слушай...

И, малость помедлив, старухин гость приступил к самому процессу песнопения дребезжащим и сыпучим стариковским голосом. Как старуха Бумагина и предполагала, пел он всё те же самые народные частушки с тем же самым дурацким припевом: «У кого жена – артистка, кому птичница нужна. У меня – баскетболистка, очень видная жена. Ну, так чо? А ничо! Просто я ей – по плечо. А? Что? Ничего! Жареные раки. Приходите в гости к нам, мы живём в бараке!» И далее – совсем уже несусветное и притом препухабное: «Гармонист, гармонист, положи меня на низ. А я встану, погляжу – хорошо ли я лежу. А? Что? Ничего! Жареные раки. Приходите в гости к нам, мы живём в бараке!» И так далее, до полного своего изнеможения, которое, надобно сказать, наступило очень скоро, потому что сам певец был преклонным и притом полупьяным стариком, а пение, да притом ещё и с припевом, требует, как ни говори, изрядных сил и молодого дыхания.

– А лёгкий всё-таки у тебя чемоданишко, – опять припомнилось старухе Бумагиной, когда песнопения её гостя окончательно стихли.

– Лёг–кий, – по слогам и с придыхом, но, тем не менее, очень скоро откликнулся старик Эдуард. – Это ты правильно заметила, Лизавета... то есть лёгкий напрочь... наполненный ветром, да и, можно сказать, ничем более. Фу!.. Умаялся я с этими песнопениями, прямо страсть как! А помнишь, бывалочи...

– Не заработал, стало быть, богатств на своих реках? – прервала старуха Бумагина.

– Не заработал, – тут же подтвердил старик Эдуард. – Как есть не заработал... да и – не за богатствами я кочевал по тем рекам... нет, вовсе даже не за богатствами... иное меня влекло.

На это Лизавета Федотовна не сказала ничего, а лишь разлила остатки самогонки из бутылки по стаканам, один стакан протянула своему гостю, другой – оставила себе: они молча выпили, молча поставили стаканы на стол и в который уже раз молча задумались – каждый о своём. Первым, конечно, нарушил это молчание старик Эдуард.

– А не желаешь ли ты знать, Лизавета, за чем именно, ежели не за богатствами, я всю, можно так сказать, свою разъединственную жизнь пропутешествовал по тем рекам? – спросил он.

– Не желаю, – коротко ответствовала старуха Бумагина.

– Не желаешь... вот, стало быть, как, – несколько даже опешив от такого ответа, сказал старик Эдуард. – Оно конечно... если как того следует, разобраться, то – что в этом может быть интересного? Так, сплошная болтанка туда-сюда... вначале – с юга на север, а затем – в обратном направлении... Чужие мокрые причалы... а что, Лизавета ты моя Федотовна, в тех причалах? Так, одна маета и бессмысленность... и ещё тоска...

чужие причалы, Лизавета, чтобы ты знала, всегда вызывают душевную тоску. Наверно, именно потому, что они – чужие... А, может, ты желаешь знать, как я вообще прожил свою бесталанную жизнь... как, например, я о тебе горевал, как я старался тебя позабыть, и как годы шли и шли, а ты всё не забывалась и не забывалась... Ну так – желаешь ты знать именно это?

– Не желаю, – по-прежнему кратко и отстранённо парировала старуха Бумагина.

– И этого ты не желаешь знать, – горько констатировал старик Эдуард, пьяно пожевал губами и добавил: – Оно конечно... разумеется. Всё нам понятно. Для чего и знать, ежели всё оно – дело прошедшее и минувшее, и быльём поросло, и прахом покрылось, и нет к тому возврата, и ничего не изменить и не поправить... и ежели, будем говорить, даже прощения за всё это просить – и то не много в том будет смысла... Оно конечно... А, допустим, не желаешь ли ты знать, Лизавета Федотовна...

Но на этот раз старик Эдуард не договорил, потому что в закутке за печью вдруг завозился другой Эдуард – козлёныш, и старуха Бумагина мигом вскочила и направилась к закутку узнать, что именно ему, то есть козлёнышу Эдуарду, надобно. Козлёнышу, судя по всему, надобна была самая малость, то есть чьё-то постороннее внимание и чья-нибудь ласка, потому что Эдуард хотя и был козьей породы, но, тем не менее, в первую очередь он был дитятей, а дитяти прожить без ласки невмоготу.

– А ты знай себе спи, – сказала старуха Бумагина козлёнышу Эдуарду, глядя его по спине и по его козьей морде. – Спи себе, спи... Вот настанет утро, и снесу я тебя к твоей матери... уж она тебя и накормит, и приласкает как того следует. А сейчас – ночь, и ты ещё мал... а вдруг да заморозок или какая-нибудь ночная выюга... эвон каким туманом потянуло вечером от недалёкой реки! Спи себе, спи...

\* \* \*

Когда старуха Бумагина, убаюкав козлёныша Эдуарда, вернулась к другому Эдуарду – старику, то увидела, что и этот второй Эдуард так же, как и Эдуард первый, спит. Только того и было разницы, что козлёныш Эдуард спал в закутке за печью, а старик Эдуард – сидя на табурете и уронив голову на столешницу с остатками пиршества. И это обстоятельство вселило в старухину душу саркастические мотивы. «Вишь ты, – подумала старуха Бумагина, – оба Эдуарда – и оба притом спят!»

И насмешливо пожевав губами, Лизавета Федотовна отправилась готовить постель для своего нежданного гостя старика Эдуарда. В старухиной избе, не считая сеней и кухоньки, имелись ещё две комнаты – большая и малая. Вот в малой-то комнате и решила Лизавета Федотовна уложить на ночь своего гостя. Пускай он, значит, в ней переночует, а утром – будет видно. Да, именно так: утром – будет видно: и что, и к чему, и как, и вообще, и всяко...

Постелив постель, старуха Бумагина вернулась в кухоньку. Её гость по-прежнему спал, уронив голову на столешницу, и, показалось старухе, улыбался во сне. И чем-то эта сонная улыбка старика Эдуарда зацепила вдруг старуху Бумагину, какие-то она задела в старушечьей душе тайные незримые струны. Ей вдруг, исключительно независимо от её желания, припомнился давний-предавний эпизод из собственной жизни, и эпизод этот, конечно же, был связан со спящим стариком Эдуардом. Впрочем, в том эпизоде старик Эдуард никаким стариком, само собою, не был, и сама старуха Бумагина также не была никакой старухой в том эпизоде, а были они оба молодые, влюбленные друг в друга и от всего этого – бездумные и счастливые. Тогда, в том эпизоде, была ночь, в чёрные оконные стекла бились крупные капли дождя, во тьме носился невидимый ночной ветер, ветер выл, свистел, звенел и бесновался, но им, молодому Эдуарду и такой же молодой Лизавете, не было никакого дела до этого разгула ночных стихий. На их любовном ложе

были рассыпаны цветы... кажется, в тот раз это были те самые цветы, которые в тамошних краях назывались огоньками... да-да, это, несомненно, были огоньки, сейчас старуха Бумагина это помнила отчётливо... да что там помнила – сейчас она эти цветы ощущала буквально-таки физическим образом, буквально-таки каким-то сверхъестественным, непонятным для неё самой, чутьём. Значит, было так: в комнате царил полумрак, лишь на супротивной от их любовного ложа стене горел слабый ночник, но его свет не разгонял полумрак, а выразительно подчеркивал его... и в этом выразительном полумраке там и сям на постели, будто уголья из разворошенного костра, мерцали цветы огоньки. Сейчас, в сию самую секунду, старуха Бумагина помнила, что эти цветы настолько казались ей угольками из разворошенного костра, что она боялась даже притронуться к ним рукою... а когда Эдуард, одолеваемый любовным желанием, уложил Лизавету на постель и она коснулась обнаженной спиной этих цветов, то на какое-то мгновение Лизавете почудилось, будто и впрямь её спина коснулась углей. «Ой, мамочки, как же горячо!» – вскрикнула тогда Лизавета, упруго и стремительно изгибаясь. «Это где же тебе горячо?» – помнится, удивленно спросил Лизавету Эдуард. «Там», – показала Лизавета, и, припоминается, им обоим, то есть молодой Лизавете и молодому Эдуарду, от этого самого «там» стало смешно и весело, и пока они смеялись, цветы огоньки превратились в самое себя, то есть именно в цветы и ни в какие не уголья; и когда Эдуард вновь опрокинул Лизавету на спину и цветы вновь коснулись обнаженного Лизаветиного тела, то это уже были только цветы – прохладные, нежные, ласкающие, пахучие...

Вот отчего, для каких таких, спрашивается, надобностей припомнился старухе Бумагиной этот мимолётный и, казалось бы, на веки вечные забытый эпизод из их совместной, со стариком Эдуардом, жизни? А лихоманец его ведает, для чего он припомнился! А вот – припомнился, и разбередил мимолётом старушечью душу, и целых, наверно, шесть минут пришлось старухе Бумагиной приводить свою душу в прежнее, относительно безмятежное и суровое соответствие...

Справившись с собственной душой, старуха Бумагина задумалась над тем, каким таким образом ей препроводить спящего старика Эдуарда в ниспосланную ему на грядущую ночь опочивальню. Может, разбудить? Или, может, просто-напросто взять его под руки и, спящего, волоком уволочь в малую комнату? Поразмыслив, Лизавета Федотовна решила не будить своего гостя, а именно-таки уволочь его: какие-никакие силы у старухи Бумагиной ещё имелись, а сам старик Эдуард, всю свою жизнь проволочившись по своим бессмысленным рекам и дорогам, поистрепался из-за этого настолько, что весу в нём было, наверно, не более чем в козе Дульсинее.

Сил у старухи Бумагиной и впрямь хватило. По дороге из кухни в малую комнату старик Эдуард так и не проснулся. Лизавета Федотовна уложила своего гостя на кровать, стащила с него штiblеты, мимоходом заприметила, что штiblеты эти – истоптаны до самой своей последней степени, сунула эту рвань под кровать, хотела затем стащить со своего гостя и штаны, но передумала и сердито махнула рукой – пускай, дескать, спит в штанах – и совсем уже было собралась уходить из малой комнаты в большую, где сама намеревалась провести грядущую ночь.

– Лизавета, а Лизавета, – сказал ей в спину дребезжащий стариковский голос.

– А? – остановилась старуха Бумагина, не оборачиваясь.

– Это как же я тут оказался, Лизавета? – поинтересовался старик Эдуард. – То есть в лежачем положении, и, главное дело, без штiblет...

– Под кроватью твои штiblеты, – по-прежнему не оборачиваясь, сказала старуха Бумагина. – Там и стоят...

– Значит, под кроватью, – сказал старик Эдуард. – То есть я, конечно, относительно штиблет ничего... это я так, спросонья... Похоже, я задремал за столом, Лизавета... сморило меня от дальней дороги...

– Спи, – сказала старуха Бумагина, упорно глядя в противоположную стену. – Спокойной тебе ночи.

– Так ведь мне надобно ещё поговорить с тобой, Лизавета, – сказал старик Эдуард. – Мне... то есть нам с тобой... нам с тобой много о чём надобно поговорить! И, между прочим, это может быть долгий и очень непростой разговор, Лизавета Федотовна! Непростой и долгий...

– Завтра, – сказала старуха Бумагина. – Все наши с тобой разговоры будут завтра. А сейчас – уже ночь.

– Завтра... – не сразу ответил старик Эдуард. – Что ж, пускай – завтра... Оно действительно – какие ночью могут быть разговоры? Вот настанет утро, и уже тогда... Утром будет солнышко, и вообще... Спокойной, стало быть, тебе ночи, Лизавета.

– И тебе того же самого, – сказала старуха Бумагина и вышла из малой комнаты, так и не взглянув на своего давнего ухажёра. А отчего она на него так и не взглянула – она и сама того не ведала. Не взглянула – и всё тут...

...Наверно, до часов четырех ночи старуха Бумагина так и не уснула. Вначале она лежала на диванчике, что в большой комнате, затем – на этом диванчике сидела, затем – опять лежала, затем – для чего-то выходила во двор и, наверно, минут сорок упорно всматривалась во тьму, в сторону недалёкой реки, будто бы надеясь, что эта тьма, или эта река, или они обе вместе дадут ей ответ на какие-то важные, может быть, даже наиважнейшие в её жизни вопросы... Но ни тьма, ни река никаких ответов старухе Бумагиной не дали – может быть, потому, что никаких конкретных вопросов Лизавета Федотовна этим двум инстанциям, то есть ночной тьме и недалёкой реке, и не задавала. Несколько раз старуха Бумагина пыталась вспоминать о своих прежних со стариком Эдуардом взаимоотношениях, об их давно минувшей и, казалось бы, наглухо забытой любви... а, вернее, это не сама старуха Бумагина пыталась об этом вспоминать, это, сдаётся, сама забытая любовь, непрошено возникая невесть откуда, по частям и крохам пыталась пробиться в старухину память и проникнуть в старушечью душу... но старуха Бумагина упорно гнала от себя эти части и крохи, она отмахивалась и отбивалась от них, как, бывает, отмахиваются и отбиваются от оголтелой мошкары, вдруг налетающей со стороны недалёкой реки. Старуха Бумагина не желала этих частей и крох, а отчего она их не желала, она, вероятно, не ведала того и сама. А, может быть, и ведала – и оттого отбивалась от них, как только могла...

И уснула старуха Бумагина только тогда, когда ее скрипучие настенные ходики возвестили раннюю прелюдию утра, то есть четыре часа, и, соответственно, спать оставалось всего ничего...

\* \* \*

Первой, разумеется, проснулась старуха Бумагина: у неё вообще имелась стариковская привычка просыпаться рано, а когда, допустим, Лизавету Федотовну одолевали всякие душевные волнения, тогда она и вовсе поднималась ни свет ни заря. Нынче же старуху Бумагину как раз и одолевали такие волнения... впрочем, поскольку об этом уже говорилось выше, то, стало быть, надобности распространяться на подобную тему более нет.

Перво-наперво, восстав от короткого смятенного сна, старуха Бумагина вышла на крыльцо, чтобы посмотреть, не случилось ли за ночь раннего заморозка. Заморозка не случилось: со стороны недалёкой реки дул мягкий сырой ветер, в мире также



угадывалась сырость, да и само крыльцо, на котором стояла старуха, было сырехонько, да и вся восточная часть неба, откуда должно было появиться солнце, вся была в рваных угрюмых облаках, из чего Лизавета Федотовна сделала вывод, что, должно быть, пока она спала, случился короткий дождь. А из этого следовало, что коль дождь, то, значит, заморозков не предполагается, потому что так не бывает, чтобы заморозки и дождь существовали одновременно. А из всего этого, в свою очередь, значило, что надобно, не опасаясь, брать козлёныша Эдуарда в охапку и нести его к рогатой дуре Дульсинее, козлёнышевой мамаше, стало быть, которая, несмотря на то, что дура, измаялась, должно быть, за ночь без своего драгоценного дитяти. Что старуха Бумагина и сделала, то есть вошла в комнату, растолкала козлёныша, сгребла его в охапку и отнесла в сарайчик.

Воссоединив козлёныша Эдуарда и его мамашу Дульсинею, старуха Бумагина побрела по напрочь промокшей тропинке обратно от сарайчика к дому, и только тогда подумала о вчерашнем госте – бывшем своём возлюбленном старике Эдуарде. И странное дело – подумала она о нём совершенно беспристрастно, то есть до такой степени беспристрастно, будто он, её вчерашний гость старик Эдуард, свалился на старухину голову не вчера вечером, а, предположим, дней тридцать, а то и все сорок назад, и она, старуха Бумагина, настолько успела привыкнуть к нему, что сейчас и размышлять тут особенно не о чём, а всего-то и надобно, что войти в дом, приготовить такой-сякой завтрак, а затем зайти в малую комнату и дернуть постояльца за ногу: вставай, дескать, старик, уже и завтрак поспел, а там и за дело пора... Старуха Бумагина себя знала: беспристрастное размышление о предмете для неё значило, что она приняла об этом самом предмете окончательное и бесповоротное решение. Стало быть, и о своём несуразном госте, бывшем возлюбленном старике Эдуарде она также приняла бесповоротное и окончательное решение, вот так-то. Хотя – какое именно решение она приняла, старуха Бумагина не то чтобы смутно себе представляла, а просто – не желала в том никому сознаваться, даже самой себе – и то не желала. А, может, и боялась сознаваться, потому что такое бывает: вроде бы вы уже и решение приняли, вроде тебе его уже и выполнять надобно, коль приняли, а всё едино – боязно...

Когда старуха Бумагина добралась, наконец, до своей избы, то первое, что она увидела, было крыльцо, а второе – на том крыльце стоял и внимательно всматривался куда-то вдаль, куда-то в разгорающееся утро старик Эдуард.

– А! – вскричал старик Эдуард, увидев старуху Бумагину. – А вот и ты... ну и, стало быть, слава тебе Господи! А я-то, представляешь себе, проснулся, и, главное дело, никак не могу сообразить, что это со мной и где я нахожусь! Заспался, и всю как есть вчерашнюю память со сна у меня и выветрило! Всю как есть память, ты это себе воображаешь, Лизавета? – И старик Эдуард, сказав это, залился мелким рассыпчатым стариковским смехом.

А старуха Бумагина не смеялась: она просто молча стояла, не доходя три шага к крыльцу, и смотрела на своего постояльца... серьёзно так, между прочим, смотрела, основательно и оценивающе. Постоялец же, отсмеявшись, продолжал свой рассказ:

– Да, так вот... а затем-то я, конечно, стал приходить в соображение... а то как же! Ну, думаю себе, а ведь неожиданно я заснул вчера за столом... прямо-таки конфузия со мной приключилась эдакая! Да и то сказать: через всю Рассею к тебе стремился, да пока разыскал твой домишко, да вчерашние вечерние суды-пересуды... а годы-то, между прочим, уже не те... то есть совсем уже не те мои годы, Лизавета Федотовна, такие вот дела-то! Ну и вот – малость оконфузился... Так это, значит, ты самолично волокла меня до кровати и затем сымала с меня штиблеты? Ну, для чего тебе было так-то... ты бы меня растормошила, и я бы встал... я, Лизавета, на подъем дюже как легко... ну, ты это обстоятельство, должно быть, припоминаешь... Припоминаешь ты это обстоятельство, Лизавета?

И на это старуха Бумагина ничего не сказала, а сказала она совершенно другое... то есть, она сказала такие многозначительные и многосмысленные слова, что старик Эдуард мигом поперхнулся недосказанным междометием, и на его лице обозначилось множество чувств – от смятенной растерянности до полного восторга.

– Умывайся, – сказала старуха Бумагина старику Эдуарду. – Полотенец – в сенцах сбоку на гвоздике... И – заходи в дом: станем завтракать.

И сказав такую многозначительную речь, старуха взошла на крыльцо и прошла в дом, а старик как стоял на крыльце с гаммой чувств на лице, так с той гаммой и остался стоять. И только спустя семь или даже девять минут он взошёл в степень действительности и засуетился с умыванием, поиском полотенца, которое и впрямь оказалось в сенцах сбоку на гвоздике, и прочим утренним моционом. А покончив с моционом, старик Эдуард как-то нерешительно и боком вошел в избу.

Стол был уже накрыт: на нем хрипел и булькал чайник, в сковороде благоухала яичница, рядом лежали ломти хлеба, вчерашние поздние огурцы и в стеклянной вазочке темнело смородиновое варенье. А вот самогонки, между прочим, на утреннем столе не наблюдалось.

Сели и стали завтракать. Великая пропасть молчания разделяла сейчас старуху Бумагину и старика Эдуарда. Неведомо было, что таилось в молчании Лизаветы Федотовны, а вот стариком Эдуардом по-прежнему владело душевное смятение, и оттого он молчал. Раз, наверно пять или шесть он порывался заговорить со старухой Бумагиной, и из-за этого один раз поперхнулся яичницей и дважды обжегся чаем, однако же он так и не заговорил, потому что – как же ты с Лизаветой Федотовной заговоришь, когда в её лице, и во всём её взоре, и во всей её осанке ощущалось нечто такое, что изначально приводило старика Эдуарда в неопишную робость, из-за которой он так и не решился осмысленно начать свою речь. Начать же речь, а, тем более, её закончить, а, тем более, выслушать Лизаветин ответный вердикт было для старика Эдуарда весьма желательно, можно даже сказать – это для него был вопрос наиважнейший, вопрос всей его дальнейшей оставшейся жизни, а, может, даже и смерти, но... Вот именно – но. Опять-таки – но. Но – завтрак как начался в непроницаемом обоюдном молчании, так в нём же и завершился.

– Спасибочки тебе, Лизавета Федотовна, – сказал старик Эдуард, когда не то что завтрак был съеден, но и даже чай уже выпит. – Хорош был твой завтрак... просто-таки тысячу лет такого завтрака не вкушал, ни на каких, так сказать, путях и пристанях. Да... Так я у тебя, Лизавета, спрошу: а, допустим, свечечка в твоём хозяйстве имеется? Это я насчёт того, чтобы посветить у тебя в сенцах... покуда, значит, там не имеется никакого прочего света в смысле электричества. Посветить и определиться, что надобно там сделать, чтобы свет там появился... чтобы, значит, там засияла истинная иллюминация. Если ты, Лизавета, припоминаешь, то вчерась я обещал тебе иллюминацию в твоих сенях... ну и вот. То есть как же насчёт свечечки-то?

– Там, – коротко бросила старуха Бумагина, гремя посудой со стола. – Там, на загнётке у печки... там имеется и свечечка, и спички.

И более старуха Бумагина не сказала ничего, не проронила ни единого словца, даже взглядом не повела в сторону старика Эдуарда. Старик Эдуард потоптался, зябко повел плечами, вздохнул, подошёл к печке, нашёл там – действительно – свечечку и спички к ней, еще раз вздохнул и молча удалился в тёмные сенцы налаживать иллюминацию.

То ли в старухиных сенцах проблема с электричеством была пустячной, то ли старик Эдуард и впрямь оказался непревзойдённым специалистом по электрической части, но спустя уже каких-то десять минут в доселе многолетно тёмных старухиных

сенцах вспыхнула-таки иллюминация. А вослед за иллюминацией перед старухой Бумагиной возник и сам старик Эдуард, сияя ещё ярче, чем его иллюминация.

– Принимай, стало быть, дорогая хозяйюшка, работу! – провозгласил старик Эдуард. – Горит! Сияет! Можно даже сказать – полыхает... в фигуральном, разумеется, смысле. Прошу полюбоваться! Прошу, прошу...

Внемля такому настойчивому приглашению, старухе Бумагиной волей-неволей пришлось идти в сенцы, чтобы любоваться. В сенцах и впрямь пылала иллюминация... то есть, конечно, там всего-навсего горела лампочка, но старухе Бумагиной, давно уже привыкшей к своим непроницаемым сеням, показалось, что и впрямь – истинная тебе иллюминация. И в свете этой иллюминации старуха Бумагина взглянула на своего вчерашнего гостя каким-то особенным взглядом... а, может, никакого такого взгляда и не было, может, у Лизаветы Федотовны даже и мыслей таких не имелось, чтобы бросать на старика Эдуарда какие-то особенные взгляды... может, всему причиной и виной была та самая иллюминация и, как следствие, обман визуального восприятия – кто знает...

– Ну-с, – предельно бодрим тоном сказал тем временем старик Эдуард, – а теперь, хозяйюшка, я намерен... при твоём, конечно, полном на то согласии и позволении, пройтись по твоему двору... по твоему, то есть, хозяйству и взглянуть, что там и к чему. Может, подсобить чего там надобно... какую-никакую доску, али ещё чего-нибудь, приколотить к положенному месту... Да, вот: вчера, во тьме, я смутно наблюдал посреди твоего двора то ли огромный сук, то ли цельное дерево...

– Сук от яблони, – бесстрастно отозвалась старуха Бумагина, помолчала и продолжила свой монолог: – Генка Собакин, мелкая его душа, отпилить отпилит, а чтобы убрать этот сук восвоеси, так нет же... Плати, говорит, дополнительную за то плату, я, говорит, по твоей милости с яблони рухнул, я, говорит, теперь человек без селезёнки... Паразит такой...

– Ну, это всё легкомысленные пустяки, – бодрейшим тоном отозвался старик Эдуард. – Какой-то там Генка, какая-то там плата... пустяки, говорю, всё это и легкомыслие. На кой нам теперь этот Генка – ведь правильно? – И не дождавшись ответа на свой потаённый вопрос, старик Эдуард продолжил: – Вот я сейчас отправлюсь во двор, и справлюсь с этим суком безо всякого то есть на то постороннего участия. Подумаешь, какой-то так сук... Вот сейчас пойду – и справлюсь...

И старик Эдуард, не дождавшись, опять-таки, никакой откровенной реакции на эти свои слова от старухи Бумагиной, потоптался еще малость у порога, затем повернулся, вышел, прошёл сквозь освещённые сени, ступил на крыльцо, сошёл с крыльца... И как только его, то есть старика Эдуарда, не стало в доме, старуха Бумагина на долгие восемнадцать, а то и все двадцать четыре минуты опустила на табурет и задумалась. О чём она думала? Да кто ж его знает, о чём. О чём вообще думают старухи в те минуты, когда их одолевает размышление? Может быть, и ни о чём они не думают, а просто так – сидят и сидят, и прислушиваются, как по малой песчинке, будто речной песок из горсти, утекают их секунды и мгновения на этой земле. Ты, значит, сидишь, а они, песчинки, всё утекают и утекают, утекают, и утекают, всё шуршат и шуршат... Старики, они, знаете ли, к такому шуршанию весьма чутки: это, наверно, оттого, что уж слишком мало их осталось, песчинок в горсти...

Так вот: просидев на табурете восемнадцать, а, может, даже и все двадцать четыре минуты, старуха Бумагина поднялась: ей вдруг пришла охота взглянуть в окно и посмотреть, а чем же занимается во дворе её вчерашний гость, её бывший возлюбленный, а ныне лихой электрик и дребезжащий старик Эдуард. Именно так – вдруг пришла охота, да притом это была до такой степени стремительная и всепоглощающая охота, что старуха Бумагина даже успела мимолётом удивиться такому своему настойчивому желанию: с чего бы оно, дескать, вдруг?..

Лизавета Федотовна и взглянула, однако же, никого сквозь оконце не увидела, и оттого, влекомая всё тем же стремительным и всепоглощающим желанием, прошла сквозь освещённые невыносимым для отвыкших глаз светом сени и взошла на крыльцо. Но и с крыльца старика Эдуарда не было видать, а, главное дело, не было и слышать. А между тем слух у старухи Бумагиной, несмотря на преклонность её лет, был отменный, она, то есть старуха Бумагина, слышала даже, как по ночам в своём сарайчике вздыхает коза Дульсинея... между прочим, даже и сейчас старуха Бумагина слышала радостные материнский вздохи Дульсины и ответные, тонкие и прерывистые, вздохи козлёныша Эдуарда, – а вот никаких иных шевелений и вздохов старуха Бумагина в своём хозяйстве более не слышала! Никаких иных вздохов и шевелений – а ведь того не могло быть, потому что где-то здесь, рядом с яблонею ветвью, должен был находиться старик Эдуард! Так отчего же, спрашивается, старуха Бумагина не слышит его дыхания, ежели старик Эдуард там и находится? А? И старуха Бумагина, как только могла, со всей своей старикинской прытью, посеменила к окаянной яблонею ветви.

\* \* \*

Своего гостя и прежнего любовника старика Эдуарда Лизавета Федотовна увидела почти сразу же: он лежал на траве рядом с яблонею ветвью и не мигая, смотрел в покрытое рваными серыми облаками небо, сквозь которые наискосок, отдельными стреловидными фрагментами, пробивалось солнце. Именно так, лежал и смотрел, и то, что старик смотрел, а не пребывал с закрытыми глазами, малость приободрило старуху Бумагину – тем более что тут же она услышала и слабое старикинское дыхание: живой, значит, был старик Эдуард, коли такое дело. Живой...

– Э... – наклонилась старуха Бумагина к лежащему старику. – Да ты это чего... это какой такой лихоманец с тобою стряся? Чего, спрашиваю, лежишь-то... да ты слышишь меня, али нет?

Старик Эдуард, без сомнения, слышал, потому что он тут же в ответ на старухины слова повернул к ней голову и даже со слабой извинительностью улыбнулся: извини, дескать, меня, Лизавета Федотовна, за такую мою непредвиденную конфузию...

– Ну, вставай, – сказала старуха Бумагина, бестолково суетясь руками. – Ну, вставай, слышишь, ты... земля-то холодная и сырая... осень... да еще и дождь прошёл ночью... чего же ты разлегся? Вставай, вставай...

– Худо мне отчего-то, Лизавета, – тихо выговорил старик Эдуард – так тихо, что при всём своём феноменальном слухе старуха Бумагина едва его и услышала... а, услышав, она ещё и рассмотрела лицо своего вчерашнего гостя, и увидела, что лицо-то у него – бледнее бледного, да вдобавок и с крупными каплями пота на лбу. Бледное лицо и крупный пот – это, мимолётно подумалось старухе Бумагиной, было худо... ой, как же это было худо! Это, между прочим, был симптом...

– Да отчего же тебе худо? – забормотала старуха Бумагина. – И ничего-то тебе не худо... это всего лишь моментальная старикинская слабость... такое часто бывает со стариками... Да ты вставай, вставай... земля-то, говорю я тебе, холодная, утренняя и осенняя земля. Подымайся помаленьку...

– Не могу я, – слабо отозвался старик, и в груди его что-то нехорошо заклокотало. – Не могу я, Лизавета... силы мои куда-то враз подевались. Даже на ноги встать не могу... даже на небушко смотреть – и то бессилие меня одолевает... Ты... ты прости меня, Лизавета, за такую мою несвоевременную мерехлюндию.

– Ничего, – сказала старуха Бумагина, – это – ничего... это всего лишь временный упадок сил... такое со стариками происходит... по себе самой знаю. А вот я тебя сейчас под мышки, да и в дом... это я сейчас мигом! Там, в доме-то, и отлежишься. Ничего...

– Не надо, – просипел старик Эдуард, и в его груди что-то опять скверно захрипело и забулькало. – Не надо... я — тяжёлый... тебе будет тяжело... я вот сейчас самую малость отлежусь... и тогда я сам... самолично...

– Ой, да с чего это ты взял, будто ты – тяжёлый? – с подспудным страхом прислушиваясь к этому хрипению и бульканью, с деланной живостью возразила старуха Бумагина. – И ничуть ты не тяжёлый... то есть ни капельки! Да ты ничуть не тяжелее моей козы Дульсинеи... вчера, когда я волокла тебя, сонного, от стола в малую комнату, я это враз определила... так что ты не опасайся, я – сильная... Вот я тебя сейчас... под мышки-то и того...

– Не надо, Лизавета, – совсем уже едва слышно сказал старик Эдуард и надолго замолчал... лишь скрипение и бульканье в его груди да ещё устремленные к небу глаза... то есть только это и говорило о том, что он был жив. – Подстели мне чего-нибудь под голову, Лизавета. Голова отчего-то запрокидывается, небушка не видать... и кружение перед глазами, как, допустим, во время речного шторма...

Старуха Бумагина тотчас же скинула с себя свою стариковскую, свитую из шерсти козы Дульсинеи кофту, свернула её и положила под голову старику Эдуарду.

– Спасибо, – просипел старик Эдуард, – вот теперь мне небушко и видать... и в голове как будто бы прояснение... только как же ты сама без одежды, Лизавета? Замерзнешь, небось...

– Не замёрзну, – сказала старуха Бумагина. – Тем более – сейчас ты малость отлежишься, и – мы домой. Я-то не замёрзну...

Замолчали. Было позднее утро, сквозь серое рваньё облаков отдельными разрозненными лучами светило солнце. Высоко, касаясь самих облаков, в сторону юга летели лебеди... они летели и летели, и их едва слышная нескончаемая переключка падала из-под облаков на землю... падала и терялась в мокрой траве и разлапистом тальнике, растущем у недалёкой реки.

– Лебеди, – отозвался старик Эдуард. – Летят... И вчера вечером летели, и сегодня утром тоже летят... И курлычут... так ладно и светло курлычут... будто это и не лебеди, а, допустим, ангелы небесные... Помираю я, Лизавета, вот ведь какое дело-то. Отчаливаю от пристани...

– И! – словно вспугнутая птица крылами, взмахнула руками старуха Бумагина. – И, старый... Эдуард... чего это ты такое городишь? Как так – помираю? Отчего ты помираешь? И вовсе ты не помираешь... Ты лучше помолчи... побереги силу-то. Отлежись пяток минут, мало-мало оклемайся, а затем я тебя под мышки – да и в дом на постель. Как оно так – помираешь ты? Городишь невесть что...

– Помираю я, Лизавета, – упрямо повторил старик Эдуард, и в его груди опять что-то заскрежетало и заурчало. – Все мои силы враз меня покинули... и к земле меня влечёт, и, одновременно, будто бы куда-то вверх, к небесам... туда, где лебеди. Мыслю, это и есть смертушка...

– А вот я тебя сейчас под мышки! – решительно сказала старуха Бумагина. – Под мышки – и в дом, на постельку... а то как же иначе! А затем – я мигом разыщу Генку Укушенного и снаряжу его в Болтуны за Ароном Израилевичем... за доктором то есть. Он, Арон Израилевич, хотя и не людской доктор, а звериный, и притом человек насквозь ехидный, да ведь оно без разницы! Вот в прошлом году, допустим, он лечил и как есть вылечил мою соседку – старуху Мешалкину. Я, говорит этот Арон Израилевич, прямо-таки не вижу, чем в смысле своего нутра отличается, допустим, та же скотина от, допустим, того же человека... что в ней, в скотине, есть внутри такого, чего, будем говорить, нет в человеке. Так он сказал, а потом взял да и вылечил старуху Мешалкину... то есть взял да и вылечил... основательно и насовсем! И тебя тоже вылечит!

Никогда за всё время своей долгой старости старуха Бумагина не говорила ещё таких пространных монологов, – а всё оно отчего? А всё оно оттого, что Лизавета Федотовна сейчас боялась: она боялась вдруг занемогшего старика Эдуарда, боялась ужасных хрипов и скреготаний в его стариковском нутре, боялась произнесённого им слова «помираю», боялась ещё чего-то неизречённого, чего боятся все люди, а в особенности старики, когда в их присутствии кто-то говорит о смерти. Старуха Бумагина говорила, суежилась, а затем попыталась всё-таки подхватить старика Эдуарда под мышки и отволочь в дом – и вдруг глаза у Лизаветы Федотовны сделались большими и круглыми, и словно бы какой-то свирепый бас вдруг рывкнул где-то внутри её самой... где-то у самого её сердца... и старуха Бумагина обессилена разжала руки.

Потому что – изо рта старика Эдуарда показалась кровь. Вначале – маленькой алой струйкой, затем – эта струйка стала пошире, еще затем – струйка заклокотала и запузырилась на стариковских враз побелевших губах... И всё, что сообразила в такой ситуации старуха Бумагина – так это сдернуть со своей головы стариковский платочек и вытереть им кровь с губ своего бывшего, а сейчас вот, похоже было, и впрямь умирающего любимого.

– Вишь ты... помираю, – прошелестел старик Эдуард, помолчал, собираясь с остатками сил, и продолжил: – Отчаливаю от пристани... А всему, мыслю, причиной – ветвь от яблони. Мне бы, старому дураку, испросить у тебя пилу, да той пилой – её на куски, ветвь-то... а я, видишь ты, решил осилить её в целом виде. Не осилил вот... Как только я её, ветвь то есть, приподнял, так в моих нутрях что-то и оборвалось, и со звоном лопнуло, будто струна... вот так-то – бам–м–м–м... и мои силы враз меня покинули... Вот, значит, и помираю... Ты не волоки меня в дом, Лизавета... потому как бесполезно, да и сама ещё при том надсадишься. И доктора тоже не зови. Я уже скоро... прямо тут, под небушком... Лебеди – вишь как жалобно-то курлычут. Будто оплакивают всю мою нескладную жизнь... будто поминают мою грешную душу...

Вконец обессилев от такой долгой речи, старик Эдуард закрыл глаза и замолчал. Молчала и старуха Бумагина: она не знала, что ей говорить и что предпринимать, а только сидела, глядела на старика Эдуарда, бессознательно комкала в руках свой окровавленный платок, и более ничего. Между тем старик Эдуард, сдается, и впрямь помирал. Его белые губы с запёкшейся на них бурой кровью стали синеть, его бледное лицо также начало приобретать жуткий синюшный оттенок... да–да, очень было похоже, что бывший Лизаветин возлюбленный, который, если разобраться и вникнуть, вконец искорёжил и пустил под откос всю её жизнь, теперь умирал на её, Лизаветиных, руках, и она, старуха Бумагина, ничего не могла с этим поделать, потому что – что ты можешь поделать супротив смерти? Ничего ты не можешь поделать: на то она и смерть.

Где-то далеко, будто на другом краю вселенной, тонко и требовательно закричала коза Дульсинея. Другим бы разом старуха Бумагина кинулась бы на этот зов безо всяких промедлений, но сейчас лишь бессознательно мотнула головой и продолжала сидеть, теребя в руках свой платок с засыхающей на нём кровью старика Эдуарда.

Тем временем старик Эдуард пришел в себя и вроде бы как даже просветлел. Так уж заведено в этом неласковом и угрюмом мире, что всякому человеку перед самой его смертью полагается столько-то минут просветления: кому – минута, кому – три минуты, кому – восемь, а кому-то, может, даже все семнадцать минут. Один Господь ведает, для чего Он дает умирающим людям последние светлые минуты. Может, для последнего покаяния, может, для того, чтобы человеку попрощаться с миром и остающимися в нём людьми и иными тварями, может, для чего-нибудь ещё... Было похоже, что настали такие минуты и для старика Эдуарда.

– За всё тебе спасибо, Лизавета, – спокойным и внятным голосом произнёс старик Эдуард. – И за любовь твою прежнюю и многотерпеливую ко мне спасибо, и за то,

что не прогнала меня вчера от своей калитки, будто пса беспутного, хотя и имела на то полное право... и за то, что ты сейчас, в эти последние для меня минуты, со мною рядом...

Ничего на это не сказала старуха Бумагина, да, наверно, ничего говорить и не требовалось. Солнце целиком пробилось, наконец, из-за рваных облаков и осветило землю каким-то неверным и больным оранжевым светом. В небе непрерывной чередой летели в сторону юга лебеди. Они летели и плакали, а, может быть, пели, а, скорее всего, плакали и пели одновременно. Они плакали из-за того, что улетают и оставляют свои гнёзда на недалёкой реке, а пели они оттого, что весной надеялись к этим гнёздам вернуться.

– А я ведь так и не увидел здешней реки, – сказал старик Эдуард. – Так я её и не увидел... Слышать я её слышал... вчера в темноте... и даже беседовал с ней... а вот чтобы – увидеть... не успел я её увидеть. Большая, говоришь ты, река-то?

– Большая, – отозвалась из своей прострации старуха Бумагина.

– А течёт – куда? – спросил старик Эдуард.

– Туда, – показала рукой старуха Бумагина.

– Стало быть, к северу, – поразмыслил старик Эдуард. – Что ж... Все мои реки всегда текли от юга к северу... и эта, стало быть, тоже... Всё правильно... Я ведь, – сказал старик Эдуард безо всякого логического перехода, – для чего тебя искал, Лизавета? А для того, чтобы остаток своих дней провести рядом с тобой... только с тобой и ни с кем больше... ты меня понимаешь?

– Понимаю, – сказала старуха Бумагина, глядя куда-то вдаль.

– Да... – сказал старик Эдуард. – И вот я тебя отыскал... через всю, можно сказать, Рассею... и провёл свой остаток рядом с тобой... как и стремился... только и того, Лизавета, что мой остаток оказался обидно коротким... но ведь это, я мыслю, не самое главное. Ты со мной согласна, Лизавета, что это – не самое главное?

– Согласна, – сказала старуха Бумагина.

– А помнишь ли ты, Лизавета, – опять-таки безо всякого перехода спросил старик Эдуард, и вдруг стал стремительно задыхаться, а оттого его говор стал беглым, стремительным и бестолковым, – а помнишь ли ты, Лизавета... тот куст звался калиной... и как я увлёл тебя под ту калину... ой, как же это всё было давно... а всё едино – будто только вчера... будто только минувшей ночью... и затем мы лежали под той калиной, и она роняла на нас спелые ягоды... и сок от тех ягод растекался по твоему телу... и я его... я его слизывал с твоего тела языком... и мне тогда казалось, будто я пью наилучшее на свете вино... Ты это помнишь, Лизавета?

– Да, – сказала старуха Бумагина. – Да...

– А на могилку ко мне ты станешь приходить? – спросил старик Эдуард. – Ты приходи, ладно? Всё мне там будет веселее... Так придёшь?

– Приду, – сказала старуха Бумагина.

– Это – хорошо, – сказал старик Эдуард, и вдруг затих и вытянулся в струнку.

Непостижимо и странно, однако старухе Бумагиной не показалось в тот момент, будто старик Эдуард умер: ей отчего-то казалось, что ещё не все, ещё не конец, и её былой возлюбленный ещё очнется и скажет своё распоследнее прощальное слово. И точно, скоро старик Эдуард слабо пошевелился и открыл глаза.

– Как высоко, – непонятно сказал он. – Так высоко, что с непривычки даже и страшновато... Там, в вышине, я и к лебедям прикоснулся рукой, и всю здешнюю реку

свысока увидел... Хорошая река, просторная и добрая... как и все на свете реки. Я ведь отчего вернулся... оттуда, свысока... Лизавета? А давай мы споём с тобой песню... частушку с припевом... как когда-то. Я, значит... я, значит, стану петь, а ты – подпевай...

Прострация, в которой пребывала сейчас старуха Бумагина, есть, наверно, один из способов защиты живого человека от страха. Да-да, так оно, наверно, и водится, потому что даже при таких непостижимо-странных словах совсем уже было умершего старика Эдуарда, Лизавета Федотовна не испугалась и даже не удивилась, а только согласно кивнула головой: ты, мол, пой, а я – подпою...

– Ну и вот, – сказал старик Эдуард, помолчал, собирая совсем уже, наверно, последние свои земные силы, совсем уже последний их остаток, и забормотал: – Что за дивная калина («...калина» – подпела старуха Бумагина), что за чудо-благодать («...годать», – подпела старуха Бумагина), мне вчерась под той калиной обещала милка дать («...дать», – подпела старуха Бумагина). А? Что? Ничего! Жареные раки. Приходите в гости к нам, мы живём в бараче («...бараче», – подпела в последний раз старуха Бумагина). Она подпела, и тут же осеклась, потому что каким-то необыкновенным чутьём вдруг почуяла: её бывшего любимого – старика Эдуарда – больше здесь нет, он в последний раз спел свою дурацкую частушку с таким же дурацким припевом – и его не стало... Как он в окаянном беспутстве жил, так в том же самом беспутстве и помер. Да.

А в покрытом рваной хмарью небе в сторону юга всё летели и летели лебеди, так что было даже удивительно – да неужто столько птиц могла вместить недалёкая отсюда река? Она, река, конечно же, была широкой и длинной, но ведь не настолько же, чтобы приютить на своих водах всю нескончаемую лебязью вереницу? Или, может, лебеди летели вовсе даже не с этой, недалёкой, а с какой-нибудь иной, гораздо большей реки, – одной из тех рек, по которым плавал когда-то только что умерший старик Эдуард, когда он был молодым и беспутным? Может, оно было так, может, эдак – кто его ведаёт? Но лебеди всё летели и летели, всё плакали и плакали, и их тонкий плач падал на землю и терялся в путаной осенней траве и поникших прибрежных ракигах...

\* \* \*

Человеческая смерть – это такая вещь, или, правильнее будет сказать, такое явление, что хоть ты её скрывай черным пологом, хоть ты её не скрывай вовсе – без разницы: всё едино весть о ней мигом распространяется по всем окрестным и даже отдалённым закоулкам, а отчего оно так, о том, думается, никто и не знает.

Вот так и в нашем случае. Не успел ещё бедолага старик Эдуард как следует помереть, а во двор к старухе Бумагиной начали уже заходить люди едва ли не со всей Кочубеевки. Они заходили, подходили к старухе Бумагиной и лежащему посреди двора у яблоневого ветки мертвому старику Эдуарду, что-то говорили, с опасливым и жадным любопытством взирали на покойника и затем уходили, а на их место приходили другие, третьи, восемнадцатые... Сама же старуха Бумагина всё ещё пребывала в прострации, и поэтому даже и не заметила, как какие-то деревенские мужики подняли мёртвого старика Эдуарда, и ничуть при этом не напрягаясь, перенесли его в избу, уложили на лавку, постояли, переминаясь с ноги на ногу, и затем ушли...

Более-менее пришла Лизавета Федотовна в себя только после того, как трагическое утро перевалило за девять часов и стало стремительно приближаться к своему окончанию и, соответственно, к началу дня. Тогда-то старуха Бумагина и заметила, что, не считая покойного старика Эдуарда, вокруг неё присутствуют ещё три личности: старуха Мешалкина (та самая, которую в прошлом году вылечил скотский доктор Арон Израилевич), другая старуха Пилипенко, да ещё Генка Собакин по прозвищу Укушенный. И более – никого.



Присутствие этих троих персонажей было для старухи Бумагиной вполне понятным и объяснимым. Старухи Мешалкина и Пилипенко всегда обходили все, какие случались в Кочубеевке похороны, были на них, где надобно, поминальщицами и чтницами Божьего Писания, где надобно – плакальщицами и утешальщицами, где надобно – обмывальщицами и обряжалъщицами. А Генка Собакин, гадостная его душа, прибыл и остался подле старухи Бумагиной и покойника именно по той причине, что учуял изрядную для себя поживу. Ну, ясно: любого покойника, как-никак, надобно было и в гроб укладывать, и из дому на кладбище волочь, и в ямку опускать, и, может статься, насчёт какой-нибудь заупокойной документации по всяким таким инстанциям прошвырнуться – да мало ли чего надобно покойнику? Это живой сам за себя может справиться всяческую нужду, а покойник, пока его не снесут за недалёкую реку и не зароят на том берегу, требует всяческих хлопот. Ну а где всяческие хлопоты – там для Генки Укушенного и вознаграждение, там и выгода. А уж ежели покойник случается при ветхой, а оттого малоподвижной и бестолковой старухе – ну, тогда вообще... Короче: на всяких кочубеевских похоронах Генка Укушенный, хочешь ты того или не хочешь, был желанным и востребованным человеком со всеми вытекающими для себя приятными последствиями. Ну, а коль на всех, то, значит, и на тех, которые нежданно-негаданно случились в доме у старухи Бумагиной. Вот так-то.

Следуя древним общепринятым традициям, покойника первым делом надобно было обмыть и обрядить в чистую одежду. А, следуя местным кочубеевским обычаям, ко всякому покойнику следовало непременно пригласить, за неимением людского, скотского фельдшера Арона Израилевича на предмет официального фиксирования смерти, и участкового уполномоченного товарища Балабанова на предмет обследования того, не случилось ли с покойником какого-нибудь несчастного случая и не подвергся ли он смертоубийству. И только после всего этого всякий кочубеевский покойник получал законное право быть похороненным.

С обмыванием усопшего старика Эдуарда три старухи и Генка Собакин справились без особенных проблем – просто окатили покойного тремя ведрами холодной воды, обтерли его затем простыней, да и всё тут. Труднее пришлось с обряжением: все три старухи и Генка Собакин в придачу ума не могли приложить, где можно было взять если уж и не новую, то, во всяком случае, приличную для покойника одежду – то есть такую одежду, при которой и самому покойнику, и тем, кто его станет хоронить, не было бы зазорно и совестно. У самой Лизаветы Федотовны никакой мужской одежды в доме по понятным причинам не водилось, обе старухи, то есть Мешалкина и Пилипенко, а уж тем паче – Генка Собакин были также не в счёт, потому что и они не в состоянии были раздобыть похоронную одежду мужского свойства... да где же её взять, ту одежду для покойника? И тут-то старуху Бумагину осенило: а – в чемоданчике, который принёс вчера с собой её гость! Оно, конечно, чемоданишко тот был лёгкий, можно сказать, почти что невесомый, однако же обязаны в нём присутствовать какие-нибудь запасные покойничьи штаны, или не обязаны? А вот мы сейчас поглядим, коли такое дело...

В чемоданчике оказались даже не одни, а целых двое запасных штанов, а ещё – две полосатые рубахи, а ещё – белая матросская фуражка с якорем, а вдобавок – синий пиджак с пришпиленной на ней медалькой, на которой старуха Бумагина мимоходом успела прочитать «За заслуги...», и тотчас же о той медальке и надписи на ней позабыла, потому что главным сейчас было – не медалька, а запасные штаны, рубаха и пиджак.

\* \* \*

...Когда покойный старик Эдуард был обряжен в новые штаны, полосатую рубаху, матросскую фуражку с якорьком и синий пиджак с медалькой, настала пора отправляться в Болтуны за фельдшером Арном Израилевичем и участковым уполномоченным товарищем Балабановым. Идти, разумеется, должен был Генка Собакин, кто же ещё-то.

Однако, заслышав про участкового уполномоченного, Генка, невзирая даже на грядущую выгоду, поначалу заартачился.

– Оно бы, допустим, ежели идти к одному Арону Израилевичу, – капризно сказал Генка, – то на это я заранее согласный, хотя Арон Израилевич, как известно, и обладает неистребимым ехидством характера. Поллитруха от тебя, Федотовна, первачу – и я бы мухой... Но товарищ Балабанов – он, понимаешь ли ты, совсем другое дело... Вот вы все трое рассудите своим стариковским умом – как это я, будучи в подпитии, предстану перед товарищем Балабановым, когда он, тем более, ещё месяц тому велел мне не попадаться ему на глаза ни в каком то есть моем виде... а главным образом – именно в подпитии? Несуразица, получается, уважаемые старухи...

– Ну, а для чего же тебе являться к нему в подпитии? – подозрительно спросила старуха Бумагина, учуяв, само собою, куда клонит поганец Генка Укушенный.

– Я прямо-таки удивляюсь таким твоим вопросам, Федотовна, – рассудительно произнес Генка. – А в каком, интересно мне знать, виде я обязан предстать перед товарищем Балабановым, коли без аванса я в эти Болтуны даже и с места не тронусь, а путь туда – целых два километра, да ровно столько же обратно, да к тому же у меня, как ты припоминаешь, напрочь отшиблена селезенка? Я прямо-таки поражаюсь твоему дилетантству, Федотовна...

– Ну, а ежели, – поразмыслила старуха Бумагина, – в качестве аванса ты получишь от меня не самогонку, а, предположим, полезный для тебя предмет – тогда как?

– Это ещё какой такой предмет? – подозрительно поинтересовался Генка Укушенный. – О чем вообще ведётся речь?

– А, к примеру, о штанах, – пояснила старуха Бумагина. – О его, штанах, покойника... о вторых... которые в чемоданчике. Ему-то, покойнику, они теперь без надобности, а тебе – в самый раз. А то погляди, в чём ты ходишь – можно сказать, что и вовсе без штанов. Срамота одна... Да и по фигуре тебе эти покойницкие штаны будут в самый раз... ибо фигурой ты – как и покойник... то есть мелковат и кривоног. Ну, так как... ежели насчёт штанов?

– Я вижу, – с предельной гордостью ответствовал на это Генка, – что меня здесь желают кровно оскорбить и до невозможности унижить. Опустить просто-таки ниже ватерлинии. Да чтобы я заслуженную поллитруху обменял на снятые с покойника штаны... Да я уж лучше так, совсем без штанов...

– Тьфу, страмец ты подзаборный! – сплюнули разом все три старухи. – Да с какого покойника, да как это так – совсем без штанов! Ты, милок, выражайся поаккуратнее и без пошлостей: как-никак со стариками беседу ведешь! А ежели ты не согласный на такое наше предложение насчёт штанов, то и убирайся, куда тебе угодно – и без тебя, ирода несусветного, управимся! Вымогатель, сдоху на тебя нет! Рэкетир окаянный! Вот как мы нашьлем на тебя товарища Балабанова!..

– Да я – чего? – тут же пошёл на попятную Генка Собакин, сообразив, что, не исключено, он и впрямь малость перебрал со своими капризами и, таким образом, запросто может остаться и без поллитры, и без штанов, не говоря уже о товарище Балабанове. – Я – ничего... я – с нашим удовольствием... то есть завсегда рад помочь... а то как же иначе! Штаны... ну, пускай вначале будут штаны, а уж потом, после всего, и поллитруха... чтобы, значит, совсем уже всё было по справедливости. Тем более ты, Федотовна, говоришь, что они мне, эти штаны, как раз по фигуре... Ну, так давайте мне, уважаемые старухи, эти штаны – да я и пойду в Болтуны за фельдшером Ароним Израилевичем и за товарищем Балабановым – в дарёных штанах и в трезвом виде... И чего нам было ссориться, коли, тем более, такое горе, то есть покойник... и совсем даже нечего было нам ссориться и разводить всяческие политесы!

– На вот тебе штаны, – сказала старуха Бумагина, – на вот тебе двенадцать рублей на проезд автобусом – то есть шесть туда, да шесть обратно. Да гляди, не пропей по дороге ни штанов, ни денег! – Последние слова старуха Бумагина крикнула уже в Генкину спину, а затем сказала, обращаясь к старухам Мешалкиной и Пилипенко: – Сейчас – без чего-то одиннадцать утра. Коли этот обормот Генка не напьётся и не лишится штанов, а как есть управится и к двенадцати часам доставит нам Арона Израилевича и товарища Балабанова, и коли они дадут на то своё позволение, то сегодня же мы его, то есть покойника, и схороним. Оно, конечно, по христианским обычаям надобно было бы выдержать покойника до завтраго в родном доме, так ведь то – в родном доме. А из чужого дома покойника можно хоронить когда угодно...

– Ну, а где ты, к примеру, добудешь гроб, чтобы его хоронить именно сегодня? – поинтересовались старухи Мешалкина и Пилипенко.

– А – отдам свой собственный, – поразмыслила старуха Бумагина. – Я-то себе заготовила года уже три тому как... то есть свой и отдам, коли такое получается дело... в моём гробу его, значит, и похороним. А себе – добуду другой... не завтра, чай, ещё помирать мне... упрошу, к примеру, Генку Укушенного, он мне и смастерит. В моём гробу и схороним...

– Ну, коли оно так, – произнесли разом старуха Мешалкина и старуха Пилипенко, – тогда конечно... может статься, сегодня же и закопаем. Ну-к, Федотовна, и чего ты нам теперь прикажешь?

– А — чего? – не поняла старуха Бумагина.

– Как это так – чего? – удивились товарки. – Ну, тащи тогда свой гроб, будем стелить твоему постояльцу его последнюю постельку... Батюшку бы ему пригласить, покойнику-то... да. Да вот только – где его, того батюшку, возьмёшь? Как помер в Болтунах тамошний отец Кирилл, так с той поры никого другого взамен и нет. Батюшки нет, а люди всё мрут... Придётся без батюшки...

Гроб волокли втроем: старуха Бумагина и старуха Мешалкина тащили саму гробовину, а хитрая старуха Пилипенко – лёгкую крышку с прибитым на ней черным матерчатым крестом. Оно, вроде бы, было и недалеко, из кладовой, и кладовая эта располагалась в боковом ответвлении, не выходя из сияющих иллюминацией сеней, но какие у стариков силы? Пока приволокли, упрели все, даже хитрая старуха Пилипенко.

– Хороший у тебя гроб-то, Федотовна, – отдышавшись, сказали старухи Мешалкина и Пилипенко. – Прямо-таки жалко отдавать такой гроб постороннему человеку... Скажи, Федотовна, жалко тебе отдавать свой гроб постороннему человеку, али нет?

– Чего там, – вяло махнула рукой старуха Бумагина. – Ну, давайте переключивать его, покойника то есть, в домовину, или как?

– Да как же его переключивать, – недоуменно воззрились на старуху Бумагину её товарки, – когда в той домовине – да нет никакой христианской постели? Али мы какие-нибудь нехристи или сектанты, чтобы хоронить человека таким греховным кандибобером? Он ведь, покойник-то, все бока себе отлежит, ежели без заупокойной постели...

«А и впрямь, – подумалось старухе Бумагиной. – Ах ты ж, оказия какая негаданная!» И малость поколебавшись и посомневавшись, старуха Бумагина решила отдать покойнику ту самую похоронную постель, которую она, наравне с гробом, приготовила для самой себя. Иного выхода Лизавета Федотовна не находила, да, по видимому, его сейчас и не существовало, иного выхода-то. Ах ты ж, какая оказия – в самом-то деле!..

– Я – сейчас, – сказала старуха Бумагина и пошла в большую комнату к сундуку.

Вскоре она оттуда вернулась – со специальной, набитой древесными стружками, похоронной подушкой (всякому, если он, конечно, не нехристь и не сектант, на этом свете ведомо, что покойнику наиболее сладко почивать именно на такой, набитой стружками, подушке), с новой простышкой и новым белым, расшитым золотыми крестами, погребальным покрывалом. Постелили мигом, и подступили к лежащему на лавке покойнику. Старуха Бумагина взяла покойника под мышки, старухи Мешалкина и Пилипенко – каждая за одну покойникову ногу, и вскоре усопший улёгся на свою последнюю земную постель, да, надобно сказать, так удобно улёгся, будто бы он таинственным образом сам помогал трём старухам препровождать себя в своё последнее земное обиталище...

– Лёгкий, однако, у тебя, Федотовна, покойник, – сказала старуха Пилипенко, а старуха Мешалкина согласно кивнула. – Можно сказать, почти что невесомый. Бывают покойники тяжеленные – страсть! А твой – будто набитый лебяжьим пухом.

И целых, наверно, пять минут затем все три старухи молчали. О чём они размышляли? Да кто ж его ведаёт, о чём? Может, о покойнике, может, о себе самих, может, о лебедях, взлетающих с недалёкой реки, летящих навстречу солнцу и роняющих на землю невесомый пух, может, о чём-то ещё... Всякие людские думы – тайна, а уж стариковские думы – это, можно сказать, тайна в квадрате. Или даже в кубе. Или, может, даже в параллелепипеде.

– Ну, а сейчас-то, – спросили товарки старуху Бумагину после молчания, – чего нам надобно делать?

– А – чего? – очнулась и старуха Бумагина.

– Чего, чего... Расчегокалась, чегокалка... Плакать теперь нам над ним с причитаниями, али, обратно, святое слово, может, почитать?

– Да как хотите, – сказала старуха Бумагина. – То есть что хотите, то покамест и творите. А я – схожу в сарайчик и посмотрю, чего там: Дульсинея у меня намедни разродилась... мало ли что.

– А! – сделали понимающее лицо старухи Мешалкина и Пилипенко. – Оно тогда конечно... тогда мы управимся и без тебя... то есть ты, Федотовна, ступай себе в сарайчик... а мы, значит, тут...

Выходя из избы, старуха Бумагина неволью оглянулась. Обряжённый в запасные штаны, полосатую рубаху, синий пиджак с медалькой и матросскую фуражку с якорем, старик Эдуард лежал в чужом гробу, на чужой погребальной постели, в чужом, так и не успевшем стать ему родном, доме... И какая-то неведомая сила вдруг толкнула старуху Бумагину в самое сердце. Ей вдруг припомнился один стародавний эпизод из их со стариком Эдуардом отношений – тот самый, между прочим, эпизод, который перед самой своей смертью вспоминал и сам старик Эдуард. Да-да, тот самый эпизод с калиновым кустом. Сейчас этот эпизод помнился Лизавете Федотовне до того отчетливо, будто он случился не в невесть какие времена, а буквально-таки недавно, буквально-таки позавчера, или, может, даже и вчера или, может, даже минувшей ночью.

...Значит, тогда был августовский вечер... удивительный, между прочим, был тот вечер, лёгкий, насквозь прозрачный, будоражащий и вдохновляющий... и все звуки, высказанные в тот вечер окружающим миром и ими самими, молодыми Лизаветой и Эдуардом, не исчезали тотчас же в нежной вечерней полумгле, а долго ещё кружили, звучали, переплетались, то замирая, то возникая вновь, то опять замирая... а рядом, у самой реки, рос разлапистый, со спелыми ягодами калиновый куст... и под этот-то куст, под его непроницаемо-таинственные своды и увлёк молодой Эдуард молодую Лизавету. Там, под калиновыми сводами, было покойно и тихо, и – старуха Бумагина помнила это сейчас особенно отчётливо – какой-то таинственный, будто бы ангельский свет падал

откуда-то сверху, проникал сквозь калиновые ветви, калиновую резную листву и спелые калиновые гроздья... тот свет падал и нежно обволакивал обнажённые тела молодых Лизаветы и Эдуарда... И это было удивительно... то есть удивительным было всё – и сам вечер, и почти ангельский свет... а затем на Лизаветино обнажённое тело вдруг стали сыпаться спелые калиновые ягоды... они сыпались, лопались и чудесным незабвенным вином, попеременно с ангельским светом, растекались по обнажённому Лизаветиному телу. Ну и вот: свет струился, вино растекалось, и молодой Эдуард пробовал это вино губами и языком, он стремился дотянуться до всякой его капельки... и, конечно же, молодой Эдуард при этом откровенно жульничал, то есть его губы касались и тех мест Лизаветиного тела, куда вино ещё не дотекло, да и, пожалуй, вряд ли, учитывая конфигурацию тела, могло дотечь... «Ты это куда... ты это для чего? – понарошку отбивалась молодая Лизавета. – Там... там ничего нет... ни ягод, ни вина... ты – несусветный жулик и несуразный речной бродяга! Отпусти, говорят тебе... не смей!..» Однако же – и это старуха Бумагина также помнила сейчас с поразительной отчётливостью – она тогда ни за что бы не пожелала, чтобы молодой Эдуард и впрямь отпустил её, чтобы он не смел, и чтобы его горячие губы вдруг перестали касаться тех мест Лизаветиного тела, где калинового вина и впрямь не было, да и быть не могло...

Наваждение схлынуло так же неожиданно, как и возникло. Старуха Бумагина растерянно потерла лицо ладонями, вышла в сияющие иллюминацией сени, прошла, ступила на крыльцо, а с крыльца на тропинку, ведущую к сарайчику, где томилась коза Дульсинея совместно со своим сынком – козлёнышем Эдуардом, и пошла по той тропинке как солдат по плацу – не колыхаясь, с прямой спиной и параллельными плечами...

\* \* \*

С козой Дулей и ее сынком козлёнышем Эдуардом старуха Бумагина провозилась целый, наверно, час. Пока обследовала козлёныша, пока отволокла на веревке упирающуюся дуру Дульсинею на речную пойму, где каким-то болезненно-зеленым колером зеленела отава, пока привязала Дулю к колышку, пока наказала ей нажраться как того следует, то есть до отвала, потому что не жрамши – какое и молоко в вымени, а ей, Дуле, надобно было кормить своего сынка, козлёныша Эдуарда, пока Дуля всё это себе уяснила своим козым привередливым умом, да ещё следует добавить столько-то времени на обратную дорогу... да нет, какой там час – часа полтора, а, может, и того более потратила старуха Бумагина на все эти необходимые житейские заботы. И когда она вернулась, наконец, в свою избу, там, в избе, было уже целое несусветное столпотворение.

Во-первых, присутствовал покойный старик Эдуард... ну, с ним-то было понятно: покойник – куда он мог подеваться? Во-вторых, суетились старухи Мешалкина и Пилипенко... и с этими личностями также всё было предельно ясно: пока старуха Бумагина возилась с козой Дулей, старухи Мешалкина и Пилипенко были неотлучно рядом с покойником: может, они причитали, как того требовала народная традиция и их старушечий менталитет, может, читали принесённое с собой Евангелие, может, чего-нибудь ещё... Ну и в-третьих – красовались успевшие совместно прибыть из Болтунов участковый уполномоченный товарищ Балабанов и животный фельдшер, насквозь и без изъяну ехидный человек Арон Израилевич. А было, между прочим, ещё и в-четвертых, то есть в доме околачивался ещё и Генка Собакин собственной персоной, но старуха Бумагина преднамеренно не стала подводить Генку, этого оглоуда и вымогателя, под отдельный перечень: перебьётся, паразит он такой малохольный, много ему будет от того заслуги и чести...

... – И, между прочим, достопочтимый товарищ участковый уполномоченный Балабанов, – втолковывал Арон Израилевич остаток своего монолога, производя какие-то

таинственные действия над покойным стариком Эдуардом, – вы ещё и в том не правы, что проводите резкую грань между жизнью человека и жизнью иной Божьей твари. А я таки вас уверяю, что никакой такой грани в природе не существует, она, эта грань – плод нашего, то есть человеческого, вымысла! Именно так, достопочтимый товарищ Балабанов, именно так – и никак не иначе... да–с! Разумеется, вы вправе спросить: а какой, так сказать, смысл присутствует в этом вымысле то бишь в сей вымышленной грани? Ведь, вправе спросить вы, коль имеется вымысел, то, стало быть в нём, этом вымысле, обязан иметься и смысл, не так ли? А я таки вам отвечу: сия вымышленная грань есть символ. Да, символ... Вам, разумеется, интересно знать, символом чего именно является эта вымышленная грань?

– Мгм, – ответил на это участковый уполномоченный товарищ Балабанов, делая пометки своей милицейской авторучкой в своем милицейском блокноте. – Мгм... к-хе... н-да, оно бы это... как бы того...

– Тогда извольте выслушать меня вплоть до логического окончания моего монолога, – сказал Арон Израилевич. – Сия грань есть символ человеческой гордыни. Да–да, элементарной человеческой гордыни... и вы таки обратно будете неправы, если вздумаете мне возражать! Именно так – движимый гордыней, человек и провел грань между собственной смертью и смертью прочих тварей... Дескать, я, человек, – это не какая-то там иная тварь, лошадь или, допустим, коза: я, человек, – это нечто иное... нечто отличное и возвышенное, а потому и смерть моя – не чета смерти коровьей, а, наоборот, моя, то есть человеческая смерть, есть также акт возвышенный и отличимый. Какой там возвышенный и отличимый, я таки вас умоляю! Вот буквально вчера мы с вами, если припоминаете, будучи в Болтунах, производили совместное следствие по делу безвременно павшей коровы, принадлежавшей, если я таки не ошибаюсь, тамошнему обывателю деду Сухареву...

– Мгм, – ответил на это участковый уполномоченный товарищ Балабанов. – К-хе... оно естественно... как бы это самое...

– Ну, так я вам обязан доложить нижеследующее, – сказал Арон Израилевич, по-прежнему всматриваясь в покойного старика Эдуарда. – Никакой принципиальной разницы между вчерашней бывшей коровой и нынешним бывшим человеком, которого я сейчас обследую, таки, не имеется! То есть, всё то же самое – и у коровы, и у человека... Вы, разумеется, вправе возразить: душа. А я вам, в свою очередь, таки возражу ответно: да, душа. Душа! А только – что мы с вами можем знать о душе? Душа, любезнейший товарищ Балабанов, это не нашего с вами ума дело... это – сфера действия Бога! Вы таки со мной согласны? Ну и воздержитесь тогда со своими неуместными возражениями, коли вы согласны, и не вмешивайтесь в Божьи дела, вам никоим образом не подвластные!.. Итак, душа – это сфера действия Бога, а наша с вами сфера – это суставы, мозг, желудок, сердце, прочая тленная требуха... А она, эта требуха, к вашему сведению, у всех одинакова – хоть у бывшей коровы деда Сухарева, хоть у этого бывшего человека, возлежащего сейчас перед нами в домовине. Только того и разницы, что вчерашняя корова преставилась, скушавши какую-то дрянь на пастбище, а нынешний человек – надорвавшись из-за поднятия непосильных тяжестей. Но ведь это же, достопочтимый товарищ Балабанов, таки не существенно! Существенно другое... А, хозяйка! Вы таки вовремя прибыли, потому что мы с товарищем Балабановым в общем и целом закончили расследование внезапной смерти вашего гостя и пришли к совместному выводу, что он надорвался, пытаясь поднять непосильную тяжесть, и оттого скончался. Я правильно выразил суть нашего совместного резюме, товарищ участковый уполномоченный Балабанов?

– Эгм... вроде бы... оно конечно... кхе–кхе, – дал товарищ Балабанов исчерпывающий ответ.

– И один только нюанс остается для следствия не разъясненным, – сказал Арон Израилевич. – Чем, спрашивается, таким мог скоропостижно надорваться этот несчастный путешественник?

– А – яблонею ветвью, – угрюмо произнесла старуха Бумагина. – Он, – указала старуха Бумагина на Генку Укушенного, – эту ветвь отпиливши, а убрать-то и поленился... А он, – указала старуха Бумагина на сей раз на покойника, – захотел эту ветвь со двора прибрать. Ну и того...

– А я – чего? – откровенно струсил Генка Собакин перед грозным взглядом товарища Балабанова. – Я – ничего... То есть я, конечно, эту самую ветвь того... но поскольку я – человек с порушенной селезёнкой, то я её, ту ветвь и того... то есть не осилил... то есть моей вины с точки зрения уголовного законодательства тут не имеется. Я – ничего...

– Кгм, – сказал в ответ на Генкин испуганный монолог участковый уполномоченный товарищ Балабанов, и все присутствующие поняли, что следствие по факту внезапной гибели старика Эдуарда завершено окончательно, никакой криминальной подоплёки в сути этой гибели не обнаружено, а обнаружено только трагическое стечение обстоятельств, и, стало быть, можно приступать к последнему акту неизменной земной трагикомедии под названием человеческая жизнь.

– То есть, – произнесла старуха Бумагина, – его сегодня можно и схоронить... покойника-то?

– Оно бы это... как бы действительно... кхе–кхе, – сказал товарищ Балабанов, и все присутствующие, кроме, разумеется, старика Эдуарда, посмотрели на Генку Собакина.

– Так это мы – мигом! – уяснив, что в тюрьму он нынешним разом, скорее всего, не сядет, а потому с бодрым воодушевлением воскликнул Генка Укушенный. – То есть мы – моментально и в наилучшем виде! Схороним, не сомневайтесь! Сам я, конечно, будучи человеком слабосильным и с похеренной, вдобавок, в результате моего обрушения селезёнкой, единолично с этим делом не управлюсь... однако же у меня имеются на подхвате три мужичка... ну, вы их, товарищ Балабанов, знаете... Митька, стало быть, Чурбаков, затем – Серега Солёный, затем – этот бродяга... ну, который Киргиз... Вчетвером, то есть, мы это дело и сварганим... то есть и донесём, и закопаем, и вообще всё как и полагается... За справедливую, разумеется, плату... – И Генка выразительно покосился в сторону старухи Бумагиной.

– Это... кгм... ты уж того... кхе–кхе, – сказал товарищ Балабанов Генке прежде, чем старуха Бумагина сообразила подыскать справедливые слова для гневной отповеди мерзавцу Укушенному, вздумавшему потребовать от неё, Лизаветы Федотовны, какой-то там оплаты.

– Понимаем, – заговорщицким полушёпотом ответил товарищу Балабанову Генка, однако же лицо при этом у Генки сделалось до такой степени кислым и расстроенным, что... в общем, думается, тут всё понятно. – Понимаем... То есть мы мигом... безо всякой то есть справедливой оплаты... в сознательном, так сказать, порядке и на общественных началах... Это мы – мухой...

– Кхе, – поощрил Генку товарищ Балабанов, и вдрызг расстроенный Генка удалился за тремя своими компаньонами, то есть Митькой Чурбаковым, Серегой Солёным и бродягой Киргизом.

Явилась вся четвёрка и впрямь очень скоро, потому что – попробуй-ка ты не появишься, когда тебе велит сам участковый уполномоченный товарищ Балабанов! Чревато игнорировать указания товарища Балабанова – о том уж всякому известно: и в самой Кочубеевке, и в Болтунах, и вообще во всём окрестном белом свете. Четвёрка своё дело

знала туго: двое, то есть Митька Чурбаков и Серега Солёный, стали позади гроба, а именно там, где у покойника была голова, другие двое, то есть бродяга Киргиз и сам Генка Собакин, стали спереди, а именно там, где у покойника находились ноги, Генка командовал: «Але-оп!», четвёрка согласованно присела, подхватила гроб, поднялась... всё, можно было отправлять покойного в его последний земной путь.

\* \* \*

В последний путь старика Эдуарда отправляли следующим образом. Впереди шли старухи Мешалкина и Пилипенко и несли на своих старушечьих плечах гробовую крышку. Далее, за старухами, известная нам четвёрка несла гроб с покойником – несла как оно и полагается, то есть ногами вперед, а головой, соответственно, в обратную сторону. Позади гроба шла старуха Бумагина, выполнявшая в похоронном действе роль плакальщицы, рыдальщицы, безутешной родни, а, кроме того, старуха Бумагина была ещё и обременена похоронными полотенцами – длинными, льняными, с помощью которых гроб с покойником опускают в могилу, да так там и оставляют – и сам гроб, и покойника в нём, и полотенца. Ну и вот, а слева от скорбной и малозаметной процессии в качестве наблюдающей и контролирующей инстанции шли участковый уполномоченный товарищ Балабанов и универсальный – то есть одновременно людской и скотский – фельдшер, ехидный человек Арон Израилевич, потому что так уж было заведено в Кочубеевке, а заодно и Болтунах – наблюдать и контролировать процесс погребения тех, кто умирал внезапной смертью. Да, ещё – позади процессии, на безопасном расстоянии, неведомо зачем и надеясь неизвестно на что, бежали трусцой три деревенские собаки: одна – чёрная, другая – пегая и третья – культявая и неопределённой масти. Вот и всё.

Идти, в общем-то, было недалеко: надо было дойти до недалёкой реки, перейти через мост, оказаться на том берегу, подняться по пологому тягуну, взойти на пригорок – и вот оно, кочубеевское кладбище, последнее пристанище отжившего и отмаявшегося грешного и всякого иного прочего кочубеевского люда.

Пришли. Рыть могилку надобности не было, потому что стараниями всё того же Генки Укушенного со товарищи ямка уже была вырыта, да притом и не одна, а целых три, на выбор. Так, между прочим, было заведено в Кочубеевке, а заодно и в соседних Болтунах, то есть и на том, и на этом кладбище всегда зияли загодя отрытые могилки про запас. Это было предусмотрительно и удобно: ты ещё, может быть, только намереваешься помереть, ты, может статься, только ещё произносишь свои последние на этой земле слова, а могилка для тебя – уже вот она, уже она тебя ожидает.

Старику Эдуарду выбрали ямку с краю, с видом на реку. Четверо носильщиков поставили домовину у края могилы, перевели дух и отёрли ладонями трудовой пот. Настало время кому-то говорить последнюю погребальную речь. Речь, разумеется, сказал Арон Израилевич, кому же ещё-то было: а поскольку Арон Израилевич был человеком ехидным, то и речь его была соответственная, то есть ехидная.

– Вот, – сказал Арон Израилевич, – мы хороним человека. Вчера он пришёл к нам в деревню, а сегодня утром – умер, пытаюсь сдвинуть с места тяжёлую ветвь и оттого надорвавшись... Кто он такой, этот человек, откуда он к нам пришёл, и отчего именно он пришёл к нам, а не, допустим, в какое-нибудь другое место, что у него было на душе, у этого человека, как он, в конце концов, прожил свою жизнь, к чему он стремился и на что он надеялся – того мы не знаем, да и знать нам это таки без надобности. Пускай во всём этом разбирается Господь, а наше дело – аккуратно опустить домовину в яму и засыпать затем яму землёй. Вот и всё, уважаемые граждане, вот и всё. А иное прочее – таки дело не наше...

После такой ехидной погребальной речи только того и оставалось, что предать прах старика Эдуарда земле. Что и было сделано: Генка Собакин мигнул бродяге



Киргизу, бродяга Киргиз в тот же миг вытащил из кармана своих бродяжьих киргизских штанов молоток с гвоздями, Митька Чурбаков и Серега Солёный мигом водрузили на домовину крышку, затем бродяга Киргиз застучал с пулемётной скоростью по крышке своим бродяжьим молотком – и спустя какие то полминуты гробовая крышка оказалась приколочена к домовине так, что если бы кто того и захотел, то уже не отдерёшь... После этого Генка Укушенный молча изъясил у старухи Бумагиной погребальные полотенца, с помощью бродяги Киргиза просунул их параллельным образом под домовину, затем Генка ухватился за один край полотенца, бродяга Киргиз – за второй край, за края другого полотенца ухватились Митька Чурбаков и Серега Солёный – и домовина, плавно покачиваясь, повисла над зияющей яминой, а старухи Мешалкина и Пилипенко вразнобой заголосили и завыли, потому что так оно полагается – выть и голосить, когда домовина покачивается над отверстым зевом могилы.

Старуха же Бумагина не выла и не голосила: она просто стояла, смотрела на процедуру захоронения и обдумывала странную мысль, вдруг в этот самый момент пришедшую к ней в голову. Вернее даже, это была не мысль, а вроде как бы сопоставление – уже которое по счёту со вчерашнего вечера. Сейчас старухой Бумагиной владело приблизительно то же самое чувство, что и вчера вечером, когда старик Эдуард, тогда ещё живой, впервые окликнул её, старуху Бумагину, от вечерней калитки. Старухе Бамагиной казалось, что сейчас, в сию самую минуту, в страшную могильную ямину опускают вовсе даже не домовину с упокоившимся в ней стариком Эдуардом, бывшим старухиным возлюбленным, а – опускают и вот сейчас засыпят землёй её, старухину, молодость, и не будет отныне у старухи Бумагиной даже воспоминания о собственной молодости, а только того и будет, что... а, впрочем, не будет более ничего. Ничего. Ничего – и никогда. И старуха Бумагина, ощущая это сопоставление, невольно ему удивлялась и так же невольно пыталась его осмыслить – как, дескать, такое может быть, что вместе со стариком Эдуардом хоронят и ее давным-давно минувшую молодость, – а потому, наверно, и не плакала. Плакать и осмысливать, плакать и сопоставлять – это, между прочим, вещи малосовместимые. Вот так.

...Висела она, то есть домовина, над яминой какой-то единый миг, а затем, всё так же плавно покачиваясь, стала опускаться на дно ямины, опустилась, улеглась, и тотчас же чёрная здешняя земля вперемежку с серым здешним камнем застучала по забитой глухим киргизским боем крышке. Через какие-то четыре минуты всё было закончено: на месте ямы образовался земляной холмик, под которым на время, то есть до Судного Дня, упокоился беспутный и блудный старик Эдуард.

И только тут общество обратило внимание на одно непредвиденное несоответствие. Вот ведь какое получилось дело-то – старика Эдуарда, оказывается, похоронили без креста! Без креста его похоронили... то есть земляной холмик, сиречь могила, присутствовала, а креста-то при ней – и не было! Не имелось... отсутствовал крестик! Да как же они все, хоронившие, так оплошали и опростоволосились, что погребли христианскую душу без креста! Ведь не нехристи же они какие и не сектанты – за исключением, само собою, Арона Израилевича и, наверно, бродяги Киргиза, – а вот поди ж ты... Ах, лихо-то какое несусветное, ах, какая опрометчивость, затмение ума и незадача!..

Впрочем, если разобраться и вникнуть, то никакой такой опрометчивости, затмения ума и незадачи тут не было, потому что – какая же тут незадача и опрометчивость, не говоря уже о затмении ума, скажите на милость? Всё было просто и ясно: старика-то Эдуарда схоронили — в чём?.. В чужом старухином гробу его схоронили, разве оно не так? Так. А гроб – это, к вашему сведению, такое приспособление, такой, знаете ли, похоронный атрибут, что им можно запастись и загодя, в том нет никакого греха. А вот чтобы соорудить впрок ещё и крест – это ни-ни, такого не видано и не слыхано было не только в Кочубеевке и Болтунах, но и, пожалуй, на всём прочем христианском белом свете. Это, может, среди сектантов и нехристей такое водится,

чтобы сооружать кресты впрок, но никак не среди православного народа. Потому что крест – это вам не гроб: готовить крест загодя и впрок – это непременно к скорому несчастью, к скорой и неминуемой смерти, а вы как себе думали-то? Вот поглядит Господь на то, что у тебя уже и гроб налажен, и крест приготовлен, да и скажет: ну, коль оно так, то и тебе самому, человеке, незачем задерживаться на свете. И – готово дело... А коль креста у тебя нет, то Господь, может, и подумает: ну, коль креста у него нет, то пускай ещё поживет... Вот оттого-то старуха Бумагина и приготовила для себя все погребальные принадлежности, кроме креста, и то же самое было и у старухи Мешалкиной, и у старухи Пилипенко, и у всех прочих стариков и стариков что в Кочубеевке, что в Болтунах.

А всё едино – неловкость, отвлекшись от своих мысленных сопоставлений, подумала старуха Бумагина. Ну да – делать нечего: не откапывать же обратно старика Эдуарда с тем, чтобы затем похоронить его обратно – уже с крестом. А надобно сделать вот что. Завтра или, допустим, непременно послезавтра надо будет уговорить охламона Генку Собакина, чтобы он смастерил ещё и крест; и не только смастерил, но и установил тот крест на могилке старика Эдуарда. Придется, конечно, за такую сверхурочную работу Генке Собакину и приплатить, куда от того деваться, а только – крестик надобно непременно изготовить и водрузить, потому что коль имеется на земле могилка, то над ней обязан быть и крест. «А хорошо, наверно, будет, – подумала в качестве заключительного резюме старуха Бумагина, – ежели к могиле – ещё и крестик. Далеко, должно быть, тогда будет видно могилку, с самой реки, а, может, даже и с того берега...» Так старуха Бумагина подумала, а вслух сказала другое, традиционное:

– Попрошу вас, люди добрые, все как вы есть, прибыть ко мне в дом на поминки усопшего раба Божия Эдуарда. Попрошу всех вас не отказать мне в такой вашей милости и уважении...

И сказав такое, старуха Бумагина поклонилась всем присутствующим на кладбище, включая в этот перечень в том числе и Генку Укушенного со всей его компанией, и даже трёх собак, терпеливо ожидавших поодаль: одну – чёрную, другую – пегую и третью – культявую и неопределённой масти...

\* \* \*

Поминали раба Божия Эдуарда старухиной самогонкой и старухиной же немудрящей закуской. Оно, конечно, был непорядок – употреблять самогонку в присутствии самого участкового уполномоченного товарища Балабанова, потому что товарищ Балабанов на вверенном ему участке боролся с самогонноварением целеустремлённо и самозабвенно. Однако же бывали в жизни случаи, когда товарищ Балабанов относился к наличию самогонки в пределах своей милицейской сдержанности и даже, можно сказать, спустил свои милицейские рукава. Одним из таких случаев как раз и были поминки.

Генка Собакин разлил самогонку по стаканам, все подняли стаканы, пробормотали: «Царствие небесное», не чокаясь, выпили, поставили стаканы на стол и грустно задумались каждый о своём, потому что таков обычай – грустно задумываться над бренностью бытия во время поминальной трапезы. Посидели, подумали, затем тот же самый Генка Собакин налил по второму стакану, все выпили и по второму, опять посидели и подумали, а затем старуха Бумагина взяла и заплакала – неожиданно, горько и взахлёб.

Самое-то главное, что она в начале поминальной трапезы даже и не намеревалась плакать, даже и в мыслях у неё такого не было, а вот, поди ж ты – вдруг подступило, припёрло, наплыло и налегло, и слёзы сами собой приблизились к старушечьему сердцу и потекли из старушечьих глаз... а вот, между прочим, что именно

подступило, налегло и припёрло – да кто ж его ведаёт... старуха Бумагина и сама того не знала. Может, это были воспоминания о былом, может, какие-нибудь сопоставления, может, причиной была выпитая самогонка или своевременно не установленный крест, может, что-нибудь ещё, может, всё это вместе... А, глядя на старуху Бумагину, тотчас же вразной завыли-заголосили и старухи Мешалкина и Пилипенко, и бродяга Киргиз вдруг затянул что-то своё, бродяжье и киргизское, так что даже и не поймёшь, запел он или, наоборот говоря, заплакал, и Арон Израилевич нахмурил философское своё чело, и даже участковый уполномоченный товарищ Балабанов, произнеся: «М–да... оно как бы того... конечно... кхе–кхе...», встал из-за стола и вышел на крыльцо проветриться и обрести обыкновенную свою суровую твёрдость духа...

... – А ведь он, – причитала, захлёбываясь слезами, старуха Бумагина, – приехал ко мне... покойник-то, Эдуард... чтобы дожить-скоротать век рядом со мною... потому что, ежели хотите себе знать, у нас с ним, с покойником-то... у нас с ним была когда-то несусветная любовь, так-то вот... да! А вы все, наверно, думали, что это ко мне прибыл какой-нибудь неведомый бродяга, и я его приняла-приветила Христа ради... как бы не так... эх, вы-ы-ы... а у нас-то была с ним любовь... ах, какая же у нас была с ним любовь... когда-то... всем на зависть... он каждый раз дарил мне цветы и лазал ко мне в окно по приставной лестнице! Га-а-а-а... Гы-ы-ы-ы... У-гы-гы-ы-ы...

В тот же самый стакан, из которого старуха Бумагина только что пила заупокойную самогонку, ей налили воды, Лизавета Федотовна эту воду выпила и малость успокоилась – во всяком случае, она перестала выть и только прерывисто всхлипывала, качаясь на своем табурете, как кукла-неваляшка, когда её, озорной шутки ради, щёлкнешь по макушке. А затем, уже более спокойным, но всё едино скорбным тоном, старуха Бумагина ни к кому конкретно не обращаясь, продолжила:

– А вот образ жизни он, покойник-то, вёл глупый и несуразный... да-да. Всю свою жизнь проваландался по всяким рекам... а что те реки? Что те реки... так, душевная маета, чужие огни по берегам и чужие пристани, горькое одиночество, маета и ничего больше... ничего другого на тех реках и нет. И мысли он всегда имел неправильные, и песни он всегда пел глупые... Срамные песни... Вот погодите–ка... – сказала старуха Бумагина, помолчала, покачалась на табурете, и вдруг затянула тоненьким и дребезжащим старушечьим голосом: – Гармонист, гармонист, положи меня на низ, а я встану-погляжу – хорошо ли я лежу. А? Что? Ничего! Жареные раки. Приходите в гости к нам, мы живем в бараке... Или вот, ещё... От деревни до деревни два километра езды. Потеряла моя милка... – Старуха Бумагина не допела, умолкла, помолчала, горестно усмехнулась и заключила: – Да... И песни он пел глупые, и припев у этих песен также был самый глупый... а всё-таки у нас с ним когда-то была любовь, а вчера он прибыл ко мне... говорил, что через всю Рассею... должно быть, врал, что через всю Рассею... потому что оно очень далеко, ежели через всю Рассею... потому что, говорят, она до чрезвычайности велика, вся какая есть Рассея, так что если, предположим, у нас – закат, то на обратном её краю – уже и рассвет... а вот сегодня мы его схоронили – без креста...

Между тем наступал вечер. В деревне Кочубеевке всю уже раздавались вечерние звуки, с недалёкой реки напал туман, он кучерявился в низинах и стремился подняться вверх, к самым небесам, чтобы объять небеса, заслонить их от людей и ото всех прочих Божьих тварей, обитающих на земле. Народ стал расходиться. Первыми, как и полагается, откланялись участковый уполномоченный товарищ Балабанов и овечий фельдшер, ехидный человек Арон Израилевич. За ними, семеня и скорбно подвывая, засобирались старухи Мешалкина и Пилипенко. Оставались ещё паразит Генка Укушенный со товарищи, но их – старуха Бумагина знала о том по своему горькому опыту – надобно было выпроваживать с применением всяческих усилий и едва ли не поганой метлой, а для этого, хочешь ты того или нет, старухе Бумагиной надобно было выходить из скорбной меланхолии и переключаться на действительность. Поэтому, затворив дверь

за ушедшими поминальщиками, старуха Бумагина тут же приступила и к оставшейся компании.

– Вот вам, касатики, – сказала Лизавета Федотовна, указывая на стол, – остатки поминального угощения, забирайте его и ступайте, куда хотите. А мне – недосуг, мне ещё надобно волочь козу с пастбища в сарай, затем – приглядеть за козлёнышем, затем – вообще... так что вы ступайте себе, ступайте...

– А маловато будет, хозяйюшка, – сказал за всю компанию Генка Собакин, имея в виду предложенное угощение. – Добавить бы надо...

– Участковый товарищ Балабанов тебе добавит, – моментально парировала старуха Бумагина. – Вот я его сейчас окликну, он вернётся – и добавит...

И это был весьма сильный со стороны старухи Бумагиной ход, потому что супротив участкового уполномоченного товарища Балабанова разве поспоришь? Против него не поспоришь, разве что самому себе в неопикуемый вред. Поэтому, лишний раз заслышав о товарище Балабанове, вся четвёрка разом увяла, суетливо сгребла всё со стола и гуськом направилась к дверям.

– А ты, Генка, погодь-ка на один секунд, – окликнула старуха Бумагина. – Потому что есть у меня к тебе дело. У меня, между прочим, к тебе есть даже целых два дела.

– Покурите себе на крылечке, – велел Генка Укушенный своим собратьям, и когда те вышли, Генка выжидательно уставился на Лизавету Федотовну.

– Первое моё к тебе дело, Генка, – издалека начала старуха Бумагина, – вот какое. Я, видишь ли, насчёт ветви... той самой: ведь лежит ветвь-то... так, неприбранная и лежит. Вот, значит...

– И что же из того следует? – моментально уяснив потаённую суть старухиных намёков и явственно почуяв запах грядущей поживы, спросил Генка Укушенный.

– Так прибрать бы ветвь-то, – просительно сказала старуха Бумагина. – Довершить бы начатое дело... коли уж так оно всё нескладно получилось.

– Удивительны, Федотовна, твои речи, – напыщенно начал Генка Собакин свой обычный монолог, моментально сообразив, что, пожалуй, в данном случае участковый уполномоченный товарищ Балабанов ни при чём и по боку и, значит, он, Генка Собакин, имеет право и возможность взять у Лизаветы Федотовны реванш, то есть может кочевряжиться и торговаться, как ему самому будет угодно. – Или ты, Федотовна, может, запомнила, что из-за твоей глупой ветви я напрочь лишился своей селезёнки, и отныне я не имею возможности и права поднимать более шести килограммов за один раз, иначе запросто могу отправиться вслед за твоим квартирантом по тому же самому маршруту? Селезёнка, Федотовна, это, знаешь ли, такая тонкая материя... это, видишь ли, такое серьёзное обстоятельство, что не приведи и помилуй. А ты говоришь – ветвь... Несознательные твои слова, Федотовна, вот что я обязан тебе сказать. Неосведомлённый ты человек в смысле потаённых тонкостей анатомии...

– А ты её – по частям... ветвь-то, – ещё более просительно сказала старуха Бумагина, терпеливо выслушав напыщенный Генкин монолог. – Да, по частям... Возьми то есть пилу, и – на части... ветвь-то... тогда и осилишь, и селезёнка твоя тебе не понадобится...

– Говоришь, по частям? – переспросил Генка, и было похоже, что такая неожиданная идея ему вполне даже глянулась. – По частям – это можно... это куда бы ещё ни шло... даже, допустим, невзирая на мою изничтоженную в хлам селезёнку... А какая, к примеру, будет за то твоя справедливая оплата, ежели я её, эту твою ветвь, да по частям?..

– Да какая там ещё оплата за такую-то безделицу? – привычно заюлила старуха Бумагина. – Подумаешь, ветвь... опохмелю я тебя за это самое, да и будет тебе. Дело-то – пустячное...

– До невозможности обидные слова я от тебя слышу, Федотовна, – сказал на это Генка Собакин. – То есть как так – пустячное дело? И вовсе даже не пустячное... ветвь – она и есть ветвь... штука обременительная и трудоёмкая. Короче говоря, с тебя – литряк. Один флакон – в качестве предоплаты, и другой флакон – по исполнению моего исполинского труда. И в этом, – пышно завершил свой монолог охламон Генка Укушенный, – заключена наивысшая вселенская справедливость.

– Литр – за какую-то поганую ветвь? – возмущённо сказала на это старуха Бумагина. – Да есть ли у тебя остатки совести, несчастный ты аферист, чтобы так измываться над старухой?

– Ну, – патетически произнес Генка Укушенный, – если уж дело дошло до остатков моей совести, тогда – желаю тебе, Федотовна, оставаться во здравии, а я – пошёл. И пускай та ветвь пребывает на твоём дворе во веки вечные... коли такое получается дело!

И чеканным демонстративным шагом Генка Укушенный направился к выходу, а старуха Бумагина испугалась, потому что у неё, между прочим, было к аферисту Генке ещё и другое дело, помимо ветви.

– Ну, ладно, – выдавила она в Генкину спину, и Генка моментально остановился, потому что он знал, что старуха согласится на его условия, – а куда же, спрашивается, ей было деваться?

– Я тебя внимательно слушаю, Федотовна, – с чувством невыразимого достоинства произнес Генка Укушенный.

– Дам я тебе твой литряк, чтоб ты им подавился, антихрист ты проклятый, – злобно сказала старуха Бумагина. – Но – не за просто так, а за дополнительную работу, то есть – за две работы сразу.

– Это как же я должен понимать такие твои, Федотовна, необоснованные слова? – высокомерно поднял бровь Генка Собакин.

– То есть – за ветвь и ещё за крест, который ты должен будешь соорудить и водрузить на могилку, – пояснила старуха Бумагина. – А то не хорошо, когда могилка – да без креста...

– Это о каком же таком кресте идёт речь? – надменно поинтересовался Генка Собакин, но тут же и осёкся, потому что хотя он и был охламоном, аферистом, паразитом, антихристом и подлой душой, но, несмотря на всю свою исчерпывающую характеристику, Генка Собакин был при том русским человеком, а русский человек, каким бы прохиндеем он ни был, разговоров о кресте равнодушно перенести не в состоянии: разговоры на такую тему всегда вызывают в русском человеке всяческие потаённые душевные ассоциации и возвышенно-горькие чувства: так уж русский человек, должно быть, устроен, и ничего с таким своим устройством он поделывать не может. – А, понятно... Действительно – непорядок. Что ж, можно наладить и крест. Но – за отдельную плату, то есть – за дополнительный флакон. Не для себя, не для себя, – поспешил заверить Генка, видя, что старуха Бумагина готова броситься на него едва ли не в штыковую атаку. – Не для себя, говорю, а – для того чтобы добыть материал для креста. Дерево, краску, гвозди... ну, чтобы всё было чин-чинарём, короче говоря. А без предварительной оплаты – кто же мне его выдаст, материал-то, поразмысли сама. Вот, предположим, явлюсь я на болтуновский лесной склад к тамошнему сторожу дядьке Ибрагиму и скажу ему: а слышь-ка ты, дядька Ибрагим, выдай мне по благу столько-то тёсу для православного креста! И как ты думаешь – выдаст он мне этот тёс для православного креста, коли он – дядька

Ибрагим, а стало быть – душа неправославная? То-то и оно, что не даст. А то ещё из ружья стрельнет... А с этим самым делом, то есть с поллитрой, глядишь, всё и образуется. Ну, разве я не прав? А тогда, ежели я прав, накати мне дополнительную поллитруху, и я тут же пойду добывать материал для креста. А завтра всё и обрихтуем: и крест, и ветвь.

– А не обманешь? – с наивысшей степенью подозрительности спросила у Генки Собакина старуха Бумагина.

– Опять, Федотовна, я слышу от тебя оскорбительные слова, – как можно более обидчиво произнес Генка. – Да неужто я тебя когда-нибудь обманывал? Сказано – налажу завтра крест и разберусь с ветвью, значит, так оно и будет. Моё слово – гранит и кремень... твёрже алмаза моё слово, вот так! Ну, давай скорей поллитру, да я и пошёл, а не то, как ты сама знаешь, я человек укушенный и потому со мной возможны непредсказуемые осложнения...

Медленно, как сверх всякой меры перегруженная баржа, старуха Бумагина потащила в соседнюю комнату к сундуку, долго там копошилась и, сдаётся, даже вполголоса там причитала, а затем всё так же медленно выползла обратно из комнаты с бутылкой в руке и уже совсем медленно, буквально-таки по фрагментам, протянула эту бутылку Генке Собакину.

– Великодушное тебе, Федотовна, мерси за твоё доброе ко мне отношение, – радостно сказал Генка, принимая бутылку и устремляясь с нею к дверям.

– Так смотри же, не обмани, – проскрипела старуха Бумагина в Генкину спину, но вряд ли Генка старуху Бумагину уже и слышал...

\* \* \*

Пока старуха Бумагина препиралась с Генкой Собакиным, в мире наполовину стемнело. А из этого следовало, что надо было немедленно отправляться за козой Дульсинеей, потому что коза Дульсиня, во-первых, обладала глупым характером, а во-вторых, была чёрной масти, и попробуй-ка ты её при таких-то характеристиках и обстоятельствах разыщи во тьме, несмотря даже на то, что Дульсиня вроде как бы была привязана за верёвку к колышку: колышек – колышком, а Дульсиня – Дульсинеей. Надев старую, в дырах кофту, старуха Бумагина вышла из дому, заперла дверь на замок, спустилась с крыльца, прошла сквозь отрихтованную калитку и пошла по направлению к недалёкой реке.

До того места, где томилась коза Дульсиня, расстояния было всего ничего, но старушечий ход – скажем о том в последний раз – всегда долог и труден. Вначале старуха Бумагина шла и думала о вероломстве Генки Собакина и о том, что, согласившись на три бутылки самогонки за столь никчемную Генкину работу, то есть за ветвь и за крестик, она тем самым сильно прогадала и возвела саму себя в неопишуемый убыток. А затем прямо посреди дороги, несмотря на всё более густеющую тьму, Лизавета Федотовна неожиданно остановилась. Ей вдруг пришла в голову очередная, которая уже по счету за эти последние два дня, удивительная мысль, а правильнее будет сказать, очередное сопоставление. Вчера, подумалось старухе Бумагиной, был вечер, и сегодня тоже – вечер. Вчера небо было укутано бесформенной и угрюмой рванью облаков, и той же самой рванью оно укутано сегодня. Однако же, думалось далее старухе Бумагиной, сегодняшнее вечернее небо, тем не менее, отличается от вчерашнего вечернего неба, а вот чем именно оно отличается, попробуй пойми... А, вот чем оно отличается: вчера, помнится, по небу в сторону юга летели невидимые лебеди: они, значит, летели, и весь окрестный мир был заполнен их подспудно волнующими душу печальными кликами. Они, лебеди, летели и прощально плакали всю предыдущую ночь и всю первую половину

минувшего дня, до той, кажется, поры, пока не схоронили старика Эдуарда – несмотря ни на что, единственную любовь старухи Бумагиной за всю её долгую, нескладную и пустую жизнь. А вот когда старика Эдуарда схоронили, то лебеди, сдаётся, тут же и прекратили свой нескончаемый невидимый лёт, и не стало более слышно их щемящих прощальных кликов... Да–да, получилось именно так: старик Эдуард помер, его похоронили, и по небу перестали лететь лебеди. А отчего оно получилось именно так, и отчего их, лебедей, не стало, и куда они подевались – кто же их ведаёт? Может, все они к той поре улетели, может – по неведомым причинам прекратили свой печальный лёт до завтраго, до послезавтраго, или, может, даже до следующей недели – кто их, лебедей, разберёт?.. У них – своя жизнь, у лебедей-то. А у людей, стало быть, своя...

На этом, по идее, можно было бы и закончить все сопоставления и отправляться далее за козой Дульсинеей, но к старухе Бумагиной вдруг, вослед за сопоставлениями, пришло ещё и неожиданное желание. Ей вдруг захотелось тотчас же, немедля, услышать лебединый клич с покрытого рваной хмарью и стремительно темнеющего неба: да притом так старухе Бумагиной этого захотелось, что хоть ты плачь, хоть ты кричи, хоть ты падай на колени и начинай молить невидимого Господа, чтобы Он без промедления послал хоть самый незримый, хоть самый слабый, хоть разъединственный лебединый клич, – а для чего старухе Бумагиной это было надобно, из-за чего у неё вдруг возникло такое неожиданное желание, про то она сейчас не думала и думать не желала... Ей просто так желалось – и всё тут. И, влекомая своим неожиданным желанием, старуха Бумагина прямо посреди тропы опустилась на колени и принялась молить Бога о ниспослании лебединого оклика с черного, невидимого неба.

Она молилась долго – может, целый час, а, может, и того более, совсем позабыв и о томящейся на привязи козе Дульсинее, и о страдающем от одиночества козлёныше Эдуарде, и о паразите и аферисте Генке Собакине по прозвищу Укушенный, и обо всех остальных своих многочисленных старушечьих печалях и горестях. Она молилась истово и нескончаемо, но так и не услышала лебединых кликов с непроницаемо тёмных небес.

Безмолвствовали небеса.

## ВЗГЛЯД НА МИР С ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ

### 1.

Дежурство было как дежурство: три квартирные кражи, два ограбления, покушение на угон автомобиля, пять драк с нанесением телесных повреждений различной степени тяжести, одна невнятная, без жертв, перестрелка, двадцать четыре семейных скандала... Да, еще: была ночная погоня за одним лихим цыганом, чья личность милицию интересовала уже давненько, да вот только с той погони ничего путного не вышло, потому что цыган оказался типом проворным и сообразительным, и в процессе погони затерялся в каких-то окраинных переулках, а, может, даже успел заскочить в какую-нибудь кстати подвернувшуюся халупу – кто его, этого цыгана, знает?.. В общем, ничего необычного не случилось, все было как всегда: ближе к утру Артем даже сумел с полчаса вздремнуть за столом своего рабочего кабинета.

Сдав дежурство и получив вполне ожидаемый нагоняй от начальства за непоимку лихого цыгана, Артем совсем уже было собрался идти домой спать, но вдруг вспомнил, что сегодня – пятница, а по пятницам с десяти до одиннадцати утра обычно звонит либо является самолично с отчетом и для получения очередного задания Артемов агент по кличке Антивирус. Этот самый Антивирус был агентом серьезным и вообще человеком, осведомленным во многих тайных и лихих делах, а поэтому не дожидаться его звонка либо прихода было бы со стороны Артема верхом профессиональной неосмотрительности. Приходилось ждать, и чтобы скоротать время и разогнать сон, Артем решил пройтись по родному милицейскому двору.

Двор был как двор. Два развесистых тополя укрывали одну его половину от поднимающегося июльского солнца, в этой тени расположились пойманные на рассвете беспаспортные узбеки, сидевшие прямо на пыльном асфальте с безучастными лицами, две присоединившиеся к ним из любопытства вокзальные девки, прямо с работы заскочившие в райотдел для отметки и проведения с ними душевно-профилактической беседы, трое каких-то то ли окрестных пьяниц, то ли мелких семейных скандалистов... Словом, картина была известная, и Артем совсем уже собрался было вернуться в свой кабинет, как вдруг откуда-то с высоты раздался то ли детский, то ли очень тоненький женский голос.

– Дяденька, – сказал этот голос, – снимите меня отсюда. Пожалуйста...

Артем остановился, поднял голову к небу, никого там не увидел и недоуменно пожал плечами.

– Дяденька, – повторил тот же самый голос, – снимите меня отсюда, а то я сама боюсь...

Артем еще раз поднял голову и обнаружил на сей раз пожарную лестницу, которая начиналась от земли, уходила под самую крышу здания райотдела и заканчивалась там небольшой, огороженной перильцами металлической площадкой. Вот с этой-то площадки кто-то к Артему и обращался с просьбой снять его оттуда. Артем отошел на четыре шага назад и увидел на площадке маленькую, лет шести, девочку в синем платьице.

– Это ты сейчас меня звала? – крикнул он с земли.

– Я, – тотчас же ответила девочка. – Я вам кричу, а вы меня не видите... А я вас отсюда вижу.

– Так не видно же с земли, – сказал Артем. – Ну, слазь...

– Я боюсь, – сказала девочка.



– Залезать не боялась, а слазить – боишься? – насмешливо спросил Артем.

– Получается, что так, – уморительно развела руками девчушка. – Снимите меня отсюда. Если, конечно, вам не трудно.

– Ох ты, горе! – вздохнул Артем. – Слезай, не бойся. А я отсюда буду тебя подстраховывать.

– И если я упаду, то вы меня поймаете? – спросила девчушка.

– Обязательно, – сказал Артем. – Давай, давай... не бойся.

Девчушка потопталась на площадке и нерешительно начала спускаться. Когда между нею и Артемом оставалось всего несколько ступенек, девчушка зажмурилась и сиганула прямо Артему в руки.

– Оп! – сказал Артем, принимая этот неожиданный дар небес. – Вот видишь, все не так уж и страшно.

Девчушка открыла глаза и очень серьезно посмотрела на Артема. Глаза у девчушки были василькового цвета и такие глубокие, что у Артема вдруг закружилась голова.

– Спасибо, – сказала девчушка. – А теперь поставьте меня на землю, и я пойду.

– Пожалуйста, – сказал Артем, разжимая руки. – Только скажи, если это не секрет, как же ты там очутилась, на этой площадке?

– Я туда залезла по лесенке, – сказала девчушка, оправляя платице.

– И зачем же? – спросил Артем.

– Как вам сказать, чтобы было совсем понятно... – в раздумье выговорила девчушка. – Мне вдруг захотелось узнать, а каким будет выглядеть все-все на свете, если залезть на эту лестницу или даже на площадку и посмотреть оттуда. Я и залезла...

– Вот, значит, как? – сказал Артем, с любопытством глядя на девчушку. – Ну и каким же все оттуда выглядит... с лестницы?

– А вы что же, никогда туда не залезали? – в свою очередь спросила девчушка.

– Не помню, – отчего-то смутился Артем. – По-моему, никогда...

– А почему? – спросила девчушка.

– Да как-то все не получалось, – развел руками Артем. – То одно, то другое...

– Жалко, – сказала девчушка. – Там так интересно! И оттуда все-все видно... и совсем не так, как с земли... и земля кажется такой большой-пребольшой, а я сама – маленькой-премаленькой. Вы обязательно туда залезьте... то есть как только у вас появится свободное время! Обязательно!

– Обязательно, – повторил Артем, и вдруг поймал себя на мысли, что ему и впрямь хочется забраться на пожарную лестницу, а, может даже, и на саму площадку. И – взять с собой эту общительную девчушку. И – вместе с нею взглянуть оттуда на мир.

– Ты кто же такая? – встряхивая головой, чтобы отогнать наваждение, спросил Артем.

– Я – обуза, – ответила девчушка.

– Как ты сказала? – удивленно переспросил Артем.

– Обуза, – повторила девчушка. – Так меня называет моя мама. Иди, говорит, отсюда, обуза, и не мешай мне работать! Погуляй где-нибудь, только далеко не уходи. Вот только я не знаю, что такое обуза. А вы знаете, что такое обуза?

– Обуза, – растерявшись от столь неожиданно-откровенного вопроса, сказал Артем, – это... Ну, одним словом, это... А кем работает твоя мама?

– Она работает следователем! – возвестила девчушка. – Вот здесь, в этом большом доме, где лестница и сверху площадка. Ее зовут мама Юля!

– Вот как? – удивился Артем, припоминая, кого из райотделовских следователей, которых, разумеется, он знал наперечет, зовут Юлией. Кажется, никого... или – стоп: месяц тому в их райотдел откуда-то перевелась молодая следовательница, которую вроде бы и впрямь зовут Юлией. Да-да, именно так: Юлией Светловой. Строгая такая, малообщительная, неулыбчивая...

– Вы знаете мою маму? – спросила между тем девчушка.

– Немножко, – сказал Артем. – Я ведь тоже работаю в этом большом доме... где лестница. Да-да...

– Вы тоже следователь, как моя мама? – спросила девчушка.

– Не совсем, – сказал Артем. – А почему же ты здесь, а не в детском садике?

– Потому что в детском садике – ка-ран-тин, – выговорила девчушка. – Сказать вам, что такое ка-ран-тин? Это когда детский садик совсем закрытый, и сторож дядя Иван никого туда не пускает.

– Понятное дело, – сказал Артем. – Ну-с, старушка, извини, но мне надо идти. Дела, понимаешь ли...

– Я вам не старушка! – тут же ответила девчушка. – Я вам девочка!

– Конечно, девочка! – сказал Артем. – Девочка... кто сказал, что ты старушка?

– Вы сами и сказали! Только что сейчас!

– Я такое сказал? Да быть того не может!

– Сказали, сказали!

– А, ну да... действительно... сказал. Это я так... это у меня такая присказка, понимаешь? Всех женщин... всех девушек я называю старухами... старушками. Просто так, понарошку, чтобы было веселее... ты меня понимаешь?

– Конечно, понимаю! Когда кого-то называют стариком или старушкой, а он совсем не старик и не старушка, тогда хочется смеяться. А можно, я вас также назову понарошку стариком? Вы не обидитесь, если я вас так назову?

– Валяй, – сказал Артем.

– Старик, – сказала девчушка. – Ста-рик.

У Артема вдруг защемило где-то под сердцем. Кто его знает, отчего оно защемило: то ли от ночного недосыпу, то ли еще от чего... Ах, какие же глаза у этой девчушки! Васильковые, широко распахнутые, бездонные – будто у спустившегося откуда-то со звезд таинственного, непостижимого звереныша...

– А как вас зовут на самом деле? – спросила девчушка.

– Артемом, – сказал Артем. – А тебя?

– А меня – Аленкой.

– У тебя красивое имя, – сказал Артем.

– Это так назвала меня моя мама, когда я только что родилась и была совсем еще маленькой, – пояснила девчушка. – И у вас тоже красивое имя. А можно я иногда буду

называть тебя стариком? – вдруг перейдя на «ты», спросила девчушка. – Ну, если мы с тобой в другой раз еще увидимся. Ведь мы же с тобой еще увидимся?

– Наверно, – сказал Артем. – Конечно, увидимся.

– Ну и вот, – сказала девчушка.

– Договорились, – сказал Артем. – А сейчас, старушка, извини: мне все-таки надо идти. Дела...

– Я понимаю, – сказала девчушка. – Конечно, иди...

Артем хотел сказать что-то еще, но не сказал, вздохнул, махнул рукой и пошел. Пройдя несколько шагов, он обернулся. Аленка стояла на прежнем месте и смотрела ему вслед.

– А по лестницам ты все-таки больше не лазай, – сказал Артем. – По крайней мере, одна... без мамы или папы.

– У меня нет папы, – сказала Аленка. – А мама всегда на работе...

Артем совсем уже было собрался спросить у Аленки, отчего у нее нет папы, но вовремя спохватился: об этом у детей спрашивать, наверно, не полагается.

– А знаешь, что, старуха? – сказал он. – Пойдем ко мне в гости... в мой кабинет, а? Мне все равно надо ждать телефонного звонка от... словом, от одного человека. Посидим, поговорим... У меня есть чай и конфеты... кажется. Пойдем?

– Пойдем! – сказала Аленка. – А твой кабинет тоже на втором этаже, как и у моей мамы?

– У меня – на первом, – сказал Артем.

– Ну, все равно – пойдем! – сказала Аленка. – А какие у тебя есть конфеты?

– Шоколадные! – вспомнил Артем.

– Это такие в синеньких блестящих бумажках с красненькими цветочками? – вдохновенно спросила девчушка.

– По-моему... да-да, как раз именно такие! – улыбаясь, сказал Артем.

– Тогда почему мы до сих пор здесь стоим? – удивилась Аленка.

## 2.

– Какой у тебя грязный кабинет! – сказала Аленка, осматриваясь. – У моей мамы кабинет красивее... там даже есть занавески и цветочки в горшках! А почему у тебя нет занавесок и цветочков в горшках?

– Ну... – виновато развел руками Артем, озираясь вокруг и попутно убеждаясь, что таки да, кабинет у него действительно, как бы это половчее выразиться, слегка грязноват. – Цветочки и занавески... оно конечно... надо бы. Но...

– Все мужчины такие неряхи! – сообщила Аленка.

– А ты откуда знаешь? – удивился Артем.

– А это одна тетенька говорила моей маме, когда эта тетенька приходила к нам в гости. Позавчера или вчера... нет, все-таки позавчера. Они разговаривали, а я их подслушала. Только ты не говори моей маме, что я подслушала, ладно? Потому что она меня будет ругать, потому что подслушивать нехорошо. А ты когда-нибудь подслушивал?

– Ну что ты, старушка! Никогда в жизни! Давай-ка, будем пить чай... чайник уже вскипел. А вот и конфеты. Хм... действительно – в синеньких бумажках с красными цветочками...

Минуты через три Аленка, старательно дую на чашку, молча пила чай с конфетами, а Артем смотрел на нее и думал. Вернее сказать, не думал, а чувствовал. Он смотрел на Аленку и чувствовал, что ему сейчас по-особенному хорошо, так хорошо, как, может, никогда еще не было в жизни. У Артема никогда не было жены и, соответственно, не было детей... да нет, он сейчас чувствовал вовсе не это. Он чувствовал, что это васильковоглазое чудо, сидящее напротив него и с уморительно серьезным видом дующее на чашку, ему нравится... нравится как-то по-особенному... оно, это общительное чудо с глубокими васильковыми глазами, одним своим присутствием прикрывает в нем, в Артеме, какой-то изъян, какую-то сквозящую тоскливую прореху, о которой он, Артем, раньше никогда не думал и даже не предполагал, что такая прореха в нем имеется. Возможно, все это как раз и было тем, что называется отцовским чувством, но у Артема, как уже было сказано, никогда не было ни жены, ни детей, а потому и такое понятие как отцовское чувство, было для него сугубой абстракцией.

– А у тебя есть дети? – неожиданно спросила Аленка.

– Что? – переспросил Артем. – А, нет... нету у меня детей.

– Почему? – уставилась на него Аленка своими бездонными глазищами.

– Да так... – растерянно сказал Артем. – Нету вот...

– А жена у тебя есть? – спросила Аленка.

– И жены тоже нет, – ответил Артем, подспудно удивляясь тому, что вот де только сейчас он обо всем этом думал, и тут же Аленка его об этом самом и спрашивает.

– И совсем-совсем у тебя никого нет? – спросила Аленка.

– Ну, как... – замялся Артем, не зная, что ему отвечать на этот предельно прямой и, оказывается, столь непростой для него вопрос. – Есть мать с отцом... но они далеко... есть друзья... а так – больше, наверно, никого...

– Это плохо, когда никого нет, – вздохнула Аленка. – Когда у меня никого нет, мне становится грустно, и всегда хочется плакать.

– У тебя есть мама, – сказал Артем.

– И мама, и еще бабушка, – подтвердила Аленка. – А только когда их не бывает, тогда все вокруг становится большим-пребольшим, и мне сразу хочется плакать. Ты меня понимаешь?

– Еще как понимаю... Мне также иногда все кажется большим-пребольшим, и также от этого бывает грустно.

– Вот видишь, – сказала Аленка, о чем-то подумала, и вдруг попросила: – Расскажи мне сказку.

– Сказку? – удивился Артем.

– Сказку, – подтвердила Аленка. – Чтобы только хорошую... потому что я не люблю плохих сказок, которые с грустным концом. Например, я не люблю сказку про волка и Красную Шапочку, потому что мне вначале жалко Красную Шапочку, которую съел серый волк, а потом мне жалко серого волка, которого убили злые охотники, а потом мне жалко охотников, потому что они злые, а не добрые...

– Значит, сказку, – растерянно сказал Артем, судорожно стараясь припомнить хоть что-нибудь похожее на сказку и с неудовольствием чувствуя, что ничего такого напрочь не вспоминается. – Сказку, стало быть... А хочешь, я расскажу тебе сказку об одной

девочке, которая похожа на тебя... и которая долго летала высоко меж звезд и спустилась потом на землю?

– Конечно, хочу! – сказала Аленка. – Но только когда ты будешь ее рассказывать, я тогда буду смотреть в окно, ладно?

– А почему именно в окно? – спросил Артем.

– Потому что когда мама рассказывает мне сказку, я всегда смотрю в окно, – пояснила Аленка. – И когда светло, и когда темно. Всегда. У меня такая привычка.

– Ну, хорошо, – сказал Артем. – Смотри в окно и слушай... Значит, так. В одном далеком-далеком мире жила девочка. У нее были большие синие глаза, кудрявые волосы... в общем, она была очень похожа на тебя.

– А как ее звали? – спросила Аленка, старательно глядя в окно. – Пускай ее зовут так же, как и меня... то есть пускай ее зовут Аленкой, ладно?

– Ладно... Итак, жила-была девочка, которую звали Аленкой. Эта девочка умела летать: высоко-высоко, до самых звезд. Дождется, бывало, ночи, выйдет на улицу, взглянет на звезды, и...

– Ой! – сказала вдруг Аленка. – Там, в окошке, моя мама! Смотри, старик, вот моя мама! Наверно, она ищет меня, потому что она не знает, где я. Мама Юля, я тут! Старик, а она меня не слышит...

– Подожди меня здесь, – сказал Артем. – Только никуда не уходи, ладно?

– Ты пойдешь к моей маме и скажешь, где я? – спросила Аленка.

– Да, – сказал Артем. – Я мигом.

– Я буду смотреть на вас в окно, – сказала Аленка. – Только ты не говори моей маме, что я была там, на лестнице... и что я боялась оттуда слезать... и что ты меня спас. Пускай это будет нашим с тобой секретом, самым-самым тайным, ладно?

– Не скажу, – пообещал Артем.

– И не говори, – сказала Аленка. – Я ей скажу сама. Только не сейчас, а вечером, когда мы будем сидеть с ней рядышком на диване и говорить по душам. Мы всегда говорим с мамой вечером по душам, и тогда она меня понимает, а сейчас не поймет, потому что сейчас ей надо работать. Старик, а с тобой кто-нибудь говорит вечером по душам?

– Я мигом, – повторил Артем, и поспешно вышел: Аленка своим вопросом в очередной раз загнала его в тупик. Ну, в самом деле, как можно было в нескольких словах ответить на Аленкин вопрос? Никак нельзя было ответить на него несколькими словами – тем более что никто с Артемом вечерами по душам не говорил... не припоминалось Артему такого момента в его жизни.

...Юлия и впрямь искала Аленку. Она уже дважды обошла вокруг здания райотдела, спросила о дочери у чинивших милицейскую машину шоферов, спросила даже у безучастных узбеков и семейных скандалистов – но никто Аленку не видел.

– Простите, – подошел Артем к Юлии, – вы, наверно, ищете Аленку... то есть свою дочь?

– Да, – оглянулась на Артема Юлия. – Ума не приложу, куда она запропастилась... но откуда вы знаете, кого я ищу?

– Не беспокойтесь, – сказал Артем. – Она – у меня. В моем, то есть, кабинете.

– У вас... то есть как это – у вас? Кто вы такой?

– Я работаю в этом же отделе... оперуполномоченным угрозыска. Мы с вами даже периодически встречаемся на утренних планерках у начальника.

– Понятно... Но что же она делает в вашем кабинете? Как она туда попала?

– Я ее пригласил к себе в гости. Мы с ней пьем чай, и я рассказываю ей сказку.

– Не поняла...

– Это что же, так трудно понять? Взгляните вон на окно... третье с краю. Видите в нем эту смеющуюся мордашу? Это и есть ваша дочь Аленка. Живая, здоровая и веселая. Пойдемте со мной, и я вам ее выдам в целости и сохранности.

– Но как же все-таки она к вам попала?

– Знаете, мне очень трудно с вами говорить. Мне сдается, что вы не понимаете некоторых очевидных вещей. Либо – это я такой дурак, что не могу объяснить вам внятно. Но, между прочим, ваша дочь понимает меня очень хорошо, да и я ее, кажется, тоже. Прошу вас вот сюда. Здесь – двери. А вот здесь – ступенька... даже три ступеньки. Раз, два, три... смотрите, не споткнитесь...

Юлия резко повернулась к Артему и хотела что-то сказать, но, встретившись с Артемом взглядом, вдруг улыбнулась.

– Простите, – сказала она. – Я веду себя как последняя...

– Мама, у которой потерялся ребенок, – закончил Артем. – Все нормально. Ваш ребенок нашелся. Она у вас – просто чудо.

– Но как же все-таки вы с ней познакомились? – спросила Юлия.

– О, это очень непростая и, можно сказать, даже драматическая история. Однако ваша Аленка просила меня никому об этой истории не говорить, и я дал ей слово, так что сами понимаете... Впрочем, я думаю, что Аленка и сама вам обо всем расскажет, когда наступит вечер и вы с ней сядете рядышком на диване и начнете говорить по душам.

– Она вам и об этом успела рассказать? Вот ведь стрекоза какая... А еще о чем она вам рассказала?

– О вас, разумеется, немного – о бабушке, об одиночестве...

– Об одиночестве... Да-да... Вы знаете, она очень не любит быть одной... одиночество отчего-то ее страшит и тяготит.

– Одиночество тяготит и страшит любого нормального человека.

– Наверно... Но – бабушка далеко, я – постоянно на работе, а детский садик закрыли на карантин...

– Карантин – это когда садик закрытый, а сторож дядя Иван никого туда не пропускает, – процитировал Артем наизусть. – Теперь-то я знаю, что такое карантин. Вот и мой кабинет. Прошу...

– Мама! – кинулась Аленка навстречу матери, едва только открылась дверь. – Я тебя видела в окошко! Ты меня там искала! А я – здесь! Мы со стариком пьем чай, и он рассказывает мне сказку!

– С кем вы пьете чай? – недоуменно спросила Юлия. – С каким таким стариком?

– Да вот же он, старик! – закричала Аленка в восторге, указывая на Артема. – Он меня называет старухой, а я его – стариком! Это мы понарошку, чтобы было веселее! Это у нас такая присказка! Ведь, правда же, старик, – это мы понарошку?

– Исключительно понарошку, – смущенно подтвердил Артем.

– Ис-клю-чи-тель-но! – повторила Аленка новое для нее слово.

– Я вижу, что вы успели тут найти общий язык, – сказала Юлия, и впервые посмотрела на Артема долгим, внимательным взглядом.

– Да вот... – отчего-то смущаясь, развел руками Артем. – Так получилось...

– Он рассказывал мне красивую сказку! – сказала Аленка. – Очень красивую – про девочку, которая похожа на меня... и еще она умела летать и трогать звезды руками... и ее также звали Аленкой! Но он ее мне не дорассказал, потому что я увидела тебя в окошке! Садись, мамочка, вот сюда, и старик расскажет эту сказку и тебе тоже. Он нам расскажет ее... тебе и мне. Мамочка, ведь ты же любишь слушать сказки?

– В другой раз, – сказала Юлия. – А сейчас – пойдем домой. Я отпросилась с работы.

– Жаль, – с уморительной рассудительностью развела руками Аленка. – Придется идти. До свидания, старик.

– До свидания, старуха, – сказал Артем. – Рад был с тобой познакомиться.

– И я тоже была рада с тобой познакомиться, – сказала Аленка. – Мы ведь с тобой еще увидимся?

– Ну, разумеется. Когда будешь у мамы на работе – забегай. Теперь ты знаешь, где меня найти.

– Конечно, знаю. А еще – ты мне должен будешь дорассказать сегодняшнюю сказку, и еще у нас есть с тобой одна тайная тайна. Ты ведь не рассказал маме о нашей тайной тайне?

– Конечно, нет, – сказал Артем. – Как же можно... я ведь тебе обещал.

– Это – хорошо, – сказала Аленка. – Я ей расскажу сама... потом – так же, как рассказала о ней и тебе.

– Обязательно расскажи, – сказал Артем. – Это очень хорошая тайна. Я думаю, что твоя мама не будет тебя ругать за это. Не ругайте ее, мама Юля. Тем более – все закончилось хорошо...

– Спасибо вам, – сказала Юлия. – И – простите нас за беспокойство.

– Ничего, – сказал Артем.

– Старик, я же совсем забыла тебе сказать! – вдруг вспомнила Аленка. – Когда ты был на улице и разговаривал с моей мамой, а я была здесь, позвонил телефон, и я взяла трубку, потому что в твоём кабинете больше никого не было и некому было взять трубку, а телефон все звонил и звонил. Я взяла трубку и спросила, кто это звонит, и мне в телефоне сказали, что тебе звонит один дяденька, которого зовут... Акти... Ати...

– Антивирус, – подсказал Артем.

– Точно! – воскликнула Аленка. – Он так и сказал... Ан-ти-ви-рус. Сначала он очень удивился, и спросил, кто с ним говорит. Я сказала, что это говорю я, и затем спросила у него, почему его так зовут, и тогда он сказал, что перезвонит тебе потом и положил трубку.

– Спасибо, – сказал Артем.

– А почему у него такое чудное имя... Акти... Асти?..

– Антивирус.

– Да, Антивирус... Это, наверно, добрый волшебник, раз у него такое имя?

– Что-то вроде этого, – усмехнулся Артем.

– Тогда когда он будет звонить еще раз, передай ему от меня привет, потому что я люблю добрых волшебников.

– Обязательно передам, – сказал Артем.

– Пойдем же, наконец, – сказала Юлия дочери. – Дяденьке надо работать.

– Не дяденьке, а старику! – поправила Аленка. – Это я его так называю понарошку. А он меня понарошку называет старухой! Мамочка, ты на нас не ругайся, потому что это все равно понарошку!

– Ладно, ладно... – сказала Юлия, улыбнулась Артему, и дверь захлопнулась.

И тут же грянул телефон. Звонил, разумеется, Антивирус.

– Привет, – сказал Антивирус. – Это что у тебя там за детский сад? До изнеможения меня довело это дитя своими вопросами! Дочь, что ли?

– Это мой друг, – сказал Артем. – Кстати говоря, тебе от нее привет. Она убеждена, что ты – добрый волшебник.

– А разве оно не так? – осведомился Антивирус. – Конечно, волшебник! Ты только послушай, какие волшебные новости я для тебя раздобыл! Дело, да будет тебе известно, касается этой твари Музыканта. И ты знаешь, где Музыкант сейчас скрывается? У своей марухи! А ты знаешь, кто его маруха? Упадешь, если я тебе скажу!..

### 3.

Следующим днем была суббота, то есть выходной. Артем не любил выходных дней. Так или иначе, но выходные дни напоминали Артему о его одиночестве. Всякий выходной день для Артема начинался с того, что, оказывается, в его холодильнике позавчера от голодного отчаяния повесилась последняя мышь, а в шкафу нет ни единой чистой рубашки, а если, допустим, приступить к стирке, то надобно бежать за стиральным порошком, а заодно с порошком надо прикупить и что-нибудь из съедобного, и пока Артем за всем этим ходил, день иссякал, а вечером – что же за стирка? Правда, иногда Артему в хозяйственных делах помогала его тайная подружка Оксана, но поскольку Оксана числилась женщиной замужней, то являлась в Артемово жилище она не так часто, да и то большей частью на два или на три часа, и, между прочим, вовсе даже не за тем, чтобы тут же приступить к стирке, уборке и варке.

Итак, следующим днем был выходной, хотя и начался он для Артема как самый что ни есть заурядный рабочий день. Получив накануне ценное сообщение от Антивируса о том, где в настоящее время скрывается мерзавец Музыкант, Артем совместно со своим боевым товарищем Серегой Кошкиным раненьким субботним утром выехал по месту жительства Музыкантовой марухи – и Музыкант был взят тепленьким, да еще и совместно с множеством разнообразных вещественных доказательств своей преступной воровской деятельности.

Доставив Музыканта и запаковав его до понедельника в камеру, Артем вернулся домой и с отвращением в душе приступил к генеральной стирке. Правда, к его счастью, в самый разгар стирки вдруг раздался звонок в дверь, и на пороге возникла тайная подруга Оксана собственной персоной.

– Привет, – сказала Оксана, целуя Артема. – Ну, и пару же ты напустил в комнате – дышать нечем! Стираешь, что ли? Сейчас помогу... сейчас я быстро. Мой дурак уехал с утра на рыбалку, дочь, как ты знаешь, в лагере, так что... Я уж тебе звонила, звонила... и где тебя только носит с самого утра? Да кто же стирает черное вместе с белым, горе мое! Ведь этак лишишься и того, и другого!..



Благодаря Оксане, вечная Артемова мука под названием стирка скоро была закончена, кофейник был вскипячен, кофе разлит в чашки и выпит – и Оксана с Артемом, как любят выражаться поэты, «нырнули в омут сладострастный», и вынырнули из этого самого омута лишь тогда, когда верный Артемов будильник показал четыре часа дня.

– Батюшки! – спохватилась Оксана. – Через полтора часа на электричке приезжает мой дурак, а мне целый час пилить на автобусе, да и до автобуса еще добраться надо! Проводишь меня?

...Проводив Оксану и усадив ее в автобус, Артем медленно шел по аллее по направлению к дому, и тут он неожиданно встретился с Аленкой. Вернее, это Аленка первой заметила Артема, и радостно вскрикнув, стремглав понеслась ему навстречу. Когда Аленка поравнялась с Артемом, он сам того от себя не ожидая, подхватил ее на руки, подбросил вверх, поймал и засмеялся. Он был рад видеть Аленку – опять-таки сам того от себя не ожидая.

– Ух, ты! – восторженно сказала Аленка. – Ты подбросил меня так высоко, что я рукой дотронулась до неба! Старик, ты видел, как я дотронулась рукой до неба?

– Конечно, видел! – сказал Артем.

– Тогда, – сказала Аленка, – подбрось меня еще... один только разочек! Я еще раз хочу дотронуться до неба!

– А не испугаешься? – спросил Артем.

– Ни чуточки! – уверенно сказала Аленка.

– Тогда – лети, старуха! – сказал Артем, и Аленка, счастливо взвизгнув, взлетела в желанные небеса.

Когда Аленка во второй раз вернулась с небес, Артем заметил, наконец, и Аленкину маму. Юлия стояла поодаль и очень серьезно, как показалось Артему, смотрела на него и на дочь.

– Здравствуйте, – смущенно сказал Артем, и не зная, что еще ему добавить к приветствию, произнес первое, что пришло на ум: – Вот, летаем...

– Здравствуйте, – сказала Юлия, и все так же серьезно добавила: – Вижу, что летаете...

– Мамочка! – радостно завопила Аленка. – Ты знаешь, какой старик сильный! Он подбросил меня прямо к самому небу! К самому-пресамому небу, представляешь? И я дотронулась рукой до неба! Оно такое теплое... и еще там ветер... но он совсем не холодный, а теплый! Старик, а теперь поставь меня, пожалуйста, на землю, потому что тебе, наверно, тяжело меня держать!

Артем улыбнулся, бережно отпустил Аленку, и с прежним смущением взглянул на Юлию.

– Вот... – сказал он.

Не сговариваясь, они пошли по аллее: справа Артем, слева Юлия, а посередине – Аленка. Артем молчал, и Юлия молчала тоже. И только Аленке не молчалось.

– Старик, – спросила Аленка, забегая вперед и заглядывая Артему в лицо. – А куда ты идешь?

– Вообще-то – домой, – сказал Артем.

– А где ты живешь? – спросила Аленка.

– А вот в том желтом доме... видишь? – показал Артем. – На третьем этаже.

– А мы с мамой – вот в том... который красный... там, где большое дерево, – показала и Аленка. – Но только на втором этаже.

– Вот как, – сказал Артем. – Оказывается, мы почти соседи...

– Конечно, – сказала Аленка. – А откуда ты идешь к себе домой?

– Да так, ниоткуда, – сказал Артем и невольно покосился на Юлию. – Просто гуляю...

– А мы с мамой ходили в магазин! – сообщила Аленка. – И там мы покупали много-много всего вкусного, потому что завтра мы с мамой поедem в дремучий лес. В настоящий дремучий лес... представляешь? Там живут всякие птицы и зверушки... и еще мама говорит, что там – деревья и речка. Мы туда поедem отдыхать... вот! Наверно, мы там увидим медведя! Старик, а ты боишься медведя?

– Ни капельки, – сказал Артем, и невольно улыбнулся. – Подумаешь – медведь...

– А я – боюсь, – сделав совсем уж большие глаза, сказала Аленка. – Потому что он такой большой, лохматый и страшный! Я его видела на картинке, и еще по телевизору... Старик, а ты хочешь поехать завтра с нами в лес... со мной и с мамой, чтобы увидеть там медведя... и еще деревья и речку, и всяких зверушек, которые живут в лесу?

– Видишь ли, старушка... – замялся Артем, застигнутый врасплох столь прямым вопросом.

– Ему завтра, наверно, некогда, – сказала молчавшая до этого Юлия. – У него завтра дела...

– А какие дела? – спросила Аленка.

– Очень важные, – сказала Юлия. – Работа, жена, дети...

– Мамочка, – протестующе сказала Аленка, – я же тебе вчера рассказывала, что у старика нет совсем никого. Совсем-совсем никого! И жены у него нет, и детей у него тоже нет. И от этого ему бывает очень грустно. Я тебе вчера рассказывала, а ты об этом сегодня забыла!

Артем невольно крикнул и покрутил головой. Он не привык общаться с детьми, и поэтому такая прямолинейная Аленкина искренность его здорово смутила – в который уже раз. Да, помнится, они вчера с Аленкой действительно говорили о чем-то эдаком: говорили так, мимоходом, и он, Артем, успел об этом позабыть, а вот Аленка, оказывается, помнила, да и не только помнила, а еще и успела рассказать обо всем матери. Неловко как-то получается, елки-палки... неведомо, что еще и подумает по этому поводу Аленкина мама Юлия. Ах ты ж, маленькая васильковоглазая болтушка!..

– Она вчера весь вечер только о вас и говорила, – сказала Юлия, обращаясь к Артему. – Кажется, вы произвели на нее впечатление.

– Конечно, – тут же защебетала Аленка. – Конечно, он произвел на меня впечатление... впечатление, потому что он добрый и еще он понарошку назвал меня старушкой, а я его, также понарошку, назвала стариком. Старик, а ты не будешь сердиться за то, что я рассказывала о тебе маме? Мы вчера сидели с мамой на диване, смотрели в окно и говорили по душам... и я ей все рассказывала. И о нашей с тобой самой тайной тайне я тоже рассказала... ну, как ты помог мне спуститься с этой страшной лестницы, и для чего я туда забралась. Как, по-твоему, старик, я правильно сделала, что рассказала обо всем маме?

– Конечно, правильно, – сказал Артем. – Маме нужно обо всем рассказывать... обо всем и всегда.

– И моя мама говорит точно так же, как и ты... вы с мамой говорите одинаково, – сказала Аленка. – И еще моя мама почти не ругала меня за то, что я взобралась на эту лестницу... потому что я сказала ей, зачем я туда лазила. Старик, ты поедешь завтра с нами в дремучий лес? И я тебя приглашаю, и моя мама тебя тоже приглашает!

– Твоя мама меня еще не приглашала... – сказал Артем, косясь на Юлию.

– Мамочка, – тут же приступила Аленка к матери. – Пригласи его и ты... пускай он идет с нами завтра в дремучий лес! Когда он будет с нами, тогда я не буду бояться страшного медведя... и еще старик будет нести наш тяжелый рюкзак... и еще он понесет меня на руках, когда я устану и начну капризничать.

– Если у вас на завтра нет никаких планов, – помолчав, тихо сказала Юлия, – то, может, и впрямь сходите с нами? Здесь недалеко, и Аленка будет рада...

– А вы сами? – спросил Артем.

– Что – я сама? – внимательно взглянула Юлия на Артема.

– Вы-то сами – будете рады моему присутствию?

– Вам это так важно знать?

– По правде сказать – не знаю... не задумывался. Я просто спросил...

– Благодарю за честный ответ. Знаете, если бы вы вдруг начали лгать, говорить комплименты и всяческие двусмысленности, то наша завтрашняя совместная экскурсия, наверно, просто не состоялась бы. Несмотря на все Аленкины протесты.

– В таком случае, позвольте поблагодарить и вас, – сказал Артем.

– Это за что же? – спросила Юлия.

– За ваш честный комментарий к моему честному ответу, – сказал Артем.

– Пожалуйста, пожалуйста, – ответила Юлия, и вновь внимательно посмотрела на Артема. – Электричка завтра – в десять пятнадцать. С собой брать ничего не надо: у нас с Аленкой все имеется. Просто – приходите сами. И всё...

– Приду, – сказал Артем, и обратился к Аленке: – Ну что, старушка? Завтра пойдем смотреть на твоего медведя, коли так.

– Я возьму для него гостинец! – в восторге закричала Аленка. – Пряник... три пряника! Старик, а медведь любит пряники?

– Он их любит больше всего на свете, – сказал Артем. – До умопомрачения. Ну, до свидания... до завтра!

– До завтра! – помахала рукой Аленка. – Только ты не проспи!

– Постараюсь, – улыбнулся Артем, и уходя, опять поймал на себе долгий внимательный взгляд Юлии...

Придя домой и бесцельно слоняясь по квартире в ожидании вечера, Артем вдруг ощутил внутри себя тоску. Вернее, даже не тоску, а какую-то особенную внутреннюю пустоту и неприкаянность, которая, может статься, как раз и называлась тоской. Артем был натурой довольно-таки цельной, и, в общем, не стремился лелеять внутри себя эту самую пустоту и неприкаянность и уж тем более – предаваться размышлениям на подобные темы. Случалось, конечно, что его, что называется, подпирало, и если это случалось дома, то в такие моменты Артем старался заняться чем-нибудь таким, что не оставляло времени для размышления: принимался думать о том, как он завтра будет раскрывать какую-нибудь очередную кражу, затевал генеральную уборку, либо жарил мясо по собственноручно изобретенному рецепту, звонил по телефону и назначал свидание какой-нибудь подружке, собирался и ехал пить пиво к своему другу Сереге

Кошкину, а то и попросту отправлялся в райотдел, и брался за первое подвернувшееся дело, коих в райотделе всегда было сверх всякой меры, чем вызывал у своего начальства весьма противоречивые чувства – от восхищения и желания Артема чем-нибудь наградить, до смутного подозрения в том смысле, что де ежели человек в нерабочее время все-таки добровольно работает, то, стало быть, дело тут нечисто по многим параметрам...

Сегодня же Артем, ощутив в себе ту самую пустоту и неприкаянность, не пожелал глушить ее никакой активной деятельностью. Сам не понимая отчего, он вдруг захотел к этой пустоте и неприкаянности прислушаться. Артем достал из холодильника бутылку пива, сел в кресло, зажмурил глаза – и вскоре стал понимать: ему тоскливо оттого, что рядом с ним нет сейчас васильковоглазой девчушки Аленки и ее мамы Юлии. Да-да, именно так: Аленки и Юлии! Их обеих. Это было странно, это было для Артема необычно и необъяснимо – но это было именно так. Артему не хватало их присутствия, их голосов, чего-то, кажется, еще, что так или иначе связано с ними обеими... да-да, с ними обеими! Может, их дыхания, может, Аленкиного щебета и ее по-детски прямых и так же по-детски бесхитростных вопросов, может, внимательного взгляда Юлии, который он дважды... да нет, даже трижды, если учесть вчерашнее их знакомство, ощутил на себе...

А что, если им позвонить? Нет, и впрямь: а что, если им позвонить? Ведь должен же быть у них телефон? Если у них есть телефон, то его номер можно легко узнать: у дежурного в райотделе обязан быть список домашних адресов и телефонов всех сотрудников – таково неременное требование служебной инструкции. Нет, и вправду – а что если им позвонить... прямо сейчас, не откладывая? Тема для разговора отыщется потом, по ходу... а, возможно, и они сами – Юлия либо Аленка – подскажут тему... Тем более – дежурным опером сегодня Серега Кошкин. Сейчас Артем ему звякнет – и через минуту он уже будет знать ИХ номер телефона...

– Здорово, Серега! – сказал Артем в трубку. – Ну, и как дежурство?

– Издеваешься, сволочь? – ответил Серега больным голосом. – Четыре кражи, три факта поножовщины со стрельбой и прочими милыми шалостями, налет на казино и пропажа без вести одного милого семейства, которое еще неделю назад пошло за грибами, и до сих пор не вернулось. Медведь их там всех задрал, что ли... А до утра еще – как до конца света! Нет, решено: дотяну до утра – и уйду в начальники вытрезвителя номер два. Немедленно... безо всяких душевных терзаний. Давно уже зовут... Ты-то как? Чего звонишь?

– Пиво вот пью, – сказал Артем.

– Гад и нравственный садист! – выдохнул Серега, услышав о пиве. – Чего, спрашиваю, звонишь?

– Имеется одна просьбочка, – сказал Артем. – Только – между нами, ладно? И – без комментариев... Глянь, будь добр, в список личного состава, который должен быть у тебя на столе. Глянул?

– Ну? – буркнул Серега.

– Посмотри внимательно – нет ли там номера телефона Юлии... следовательницы, которая перевелась к нам недавно?

– А зачем тебе? – гораздо более здоровым голосом осведомился Серега. – Что, короче говоря, ты затеваешь втайне от своего лучшего друга Сереги Кошкина?

– Тебе ответить быстро, или, может, по слогам? – спросил Артем.

– По слогам было бы лучше, – сказал Серега. – Но – разве от тебя, паразита, дождешься честного ответа... тем более – по слогам? Сейчас гляну еще раз... с повышенной внимательностью... Хотя я, как твой лучший друг, должен тебе сказать, что

напрасны в этом смысле все твои старания. Потому что эта дама неприступна, как орлеанская девственница. Об этом мне наемни говорил Володька Мылов... ну, ты же знаешь, что за это тип – этот самый Мылов? Так вот, даже он в отчаянье опустил руки! Не женщина, говорит, а крепость Измаил! Бородинские редуты! Курская, ядрена вошь, дуга! И страстная тайна хранится в измученном сердце ея... Так что если ты лелеешь ту же самую надежду, что и Володька Мылов...

– Ты уже глянул в список?

– Глянул, глянул... Хм, действительно... Светлова Юлия Васильевна, во как! И номерок телефона имеется также. Запоминай... Вот только интересно – ее ли это родная фамилия или, обратно сказать, мужнина? Ведь она, сдается мне, при дитяти? Из чего следует, что где-то в природе должен быть и муж...

– Пошел ты со своими рассуждениями – сам догадываешься куда!

– И это ты мне говоришь вместо благодарности?

– Вот именно.

– Ну, ладно же! Вот попросись ко мне в заместители начальника вырезвителя номер два – хрен я тебя возьму за такие твои слова! Так и сгниешь на своей собачьей должности! А место, между прочим, теплое и хлебное...

На том общение с Серегой Кошкиным и закончилось. Теперь у Артема был ИХ телефон. Все, можно было и звонить. Кажется, еще не поздно: всего-то одиннадцать часов вечера...

– Алло, – сразу же, будто сидела у телефона и ждала этого звонка, отозвалась Юлия. – Я слушаю...

– Это я, – отчего-то враз охрипшим голосом отозвался Артем. – Ну, я... Вы, наверно, меня не узнали...

– Отчего же не узнала? – спокойно спросила Юлия. – Старик... ой, простите... Артем.

– Да, – сказал Артем.

– У вас что-то произошло? – спросила Юлия. – Вероятно, вы хотите сказать, что куда завтра с нами не поедете... не сможете?

– Вовсе нет, – сказал Артем. – С чего вы взяли? Я обязательно поеду!

– Вот как... Тогда для чего же вы звоните?

– Ну, чтобы сказать Аленке, что я непременно поеду... чтобы она не сомневалась.

– Да она и так не сомневается. Она весь вечер о вас только и говорила. У нее относительно вас на завтра просто-таки фантастические планы! Отчего-то вы ей очень понравились.

– Она мне тоже...

– Я это заметила.

– Это что же – так заметно?

– Разумеется.

– Тогда у меня к вам вопрос...

– Я слушаю.

– Скажите, как вы относитесь к тому, что Аленка... она ведь ваша дочь... ну, к тому, что у нас с Аленкой – взаимная симпатия?

– В принципе – нормально. Алена – человек самостоятельный, и имеет право кому-то симпатизировать, а кому-то – наоборот. Нормально отношусь.

– Вот как... Я могу с ней поговорить... с Аленкой?

– Она спит.

– Спит?

– Да, конечно. Ведь уже поздно...

– Действительно. Я как-то об этом не подумал. Для нее – уже поздно... Извините.

– За что же?

– За поздний звонок.

– Ну, для меня-то он совсем не поздний.

– Для меня тоже. Одиннадцать часов вечера... Самое окаянное время.

– Как вы сказали? Окаянное время? Странное определение для времени...

– Ничего странного. Именно так – окаянное. Еще не ночь, но уже и не вечер. Еще не темно, но уже и не светло. И самое главное – если ты успел что-то за день накурлесить, то этого невозможно исправить, потому что через час – уже другой день... а что можно исправить за один час? Так и засыпаешь с чувством вины. Одиннадцать вечера – время осознания вины...

– Время осознания вины... Одиннадцать часов вечера, и уже поздно что-либо исправлять, потому что день кончается, и начинается день иной... Да-да... Знаете, мне отчего-то вдруг стало даже жутковато. Время осознания вины... Я хочу у вас спросить...

– Вы хотите спросить о том, какая вина заставила меня позвонить вам?

– Да... Но как вы об этом догадались?

– Догадался... логически. Здесь не вина... здесь – другое. Просто – мне захотелось вам позвонить... то есть вам и Аленке. Вам обоим...

– Зачем?

– Не знаю. Но если бы я этого не сделал, то...

– Одиннадцать часов вечера. Мог позвонить и хотел позвонить, а – не позвонил. И – чувствовал бы себя из-за этого виноватым. Время вины...

– Наверно, так.

– Значит, дело все-таки в вине?

– Получается, что так...

– Мне кажется, что вы очень искренний человек.

– Не знаю... Никогда об этом не задумывался.

– Расскажите о себе, – сказала вдруг Юлия.

– Зачем вам? – спросил Артем.

– Должна же я знать хоть что-нибудь о человеке, который так понравился моей дочери! Ну, и вообще... Знаете, на ежеутренней планерке у начальника я никогда вас не замечала... не обращала внимания. Извините...

– Вот видите – теперь уже и вы чувствуете себя виноватой. Одиннадцать часов вечера...

– Да-да... Расскажите о себе.

– Что же вам рассказать?

– Мне кажется, что важно не то, что мы рассказываем, а важно то, как мы это рассказываем.

– Наверно... Поэтому второе сделать гораздо сложнее, чем первое. Я в этом убедился буквально вчера, когда пытался рассказать Аленке сказку. Я даже не представлял, каким тоном мне ее рассказывать... чтобы получилось убедительно и честно! Хорошо, что Аленка увидела вас в окно, а то бы я непременно опозорился.

– В таком случае – готовьтесь: завтра Аленка заставит вас дорассказать вашу сказку. Она заставит – уж я ее знаю!

– Если вы в это время будете рядом, то, я думаю, не случится ничего страшного. Уж с вашей-то помощью я как-нибудь с этим справлюсь.

– И как же мы будем рассказывать эту сказку – вдвоем?

– Так и будем. Я – начну, а вы – продолжите. Я – ошибусь, а вы – меня поправите...

– Никогда не рассказывала сказки вот так, чтобы с чьей-то помощью. Всегда одна... Вы думаете, это у нас получится... дуэтом? Почему вы молчите?

– Что? Ах да, извините... Я вдруг попытался представить, как она спит... Аленка... и какая она во сне.

– Ну и как, представили?

– Почти нет. Почему-то это очень трудно... представить такое. Вы ее сейчас видите?

– Конечно. У нас – одна комната. Вижу.

– Вы – счастливый человек. Мне сдается, что это зрелище, на которое можно смотреть сколько угодно... хоть целые сутки.

– А почему у вас нет своих детей?

– Об этом меня вчера уже спрашивала Аленка. Знаете, этот вопрос очень легко задать, но почти невозможно на него ответить...

– Пожалуй. Простите. До свидания. До завтра. Вернее, уже до сегодня.

– Неужели уже полночь?

– Да. Последний, окаянный час суток истек. Скажите, вы сегодня будете спать без чувства вины?

– Не знаю, – сказал Артем, и вдруг ни к селу ни к городу вспомнил свою тайную подругу Оксану. А вослед за воспоминанием пришло и чувство вины. Вины – в чем? Вины – перед кем? Артем не мог ответить на эти вопросы, но отчего-то ему показалось, что – вины перед Юлией и Аленкой. И вслед за этим Артем впервые почувствовал смутную неприязнь к Оксане. Черт ее принес сегодня! Сидела бы да ждала своего дурака мужа, в самом деле!

– А я – знаю, – сказала Юлия. – Я хотела сказать, что знаю о себе. Я буду спать безо всякого чувства вины. Спасибо вам.

– За что же? – не понял Артем.

– За то, что столько много рассказали о себе.

– Разве я рассказал?

– Конечно. До свидания.

И в горячей телефонной трубке Артем услышал короткие гудки...

4.

К электричке Артем прибыл загодя, больше чем за полчаса до ее отправления. Не то чтобы он преднамеренно это сделал, а просто – все получилось само собой: проснулся, наспех умылся, оделся – и побежал. А когда прибежал, то оказалось, что до прибытия электрички еще целых полчаса. Юлии и Аленки нигде не было видно, и Артем в нетерпении стал прохаживаться по перрону. Отчего-то Артема мучила мысль: а вдруг они не придут? И от этой мысли Артем чувствовал себя предельно неуютно и бесконечно одиноко...

Они пришли за пять минут до прибытия электрички. Первой Артема увидела Аленка, кинулась к нему и повисла у него на шее.

– Старик! – защебетала Аленка. – Мы с мамой проснулись рано-рано, потому что я ее разбудила, потому что я боялась проспать и опоздать на электричку! А потом мы с мамой собирались так долго, что все равно почти опоздали!

– Она сегодня проснулась, когда не было еще и семи, и буквально меня извела! – сказала Юлия, подходя. – А вдруг электричка уедет, а вдруг старик нас не дожидется или совсем не придет... Здравствуйте.

– Здравствуйте, – сказал Артем, отпуская Аленку. – Электричка еще не уехала, и старик вас дождался. Так что – все нормально. Давайте ваш тяжеленный рюкзак.

– Возьмите, – просто сказала Юлия, протягивая рюкзак. – А вот и электричка.

...В вагоне они сели на одну скамью – Юлия и Артем по бокам, а Аленка посерединке. Ехали недолго – всего четыре остановки. Приехали, сошли, и не торопясь, пошли по тропинке, которая вела от станции в виднеющийся вдалеке лес. Аленка бодрой трусцой бежала впереди, собирая цветы для грядущего то ли букета, то ли венка, Артем же и Юлия шли рядышком: ширина тропинки им это позволяла. Они изредка косились друг на друга и молчали. Неизвестно, отчего молчала Юлия, а вот Артем молчал оттого, что впервые видел Юлию так близко, и сейчас, косясь на нее, он различал на ее лице крохотные конопушки, маленький, чуть выше левой брови, шрамик, бьющуюся жилку на шее... Вскоре тропинка стала настолько узкой, что им пришлось идти, касаясь друг друга, а затем Юлия молча ускорила шаг и оказалась впереди Артема.

На опушке по требованию Аленки, которой не терпелось похвастаться собранными цветами, устроили привал. Юлия присела на поросший травой пригорок, Артем, потоптавшись, сел рядом.

– Садитесь поближе, – сказала Аленка. – А то мне будет неудобно показывать вам цветочки!

Впервые за все время путешествия Юлия улыбнулась и сама придвинулась к Артему – причем так близко, что Артем, покосившись на нее, различил даже золотистые волосинки на ее щеке.

– Смотрите, какие цветы я нашла! – сказала Аленка. – Вот – беленькие, а вот – желтенькие... А вот смотрите какие – синие! Старик, ты знаешь, как называется этот синий цветок?

– Медуница, – сказал Артем.

– Ме-ду-ни-ца, – повторила Аленка по слогам. – Когда мама мне купит котенка, я его назову Ме-ду-ни-ца. Потому что это очень красивое слово. Старик, ведь это же красивое слово?

– Очень, – сказал Артем.



– Мамочка, – повторила свой вопрос Аленка, – это же красивое слово?

– Красивое, – сказала Юлия.

– Я рада, что вы думаете одинаково, – заявила Аленка. – Ну, пошли же дальше, потому что там речка!

Артем встал первым, и протянул руку Юлии. Она чуть помедлила, протянула свою руку, встала и несколько шагов они прошли, держась за руки, после чего Юлия, не глядя на Артема, осторожно высвободила свою ладонь из его ладони...

К речке подошли минут через двадцать. Речушка была неширокой и, судя по всему, не слишком глубокой. На другом ее берегу, в отличие от берега этого, расстилалось великолепие: густая трава, цветы, ивы над водой, и чуть далее – несколько огромных и толстенных деревьев, похожих на дубы. Подойдя к самой воде, Аленка долго смотрела на противоположный берег, после чего с хитрющим видом уставилась на Артема.

– Старик, – сказала она, – если бы, например, через речку был мостик, то мы бы все перешли бы по этому мостику на другой берег. Потому что там очень красиво, и мы с мамой еще никогда там не были. И еще потому, что там очень большие деревья... такие большие, каких я никогда еще не видела... и мне хочется потрогать их рукой.

– Ох, Алена, – укоризненно сказала Юлия. – Ну что такое ты говоришь? Как же мы туда попадем, если моста и вправду нет?

– Мамочка, – убежденным тоном сказала Аленка. – Нам с тобой не надо об этом беспокоиться, потому что старик сейчас найдет лодку, или он построит мост, или перенесет нас с тобой на руках на тот берег, потому что старик очень сильный. Ты не бойся, мамочка, он нас не уронит в речку! Старик, ведь ты же не уронишь нас в речку?

– Алена, не выдумывай! – строго сказала Юлия.

– Не надо ссориться, – сказал Артем. – Сейчас мы произведем разведку, и после этого примем окончательное решение, как нам добраться до тех волшебных деревьев.

– Ну, зачем вы ей потакаете, – нерешительно сказала Юлия. – Во-первых, это может быть опасно, а во-вторых...

– Ничего, – сказал Артем. – Тут этой речушки – мне по колени. И вообще – на том берегу отчего-то всегда бывает лучше, чем на этом. Аленка это сразу заметила...

– Я тоже заметила, – улыбнулась Юлия. – Но как же мы туда попадем... без моста?

– Я построю для вас мост, – сказал Артем. – Я найду для вас лодку. Я перенесу вас на руках... Хотите – я перенесу вас на тот берег на руках?

– Аленка, я думаю, будет в восторге...

– А вы?

– Вы хотите, чтобы я ответила честно? – после долгого молчания спросила Юлия.

– Знаете, хотелось бы... – также помолчав, сказал Артем.

– Тогда не требуйте от меня сиюминутного ответа, – сказала Юлия. – Мне очень сложно ответить... я не могу так сразу.

– Пойдем к реке, – сказал Артем. – Будем искать безопасный способ переправы, то есть брод.

Безопасный способ переправы, то есть брод, нашелся очень быстро. Речушка и впрямь была мелковатой – едва ли Артему по пояс. Обоих – Аленку и Юлию – Артем одновременно перенести на тот берег не смог бы, а вот по очереди – нет ничего проще. Мимоходом вспомнив классическую загадку-притчу про переправу волка, козы и капусты,

Артем решил в первую очередь перенести на тот берег Аленку и рюкзак с припасами, а во вторую очередь – Юлию.

Восторг не восторг, а впечатление от переправы Аленка получила просто-таки колоссальное. Она сидела на плечах у Артема, и до предела распахнутыми глазами смотрела в воду, где на дне, взгромоздясь друг на дружку, лежали обомшелые валуны, вокруг которых гулко клокотала и пенилась вода. Даже оказавшись на другом берегу, Аленка долго не желала покидать безопасные плечи Артема, и всё косилась на пенящуюся клокочущую реку.

– Испугалась, старушка? – спросил Артем, бережно ссаживая Аленку на землю.

– Чутьочку-чутьочку, – показала Аленка на пальцах. – А сейчас я уже совсем не боюсь, потому что я уже на берегу, а вода все равно в речке. Иди же за мамой, а я буду сидеть на этом камушке, смотреть на вас и ждать. Иди, старик: я уже почти совсем переболялась.

– Я быстро, – сказал Артем, ступая в воду.

– Ты мне крикни с того берега, – сказала вслед Аленка. – А я тебе отвечу с этого берега.

– Обязательно крикну, – сказал Артем. – Ты только никуда не уходи, ладно?

– Ладно, – пообещала Аленка. – А медведь ко мне не придет?

– Не придет, – заверил Артем. – Не бойся.

Юлия ждала Артема на берегу. Артем вышел из воды, подошел к Юлии, чуть помедлил и взял ее на руки. Может, после довольно-таки холодной речной воды, а, может, по какой-то иной причине Юлия показалась ему удивительно теплой, а еще – такой легкой, что, кажется, Аленка и та была тяжелее. Это была удивительная переправа: Артем нес на руках Юлию и изо всех сил не хотел, чтобы река когда-нибудь заканчивалась... а чтобы она была широкой-широкой, до самого горизонта. А, может, еще и шире. Дойдя до середины реки, он остановился, и впервые взглянул на Юлию открытым и долгим взглядом. Глаза у Юлии были закрыты, на ее лице были водяные капли. Артем дотянулся ладонью до ее лица и вытер эти капли. Юлия открыла глаза и посмотрела на Артема.

– Юля, – сказал Артем. – Юля...

– Давай постоим немножко... здесь, на середине, – сказала Юлия. – Если тебе не тяжело меня держать...

– Мне не тяжело, – сказал Артем. – Мне совсем не тяжело...

– Река, небо, и твои руки... И Аленка на том берегу, – сказала Юлия. – И больше – ничего... и никого... Законченность и совершенство мира. Пойдем же. Тебе, наверно, все же тяжело... и там – Аленка.

Когда они оказались на берегу, Артем отпустил Юлию и обеими руками дотронулся до ее мокрых волос. Юлия потянулась навстречу этим рукам, закрыла глаза и замерла. Наверно, они бы стояли так долго, может, и до самого вечера – если бы не Аленка.

– Старик, – сказала Аленка, – а почему ты не крикнул мне с того берега? Я ждала, а ты взял и не крикнул...

– Забыл, старушка, – очнулся Артем. – Поверишь – забыл! Ты прости меня за это, ладно?

– Ладно, – великодушно сказала Аленка. – Тогда пойдем скорее к тем большим деревьям, а то вы стоите и обнимаетесь, а я хочу дотронуться до тех деревьев рукой,

потому что ты сам мне сказал, что они волшебные! А потом уже обнимайтесь, сколько себе хотите, а я буду трогать волшебные деревья...

Юлия и Артем посмотрели на Аленку, затем взглянули друг на дружку, затем опять на Аленку, и расхохотались. Глядя на смеющихся взрослых, засмеялась и Аленка. Так, смеясь, они и пришли к трем огромным деревьям. Вблизи деревья были еще больше и величественнее, чем издали, с того берега. Они держались за землю тысячько корней, а их кроны шумели грозно и таинственно.

– Ух, ты! – восхищенно сказала Аленка. – Старик, а как эти деревья называются?

– Это дубы, – сказал Артем.

– Дубы, – повторила Аленка, касаясь дерева рукой. – Какое оно теплое! Старик, а почему дерево такое теплое? Оно, наверно, живое, да?

– Конечно, живое, – сказал Артем.

– И оно нас сейчас видит? – спросила Аленка.

– И видит, и слышит, и говорит с нами, – сказал Артем.

– Вот здорово! – сказала Аленка. – А о чем оно с нами говорит?

– А ты прислушайся, и поймешь, – сказал Артем. – Только слушай очень внимательно.

– Хорошо, – шепотом сказала Аленка. – Я буду слушать сначала одно дерево, потом другое, потом третье... А еще потом я вам расскажу, о чем они говорят.

И Аленка, прижавшись ухом к стволу, замерла. Юлия и Артем отошли в сторону и сели на землю, утонув в траве едва ли не по плечи.

– Ты из-за этой переправы весь мокрый, – сказала Юлия.

– Пустяки, – сказал Артем.

– Дубы, – помолчав, сказала Юлия. – Интересно, сколько им лет? Наверно, не меньше ста.

– Думаю, что побольше, – сказал Артем. – Я где-то слышал, что они живут долго – триста, пятьсот и даже тысячу лет.

– Тысячу лет, – сказала Юлия. – Они уже были, когда нас еще не было, и будут, когда мы уже уйдем. Как странно...

– Да, – сказал Артем. – Странно...

Разговор между ними не клеился. Между ними стояло НЕЧТО, и оно, это НЕЧТО, мешало разговору. Они оба чувствовали это НЕЧТО, и чувствовали также, что оно им мешает общаться, но они, каждый по-своему, не хотели, чтобы это НЕЧТО исчезало. Они, каждый по-своему, думали о том мгновении, когда это НЕЧТО между ними возникло: только что, во время ли переправы, или, может, еще раньше – во время езды на электричке, или во время вчерашней случайной встречи на аллее или во время вечернего телефонного разговора, а, может, даже еще позавчера, когда Юлия искала Аленку, и Артем пытался Юлии объяснить, что Аленка находится у него, а Юлия этого никак не понимала...

Аленка тем временем закончила выслушивать деревья, и с таинственным видом подошла к Юлии и Артему.

– А знаете, что они мне сказали... эти три дерева, которые называются дубы? Я их слушала по очереди, и они мне сказали... они мне сказали очень много всего... так много, что я даже не могу сказать этого вам! Они очень добрые и теплые... и мне даже показалось, что они звали меня куда-то с собой, а вот куда – я так и не поняла... А вы

знаете, что я придумала? Мамочка, пускай вот это дерево будет твоим, ладно? Старик, а вот то, другое дерево, пускай будет твоим. А то, третье, которое самое маленькое и посерединке, пускай будет моим. Я их вам дарю... это мой такой вам подарок. И себе одно дерево я дарю тоже.

– Спасибо, – сказала Юлия.

– Спасибо, – сказал и Артем. – Это очень хороший, просто замечательный подарок!

– Правда? – бурно обрадовалась Аленка. – Тогда нам нужно будет иногда приходить к ним в гости... к этим деревьям... потому что они теперь наши... и еще потому, что они не умеют ходить сами! Старик, мы будем приходить в гости к этим деревьям... иногда?

– Обязательно, – сказал Артем.

– Мамочка, мы будем приходить к этим деревьям... иногда? – повторила вопрос Аленка.

– Конечно, – сказала Юлия.

– И мы всегда будем приходить к ним втроем... я, ты, мамочка, и ты, старик? Ну, почему же вы молчите?

– Дочь, ты хочешь кушать? – спросила Юлия.

– Хочу! – сказала Аленка. – Даже очень-преочень хочу! А ты, мамочка, хочешь кушать?

– И я хочу, – сказала Юлия.

– А ты, старик, хочешь кушать? – спросила Аленка.

– И он хочет, – сказала Юлия, молниеносно взглянув на Артема. – Дочь, помоги мне разобраться в рюкзаке.

– Конечно, мамочка! – сказала Аленка. – Потому что я сама сегодня туда все складывала, и ты, мамочка, ничего без меня там не найдешь!

– Это уж точно, – сказала Юлия, развязывая рюкзак. – Артем, будь добр, помоги мне расстелить эту скатерть...

...А потом они втроем гуляли по заросшему травой и цветами лугу. Аленка щебетала и перебегала от цветка к цветку, Артем и Юлия больше молчали и старались не приближаться друг к другу. Лишь однажды, когда в траве сверкнул ручеек, и надо было через него перебраться (Аленка обежала этот ручеек стороной), Артем молча взял Юлию на руки и перенес на другой берег.

– Я бы и сама... – тихо сказала Юлия. – Там совсем мелко... Или – стороной, как Аленка...

А затем Юлия и Аленка плели венки из собранных цветов, причем Аленка пожелала, чтобы сам процесс плетения происходил втайне от Артема. Аленка и Юлия отошли в сторону и опустились в траву, а Артем присел на бугорок и покусывая травинку, принялся ждать. Вскоре Юлия и Аленка появились из травы, и, слегка смущенные, с венками на голове подошли к Артему. Артем взглянул на них обеих, и у него невольно дрогнули губы. Ему вдруг показалось, что дорожке этих двух, столь неожиданно появившихся в его жизни людей, у него никого нет, и никогда не будет. Именно так – нет, и никогда не будет. Кажется, Юлия поняла его чувства. Она присела рядом, и коснулась его руки своей рукой. Только и всего – но большего Артему в тот момент было и не надобно...

Покрасовавшись в венке, Аленка заявила, что хочет спать.

– Хоть полчасика, хоть даже полминуточки, – сказала она. – Только вы садитесь поближе... совсем-совсем рядышком... потому что мне хочется положить голову вам на колени... и тебе, мамочка, и тебе, старик. Садитесь совсем–совсем рядышком – чего вы? Вот так... Старик, ты вчера рассказывал мне хорошую сказку и не дорассказал ее, помнишь? И ты обещал мне дорассказать ее потом, помнишь? Мне кажется, что потом уже наступило, оно уже сегодня... прямо сейчас!

– Помню, старушка, конечно же, помню. Ну, слушай... Выручай, – шепнул Артем Юлии. – Выручай – а то опозорюсь и не оправдаю надежд.

– Начинай, как можешь, а я в случае чего подхвачу, – улыбнулась Юлия. – Не бойся, у тебя получится.

– Значит, так, – откашлялся Артем. – В одном далеком и прекрасном мире жила прекрасная девочка...

– Похожая на меня, – вставила Аленка.

– Ну, конечно же, похожая на тебя, – сказал Артем. – И звали ее так же, как и тебя, то есть Аленкой, и глаза у нее были точно такие же, как у тебя – большие и синие, как цветы васильки. И эта девочка умела летать. Она умела летать высоко–высоко, так высоко, что могла дотронуться рукой до звезд. И вот однажды вечером...

– Она уснула, – тихо сказала Юлия.

– Так быстро? – не поверил Артем.

– Она сегодня встала очень рано, – сказала Юлия. – Да и тут – столько впечатлений за один раз... Она вообще очень быстро засыпает... так было всегда.

– Я хотел у тебя спросить... – сказал Артем, помолчав.

– Я слушаю, – сказала Юлия.

– Я хотел спросить... вы давно живете одни... то есть вдвоем?

– С самого начала.

– А...

– Не надо... не надо сейчас, хорошо? Может, как–нибудь потом... в другой раз, – сказала Юлия и, помолчав, добавила: – Только ты не сердись.

– Я не сержусь, – сказал Артем. – Извини...

– Ну, что ты, – сказала Юлия. – Я тоже хочу у тебя спросить...

– Спрашивай, – сказал Артем.

– Скажи... – Юлия запнулась, – когда мы переходили через реку... то есть, когда ты меня нес на руках, и мы остановились на середине... о чем ты тогда думал?

– О тебе, – сказал Артем. – Мне очень хотелось тебя поцеловать.

– Почему же ты этого не сделал?

– Я не решился.

– Жаль... Я думала, что ты решишься. Я этого ждала. Мне этого очень хотелось... тогда.

– А сейчас? – после молчания спросил Артем.

– И сейчас – тоже, – также после молчания сказала Юлия. – Не так, как тогда, посредине реки... как-то по-другому... но – все равно...

Осторожно, чтобы не потревожить спящую Аленку, Артем обнял Юлию и поцеловал ее в губы. Вкус ее губ, запах ее волос и щек ударили Артему в голову с такой силой, что он на миг подумал, что теряет сознание.

– Юлька, – сказал он, – Юленька...

Она не ответила ничего, и даже не открыла глаз, а просто склонила голову ему на плечо и затихла.

– Юля, – еще раз сказал Артем.

Ах, как же пахли ее щеки и волосы, как же они пахли!..

– Удивительно... ты меня нюхаешь, будто я цветок, – сказала Юлия, не открывая глаз. – Зачем ты это делаешь?.. Я не понимаю...

– Потому что от тебя пахнет, как от цветка, – сказал Артем.

– Это, наверно, пахнут цветы... их так много на этом лугу, – сказала Юлия.

– Нет, – сказал Артем. – Это не цветы. Это – ты...

– Тебе так важно, чем от меня пахнет? – удивилась Юлия с закрытыми глазами.

– Очень важно, – сказал Артем.

– Почему? – спросила Юлия.

– Потому что... неужели ты и впрямь этого не знаешь? Ведь это же так просто...

– Меня никто никогда не нюхал, – сказала Юлия, по-прежнему не открывая глаз. – Потому и не знаю... Тебе нравится, как я пахну?

– Очень.

– Я рада... Я и вправду этому рада... не знаю, почему... но я рада.

Аленка проснулась через полчаса, и они засобирались домой. Через реку переправлялись в том же самом порядке: вначале Артем перенес Аленку с рюкзаком, затем – Юлию. На середине реки Артем остановился. Юлия смотрела на него широко распахнутыми глазами, в которых отражалось небо с облаками. Артем наклонился и поцеловал Юлию в глаза, а затем и в губы.

– Я почему-то думала, что ты этого не сделаешь... на обратном пути, – сказала Юлия. – Спасибо тебе...

– За что? – спросил Артем.

– Догадайся сам, – улыбнулась Юлия.

– Они там себе целуются, – донесся с берега возмущенный Аленкин голос, – а ребенок стоит здесь один! А вдруг ко мне сейчас придет настоящий медведь?

– Пойдем, – сказала Юлия. – Пойдем же... Там – Аленка...

– Пойдем, – согласился Артем. – Потому что – а вдруг и вправду придет медведь? Медведь – зверь неожиданный...

В электричке Аленка неожиданно опять заснула, да притом так крепко, что как Юлия ее не тормошила, а разбудить так и не смогла.

– Умаялась старушка, – улыбнулся Артем. – Пускай себе спит. Я отнесу ее домой на руках.

– Тяжело ведь будет, – неуверенно запротестовала Юлия.

– Это Аленку-то тяжело? Ну, что ты... Заодно по пути как следует посмотрю на то, как она спит. Со вчерашнего вечера хочу посмотреть.

– Пойдем, – каким-то странным тоном сказала Юлия.

Идти было недолго, да если бы и долго – какая разница? Артему казалось, что так вот – со спящей Аленкой на руках и Юлией рядом – он готов был идти хоть до самого Южного полюса. Потому что было во всем этом что-то... много чего, одним словом, было во всем этом... так много, что даже и думать об этом было мудрено.

Пришли, поднялись на второй этаж, Юлия отперла дверь.

– Проходи в комнату, – сказала Юлия. – Там ее кровать... Хотя, погоди, я сниму с нее обувь и курточку...

Курточка и обувь были сняты, Артем прошел в комнату и с величайшей осторожностью уложил Аленку на кровать.

– Спит, – сказал Артем, глядя на Аленку.

– Спит, – сказала Юлия.

– Удивительно, – сказал Артем.

– Да, – сказала Юлия. – Удивительно...

Так они стояли минут десять, или, может, полчаса, или целый час... какая разница? «Законченность и совершенство мира, – отчего-то припомнились Артему слова, которые сказала Юлия там, на реке. – Законченность и совершенство мира...»

– Пойдем на кухню, – сказала Юлия. – Я тебя чем-нибудь покормлю.

– Ну, что ты! – запротестовал Артем. – Лучше – присядь и отдохни.

– Присядь и отдохни... Такие простые слова, а... – Юлия не договорила, усадила Артема на кухонный табурет и открыла холодильник. – Интересно, что у нас тут имеется? Ага... Значит, так, так, и еще так... и еще вот это... а сейчас будет и чай. Ешь.

– А ты? – спросил Артем.

– А я буду сидеть и смотреть на тебя.

– Просто сидеть и смотреть?

– Да.

– Я не понимаю...

– Так же, как не понимала и я, когда ты меня нюхал, будто цветок... там, на другом берегу. А затем я это поняла... мне кажется, что – поняла. Пойми теперь и ты... пожалуйста, постарайся и пойми.

В окне явственно темнело. Они по-прежнему сидели на кухне, и молча смотрели на гущающиеся сумерки.

– Ну, я пойду, – сказал Артем вставая. – Надо идти... уже поздно.

– Да, уже поздно, – сказала Юлия и также встала. – Иди...

– Можно мне еще раз посмотреть на Аленку... как она спит? – спросил Артем.

– Конечно... посмотри, – сказала Юлия. – Мы посмотрим вместе...

Вдвоем они подошли к Аленкиной кровати.

– Она улыбается, – сказал Артем. – Она спит и улыбается... удивительно! Наверно, ей сейчас что-то снится.

– Наверно, – сказала Юлия.

– Никогда не думал, что это так... – сказал Артем. – Мне кажется, на это можно смотреть бесконечно. Ну, я пойду...

– Иди... Ну что же ты делаешь... Артем! – воскликнула Юлия, когда Артем был уже у двери. – Ты так и уйдешь... молча?

– Я не знаю, что тебе сказать на прощанье.

– Ты не знаешь? И я не знаю тоже... Хотя, может быть, и знаю... мне очень хочется сказать тебе, чтобы ты не уходил... что я боюсь, что ты уйдешь и больше мы не увидимся... но сегодня я этого тебе не скажу. Не заставляй меня говорить это сегодня, ладно? Я не могу так вот, сразу... не вынуждай меня, чтобы я ломала сама себя. Это больно и бессмысленно... и не принесет радости ни тебе, ни мне. Ты меня понимаешь?

– Да.

– Ты меня и вправду понимаешь? Вот видишь, как замечательно: мы с тобой стали понимать друг дружку, не говоря лишних слов. Я этому рада... это замечательно. Ну, иди же...

– До свидания, – сказал Артем.

– До завтра, – сказала Юлия. – Завтра мы с тобой увидимся. Вначале – на работе... на утреннем совещании у начальника, а затем... а затем – как ты захочешь. Наверно, я завтра буду жутко тебя стесняться. Но ты постарайся не обращать на это внимания, ладно? Ты просто подойди ко мне и скажи одно только словечко. Скажи «здравствуй» или спроси, как я спала и что мне снилось... спроси, что хочешь. Я тебя очень прошу... подойди завтра ко мне и скажи – одно только словечко...

– Конечно, – сказал Артем, и обнял Юлию. – Конечно.

– Тебе нравится, как я пахну? – спросила Юлия.

– Я ведь тебе уже говорил об этом, – сказал Артем.

– Скажи еще раз...

– Мне очень нравится, как пахнут твои волосы, щеки, губы... и еще глаза.

– И глаза?

– И глаза. Юля...

– Ну, иди. Иди же... а то я сейчас расплачусь. Иди...

Едва только Артем зашел домой, как зазвонил телефон. Артем подумал, что это звонит Юлия... он был убежден, что это – именно Юлия, потому что – он хотел, чтобы это была она, ничьего более звонка ему сейчас было не нужно. Но это была не Юлия. Звонила тайная подружка Оксана.

– Наконец-то ты объявился! – сказала Оксана. – А я уж думала – пропал насовсем! Целый день не отхожу от телефона, все звоню и звоню, а ты – будто сквозь землю провалился! Интересно, где тебя носило до самого позднего вечера?

– Гулял, – сказал Артем. – Зачем звонишь–то?

– Ого! – удивленно сказала Оксана. – Раньше, мне сдается, ты никогда не спрашивал, для чего я звоню... У тебя что–то случилось?

– Это неважно, – сказал Артем.

– Стало быть, случилось, – усмехнулась в трубку Оксана. – Ну–ну... Я даже не стану спрашивать, что именно случилось. Потому что и без вопросов все для меня ясно. Ах, соперница, ты моя соперница... Я угадала?

– Думай, как знаешь, – сказал Артем. – У тебя все?

– Почти, – сказала Оксана. – За одним единственным маленьким исключением. Сегодня мой дурак опять уехал на рыбалку, и вернется только завтра к вечеру. Коль уж



дело так поворачивается, то, может, устроим прощальную встречу? Ты только скажи, и я мигом... На такси – за каких-то полчаса...

– Не надо, – сказал Артем. – Сиди дома и ожидай с рыбалки мужа. Привыкай быть честной женой.

– Да... – помолчав, сказала Оксана. – Похоже, что тебя зацепило... Уж я тебя знаю – за столько-то времени. Ну и кто же она, эта счастливица? Чем же она лучше меня? Что у нее не так, как у меня?

– Зачем ты ерничаешь? – спросил Артем. – Тебе это не идет.

– Может, я не ерничаю, а плачу, – сказала Оксана. – Откуда тебе знать?

– Считай, что я погладил тебя по головке и вытер тебе слезы прощальным поцелуем, – сказал Артем.

– Пошел ты со своим прощальным поцелуем знаешь куда?

– Примерно знаю, – сказал Артем.

– Вот туда и отправляйся! – сказала Оксана и повесила трубку.

Не успел Артем положить трубку, как телефон зазвонил опять.

– Ну? – недовольно сказал Артем, думая, что это опять звонит Оксана. Но на этот раз звонила вовсе не Оксана.

– Это я, – сказал голос в трубке. – Юлия... Я, наверно, некстати и поздно... но я подумала, что еще только одиннадцать часов вечера... и есть еще целый час, чтобы решить то, чего никак нельзя откладывать на завтра. Одиннадцать часов вечера – окаянное время...

– Ты и кстати, и еще совсем не поздно... и я очень рад, что ты позвонила, – сказал Артем. – Я не видел и не слышал тебя тысячу часов.

– И я тебя тоже – столько же. Как-то странно бежит сегодня время... совсем не так, как обычно.

– Наверно, дело не во времени, а в нас, – сказал Артем. – Это мы сегодня – необычные...

– Может, и так, – согласилась Юлия. – Ты знаешь, для чего я тебе звоню?

– Пока нет, – ответил Артем. – Но я думаю, что ты это сейчас скажешь.

– Конечно, скажу. Я для того и звоню, чтобы сказать. Мне очень трудно будет это говорить... но я обязана... потому что дальше все может быть только хуже. И для Аленки, и для меня тоже, да и, наверно, для тебя. Вот...

– Я тебя не понимаю...

– Я об Аленке... в первую очередь, о ней... ведь это же понятно, потому что я – ее мама. Ты знаешь, она, Аленка, только о тебе и говорит... она в тебя буквально–таки влюбилась! Ты не подумай, я ничего не имею против... ты, судя по всему, замечательный и добрый человек... но что будет потом – завтра, послезавтра, через неделю, когда эта ее любовь к тебе окрепнет и утвердится? погоди, не перебивай... я чувствую, что ты хочешь мне возразить... прошу тебя, не надо! Ну, что будет потом? А потом, я думаю, будет только больнее... для Аленки, да и для меня, наверно, тоже. Но я не о себе, я об Аленке... потому что она моя дочь... и я не знаю, как она перенесет эту боль... я вообще не хочу, чтобы ей было больно. Ты меня понимаешь?

– Не очень...

– Ты и вправду не понимаешь? Но это же так просто... Завтра или послезавтра, а хуже того – через неделю ты возьмешь и пропадешь, уйдешь... ты уйдешь насовсем... ты не захочешь больше с нами... с Аленкой... общаться – и тогда ей будет очень больно, понимаешь? Она будет спрашивать, куда ты подевался и когда ты придешь опять, – а как я ей отвечу, что ты не придешь больше никогда? Или – как я ей отвечу, что ты придешь завтра, если я буду знать, что ты не придешь ни завтра, ни послезавтра... вообще больше никогда? Теперь ты меня понимаешь?

– Теперь вроде начинаю...

– Ну вот и хорошо... ну и замечательно, что ты меня понимаешь. Ты, наверно, очень хороший человек... и поэтому ты правильно поймешь и то, что я хочу сказать тебе напоследок. Не приходи больше к нам и не звони... и особенно постарайся не общаться с Аленкой. Пообещай... и постарайся сдержать свое обещание, ладно? А Аленке я завтра скажу, что ты куда-нибудь уехал... далеко-далеко уехал... и тебя не будет долго, может, целый год. Целый год – это для нее... для Аленки... очень много... а потом она о тебе и забудет. В этом возрасте она еще сможет забыть... Ты обещаешь выполнить мою... нашу просьбу и не мучить больше нас?

– Нет.

– Вот как... Но почему же?

– Потому, что твоя дочь Аленка гораздо умнее тебя самой. Уж извини меня за такую откровенность.

– Я не понимаю...

– Правда? Но это же так просто... Аленке никогда бы не пришло в голову сказать мне то, что сказала сейчас ты.

– Но она еще такая маленькая...

– Потому-то она и говорит то, что видит и чувствует. И не пытается выдумать того, чего нет и уж тем более, убедить себя, а заодно и меня в своих выдумках. Ох, Юлька, Юлька... Какая же ты у меня дурочка!

– Правда?

– Стопроцентно.

– Скажи, пожалуйста, это еще раз.

– Что именно?

– Ну, что я – дурочка.

– Дурочка. Дурочка...

– Спасибо тебе. Прости меня, пожалуйста.

– И не подумаю.

– Почему?

– Разве нужно прощать человека за то, что он признался тебе в любви? И разве можно просить за это прощения?

– Да... Нет. Я не знаю... Ой, а ты знаешь, Аленка все спит и спит. То есть, нет... она проснулась, спросила о тебе, и опять заснула...

– Поцелуй ее за меня, ладно?

– Хорошо. Я ее поцелую много-много раз! Знаешь, ты обязательно подойди ко мне завтра утром... хоть на минутку... и скажи мне хоть одно словечко. Мне это очень нужно... ты понимаешь?

– Понимаю. Спокойной тебе ночи. То есть – спокойной вам ночи... тебе и Аленке.

– И тебе тоже – спокойной ночи. Я не хочу класть трубку первой... я боюсь. Мне почему-то кажется, что если я это сделаю первой, ты окажешься далеко-далеко... может, где-то на другой звезде... а я этого не хочу... я не хочу, чтобы ты был далеко... я хочу, чтобы ты был близко... чтобы я тебя чувствовала! Клади трубку первым, хорошо? А я буду держать свою трубку, и слушать в ней гудки. Сейчас я сосчитаю до трех – и всё... клади. Один, два, три...

Нежная июльская ночь царила над миром. Звезд не было, их укрыли набежавшие с запада тучи. Самоуверенный июльский ветер носился по утонувшему во мраке городу, и то и дело подлетал к двум освещенным окошкам, одно из которых было в желтом доме на третьем этаже, а другое – в красном доме на втором этаже. Припадая к первому окошку, ветер видел сидящего в кресле мужчину с закрытыми глазами и улыбкой на лице. Во втором окошке ветер видел женщину: она держала в руках телефонную трубку и тихо плакала. «Ха-ха-ха!» – смеялся все понимающий ветер, и молодецки ухаю, поднимался на городские крыши, чтобы исполнить там свою извечную мелодию на флейтах печных труб, цимбалах проводов и барабанах жестяных крыш.

## 5.

На следующее утро Артем явился на работу пораньше, и принялся с нетерпением ждать Юлию. Он хотел встретить ее у входа, улыбнуться ей, сказать заранее приготовленные слова и, может статься, добавить к этим словам что-нибудь еще... Артему это надо было не меньше, чем самой Юлии. Кроме того, Артем хотел пригласить Юлию и Аленку сегодня вечером к себе в гости, а, может, прийти к ним самому: ему было все равно, он хотел видеть Юлию и Аленку, он любил их обеих, каждую особенной любовью, ему было неуютно без Юлии и без Аленки.

Однако Юлия отчего-то не приходила. Она не пришла ни к восьми часам, ни к пятнадцати минутам девятого, ни к половине девятого, когда все уже собрались и дружной гурьбою отправились в кабинет начальника на утреннее совещание. Все были – а Юлии отчего-то не было.

Совещание было как совещание. Начальник был в меру строг и придирчив, на утренние, а заодно на дневные и вечерние орехи досталось каждому, и, между прочим, даже тишайшему начальнику следственного отдела – престарелому Семену Абрамовичу, Юлиному непосредственному начальнику.

– А где это у вас, Семен Абрамович, ваш личный состав? – сварливо спросил начальник. – Что это вообще за такая мода – каждый раз опаздывать на служебное совещание... я прямо–таки не понимаю такой моды! Или соскучились по выговорам?

– А никто и не опаздывает, – степенно возразил престарелый Семен Абрамович. – К вашему сведению, все на местах. Кононович в отпуске, Тарасова – на сессии, Величко – с утра у прокурора, а у Светловой заболел ребенок. Она звонила с утра и предупредила. Так что я прямо–таки не вижу повода для вашего возмущения...

У Светловой заболел ребенок! Это означало, что у Юлии заболела Аленка! Вот отчего Юлия не появилась сегодня на работе! Едва дождавшись конца совещания, Артем помчался в кабинет звонить Юлии, однако на полпути его перехватил дежурный по отделу.

– Улица Фабричная двадцать девять – это твои владения? – спросил дежурный.

– Ну? – нетерпеливо сказал Артем. – В чем дело?

– Во всеобщем упадке общественной нравственности и чрезмерной демократии, – философски изрек дежурный. – По этому адресу какой-то тип с утра прирезал жену, а сам

забаррикадировался в квартире и ведет прицельную стрельбу по всякой движущейся цели. Пять минут назад позвонили... Группа захвата уже в машине, так что, помолясь и вооружившись, езжай и ты. И сразу же позвони оттуда, понял?

– Понял, – недовольно сказал Артем. – Сейчас на минутку заскочу в кабинет и...

– Некогда скакать по кабинетам! – сказал дежурный. – Садись и дуй: дело-то нешуточное, сам понимаешь.

– Я только за пистолетом! – солгал Артем. – Он у меня в сейфе...

– Давай, милый, давай! – сказал дежурный.

В кабинете уже был Серега Кошкин и, разумеется, он болтал по телефону. Серега Кошкин всегда болтал по телефону по утрам, это было отличительной особенностью его характера.

– Серега! – сказал запыхавшийся Артем. – Потом доболтаешь! Срочно нужно позвонить!

– Между прочим, – сказал Серега, – у меня на том конце – дама. Даже – две дамы. Дело на мази, учти ситуацию...

– Твою мать! – рявкнул нетерпеливо Артем. – Тут вопрос жизни и смерти, а он мне черт знает о чем! Освободи телефон, сказано тебе!

– Пардон, мадам, – сказал Серега в трубку. – Тут неожиданно явился полковник Ермолаев и устроил мне выговор за ведение любовных разговоров в служебное время. Как, вы не знаете, кто такой полковник Ермолаев? Чистый зверь! Даже я при всем моем бесстрашии – и то его иногда боюсь! Застрелит из револьвера – и единственным своим глазом не моргнет! Так что – еще раз прошу пардона. Да-да, договорим потом... разумеется.

– Слушаю, – сказала Юлия, едва только Артем набрал номер. – Здравствуй. Я тебе звонила домой, но никто не ответил, а твоего служебного телефона я не знаю...

– Что с Аленкой? – спросил Артем.

– Да ничего особенного, – сказала Юлия. – Небольшая простуда. Наверно, результат вчерашней прогулки и переправы через речку.

– Ах ты!.. Это я виноват...

– Ну, что ты. Просто – у нее слабенькие легкие. Такое с ней происходит довольно-таки часто. Сейчас у нее небольшая температура, но дня через три, я думаю, все пройдет. Не беспокойся.

– Юля, – сказал Артем. – Юля...

– Что? – спросила Юлия.

– Я хотел тебе сказать... Но мне сейчас неудобно говорить... да и некогда. Мне надо ехать... там какой-то урод на Фабричной устроил с утра стрельбище, так что...

– Приходи после работы к нам, – сказала Юлия. – Мы тебя будем ждать. И – береги себя.

– Приходи после работы к нам! – вдруг вмешалась в разговор Аленка. – Старик, а я заболела!

– Я знаю, – улыбнулся Артем.

– Но только ты не беспокойся, – сказала Аленка. – Потому что я заболела совсем-совсем немножко, почти понарошку. Старик, ты придешь к нам вечером после работы?

– Обязательно, – сказал Артем.

– Принеси мне, пожалуйста, большое-пребольшое красное яблоко. Нет, два яблока: одно красное, а другое зеленое.

– Обязательно принесу.

– Ого! – сказал Серега Кошкин, после того, как Артем закончил разговор. – Неужто крепость Измаил капитулировала? Да притом так скоро! Сколько живу на свете, столько и дивлюсь...

– Знаешь, что я тебе скажу... – начал, было, Артем.

– Разумеется, знаю, – сказал Серега. – И – если это у тебя серьезно, то я за тебя рад. Без всякого подтекста, учти... просто рад – и все тут. Сдается мне, она – деваха правильная. Даже Володька Мылов этот факт с горечью констатировал... ну, ты же знаешь этого Володьку Мылова? Так что – жду приглашения в свадебные шафера.

Артем хотел что-то ответить, но тут в кабинет зашел дежурный.

– Это же просто невысказано так долго искать такой большой пистолет в таком маленьком сейфе! – горестно сказал дежурный. – Сейчас с Фабричной звонили повторно. Там, похоже, сплошной караул...

– Уже еду! – сказал Артем. – Да, кстати... Серега! Там, в камере, томится наш с тобой общий клиент Музыкант. Будь добр, разберись с этой сволочью! Его с нетерпением ждут в следственном отделе!

– Ну, конечно, – радостно сказал Серега вдогонку Артему. – Как же – разберусь. Упакую, перевяжу розовой ленточкой и доставлю адресату в лучшем виде...

Происшествие на улице Фабричной оказалось весьма непростым. Какой-то тип, запершись в своей квартире на четвертом этаже, палил по всякой движущейся цели, и притом не из заурядной охотничьей двустволки, а, было похоже, из настоящего карабина. В перерыве между выстрелами тип орал, что он совсем недавно зарезал свою любимую жену, а потому ему терять нечего и он пристрелит всякого, кто только попадется ему на глаза. И – вослед за угрозой – тут же следовал сам выстрел.

Дел этот тип мог натворить немало, и поэтому его следовало скрутить немедленно. Однако пока Артем и ребята из группы захвата совещались, каким образом это сделать половчее, тип выкинул неожиданный фортель. Он вдруг вышел на балкон и громогласно объявил о том, что прекращает всяческое сопротивление в связи с его полной бессмысленностью и по причине того, что его любимую жену, которую он только что зарезал, все едино не воротишь и не воскресишь. В доказательство своих слов тип тут же швырнул с балкона и свой карабин. Артем и трое ребят из группы захвата стремглав кинулись на четвертый этаж. Дверь в квартиру оказалась открытой настежь. Артем первым вошел в квартиру – и увидел сидящего на полу типа. Тип держал в руках двуствольное ружье, и оба ствола были нацелены прямо в Артема. И тут же грянули два выстрела...

Это было невозможно, невысказано и странно, однако Артем видел, как в него летели оба заряда. Отчего-то они летели настолько медленно, что Артем, отрешенно наблюдая за их полетом, успел подумать об Юлии и об Аленке, успел вспомнить, как он переносил Юлию на руках через речку и как на самой стремнине они целовались... И еще – он успел пожалеть о том, что вот де все так нелепо кончается, и он никогда больше не увидит ни Юлию, ни Аленку, и никогда больше не услышит их голосов, и никогда больше он Юлию не поцелует, и Аленка никогда не дождетя от него обещанных яблок – одного красного, а другого зеленого... И еще – он успел уклониться от летящих в него зарядов: уклониться настолько, чтобы заряды обожгли ему щеку и плечо и расплескались о стену...

В чьих-то руках коротко рывкнул автомат, тип взвыл, схватился за мигом окровавившееся плечо и с воем покатился по полу. Двое ребят из группы захвата бросились к типу, а третий – к Артему.

– Ты живой? – спросил парень, тряся Артема. – Слышишь, ты живой? Живой?

– Понятия не имею, – сказал Артем, поднимаясь с пола на четвереньки. – Если ты – ангел или черт, то, стало быть, я – покойник.

– Значит, еще поживешь, – засмеялся парень, помогая Артему подняться на ноги. – Вот только кровячки из тебя... Ты ранен? Ну-ка, пошевели рукой...

– Вроде как шевелится, – сказал Артем с сомнением. – Кажется, всего лишь царапина. Рубашку испортил, стрелок хренов... Новая была рубашка, между прочим... Твою мать... Голова гудит, будто по ней колом шарахнули. Или – будто целые сутки пьянствовал. Помоги-ка мне утвердиться на ногах, и – надо пошарить в квартире. Он говорил, что зарезал жену...

Кое-как справившись с окровавленным плечом и расцарапанной щекой, Артем и парень из группы захвата приступили к поискам. Двухкомнатную квартиру обшарили основательно, но никого, кроме самого стрелка, в ней, похоже, не было.

– Ну, ты, – подошел Артем к закованному в наручники и оцепеневшему от боли типу, – ворошиловский стрелок! Помнится, ты орал, будто бы зарезал свою благоверную. Ну, и где же она? Я тебя спрашиваю – где она?

– Нету! – буркнул тип, корчась от боли.

– Сам вижу, что нету, – сказал Артем. – И где же она есть?

– Не знаю, – морщась, ответил тип. – Ушла, наверно, куда-нибудь... Третьи сутки как дома не ночует... тварь такая... потаскуха! У хахаля, должно быть, обретается... Я, говорит, его люблю! То есть его, а не меня... ах ты ж, мразь несусветная!

– Стало быть, она жива? – спросил Артем.

– Наверно, – мрачно ответил тип.

– Зачем же ты орал, будто ее убил? – слабо усмехнулся Артем, прислоняясь к стене: его мутило, у него кружилась голова и подкашивались ноги. – И зачем же ты тогда стрелял по людям, урод?

– От огорчения, – сказал стрелок, опуская голову.

– Адрес этого хахаля и место работы жены знаешь? – спросил Артем.

– Зачем тебе? – насупился стрелок.

– Проверим, правду ты говоришь или нет, – сказал Артем. – А вдруг ты ее и вправду зарезал, расчленил и по частям спустил в унитаз, а сейчас – врешь?

– Да там она... то есть у хахаля, – закрывая глаза от боли, сказал стрелок. – Пиши адрес... проверяй. Мне бы скорую помощь...

– Мне бы тоже, – сказал Артем.

– Что мне будет? – спросил стрелок: он явно начал приходить в себя.

– Антрекоты с пряниками тебе будут, – сказал Артем, в изнеможении опускаясь рядом со стрелком. – В невообразимом количестве. Так что тебя даже затошнит... Ах, урод ты, урод... ведь чуть на тот свет меня не отправил! И, спрашивается, за что?..

В квартиру стали набиваться люди. В виду чрезвычайного происшествия со стрельбой прибыл сам начальник райотдела, прибыла целая толпа райотделовских милиционеров во главе с Сергеем Кошкиным, приехали сразу три машины скорой помощи

и даже пожарная команда. Стрелка схватили и сразу же уволокли, к Артему бросился Серега Кошкин, райотделовские милиционеры и врачи.

– Все нормально, – сказал Артем, – все нормально... Это всего лишь царапина. Из двустолки саданул... дурак такой!

Слух о чрезвычайном происшествии со стрельбой и ранением Артема мигом стал известен в райотделе, и когда Артем приехал и с помощью Сереги Кошкина вышел из машины, все райотделовские сотрудники, заканчивая флегматичнейшим Семеном Абрамовичем, высыпали на крыльцо. Однако Артем по большому счету видел сейчас только одного человека – Юлию. Она стояла поодаль, и расширенными немигающими глазами смотрела на Артема. Не отвечая ни на какие ахи, охи и расспросы своих сослуживцев, Артем направился в сторону Юлии. Он пошел к ней, а она – к нему. Вначале Юлия шла, а затем побежала. Подбежав к Артему, она обвила его шею руками, уткнулась лицом в грудь и заплакала. Сотрудники деликатно закашляли и все, кроме Сереги Кошкина, стали расходиться.

– Что ж ты себя не уберег? – подняла голову Юлия. – Что ж ты так-то?..

– Это только царапина, – сказал Артем. – Ехал лесом на коне, и веткой хлестнуло по лицу и по плечу. Только и всего. Бывает...

– Веткой по лицу, – сказала Юлия.

– Да, – сказал Артем. – Всего-то – веткой. Только и всего. Но как же ты узнала? Ведь тебя не было на работе...

– Я почувствовала, – очень серьезно сказала Юлия. – Почувствовала – и прибежала. Артем...

– У тебя глаза, как у Аленки, – сказал Артем. – Они совсем другого цвета... но все равно – как у Аленки.

– Аленка спит, – сказала Юлия. – Пойдем ко мне... домой.

– Тебе помочь? – неведомо к кому обращаясь, деликатно спросил Серега Кошкин.

– Спасибо, Сережа, – отозвалась Юлия. – Мы сами...

– Сами так сами, – согласился Серега. – Но я, как лучший друг, оставляю за собой нерушимое право звонить и навещать героя.

– Ну, разумеется, – улыбнулась Юлия. – Мы будем очень рады.

Обе раны и впрямь оказались пустячными: одной веткой Артема вскользь хлестнуло по лицу, а другой – по плечу. Юлия, Аленка и Артем сидели на кухне и обедали. Юлия и Артем молчали, а Аленка по своему обыкновению щебетала.

– Старик, – спросила Аленка, осторожно касаясь заклеенной пластырем раны на лице Артема, – а тебе очень больно?

– Ну что ты, старушка, – улыбнулся Артем. – Так, ерунда... совсем немножко.

– Это хорошо, что совсем немножко, – сказала Аленка. – Потому что я однажды помогала маме резать огурец и порезала себе палец. И мне было больно... очень-очень больно! Я плакала, а мама меня гладила по голове. Старик, а на какой лошади ты ехал по лесу, когда ветка ударила тебя по лицу и еще – по плечу?

– На серой в яблоках, – сказал Артем. – Старушка, а ведь я так и не принес тебе яблочек, которые ты просила. Ни зеленого, ни красного. Ты уж извини, что так получилось.

– Ничего, – великодушно сказала Аленка. – Когда я поправлюсь, и когда ты поправишься тоже, мы с тобой вдвоем пойдем и купим много-много яблочек! Да?

– Обязательно, – сказал Артем. – И красных, и зеленых, и золотых... всяких!

Аленка улыбнулась и стала помогать матери убирать со стола. Когда посуда была убрана, вымыта и расставлена по своим местам, Аленка состроила хитрющую мину и сказала:

– Потому что я болею – мне на улице гулять нельзя. Значит, я пойду на балкон, буду смотреть вниз и петь одну грустную песенку, которую я знаю наизусть. А вы здесь оставайтесь и разговаривайте. Если хотите, то даже и целуйтесь – я все равно буду на балконе, и там мне вас не будет видно.

– Алена! – прикрикнула Юлия, но Аленка с очаровательной улыбкой помахала рукой и скрылась за балконной дверью.

– Вот ведь стрекоза какая неугомонная, – сказала Юлия. – Ох, и стрекоза...

– Она, – смеясь, сказал Артем, – исключительно умный и проницательный человек. Нам ведь и впрямь нужно поговорить, не так ли?

– Ты так считаешь? – тихо спросила Юлия.

– А ты? – в свою очередь спросил Артем.

– Наверно, – сказала Юлия. – Только я тебя прошу... начни ты. Хорошо?

– Да, конечно, – сказал Артем. – В таких случаях всегда начинает мужчина...

– Да, – сказала Юлия. – Только у меня к тебе будет просьба... нет, даже предложение, которое должно касаться как тебя, так и меня. Давай будем говорить друг другу правду... и сейчас, и всегда... если, разумеется, это самое «всегда» в дальнейшем будет иметь смысл.

– Иди ко мне, – сказал Артем. – Мне почему-то кажется, что ты сейчас стоишь не у окна, а находишься где-то далеко-далеко... Странное чувство... Иди ко мне.

Юлия внимательно взглянула на Артема и подошла к нему. Он взял ее за руки и усадил к себе на колени. Она прижалась к нему и закрыла глаза. Какое-то время они так сидели, слушали, как Аленка напевает на балконе свою грустную песенку, и молчали.

– Выходи за меня замуж, – сказал Артем, и не дождавшись ответа, повторил: – Выходи за меня замуж. Почему ты молчишь?

Юлия молчала и только мелко вздрагивала. Она плакала. Артем утонул лицом в ее волосах и ждал. Он понимал, что ему сейчас надо молчать и ждать, что выплакавшись, Юлия заговорит сама.

– В последнее время я слишком много плачу, – сказала, наконец, Юлия. – Не помню, когда я в последний раз до тебя плакала. А при тебе... сколько дней я тебя знаю, столько и плачу. Ты не подумай, это не упрек. Просто – это очень хорошо, когда есть тот, к кому можно сесть на колени и поплакать... не от горя, не от огорчения, а, может быть, от счастья... Миленький ты мой... миленький ты мой! Ты сказал – замуж... ведь ты именно так сказал, не правда ли?

– Да.

– Замуж... замуж... – будто пробуя на вкус это слово, произнесла Юлия. – Замуж... Знаешь, мне никто никогда не говорил такого слова... замуж. Мы ведь договорились говорить друг другу правду, да?

– Да, – сказал Артем.

– В таком случае я должна тебе сказать, что мне очень приятно слышать это слово... мне приятно его слышать именно от тебя... и еще – я ждала от тебя этого слова... может быть, не так скоро, и, кажется, даже помимо своей воли, но – ждала... Однако... Миленький мой, все, к сожалению, не так просто... Прежде мы должны сыграть с



тобой в одну игру... ту самую игру, в которую играют все мужчины и все женщины в нашем положении... так или иначе, но играют.

– И что же это за игра? – удивленно спросил Артем.

– Игра в вопросы и ответы, – сказала Юлия. – Я буду задавать тебе честные вопросы, а ты мне будешь давать на них честные ответы. А потом – наоборот: ты мне – вопросы, я тебе – ответы.

– Тогда вначале спрашивай ты, – сказал Артем.

– Хорошо, – покорно согласилась Юлия, опять закрывая глаза. – Скажи, ты меня зовешь замуж... из жалости?

– И из-за нее тоже, – сказал Артем. – Мне кажется, что жалость и любовь – это где-то рядышком... это почти одно и то же... во всяком случае – для меня. Ты знаешь, сегодня утром, когда этот дурак выпалил в меня сразу из двух стволов... во-первых, мне казалось, что я вижу, как в меня летят заряды... они отчего-то летели на удивление медленно... это было непостижимо и странно, но – это было именно так, и, наверно, именно из-за такой непостижимости я и сумел уклониться, иначе эти заряды угодили бы мне в самое сердце... А еще – мне было жаль. Мне было жаль, что я больше никогда не увижу ни тебя, ни Аленки... не поцелую тебя, не принесу Аленке тех яблок, которые я ей обещал... В тот момент я чувствовал только это... то есть жалость, и ничего более. Вот...

– А ты знаешь, – спросила Юлия, – как я почувствовала, что в тебя там стреляют... что с тобой происходит что-то ужасное?

– Нет, не знаю, – сказал Артем.

– И я тоже не знаю, – сказала Юлия. – Я это просто почувствовала – и все. Будто кто-то спустился вдруг откуда-то сверху, и сказал мне, что в тебя стреляют... а, вернее, кто-то сверху прокричал мне об этом... Я оставила дома Аленку и помчалась в райотдел. «Что с ним, скажите? – спрашивала я у каждого. – Он цел... он живой?» «Вроде живой», – отвечали мне, и смотрели на меня странно и с усмешками...

– Получается, что в этот самый момент мы думали друг о друге, – сказал Артем. – Как странно... и удивительно. Меня уже однажды ранили... и я помню, что я думал и чувствовал в тот момент. Ничего, кроме боли и злобы к тому, кто в меня тогда выстрелил. Если бы не Серега Кошкин, который примчался мне на выручку, я бы того стрелка тогда просто растерзал бы. А сегодня... Сегодня я думал о тебе, и не чувствовал никакой злобы к этому дураку, который в меня выстрелил. Мне его отчего-то даже было жаль. Одна сплошная жалость – ко всем... Как странно...

– Эта странность, мне кажется, называется любовью, – сказала Юлия. – Когда человек любит, он меняется, и весь мир ему кажется иным. Он обязан измениться – иначе любовь будет бессмыслицей. Так мне кажется...

– Наверно, – сказал Артем. – В принципе, я мог бы сегодня того стрелка запросто и убить, закон мне это позволял, и, наверно, раньше я бы так и сделал... раньше... но – не сегодня. Сегодня я просто сел рядом с ним на пол, и мы разговаривали... мы разговаривали так, будто мы с ним были давними знакомыми, и он никогда в меня не стрелял... Я сегодня был другим. Потому что – я тебя люблю...

– Я еще хочу тебе сказать... – сказала Юлия. – Ты знаешь, а у меня ведь есть ребенок... Аленка... шести лет. Да-да. У меня есть ребенок.

– У тебя есть ребенок? – очень удивленно спросил Артем. – Ее зовут Аленка, и ей шесть лет? Да неужели? Неужели тот кудрявый, с васильковыми глазами ангел, которого я снимал с пожарной лестницы и который поет сейчас на балконе свою грустную песенку, и с которым мы завтра пойдем за яблоками, и есть твой ребенок? Ну и ну... кто бы мог подумать!

– Я – дурочка, – сквозь слезы засмеялась Юлия. – Скажи мне, что я – дурочка.

– Дурочка, – сказал Артем, и поцеловал Юлию в заплаканные глаза.

– Я хочу еще о чем-то тебя спросить... вернее, рассказать, – сказала Юлия. – Я хочу рассказать тебе об Аленкином отце... вообще о том, как Аленка появилась. Потому что этот вопрос так или иначе будет между нами стоять и...

– Не надо, – сказал Артем.

– Что – не надо? – удивленно спросила Юлия, подняла голову и посмотрела на Артема.

– Не надо ничего рассказывать, – сказал Артем.

– Но почему же? – спросила Юлия.

– Потому, что я знаю, кто Аленкин отец, – сказал Артем.

– Ты знаешь? – распахнула глаза Юлия, и Артем вновь мимоходом подумал о том, до чего же они похожи глазами – Юлия и Аленка. – Но откуда ты это знаешь?

– Да как же мне этого не знать, – усмехнулся Артем, – если Аленкин отец – я сам? Ну, скажи, как же мне не знать?

Юлия ничего не ответила. Она сидела на коленях у Артема и молчала. Она молчала очень долго...

– Ты в этом уверен? – спросила она наконец.

– Это самый глупый вопрос, который ты могла задать, – улыбаясь, сказал Артем. – Что значит – уверен? Разве у меня кто-нибудь был, кроме тебя? И разве у тебя кто-нибудь был, кроме меня? Все сходится, Юлька... все абсолютно сходится. Это мой ребенок... это наш с тобой ребенок.

– Тогда скажи, – тихо попросила Юлия, – как это у нас с тобой было... ну, в ту ночь, когда Аленка обязана была возникнуть? Если, конечно, ты помнишь...

– Я помню, – сказал Артем. – Это было не здесь, а в другом городе...

– Да... – сказала Юлия.

– Вначале мы долго ездили по городу на машине, – сказал Артем. – Шел дождь, и нескончаемые капли барабанили по крыше машины, и по стеклам, и по багажнику. Иногда дождь начинал идти с такой силой, что ничего не было видно буквально в трех шагах, и мы были вынуждены останавливаться и ждать. А теперь – говори ты. Если ты помнишь...

– Я помню, – сказала Юлия. – Конечно же, я помню. Как же мне не помнить, если это было единственный раз в моей жизни... и после этого появилась Аленка? Я помню... Я помню, что я этого не хотела... ну, не то чтобы совсем не хотела... скорее, мне было безразлично и еще любопытно... да-да, именно так... мне было любопытно. И, кроме того, ты был так настойчив...

– В этой машине мы провели с тобой всю ночь, – сказал Артем. – А затем я отвез тебя домой. Мы попрощались, пообещали друг другу звонить, и я уехал. И с той поры мы больше никогда не встречались...

– Мы были молоды, самонадеянны и глупы, – сказала Юлия. – Какое-то время я еще о тебе помнила, а затем – забыла. И даже когда стали сказываться последствия той ночи... ну, когда стало ясно, что должна родиться Аленка, я и тогда вспоминала о тебе лишь иногда и мельком. И даже когда Аленка родилась, я почти не вспоминала о тебе. Скажи, а ты обо мне вспоминал?

– Почти никогда, – сказал Артем. – Во всяком случае, до последнего времени. Но однажды я увидел Аленку – и все вспомнил. И понял, что все это время я тебя искал.

Тебя, и Аленку. Ты прости меня за то, что все получилось так нелепо. Прости меня за все эти годы...

– Ничего, – сказала Юлия, – ничего... Ничего... все уже позади... все закончилось. Ничего... Что-то не слышно Аленки, тебе не кажется? Пела-пела, и вдруг перестала... с балкона она свалилась, что ли?

Наваждение схлынуло. Юлия всплеснула руками и побежала в комнату. Артем побежал за Юлией. Аленка лежала на своей кровати и спала. Вернее, еще не спала, а только собиралась это сделать. Увидев Юлию и Артема, она тут же вскочила и защебетала:

– А я стояла на балконе и пела грустную песенку целых двенадцать раз! А потом мне стало очень грустно, потому что песенка была тоже очень грустная, и я перестала петь и легла в свою кровать, потому что мне не хотелось мешать вам разговаривать. А теперь я передумала спать, потому что еще очень рано и совсем даже не темно. Мамочка, у меня уже нет температуры, и совсем ничего не болит, и давай мы все – и ты, и старик, и я сходим на улицу и немножко погуляем, ладно? Совсем-совсем немножко, возле самого нашего дома! Потому что ребенку надо гулять на свежем воздухе.

– Давайте сделаем так, – сказала Юлия. – Вы с Артемом... со стариком... пойдете гулять, а я тем временем приготовлю ужин. Договорились?

– А разве старик теперь будет жить с нами? – спросила Аленка.

– Скажи, – переглянувшись с Артемом, спросила Юлия, – а ты бы хотела, чтобы он жил с нами... ну, чтобы он никогда от нас не уходил?

– Еще как! – воодушевленно сказала Аленка. – Мамочка, пускай он живет с нами всегда! Ты его не выгоняй, хорошо? Потому что он – хороший! Старик, а ты хочешь жить со мной и с моей мамой всегда-всегда?

– Да, – сказал Артем. – Очень хочу.

– Вот видишь, мамочка, он – хочет! – радостно закричала Аленка. – И я тоже хочу, и ты, мамочка тоже хочешь... все хотят!

– Откуда же ты знаешь, что и я этого хочу? – спросила, улыбаясь, Юлия.

– А зачем же ты тогда с ним целуешься, если не хочешь? – ответила Аленка с такой несокрушимой логикой, что, внемя этой логике, Юлия и Артем только разинули рот, взглянули друг на друга и дружно расхохотались.

С прогулки Артем и Аленка пришли, когда уже совсем стемнело.

– Мамочка, – с порога закричала Аленка, – мы со стариком ходили в магазин и купили там яблоки! Всякие разные яблоки: и красные, и зеленые, и золотые... и всякие–всякие! А еще старик показывал мне настоящее гнездо, где живут настоящие маленькие птенцы! А еще мы со стариком играли в догоняшки, и я его обогнала... целых три раза! А еще я совсем-совсем не больная, и у старика щека и плечо, которое он сегодня поцарапал в лесу, когда ехал на лошади, совсем не болит!

– Мойте руки и садитесь ужинать, – сказала Юлия. – Все уже готово.

– Ты смотрела на себя в зеркало? – спросил Артем, целуя Юлию.

– Нет, а что? – распахнула Юлия глаза.

– Ты сейчас похожа на распустившийся цветок, – сказал Артем. – Просто оторопь берет, как похожа!

– Наверно, – согласилась Юлия. – Я где-то читала или, может, слышала... Всякая женщина, которая любит и которую любят, начинает походить на распутившийся цветок. А я ведь именно такая женщина, не так ли?

– Безусловно! – засмеялся Артем, подхватил одной рукой Юлию, а другой – Аленку, и закружил их по комнате. И удивительное дело – его раненое плечо при этом совсем не болело...

После ужина Аленка засобиралась спать, пожелав перед сном, чтобы Юлия и Артем поцеловали ее в щечку: в одну щечку – мамочка, а в другую – старик. Получив обещанное, Аленка почувствовала себя вполне счастливой и вскоре заснула. Юлия и Артем вышли на балкон. Над городом царила мягкая, напоенная июлем тьма. Добрый, умиротворяющий покой царил над миром.

– Как тепло, – сказала Юлия. – И почему-то – холодно...

– Вот так, – сказал Артем, обнимая Юлию. – Сейчас я тебя согрею.

– Как хорошо, – прошептала Юлия, закрывая глаза. – Как хорошо, когда тебе холодно, и есть человек, который хочет тебя согреть... Ну вот, мне опять хочется плакать.

– Давай завтра сходим в загс и подадим заявление, – сказал Артем.

– Подадим заявление... – сказала Юлия. – У меня такое чувство, что все это мне снится.

– Ничего, – сказал Артем. – Ничего...

– Пока вы с Аленкой гуляли, – сказала Юлия, – звонила моя мама. Она спросила, как у меня дела, и я ей рассказала о тебе. Ты не станешь за это на меня сердиться?

– Смотря что ты ей рассказала, – усмехнулся Артем.

– Я сказала, что встретила человека, которого полюбила, и который любит меня. И еще я сказала, что и Аленка тебя также полюбила, и ты ее тоже. Вот и все...

– И что же мама?

– А что – мама? Мама как мама. Она тут же стала плакать. Смотри, говорит, доченька, не ошибись во второй раз. Одного раза, говорит, с тебя достаточно. Послезавтра она обещала приехать, взглянуть на тебя и забрать к себе Аленку.

– Забрать Аленку?

– Ну, в гости, на время. Она каждое лето ее к себе забирает. А ближе к осени привозит ее обратно.

– Понятно. Надо, наверно, и мне сообщить моим родителям, как ты считаешь?

– Я не знаю...

– Надо, надо. Они у меня далеко, в деревне. Слушай, а давай им позвоним – прямо сейчас, а? Правда, телефона у них нет, придется звонить соседям и просить, чтобы их позвали. Я всегда так делаю.

– Я почему-то боюсь... Да и, наверно, уже поздно. Может, лучше завтра?

– Одиннадцать часов вечера, – сказал Артем. – До завтра еще целый час. Еще много чего можно успеть.

– Чтобы не чувствовать себя виноватым за то, что мог сделать – и не сделал, – тихо сказала Юлия. – Так ты мне говорил позавчера. Господи, неужели я знаю тебя лишь три дня? Неужели было такое время, когда я тебя вообще не знала?

– Пойдем звонить моим старикам, – сказал Артем. – Иначе меня всю ночь будет мучить совесть за то, что я не сделал доброго дела, то есть не познакомил их со своей женой.

6.

...Вначале они осторожно приподняли Аленкину кровать вместе со спящей Аленкой и переставили за ширму: комната у Юлии была всего одна. Затем Юлия принялась стелить постель, однако не достелив, остановилась и тихо рассмеялась.

– Ты чего? – удивленно спросил Артем.

– Кровать-то у меня – девичья, – сказала Юлия. – Для двоих не предназначенная. Как же мы в ней поместимся?

– Тебя это так беспокоит? – засмеялся и Артем.

– Меня сейчас беспокоит все, – сказала Юлия. – Я кажусь себе такой неловкой... Ты меня заранее прости, если что будет не так, хорошо? Потому что я совсем не знаю, как надо правильно...

– Юлька, – сказал Артем, – Юленька...

– Что? – подошла она к нему. – Что?

– Юленька, – сказал Артем, и протянул к ней руки.

– Подожди, – сказала она, – подожди еще одну только минутку. Я хочу тебе сказать... Знаешь, когда у меня никого не было, когда я была совсем-совсем одна... я все равно мечтала и не раз представляла себе, как это все будет... ну это, все... ты понимаешь? Я хочу... я тебя прошу... пускай сегодня все начнется так, как я себе намечтала, хорошо? Мне это очень-очень важно... чтобы было именно так.

– Конечно, – сказал Артем. – Ну, конечно же...

– Давай для начала выключим свет и включим ночник, – сказала Юлия. – Вот так... А теперь – вот так... Я – твоя жена, не так ли? Смотри на меня... смотри внимательно. Я хочу, чтобы ты смотрел на меня, не отрываясь...

И Юлия стала раздеваться. Она сняла халатик, сняла то, что было под халатиком, и осталась обнаженной.

– Вот так, – сказала она. – Вот так. Скажи, я тебе нравлюсь... такая? Я очень хочу тебе понравиться – такая... но если я тебе все же не глянулась, то – уходи. Потому что – лучше сразу, чем потом...

– Дуреха ты моя, дуреха, – нежно сказал Артем, беря ее на руки. – Ты что же думаешь – я не знал до этого, какая ты... под одеждой?

– Откуда же ты это мог знать? – прошептала Юлия. – Ну, откуда же ты мог это знать... до этого?

– Потом, – сказал Артем, – потом... Потом ты и сама это поймешь...откуда я это знал... потом ты много чего поймешь.

– Потом, – сказала Юлия. – Потом я много чего пойму...

...Так бывает: если ты лежишь в кровати в одиночестве, то она может казаться тебе узкой до такой степени, что, сдается тебе, – гроб и тот шире. А вот если рядом с тобой на той же самой кровати лежит любимый человек, то та же самая кровать начинает казаться тебе и широкой, и просторной, и вообще – самой удобной кроватью во всем белом свете. Да-да, так оно бывает, а отчего оно так бывает – какая разница? Бывает – и все тут. Так оно было и сейчас, и Юлия, впитывая в себя ласки Артема и отдавая ему без остатка

свои ласки, какой–то крайней мыслью, тем не менее, поражалась – да как же оно все-таки так может быть? Ведь не бывает, чтобы узкое вместе с тем было и широким! Или все-таки бывает... в каких–то особенных случаях, как, например, сейчас... потому что разве может быть что–нибудь особеннее, чем вот этот случай, чем это самое мгновение... ведь подобного мгновения в жизни Юлии еще никогда не было! Да-да, так оно и есть... бывают мгновения, когда все представляется иначе, когда узкое становится широким до беспредельности, таким широким, что способно вобрать в себя целый мир! Сейчас как раз и есть это самое мгновение... и кровать расширилась до беспредельности, и мир расширился до беспредельности, и сама Юлия расширилась до такой беспредельности, что готова вобрать в себя весь беспредельный мир! А еще Юлия той же крайней мыслью поразила тому, что... Впрочем, она так и не успела понять, чему именно она поразила, потому что почувствовала – она взлетает! Да-да, она взлетает, она летит, у нее вдруг образовались крылья, а, может, у нее и вовсе нет никаких крыльев, а просто – она невесома, и она летит, летит! Ощувив этот неожиданный, вдруг потрясший ее полет, Юлия хотела восторженно вскрикнуть и засмеяться, но тут же ощутила, что, оказывается, ни кричать, ни смеяться она сейчас не в состоянии, что, приобретя возможность летать, она тем самым потеряла способность говорить и смеяться... все ее невысказанные слова и весь ее невысмеянный смех слились в единый сладкий ком, и застряли в горле... Юлия сделала интуитивное усилие с тем, чтобы вытолкнуть этот сладкий ком наружу, но ком не пожелал выходить наружу, и разлился по телу такой сладкой истомой, что Юлия на мгновение потеряла сознание от этой, впервые ею ощущаемой, истомы...

...Когда к ней вернулся дар речи, Юлия, боясь потревожить перевязанное Артемово плечо, осторожно приникла к этому плечу и заплакала. Ей вдруг подумалось, что попади сегодня утром неведомый ей полоумный стрелок на каких–то несколько сантиметров левее – и сейчас, в это самое мгновение, в ее жизни все было бы иначе, было бы не так, было бы гораздо печальнее и безнадежнее, потому что не было бы сейчас рядом с ней Артема, и она сама не лежала бы рядом с ним обнаженная и почти не стесняющаяся своей наготы, а еще она бы сегодня не узнала, что, оказывается, она способна летать... может быть, она и вовсе никогда бы о том не узнала, и не ощутила бы, и не поверила...

Вообразив это, Юлия почувствовала вначале страх, затем радость, что ничего такого все же не случилось, затем, осторожно целуя перебинтованное плечо Артема, она подумала, что она – эгоистка, потому что, может статься, ее любимый человек из-за ее неумелости не ощутил и сотой доли того блаженного полета, который две минуты назад ощутила она... А еще затем она стала говорить. Целуя Артема, она сбивчиво и горячо рассказывала о своем минувшем многолетнем одиночестве, о своих ночных слезах в подушку, о том, как к ней то и дело подкатывались всякие и со всякими предложениями, а вернее сказать, всякие, но, по сути, с одним и тем же предложением, и как она терзалась – принимать или не принимать это предложение, и каждый раз она его не принимала, потому что уж лучше ни с кем, чем с кем ни попадя или со многими... потому что со многими и наспех – это ей всегда казалось таким омерзительным... да и было это с ней уже однажды – наспех... было, и больше ей такого не хотелось... Затем, успокоившись, она рассказывала Артему о своих недавних ощущениях: об узкой кровати, которая вдруг расширилась до необъятности, о своем неожиданном полете, затем, стыдясь, поинтересовалась, всегда ли случается такой полет или это нечто до такой степени особенное, что случается исключительно редко, а, может, и вовсе единственный раз в жизни?.. На это Артем, смеясь, ответил, что в такие полеты он постарается ее отправлять всякий раз, как только она пожелает, и Юлия, безмерно смущаясь, прошептала, что она желает отправиться в полет прямо сейчас...

А затем был и сам полет, а за ним еще один и еще один – и всякий раз Юлия возвращалась из этих полетов с искусанными от счастья губами, и всякий раз она, осторожно приникнув к перебинтованному плечу Артема, плакала от счастья.

– Я хочу тебе что-то сказать, – прошептала Юлия Артему под утро. – Я хочу тебе что-то сказать... чтобы больше никогда об этом не говорить. Никогда-никогда... Там, семь лет назад, в той самой машине... это был не ты. Это не мог быть ты... потому что – не было ничего: ни машины, ни бесконечного дождя, бьющего в окна машины... не было ничего и никого, понимаешь? Ты – мой первый и мой единственный... навсегда мой первый и единственный мужчина! За эту ночь я прожила много-много лет... это была очень долгая ночь, длиною в семь лет! Мы с тобой встретились, мы полюбили друг друга, у нас родилась дочь, мы ее вырастили, ей уже шесть лет... а ночь все не кончается... ты веришь мне?.. ты веришь, что все было именно так, как я говорю?

– Да, – сказал Артем, – верю. Это была очень долгая ночь. Нам просто казалось, что она минула, как одно мгновение... а она была долгой-долгой. Там, в кровати за ширмой спит наша дочь...

– Уже рассвет, – сказала Юлия, посмотрев окно. – Долгая ночь закончилась. Наступает день.

– Ничего, – сказал Артем. – Впереди еще много дней и много ночей. И все они – наши.

– И каждую ночь, – сказала Юлия, – ты будешь отправлять меня в полет... в полет, к которому, я думаю, невозможно привыкнуть... и это замечательно, что к нему невозможно привыкнуть...

– Да, – сказал Артем, – конечно... стоит тебе только захотеть.

– Спасибо, – улыбнулась Юлия. – Рассвет... Пойдем со мной...

– Куда? – удивленно спросил Артем.

– Не спрашивай пока ни о чем... пойдем! – сказала Юлия, поднимаясь с кровати и беря Артема за руку.

Она привела его на кухню.

– Вот, – сказала она, – в это самое окошко проникают самые первые солнечные лучи. Три лучика... а вот уже четыре... вот уже их целых пять... Я хочу, чтобы ты увидел меня в утренних лучах. Я хочу, чтобы ты меня такой запомнил... навсегда. Для меня это очень важно... чтобы в утренних лучах. Не знаю, почему, но – очень важно...

– Я тебя люблю, – сказал Артем, обнимая Юлию.

– И я тебя люблю, – ответила Юлия. – Я хочу взлететь... прямо сейчас... прямо здесь... когда утренние лучи...

– Аленка сейчас может проснуться, – сказал Артем.

– Ничего, – выдохнула Юлия, – это ничего... Мы закроем дверь... она наша дочь... она воспитана и очень деликатна... она никогда не станет интересоваться, что мы тут делаем...

– Скажи, старушка, – спросил Артем Аленку за завтраком, – вот если бы, например, я тебе сейчас сказал, что я – твой папа... Как бы ты к этому отнеслась?

– Хорошо бы отнеслась, – тут же ответила Аленка. – С удовольствием. Потому что ты и так мой папа, и потому что у каждого ребенка должны быть мама и папа. И еще потому, что ты добрый.

– Спасибо, старушка, – улыбнулся Артем. – Значит, я – твой папа, а ты – моя дочка. Так?

– Так, – сказала Аленка. – Только ты больше никуда не пропадай, ладно? А то вы, мужчины, такие: понаделаете детей, а потом исчезаете неизвестно куда!

– Алена! – поперхнулась чаем Юлия. – Да где же это ты слышала такие слова?

– В садике, – охотно объяснила Аленка. – Так говорила наша воспитательница Ирина Борисовна еще одной тетеньке... тоже воспитательнице. А я их совсем-совсем нечаянно подслушала...

Юлия хотела сказать что-то еще, но, взглянув на Артема, не выдержала и рассмеялась. Вслед за ней засмеялся и Артем, а за Артемом – и Аленка...

В соответствии с врачебным предписанием Юлии предстояло сидеть с заболевшей Аленкой еще два дня. Артем же после завтрака засобирился на работу.

– Пойду трудиться, – сказал он, целуя Юлию и Аленку. – Вернее, писать всякие объяснительные по поводу вчерашнего приключения. А после обеда пойдем в загс...

Говоря о загсе, Артем заметил, как вспыхнула Юлия: вспыхнула и тут же ее глаза наполнились слезами. Просто удивительно, как быстро Юлия переходила от смеха к слезам и наоборот. Аленка и та была более уравновешена, чем Юлия.

– Ну-ну, – сказал Артем, целуя Юлию в глаза. – Кто это у нас тут плачет, и зачем это он у нас плачет, а? Ну-ну...

– Это она плачет от радости, потому что она тебя любит и еще потому, что вы будете жениться! – сказала всезнающая Аленка, и все они втроем тут же засмеялись.

После обеда Артем и Юлия в сопровождении Аленки пошли в загс и подали заявление. В загсе им сказали, что само бракосочетание состоится через две недели.

– На случай, если вы передумаете, – сказала им блеклая тетка, принимавшая заявление. – Потому что всякое случается...

– Мы не передумаем, – почти одновременно сказали Юлия и Артем.

Тетка молча взглянула на них, вздохнула и зашелестела бумагами...

Почти до самого вечера Артем, Юлия и Аленка гуляли по городу и говорили, говорили... Большой свадьбы они решили не делать – так, вечеринку для друзей и сослуживцев. А после свадьбы они хотели взять отпуск и съездить сначала к Юлиной маме (отца у Юлии не было, он погиб еще тогда, когда Юлии лет было не больше, чем сейчас Аленке), а затем – к родителям Артема. Жить же решили в двухкомнатной Артемовой квартире, а Юлину квартиру продать и на эти деньги купить за городом уютную дачку. Правда, сказал Артем, его квартиру перед тем, как туда основательно заселиться, необходимо отремонтировать, но это – дело времени. У Артема имеется на примете хорошая бригада, бригадир которой – вечный Артемов должник. Вот они-то, пока Артем, Юлия и Аленка будут в отпуске, и сделают ремонт – быстро, качественно и за полцены.

Само собою, Юлии и Аленке тут же захотелось взглянуть на Артемову квартиру.

– Только не пугайтесь, – смущенно улыбаясь, предупредил их Артем. – Сами понимаете – квартира холостяка...

– Еще как понимаем! – ответила за двоих Аленка. – Все мужчины – такие неряхи! Это я тоже слышала в садике от Ирины Борисовны... совсем-совсем случайно!

Старинная, с большими комнатами и высокими потолками Артемова квартира понравилась и Юлии, и Аленке. Лично Аленке больше всего понравилась дверь, ведущая из большой комнаты в прихожую. Дверь была затейливая, резная, с вырезанными на ней медведями и кленовыми листьями, и скрипела эта дверь таким множеством самых чудных голосов, что Аленка тут же взяла обещание с Артема не менять эту дверь ни за что и никогда – и пускай она себе скрипит и пускай на ней будут медведи с кленовыми листьями, потому что это очень весело и красиво...



– Завтра ты пойдешь на работу, а мы с Аленкой придем сюда, – сказала Юлия. – Постираем, приберем...

– Но ведь скоро ремонт, – попытался возразить Артем. – Да и вообще...

– Не лишай меня такого удовольствия, – тихо и очень серьезно сказала Юлия. – Я столько лет мечтала и воображала, как это будет... уборка, стирка и прочее... не только для себя, но и для тебя тоже... для моего мужа. Или я тебе не жена? – добавила она, улыбнувшись.

– Извини, – сказал Артем. – Это я с непривычки.

– Это он с непривычки! – сказала Аленка, перестала скрипеть красивой дверью с медведями и с разбегу повисла на шее у Артема.

## 7.

Спустя два дня приехала Юлина мама. Она была очень похожа на Юлию, только вдруг постаревшую. «Именно такой, – подумал Артем, – и будет когда-нибудь моя Юлька... лет через тридцать, или, может, даже через сорок». Кажется, впервые в своей жизни Артем неожиданно задумался о старости...

Юлина мама и Аленка должны были отбыть завтрашним утренним рейсом. Ночевать в одной единственной комнате вчетвером было затруднительно, и ближе к ночи, когда Аленка заснула, Артем увел Юлию к себе.

Это была удивительная ночь, это была странная ночь, это была непостижимая ночь. Впервые Артем и Юлия находились в замкнутом, принадлежащем только им, мире, где не было никого – даже Аленки. Не потому, что Аленка их обременяла в те их три предыдущие совместные ночи, вовсе нет, они жизни своей не мыслили без Аленки, но – быть вдвоем в замкнутом, только им одним принадлежащем мире – это было невыразимо, в этом было что-то удивительное и особенное.

– Мы с тобой как Адам и Ева, – прикинув к раненому плечу Артема, – сказала Юлия. – Единственные в мире, не ведающие греха и нагие... Я и не предполагала, что быть нагой... просто быть нагой... даже ничем при этом не занимаясь – так прекрасно. Одежда – отвратительнейшее изобретение человечества... На улице так темно... ни луны, ни звезд. Мне хочется выйти на балкон обнаженной. Прошу тебя, не смейся: считай, что это моя блажь. И – проводи меня...

На улице и впрямь было темно – так темно, будто бы в мире не существовало ни звезд, ни луны и вообще ничего такого, что можно было бы назвать светом. Дул сильный, черный ветер, пахло недалеким дождем, прелой листвой и отчего-то морем. Почти не видимая в темноте обнаженная Юлия встала на самом краю балкона, повернулась лицом к ветру, раскинула в сторону руки, закрыла глаза и надолго замерла. Ветер трепал ее густые волосы и мягко бил ими в лицо Артему.

– Я нагая, невидимая и всемогущая, – сказала Юлия. – Мне кажется, что я умею летать. Как ведьма. Послушай, может я и в самом деле ведьма, а? Как ты считаешь, любимый?

Вместо ответа Артем усмехнулся и привлек Юлию к себе. Ее обнаженное тело обдувалось упорным черным ветром и было прохладным, как у только что вытащенной из воды рыбы. «Или как у русалки...» – само собой подумалось Артему.

– Нет, и вправду, – с какой-то странной настойчивостью повторила Юлия. – Сейчас мне кажется, что я – ведьма. Знаешь, о чем я сейчас вспомнила? О тех трех деревьях на том берегу реки. У меня к тебе просьба: давай дождемся выходных, и сходим еще раз к тем деревьям. Давай к ним сходим! Я хочу там раздеться и прижаться к ним обнаженным

телом... Не знаю, отчего, но мне этого очень хочется. Я, наверно, и вправду ведьма. Тебя не смущает, что твоя жена – ведьма?

– Ни капельки! – смеясь, ответил Артем.

...Потом они лежали на расстеленном на полу мягком ковре и молчали. В отворенную балконную дверь залетал черный ветер и касался их обнаженных тел невидимым черным крылом.

– Мы с тобой как Адам и Ева, – повторила Юлия.

– И единственное, что нам сейчас не хватает, – отозвался Артем, – это змея-искусителя.

– А для чего он нам? – засмеялась Юлия. – Ответь, для чего нам этот змей-искуситель?

– Ну, чтобы искутить тебя, – засмеялся и Артем. – Чтобы соблазнить тебя на какой-нибудь грех. Например, изменить мне...

– Изменить тебе? – подняла голову Юлия, а затем и вовсе села. – Ты говоришь – изменить тебе?! О чем ты говоришь... зачем ты так говоришь? Столько лет тебя ждать, а, дождавшись, – изменить? Прожить столько пустых, горьких, безнадежных лет – и изменить? Да пускай даже сотня змеев-искусителей станет меня искушать – что мне до того? Я устою, миленький мой! Того, о чем ты сказал, не может быть, потому что не может быть никогда! Зря ты сказал такие слова...

– Да это я просто так, для смеху, – даже слегка растерявшись от такого напора, пробормотал Артем. – Это просто такая шутка...

– Не шути так больше, Артемушка. Не надо так больше шутить, хорошо?

– Прости...

– Уже простила, – приникла Юлия к Артему. – Ох, Артемушка!.. Знал бы ты, что ты для меня значишь...

Черный ветер из мира, лишённого света, сквозь растворенную дверь по-прежнему проникал в их замкнутый, сотворенный для них двоих мирок, кружил, скребся, шелестел, звенел и ударялся о стены, остужал тела двух обитателей этого мирка, и уходил обратно в иной, лишённый света мир, с тем, чтобы спустя мгновение вернуться, и, покружив по комнате, вновь возвратиться на круги своя...

Утром Юлия и Артем провожали Юлину маму и Аленку. Степенно попрощавшись с Юлиной матерью, Артем подошел к Аленке. Аленка была одета в дорожный костюм, с потешным рюкзачком за плечами и с таким серьезным выражением лица, что Артему вначале стало смешно, а затем даже немного страшно: отчего это она так серьезна?

– Ну что ты, старушка? – глянул Артем в Аленкины васильковые глаза, и вдруг почувствовал, до чего же, оказывается, эти Аленкины глаза ему дороги и родны: и глаза, и сама Аленка. – Что ты, старушка? Почему ты грустишь? Через две недели ты вернешься обратно, и мы с тобой станем готовиться к школе. К школе! Ведь осенью ты у нас будешь первоклашкой!

– Я не грустная, – сказала Аленка. – Я задумчивая.

– И о чем же ты задумалась? – спросил Артем, беря Аленку на руки.

– Я вспоминаю, – сказала Аленка. – Я вспоминаю о том, как я, ты и мамочка ходили в поход, и как ты переносил меня и мамочку через речку, и как мы были на другом берегу, и как я там разговаривала с тремя большими деревьями, а вы с мамой целовались. Знаешь что, старик? Когда я вернусь через две недельки, давай мы обратно пойдём туда,

и ты меня и мамочку опять перенесешь через речку, и я опять буду разговаривать с деревьями, а вы будете целоваться...

– Конечно же, старушка, – сказал Артем, и тут же ненароком вспомнил, что ведь и Юлия ночью вспоминала об этих трех деревьях на другом берегу. Он это вспомнил, и ему на мгновение отчего-то опять стало страшно – каким-то подспудным и безотчетным страхом. – Конечно же, Аленушка! Ты вернешься, и мы туда сходим... и ты, и мама, и я. И я вас перенесу через реку, и ты пойдешь к деревьям...

– Хорошо, – впервые улыбнулась Аленка. – Только ты не забудь про это... и я тоже про это не забуду.

Объявили посадку. Аленка вошла в автобус, приникла к стеклу и ничего не говоря, стала смотреть на Юлию и Артема. Нет, и впрямь – впервые Артем видел Аленку такой сосредоточенной и серьезной... Автобус тронулся. Артем долго стоял и смотрел вслед ушедшему автобусу: он смотрел вслед автобусу даже тогда, когда самого автобуса уже и видно-то не было...

– Что с тобой? – подошла к Артему Юлия.

– Не знаю, – сказал Артем. – Какое-то странное чувство... будто бы я что-то потерял – и притом навсегда...

– Просто от тебя никогда еще не уезжали дети, – взяла его за руку Юлия. – Это всегда так... когда они уезжают. Будто с ними уезжает и какая-то частица тебя... это действительно очень странно и больно. Ничего: она ведь через две недели вернется.

– Да, – рассеянно сказал Артем. – Да, конечно... наверно, ты права. От меня никогда еще не уезжали дети... Но почему же тогда и Аленка... почему же и она была сегодня так грустна и задумчива?

– Наверно, потому, – сказала Юлия, – что и она сама еще никогда не уезжала от отца. От матери она уезжала, а вот от отца... Вообще она очень впечатлительный ребенок, а разлука – это такое впечатление... это столько впечатлений, что... Ничего... это ничего. Через две недели она придет обратно. И – все будет хорошо.

– Да, – сказал Артем. – Через две недели она вернется, и все у нас будет хорошо...

– Пойдем работать, – сказала Юлия, внимательно глядя в глаза Артему. – А то опоздаем и получим от начальника суровый нагоняй за нерадивость.

– Да, – сказал Артем. – Пойдем работать.

Ничего особенного в тот день с Артемом не случилось: день был как день, и работа была как работа. Впрочем... То неясное, смутное и необъяснимое ощущение страха, которые поселилось в душе Артема утром, когда он прощался с Аленкой, так внутри Артема и оставалось – целый день. Оно мешало Артему работать, мешало сосредоточиться и обрести душевное равновесие и душевную цельность... а, главное, совершенно непонятно было – в чем же причина такого необъяснимого страха? Будто что-то в скором будущем должно случиться, и это «что-то» будет таким безнадежно безвыходным и ужасным, что ничего уже нельзя будет ни изменить, ни исправить... черт его, короче говоря, знает, что такое! Это чувство мучило Артема день напропалую, и только вечером, когда он встретился с Юлией, когда он обнял Юлию и заглянул в ее глаза, оно, это чувство, вроде как бы растворилось, и остались от него одни только смутные ощущения, которые затем растворились также.

...Вся последующая неделя была наполнена разнообразными хлопотами. Артем разыскал строительную бригаду, бригадир которой был, как известно, по гроб жизни обязан Артему, и договорился насчет ремонта квартиры. Да и не только договорился: бригадир, движимый чувством благодарности, в тот же день принял и за ремонт. Командовала ремонтом Юлия. Каждое утро до работы и каждый вечер после работы она

забегала в квартиру и долго обсуждала с бригадиром и бригадниками, в какой цвет обязаны быть выкрашены двери и окна, какие обои должны красоваться в спальне, а какие – в горнице и прихожей, какого цвета должны быть полы, а какого – веселые медведи на резной двери... Бригадир ахал, охал, удивлялся Юлиному изысканному вкусу и ее требовательности, заверял, что все будет в ажуре и к сроку, каждый раз просил кланяться Артему – и после этого Юлия сразу же бежала к себе домой, чтобы успеть приготовить ужин Артему, который обычно возвращался с работы гораздо позже ее самой, успеть его встретить, успеть прямо на пороге его расцеловать, и, разумеется, при этом всплакнуть, всякий раз не веря своему счастью...

На работе они почти не виделись, хотя и работали в одном и том же отделе и в одном и том же помещении. Побывав на ежеутреннем совещании у начальника, Юлия уходила в свой кабинет, а Артем по обыкновению мчался в какой-нибудь конец города раскрывать очередное преступление. Встречались они только вечером, и только ночи были их общим временем. О, эти ночи, напоенные волнующим предавгустовским ветром, залетающим в комнату сквозь полуотворенную балконную дверь и освещенные низкими, касающимися кленовых ветвей за окном, звездами! Особенно усердствовала Юлия... «Погоди, – смеялся Артем, – я не могу за тобой успеть!» «Я не могу погодить, – горячечным шепотом отвечала Юлия. – Я не могу погодить, миленький мой! Я слишком долго тебя ждала... слишком много пустых и одиноких ночей было у меня в жизни... мне надо поскорее их забыть и зачеркнуть... надо поскорее все наверстать!» Они засыпали лишь под утро, с тем чтобы с восходом солнца проснуться, позавтракать, забежать на Артемову квартиру, осведомиться там насчет ремонта и успеть в начальничий кабинет на утреннее совещание.

Так минула неделя, и настала суббота. В субботу у Юлии был выходной, Артему же начальство велело ближе к вечеру быть на работе: предстоял плановый вечерний рейд по всяческим злачным местам.

– Сегодня вернусь поздно, – сказал Артем Юлии. – Рейд, понимаешь ли...

– Я тебя буду ждать, – сказала Юлия. – Я буду выглядывать в окно и прислушиваться к шагам за дверью. А завтра...

– А завтра, – сказал Артем, – мы пойдем с тобой в поход...

– Доберемся до переправы... – сказала Юлия.

– Я тебя возьму на руки и перенесу через реку... – сказал Артем.

– И на самой стремнине ты остановишься, и мы будем долго целоваться... – сказала Юлия.

– А затем мы выйдем на другой берег, – сказал Артем, – подойдем к трем старым, могучим деревьям...

– Я разденусь донага, – сказала Юлия, – и прижмусь к каждому дереву по очереди. А затем...

– А затем я возьму тебя на руки, уложу в густую траву, и буду смотреть, как в твоих глазах отражается синее небо и белые облака, – сказал Артем.

– Да, – сказала Юлия, – да... синее небо и белые облака. Иди. Я буду тебя ждать.

И тут зазвонил телефон.

– Слушаю, – сказала Юлия, сняв трубку. – А, это ты... Куда-куда? К тебе на день рождения? Нет, я не могу... Мне надо ждать с работы мужа. Нет-нет, не могу... извини. Что? Ну ладно, ладно... Вот он тут, рядом... пока еще никуда не ушел. Сейчас я с ним поговорю, и перезвоню тебе. Да.

– Что такое? – улыбнулся Артем. – Кто это звонил?

– Марина Шахова... ну, с которой мы сидим в одном кабинете... рыженькая такая. У нее, оказывается, сегодня день рождения. Вот, приглашает...

– Ну, так и сходи, – сказал Артем. – Сходи, сходи... Я все едино раньше полуночи, а то и часу ночи, не вернусь. Развеешься, отдохнешь...

– Просто-таки не знаю... – в задумчивости сказала Юлия.

– Муж тебе позволяет! – с нарочитой строгостью сказал Артем. – Но только чтобы у меня без баловства и прочих глупостей!

– Дурачок! – нежно сказала Юлия. – Ну, хорошо... всего-то на несколько часиков. А к одиннадцати я непременно буду дома... и буду тебя ждать.

Рыженькая Марина Шахова была женщиной свободной, безмужней, бездетной и общительной, и потому гостей на празднование своего дня рождения пригласила множество и всяких. Были здесь мужчины, были и женщины, были парами, были и поодиночке. Когда Юлия прибыла, праздник был в полном разгаре: вино, музыка, непринужденный смех, слова и полуслова, намеки и полунамеки...

– А вот и моя подруга по оружию! – смеясь, возвестила Марина. – Уважаемые гости, прошу любить и жаловать: Юлия!

Гости деланно загалдели, засуетились, несколько мужчин преувеличенно вежливо стали приглашать Юлию сесть рядом. Юлия чмокнула Марину в щеку, вручила подарок, села с краешку, приняла из чьих-то услужливых рук бокал с вином, пригубила... Вскоре она уже была частью праздника, на нее перестали коситься и обращать внимание, что Юлию вполне устраивало. Она не хотела быть заметной на этом празднике: она намеревалась побыть здесь часик от силы два, и незаметно отбыть домой и дожидаться с работы Артема. Дождаться Артема было для нее гораздо более важным и осмысленным, чем проводить время в обществе малознакомых людей, которые ей были вовсе не интересны.

Гости тем временем изрядно разогрелись вином, и их потянуло на танцы. Грянула музыка. Юлии танцевать не хотелось. Со своего краешка она пересела в стоявшее в стороне кресло и закрыла глаза.

– Позвольте нарушить ваше уединение и пригласить вас, так сказать, на тур вальса, – раздался рядом мужской голос.

Не открывая глаз и не меняя позы, Юлия лишь слабо качнула головой и махнула рукой: отвяжитесь, дескать, не желаю с вами не только танцевать, но даже и глядеть на вас.

– Оно конечно, – сказал тот же самый голос. – Насильно, как говорится, мил не будешь. Извините. Просто мне показалось, что на правах, так сказать, старого знакомого...

Юлия приоткрыла глаза, затем их закрыла вновь, затем опять открыла уже на всю ширь...

– Здравствуйте... то есть здравствуй, – сказал мужчина. – Вот ты теперь какая... признаться, я тебя сразу и не признал. Это уже потом, когда пригляделся... Юлия... Сколько же мы с тобой не виделись, а?

Мужчина стоял напротив нее, улыбался, говорил, характерно и узнаваемо покачиваясь с пятки на носок, а Юлия все смотрела на него широко распахнутыми глазами, смотрела и смотрела... Перед ней стоял и к ней обращался ее давний, загнанный в самую глубь души и сознания кошмар... изжитый, забытый и зачеркнутый кошмар, причина ее долгой, тягучей, незабываемой тоски и боли... да и как ей было забыть ту тоску и боль, когда денно и нощно на нее смотрели васильковые глаза ее

дочери Аленки? И только совсем недавно Юлия забыла эту тоску и боль, она убедила себя, что той боли и тоски никогда в реальности и не было, а было лишь странное и нелепое представление о тоске и боли, был тот самый тягучий и длящийся кошмар, от которого она избавилась благодаря появлению в ее жизни Артема. И вот теперь этот кошмар неожиданно возник вновь...

– Ну, так сколько же годков мы с тобой не виделись? – еще раз спросил мужчина. – Долгонько, должен заметить, не виделись... лет, наверно, шесть или семь. Ну да, не меньше семи... Значит, вот ты теперь какая... Изменилась, похорошела... похорошела просто-таки до неузнаваемости. Распустившийся бутон, одним словом. Поговорим?

– О чем? – спросила Юлия, подавляя в себе желание встать и немедленно уйти.

– О чем? – переспросил мужчина, беря стул и присаживаясь рядом. – О тебе, разумеется. А если тебе будет интересно, то и обо мне. Вообще – о жизни...

– Что же тебя интересует в моей жизни? – неохотно спросила Юлия.

– А давай мы с тобой для начала выпьем! – предложил мужчина. – За нашу нечаянную встречу.

– Для начала? – усмехнулась Юлия, принимая бокал с вином. – Для начала чего?

– Ну, не надо цепляться к словам, – примирительно произнес мужчина. – Для начала, не для начала... Просто – давай выпьем за встречу. Я действительно рад тебя видеть.

– А я тебя – не рада! – жестко сказала Юлия. – И пить мы будем не за нашу встречу и тем более не за какое-то там начало, а... Словом, будь здоров и одновременно прощай!

– Ты – тоже будь здорова, – усмехнувшись, сказал мужчина. – Неужели ты за эти годы никогда меня не вспоминала?

– Нет, – сказала Юлия. – Чего ради?

– А я – вспоминал, – вздохнул мужчина. – Неоднократно. Ты знаешь, за эти годы со мной было всякое и было много всяких... но та самая ночь в машине... Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что ничего лучшего, ничего более прекрасного и стоящего, чем та ночь, у меня в жизни не было. И, мне кажется, что и не будет... Хочешь верь, а хочешь не верь.

– До свидания, – сказала Юлия, ставя бокал и поднимаясь. – Вернее, прощай.

– погоди, – взмолился мужчина. – Всего только минутку... погоди! Я хочу тебе сказать... Ты знаешь, когда ты вошла и села за стол... несмотря на то, что ты и впрямь очень изменилась, я тебя сразу же узнал... да-да! Я тебя сразу же узнал – и вот тут, в душе, у меня возникло такое и так много... э, да о чем тут вообще говорить! И я тут же потихоньку навел о тебе кое-какие справки у Марины. Оказывается, у тебя есть дочь...

– И что же? – спросила Юлия, порываясь встать.

– погоди, – сказал мужчина. – погоди... я тебя прошу. Дочь... да. Марина сказала, что ей – что-то около шести лет. Это так?

– Так или не так – какое это имеет к тебе отношение?

– Так уж и никакого, – усмехнулся мужчина. – Та, наша единственная ночь... тогда, в машине... она была как раз около семи лет назад. Я помню...

– И что же?

– Может – и ничего. А, может... Элементарная арифметика подсказывает, что...

– Это не твоя дочь! У нее есть отец – мой муж. Еще вопросы будут?

– А вот Марина сказала, что никакого мужа у тебя нет...

– Ну, тогда спроси тогда у нее еще раз. Может, она тогда вспомнит, что муж у меня все-таки есть!

– Да... конечно. Прости. Очень жаль...

– Чего же именно тебе жаль?

– Всего жаль. И того, что твоя дочь – это не моя дочь, и того, что все тогда так получилось... глупо и наперекосяк... Знаешь, а давай выпьем за твою дочь... как ее зовут?

– Ее зовут Аленкой.

– Красивое имя... просто ангельское. Аленка... Давай выпьем за Аленку.

– Ну, давай... – сказала Юлия, принимая бокал.

– Значит – за тебя и за Аленку, – сказал мужчина. – Чтобы вы с ней были здоровы и счастливы.

– Спасибо, – сказала Юлия.

– Значит, – сказал мужчина, – твоей дочери около шести лет? Такая, стало быть, арифметика...

– Ты опять? – недобро прищурилась Юлия.

– Да нет, я ничего, – сказал мужчина. – Просто интересно... Оказывается, вскоре после меня, едва ли не на следующий день после той ночи в машине, ты встретила другого человека, своего нынешнего мужа и...

– Вот уж не думала, что обязана отчитываться перед тобой в таких делах! – недобро усмехнулась Юлия. – Или, может, захотел пощечину? Мне кажется, ты ее вполне заслужил...

– Дай мне пощечину, – покорно согласился мужчина. – Я и пощечину приму от тебя как награду. Ибо и впрямь – заслужил...

– Просто–таки бездна смирения и раскаяния, – сказала Юлия язвительно. – Извини, но мне надо идти. Прощай. Да, кстати: а как ты оказался в этом городе?

– А я здесь живу, – сказал мужчина. – Уже давно, лет, наверно, пять. А вот о том, что и ты живешь в этом городе, я узнал только сейчас.

– Узнал, так узнал, – равнодушно сказала Юлия. – Всего хорошего.

– погоди, – поспешно сказал мужчина. – Я тебя прошу... давай потанцуем... один только танец! Только один...

– Что-что? – удивленно спросила Юлия. От выпитого вина у нее кружилась голова, ей вдруг стало легко, весело и захотелось смеяться. – Что ты сказал? Ты сказал – потанцуем?

– Музыка такая необычная... слышишь? – сказал мужчина. – Добрая, грустная и умная. Давай потанцуем, Юля...

– Ну, давай, – поколебавшись, согласилась Юлия.

Музыка и впрямь была добрая, грустная и умная. Под такую музыку легко было танцевать, легко было молчать, легко было разговаривать. И – легко было вспоминать. Музыка была как листопад в ясный и звонкий октябрьский день...

– Ты очень любишь своего мужа? – спросил мужчина у Юлии.

– Очень! – задорно ответила Юлия. – Больше самой себя и даже, наверно, больше дочери.

– Он у тебя кто? – спросил мужчина.

– Он у меня всё! – ответила Юлия. – Весь мой смысл жизни!

– Как я ему завидую... – сказал мужчина.

– Позавидуй тогда и мне! – засмеялась Юлия. – За то, что у меня есть такой муж!

– И тебе я завидую тоже, – сказал мужчина.

Музыка умолкла. Юлия почти силой высвободила свою руку из руки мужчины и торопливо пошла к выходу.

– Можно я тебя немного провожу? – спросил мужчина, идя за ней следом.

– Нельзя! – отрезала Юлия. – Всего наилучшего!

– Но ведь на улице уже темнеет, – сказал мужчина, – а тебе, как я понимаю, добираться не близко. Да к тому же еще и дождь...

– Дождь? – удивилась Юлия, взглянув в окно. – И в самом деле – дождь...

– Ну, вот видишь, – сказал мужчина. – А у меня – машина. Я мог бы тебя подвезти.

– Машина? – переспросила Юлия, полупьяно встряхнула головой, и добавила: – В нетрезвом виде на машине ездить нельзя!

– Во-первых, я совсем не пьян, – возразил мужчина. – А во-вторых, ты же у нас следователь, не так ли? В случае чего – вызволишь.

– Ну, хорошо, – после молчания сказала Юлия. – Проводи меня...

Как и обычно, Артем рейдовал на пару с Серегой Кошкиным. Медленно двигаясь по улице на служебной машине, они высматривали, не продает ли кто-нибудь из стоящих впритык к тротуару автомобилей что-нибудь похожее на наркотики. Такое на сегодня у Артема и Серегина Кошкина было задание: уж слишком их в последнее время много развелось в городе – вечерних продавцов наркотиков из автомобилей. Продавать наркотики из автомобилей было выгодно, потому что безопасно: в случае чего нажал на педаль – и, поди, догони.

– Сколько времени? – спросил Серега у Артема, вертя руль и вглядываясь в городскую заштрихованную дождем вечернюю полутьму.

– Почти одиннадцать, – сказал Артем.

– Еще с часик поколесим – и шабаш, – сказал Серега. – Все едино от нашего драндулета пахнет ментурой за версту. Толку от такого рейдования – как от худого барана шерсти. Да и дождь к тому же...

– Это уж точно, – согласился Артем.

– Юлька-то дома? – спросил Серега. – Ждет, наверно...

– Ждет, – улыбнулся Артем.

– Хорошо-то как! – мечтательно сказал Серега. – По большому счету – я тебе даже завидую. Есть все-таки в семейной жизни и свои положительные стороны!

– Да тебе-то откудова это ведомо? – спросил Артем.

– А – на тебя гляючи, – сказал Серега. – Да и на твою Юльку тоже. Ведь прямо-таки светится бабенка от счастья... прямо-таки цветет, как шанхайская роза!

– Какая-какая роза? – рассмеялся Артем.

– Шанхайская, сказано тебе! – засмеялся и Серега. – Песня такая есть... слышал когда-то. В далеком Шанхае цветет пурпурная нежная роза...



– Ну, так что же ты со своей-то розой развелся? – спросил Артем.

– Руководствуясь философскими соображениями, – ответил Серега. – Жизнь, а тем паче, семейная жизнь, это, по большому счету, лотерея. Тут уж кому как повезет. Одному достается роза, а другому... как называется такой цветок, который питается человеческими жертвами?

– Он называется... – сказал Артем, и осекся. – Погоди-ка, Серега... притормози. Видишь вон там, в кустиках – машина? Чего-то она мне не нравится... Ну-ка, давай ее проверим. Только не топай как слон... осторожноенько...

Стараясь не попадаться на глаза тем, кто мог находиться в машине, Артем и Серега двинулись к стоящему в кустах автомобилю. Не доходя нескольких шагов, Серега вытащил пистолет и слился с деревом, Артем же подошел к машине и осторожно заглянул в салон.

В машине кто-то был. Две смутные фигуры – одна сверху, а другая внизу – азартно копошились на откинutom, превращенном в лежак сидении. Вначале Артем ничего не сообразил, а затем, сообразив, криво усмехнулся: походная любовь на колесах, как же... Больше из озорства, чем по необходимости, Артем зажег фонарик и трижды стукнул им по машинному стеклу: хорошо, дескать, устроились, ребята. Услышав стук по стеклу и увидев свет фонаря, женщина внутри машины испуганно вскрикнула, и этот крик чем-то Артема интуитивно насторожил. Уже совершенно откровенно Артем направил свет внутрь салона, и вдруг замер...

– Оба-на! – растерянно сказал Артем, погасил фонарь, сунул пистолет в кобуру, и не разбирая дороги, пошел к своему автомобилю.

– Что такое? – окликнул его Серега, возникая из своего укрытия. – Я спрашиваю – что случилось? Что такое ты там узрел?

– А? – встряхнул головой Артем. – Нет, ничего... Давай, поехали...

– Нет, погоди! – не согласился Серега. – Я чего-то недопонял...

Он не договорил: из стоящей в кустах машины вдруг выбежала женщина. Так же, как только что и Артем, она, не разбирая дороги и не обращая внимания на дождь, побежала к Артему, который уже сидел в машине.

– Оба-на! – сказал на этот раз уже Серега и помолчав, добавил в пустоту: – Шанхайская роза...

Он, разумеется, узнал эту женщину. Это была Юлия. Волосы у нее были растрепаны, блузка была полурасстегнута и выбивалась из юбки... Светили уличные фонари, и не узнать Юлию было невозможно. «Ну, дела!» – пробормотал Серега, и в четыре прыжка домчался до автомобиля, из которого Юлия выбежала. Автомобиль еще не уехал. Его хозяин копошился в темном салоне, судорожно пытаясь привести сидение в изначальное положение.

– Сидеть смирно! – негромко сказал Серега.

– Что... кто там? – вскинулся хозяин автомобиля.

– Я сказал – сидеть и не шевелиться! – пояснил Серега. – Или даже так: выйти из машины! Ну!

– Я вас не понимаю... – недоуменно сказал хозяин.

– А вот я тебе сейчас разъясню! – ощерился Серега и приставил ко лбу хозяина пистолет. – Теперь – понятно? Выйти из машины! Руки на капот! Не шевелиться! Не разговаривать!

– Но послушайте... – сказал извлеченный из автомобиля хозяин.

– Обязательно послушаю! – сказал Серега, и коротко двинул хозяина пистолетом по зубам. – Отвечать мне откровенно и без задержки, понял? Что ты делал с этой бабой... с этой женщиной сейчас в салоне?

– Что делал, что делал... – нехотя ответил хозяин машины. – А сам ты не догадываешься?

– Откуда ты ее знаешь? – отрывисто спросил Серега.

– Ну, это давняя история... – так же нехотя сказал хозяин машины.

– Как вы встретились с ней сегодня? – спросил Серега.

– Случайно. На одной гулянке... Послушайте, да кто вы такие? Что вам надо? Куда она побежала... Юлия?

– Юлия... – скривился Серега. – Заткнись и жди, понял?

– Ждать – чего?

– Если не заткнешься – следующей зуботычины, – пояснил Серега. – А дернешься, сниму штаны и в таком виде привяжу к дереву. И – оставлю до утра, чтобы народ на тебя полюбовался. Все понял, кавалер-любовник? Я тебя спрашиваю, урод, все ли ты понял? Или разъяснить дополнительно?

– Понял... – нехотя ответил хозяин машины.

– Ну-ну, – проскрипел Серега Кошкин. – Да, вот что еще мне бы хотелось от тебя узнать. Как часто ты встречался с этой дамой в последнее время? Вчера, позавчера, неделю или, может, месяц назад – встречался? Я, кажется, задал тебе вопрос! Или тебе, курва, повторить его еще раз?

– Мы с ней не виделись много лет, – сказал мужчина. – Почти семь лет... А сегодня встретились на одной вечеринке... случайно.

– Ну-ну, – еще раз сказал Серега. – А теперь – заткнись окончательно и жди моих дальнейших распоряжений.

...– Артем, – сказала Юлия, – Артем...

– Ну? – сказал Артем, глядя в вечернюю городскую полутьму.

– Я тебе хочу объяснить... рассказать... только ты, пожалуйста, не уходи... не уезжай, пока меня не выслушаешь. Я тебя очень прошу... я тебя умоляю... Артемушка... выслушай меня! И еще... я тебя прошу... выйди, пожалуйста, из машины... мне так будет проще... иначе я не смогу объяснить, как следует... не смогу рассказать об этом недоразумении!..

Артем помедлил, затем все же вышел из машины и уставился на желтый, исчерченный дождем круг от уличного фонаря.

– Артем, – протянула к нему руки Юлия, – Артемушка...

– Я тебя слушаю, – не отрывая взгляда от фонаря, сказал Артем. – Ты обещала мне объяснить...

– Да, – сказала Юлия, – я обещала... конечно же... но мне очень сложно это сделать... я не знаю, с чего начать... чтобы ты поверил и простил меня...

– Поверил, простил... – скривился Артем. – Не надо, не мучься понапрасну. Я избавляю тебя от объяснений. И без них все ясно...

– Ясно? – дрожа, спросила Юлия. – Что же тебе ясно, Артемушка?.. Я же тебе ничего еще не объяснила! Я хочу тебе объяснить... только давай не здесь, ладно?.. здесь

дождь, темно и очень холодно... и уже поздно... пойдём домой, а?... пойдём домой, Артемушка... уже поздно!

– Одиннадцать часов вечера, – сказал Артем.

– Что? – спросила Юлия, которую продолжал бить крупный озноб.

– Окаянное время, – сказал Артем. – Последний час... и ничего нельзя поправить...

– Можно, Артемушка, можно... ещё все можно поправить... ещё целый час! Пойдём домой, ладно?... Мне тут очень холодно и страшно...

– Ох, Артемушка... Знал бы ты, что ты для меня значишь... Теперь, кажется, я это знаю. Убедился воочию... наглядно и недвусмысленно. Господи, да как же так можно... чтобы вот так... вероломно и по-скотски... Чем же он лучше меня? – впервые взглянул на Юлию Артем. – Ну, чем же он лучше? Что же он дал в этой машине тебе такого, чего не смог дать я?

– Не то ты говоришь, Артемушка... не то ты говоришь! Ничем он не лучше тебя... никто не лучше тебя... никого, кроме тебя, у меня нет и не было... и никто, кроме тебя, мне не нужен! Артемушка, милый... я тебе сейчас все объясню... это всего лишь недоразумение – и ничего другого... Артемушка, любимый!

– Одиннадцать часов... – сказал Артем, и медленно пошел к автомобилю в кустах, где маячили Серега и хозяин с руками на капоте.

– Только аккуратно... не переусердствуй, – сказал Серега, когда Артем подошел. – А то чего доброго отвечать еще придется за эту гниду.

– Нужен он мне, – безучастно сказал Артем. – Мне в салоне кое-что поискать...

Искал Артем недолго. Выйдя из салона, он подошел к Юлии, которая покорно стояла под дождем и, дрожа, смотрела на Артема.

– Значит, говоришь, – спросил Артем, стараясь не смотреть на Юлию, – ничего у тебя с ним в этой машине не было?

– Не было, – тут же ответила Юлия, – ничего у меня с ним не было... ни с кем у меня ничего не было, кроме тебя... разве ты этого до сих пор не понял?

– Как не понять, – вымученно усмехнулся Артем, разжимая кулак.

На ладони у него лежали женские трусики. Именно такие трусики Артем купил вчера в подарок Юлии. Помнится, Юлия даже всплакнула, когда он выложил перед ней этот немудрящий подарок. Она тогда сказала, что это не столько подарок, сколько символ, и что этот символ означает для нее столько, что об этом невозможно сказать словами, а можно только плакать счастливыми слезами. И вот сейчас этот великий символ, найденный Артемом в чужом автомобиле, лежал у него на ладони.

– Будешь утверждать, что это не твои... что и это – недоразумение? – тихо спросил Артем, и, помолчав, добавил: – Жена...

Юлия на это ничего не ответила и только отчаянно, изо всей силы затрясла головой.

– Поход на речку, поцелуй на стремнине, три дерева на том берегу, небо и облака, отраженные в глазах... – сказал Артем. – Да... Возьми на память...

Он сунул скомканные трусики в безвольные руки Юлии, сел за руль и крикнул Сереге:

– Давай поехали – чего ты там возишься?

– Это что же, ее муж? – предчувствуя скорое освобождение, спросил хозяин автомобиля у Сереги.

И тут же он получил сокрушительный удар кулаком в зубы.

– Это тебе за излишнее любопытство, – жестко усмехаясь, сказал Серега. – А это – за твою несусветную любвеобильность! – пояснил Серега, и двинул хозяина по уху. – А теперь – пошел вон! Садись в свою телегу – и чтобы через пятнадцать секунд тебя тут уже не было! Иначе и вовсе застрелю, как поганую собаку! Ну? Время пошло!..

Ровно через пятнадцать секунд машина дернулась, рывками выбралась на дорогу и стремительно умчалась.

– Вот так, – сказал Серега, подходя к безмолвно стоявшей с трусиками в руках Юлии. – В далеком Шанхае цвела пурпурная нежная роза... Ну-ка, брат мой по оружию и по судьбе Ермолаев Артем, освободи мне место за рулем! Драндулет поведу я. Поехали, стало быть. И – не оглядывайся, – велел он Артему, когда машина тронулась. – Только не оглядывайся, слышишь? Завяжи пупок на четыре узла – и не оглядывайся! И – отдай-ка мне свой пистолет...

До райотдела доехали в молчании.

– Значится, так, – сказал Серега. – Сейчас я загоню драндулет в гараж, быстренько отчитаюсь перед начальством – и пойдем ко мне. Пока поживешь у меня, понял? И тебе так будет лучше, да и мне спокойней. Жди, я скоро...

Поскольку Серега обитал недалеко от райотдела, к его жилищу добирались пешком. По пути заскочили в ночной магазинчик, и прихватили что полагается. Очень могло стать, что предстояла бессонная, а оттого долгая ночь и разговор по душам – а как говорить ночью по душам без этого дела?

Пришли, обсушились, Серега извлек из холодильника что-то из закуски, сели за стол.

– Ты как, в норме? – спросил Серега, внимательно глядя на Артема.

– В норме, – усмехнулся Артем. – Не бойся, стреляться не стану.

– Да и нечем, – согласился Серега. – Пистолет-то я у тебя изъял еще в машине, и в ближайшее время отдавать его тебе не намерен. Давай, наливай. Тостов, я думаю, говорить не будем...

Выпили по первой, затем сразу же по второй. Артем упорно смотрел в ночное окно, по которому нескончаемо стекали черные дождевые струи.

– Дождь, – сказал, наконец, Артем. – Холодный дождь...

– Не оглядывайся, сказано тебе! – рявкнул Серега. – Потому что от этого и впрямь можно либо застрелиться, либо чокнуться. По себе знаю. Случалось нечто подобное и со мной! Пришла она уже домой, пришла! Обсушилась, согрелась... спит уже, должно быть... И – хватит об этом. Хватит, сказано тебе! Что было – то минуло!

– Не понимаю! – вдруг сказал Артем. – Не понимаю!..

– А и не надо, – сказал Серега, наливая по третьей. – Потому что – нечего здесь понимать. Все ясно как дважды два. Все они такие. Двуличная и неверная порода... Евино племя, как говаривал один умный человек.

– Кто он такой... этот? – спросил Артем. – Ты вроде разговаривал с ним...

– Я так понял, что какой-то старый знакомый, – нехотя сказал Серега. – Хотя – какая разница, старый он или новый? Дело-то, по большому счету, вовсе не в этом. Нда...

– Не понимаю, – повторил Артем.

– Ладно, – грубовато сказал Серега. – Давай-ка допивать – да на боковую. Утром опять на любимую работу, а наш шеф не любит нетрезвых подчиненных, оригинал он эдакий. Ты точно в норме?

– А ты что же, хочешь лечь со мной в одну кровать, чтобы меня утешить? – ощерился Артем. – Не беспокойся, со мной все в порядке.

– Тогда – спокойной ночи, – сказал Серега, и добавил, обращаясь неведомо к кому: – Суки... Вам бы только в души плевать... Суки и есть... и этим все сказано. Шанхайские розы... как же! Какие вы розы? Вы – цветы, которые питаются человеческими жертвами!..

## 8.

То ли сказала выпитая водка, то ли дало о себе знать нервное потрясение, но Артем заснул сразу, едва только упал на скрипучий Серегин диван. Он спал, и ему снилась Аленка. Будто бы он и Аленка шли по разбитой трамвайной колее, проложенной сквозь какой-то неряшливый, полуразрушенный и совершенно безлюдный город. Аленка по своему обыкновению щебетала и о чем-то спрашивала Артема. Кажется, она спрашивала, куда они идут, отчего колея, по которой они идут, столь стара и разбита и отчего в этом странном городе не видно ни единого человека. Артем что-то Аленке отвечал, но его ответы каким-то непостижимым образом не доходили до сознания Аленки, и она постоянно задавала одни и те же вопросы, и от этого Артему было жутко... В конце концов, Артем взял Аленку на руки, но вдруг увидел, что это никакая не Аленка, а всего-навсего – кусок трухлявой шпалы, рассыпающийся в его руках. «Аленка! – в испуге закричал Артем, – Аленка!..»

...– Вставай же, наконец! – тряс Артема за плечо Серега. – Во-первых, уже утро и скоро на работу. Во-вторых – ну и беспокойный же ты сожитель, братец! Всю ночь кричал и звал какую-то Аленку. Аленка – это кто?

– Аленка? – очумело тряс головой, спросил Артем. – Аленка... да... это ребенок... дочь.

– Ее дочь? – делая ударение на первом слове, спросил Серега.

– Ее... – сказал Артем.

– Я так и подумал, – сказал Серега. – Ладно... Давай-ка мыться-бриться-наряжаться, да и в школу в первый раз... Утренний похмельный рассол, именуемый по недоразумению кофе, готов.

– Но сегодня же воскресенье, – вспомнил Артем. – Какая работа?

– Авральная, – сказал Серега. – Вчера велели быть, а сегодня с утра уже позвонили и напомнили. В связи с никудышными показателями в смысле раскрываемости, профилактики и всего прочего. И вечный бой, покой нам столько снится...

– Я не пойду, – сказал Артем.

– Куда это ты не пойдешь? – удивился Серега.

– На работу.

– Знаешь, что я тебе скажу... – начал было Серега, но тут же и осекся. – А, впрочем, как знаешь. Сиди, если хочешь, здесь, пялься в телевизор, а то спи. А шефу я что-нибудь совру... тем более что не впервой...

– Нет, – сказал Артем. – Я – домой...

– Ну, домой так домой, – тут же согласился Серега. – Только не отключай телефон, ладно? И не пей в одиночку. Вечером встретимся.

– Спасибо тебе, – сказал Артем.

– Пошел ты со своими благодарностями сам знаешь, по какой дороге! – выверился Серега. – Ну, давай седлать коней – и в разные стороны! И – до вечера.

По сложившейся традиции, на ежеутреннем совещании в начальничьем кабинете у всякой службы имелось свое собственное место: сыщики садились у окна, участковые – поближе к выходу, следователи – в углу. Войдя в кабинет, Серега невольно взглянул в тот самый угол, где по обыкновению сидели следователи. Юлия была на своем обычном месте. Увидев Серегу, она невольно подалась ему навстречу, ожидая, вероятно, что вослед за ним появится и Артем. Серега ядовито хмыкнул и преувеличенно старательно стал здороваться с коллегами, краем глаза заметив, как у Юлии поникли плечи.

– А где это у нас господин Ермолаев? – въедливо поинтересовался начальник у Сереги. – Что это вообще за привычка – не являться на служебное совещание?

– Я не сторож брату моему... – буркнул Серега первое, что пришло на ум.

– Чего-чего? – совсем уже ядовито поинтересовался начальник.

– У него с утра какая-то важная оперативная встреча, – ответил Серега, опять-таки краем глаза замечая, как напряглась Юлия, услышав про Артема. – Утречком позвонили – он и подался. Велел передать, что будет попозже.

– Ну-ну, – буркнул недоверчиво начальник, и совещание пошло своим обычным чередом.

После совещания Юлия, неожиданно для Сереги, подошла к нему.

– Сережа, – тихо сказала она. – Я хотела у тебя спросить...

– О чем же это? – сделав простодушное лицо, поинтересовался Серега.

– Насчет Артема, – сказала Юлия. – Скажи, где он? Мне очень надо его увидеть...

– Сказано же было – он на оперативной встрече, – грубо ответил Серега. – Служебная, так сказать, необходимость. Утречком позвонили – он и подался. Спрашивают тут всякие...

– Ты говоришь мне неправду, – сказала Юлия, и губы ее дрогнули.

– Неужели? – удивился Серега.

– Я просто подумала, что вы с ним – друзья... и вы всегда вместе... и, стало быть, ты знаешь... – совсем уже тихо сказала Юлия.

– Да, мы друзья, и мы всегда вместе, и, возможно, я и впрямь кое-что знаю. Дальше-то – что? – отчеканил Серега.

– Извини, – сказала Юлия, повернулась и пошла.

– Бог простит, – сказал ей вдогонку Серега. – Да и то – вряд ли...

– Что? – остановилась Юлия.

– В далеком Шанхае цвела пурпурная нежная роза, – покачиваясь с пятки на носок, продекламировал Серега. – Знаешь такую песенку? Не знаешь? Ну, и не надо тебе ее знать. Потому что – эта песенка не про тебя... не про таких, как ты. А засим позвольте откланяться. Лобызаю, так сказать, ручку.

– Сережа, – сказала Юлия вдогонку.

– Ну, что еще? – остановился, не оборачиваясь, Серега.

– Что мне делать, Сережа? – спросила Юлия. – Как мне жить... теперь... после всего?

– Откуда мне знать? – передернул плечами Серега. – Ничего, проживешь... как-нибудь... утетишься.

– Я его люблю...

– Это кого же именно? – обернулся, наконец, Серега.

– Артема...

– Да неужели? – с предельной степенью сарказма в голосе спросил Серега. – Видел я эту твою любовь, как же... и не далее как вчера вечером. И возлюбленного твоего я видел также... имел такое удовольствие... да только не был он отчего-то похож на моего лучшего друга Артема. Мне отчего-то думается, что это и вовсе был не Артем... А? Жаль только, что не все зубы я ему выбил – этому твоему любимому... Хотя, если разобраться, при чем тут он? Сука не захочет – кобель не вскочит... слышала такую народную мудрость? Извиняюсь за излишнюю образность выражения, но, кажется мне, мы с тобой догадываемся, кто именно та самая сука. Ну-с, я пошел...

– Сережа...

– Ох, мамочки вы мои родимые! Ну, что еще?..

– Сережа... ведь ты же – его друг...

– Об этом мы минуту назад уже беседовали. Так что – не стоит повторяться.

– Поговори с ним, Сережа... с Артемом... пожалуйста.

– Это о чем же?

– Скажи ему, что я его люблю... что я не могу без него...

– Ну, так скажи ему об этом сама.

– Я не знаю, как мне сказать... мне очень тяжело... после всего... да, наверно, он и не станет меня слушать.

– Не станет – и правильно сделает!

– Сережа...

– Все, я пошел... интервью окончено, благодарим за внимание!

– Я люблю его... ты ему так и скажи... я тебя очень прошу! И еще скажи ему – дрянь я последняя...

– Ну, об этом вам, конечно, лучше знать... то есть я насчет того, что дрянь вы последняя. Мылов, это ты? Погоди–ка, Мылов, я желаю тебе кое-что сказать!..

– Сережа... – еще раз сказала Юлия, но Серега ее уже не слушал.

Придя в свою расхристанную и развороченную ремонтом квартиру, Артем первым делом отпустил бригаду строителей. Сегодня он хотел побыть один, он хотел укрыться от всего мира – а где это можно сделать, как не в собственной квартире? Да и не нужен ему был теперь никакой ремонт, какой в том ремонте теперь был смысл... ни в чем теперь не было смысла...

Войдя во вторую, не так еще задетую ремонтом комнату, Артем неожиданно вспомнил об Аленке. Он вспомнил, что эта комната предназначалась как раз для Аленки. Подумав об Аленке, Артем тут же вообразил Аленкины широко распахнутые васильковые глаза, ему послышался Аленкин смех и щебет... Господи, как же давно все это было, подумалось Артему... будто тысяча лет минуло! Да и – было ли что-то вообще? А, может, и не было ничего, а только лишь почудилось, пригрезилось, приснилось? Да нет, все-таки

было. Было – но чрезвычайно давно. Тот, вчерашний, а тем паче, позавчерашний день находился от дня нынешнего так далеко, будто за минувшую ночь Артем прожил добрую половину своей жизни. А, может, и прожил – кто его знает? Он спал, ему снился сон о том, как он вместе с Аленкой шел по разворошенной, нескончаемой колее – и половины жизни как не бывало...

Едва только Артем прилег на кровать, как грянул телефонный звонок. «Черт бы побрал этого Серегу с его заботами! – недовольно подумалось Артему. – Будет теперь вызванивать до самого вечера – каждые полчаса!..»

– Ну? – рыкнул в трубку Артем.

– Здравствуй, – сказал голос в трубке. – Это я...

– Здравствуй и ты, – ответил Артем, чувствуя, как у него неожиданно вспотели ладони.

– Это я... – повторил голос в трубке.

– А это – я, – сказал Артем. – И что дальше?

– Я звонила тебе всю ночь и все сегодняшнее утро, – сказала Юлия, – но никто не брал трубку. Никто не брал трубку, а я все звонила и звонила, звонила и звонила... А потом я пошла на работу... я надеялась, что увижу тебя там, но тебя не было. Я спросила о тебе у Сережи Кошкина, но он не захотел со мной разговаривать. И тогда я решила позвонить тебе еще раз – наудачу...

– Зачем? – спросил Артем, и ему вдруг нестерпимо захотелось плакать. Мимолетом он даже удивился этому своему неожиданному желанию, потому что он уже и не помнил, когда в последний раз ему хотелось плакать.

– Ты считаешь, что незачем? – сдавленным голосом спросила Юлия, и Артему тут же подумалось, что и ей также, наверно, сейчас хочется плакать.

– Я ничего не считаю, – глухо ответил Артем. – Я просто задал вопрос...

– Я не знаю, что тебе ответить на него, – сказала Юлия. – Вернее, знаю, но ответ получится таким большим, что мы в нем запутаемся оба – ты и я. Если хочешь, я отвечу на него по частям...

– Зачем? – повторил свой вопрос Артем, и ему еще больше захотелось плакать.

– Затем, что я люблю тебя, – сказала Юлия. – Затем, что я не могу без тебя. Затем, что ты – единственный смысл в моей жизни. Ты – и еще Аленка...

Артем швырнул трубку с такой силой, что, казалось, ни в чем не повинный аппарат должен был расколоться. Однако аппарат не раскололся, а вот сам Артем – раскололся. Одна часть Артема захотела немедленно бежать к Юлии, отыскать Юлию, где бы она сейчас ни была, обнять ее, уткнуться ей в колени, задохнуться ее волосами, может быть, заплакать вслух, может быть, заплакать вместе с Юлей на пару... Другая же часть Артема оставалась неподвижной, холодной и недоумевающей. Эта вторая часть Артема силилась отыскать ответ на тот самый вопрос, который перед Артемом возник еще вчера вечером, в окоянные одиннадцать часов, когда Артем посветил фонариком в салон укрывшейся в кустах машины. Вопрос, выраженный одним единственным словом «почему» был, – а ответа на него не было, и это полное отсутствие ответа не позволяло Артему стремглав броситься к Юлии. Вторая половина Артема – неподвижная, холодная и недоумевающая, явно пересиливала половину первую...

Помаявшись еще с полчаса, Артем решил идти на работу. Во-первых, бесконечно лгать начальнику о своих мифических оперативных встречах было невозможно, а во-вторых, находиться одному в квартире Артему вдруг стало страшно. В любую секунду могла опять позвонить Юлия. Артем не хотел больше говорить с ней, и вместе с тем он



хотел, чтобы она позвонила... от этой раздвоенности можно было и впрямь сойти с ума... нет, уж лучше идти на работу. Конечно, Юлию можно было бы услышать и даже увидеть и на работе... возможно, что прознав о его появлении, Юлия явится в его кабинет или, скажем, позовет его к себе... но лучше все-таки идти на работу, потому что здесь, в квартире, Артему вдобавок ко всему постоянно мерещился голос Аленки, и это было совсем уже невыносимо...

– Здорово, страдалец, – по-мужски грубовато поприветствовал Артема Серега Кошкин. – Это хорошо, что ты явился. Тут, понимаешь, такое дело. Только что мне позвонил один мой барабанщик и выдал информацию насчет местонахождения Бильярдиста. Ты знаешь, где сейчас тусуется Бильярдист? В привокзальной игротеке, представляешь? Почти на виду, а мы о том ни слухом, ни духом! Уже почти неделю и днюет там, и ночует, сука такая! Не желаешь ли развлечься и поучаствовать в его поимке? А то в одиночку мне, понимаешь ли, несподручно... этот Бильярдист, понимаешь ли, бегаёт, будто мартовский лось...

– Психолог ты хренов, – пробурчал Артем. – Со мной все в порядке, понятно тебе? И – верни немедленно мой пистолет!

– Тогда – поехали! – с преувеличенной бодростью сказал Серега. – Потому что этот Бильярдист... это такой несусветный гад... короче, нам с тобой есть о чем с ним потолковать, не так ли?

– Так ли, так ли, – усмехнулся Артем. – Поехали, давай...

Этот самый Бильярдист был личностью довольно-таки трудноуловимой по причине своего сверхъестественного чутья. Каким-то образом он почти всегда умудрялся исчезнуть с места за несколько мгновений до того, как по его душу являлись сотрудники угрозыска. Так было всегда, так оно случилось и сейчас. Народу в игровом зале было как лягушек в поганом пруду, а вот чертова Бильярдиста среди них не наблюдалось.

– Только что вышел через служебный вход, – мимоходом шепнул Сереге некий малозаметный субъект, который собственно и позвонил полчаса назад насчет Бильярдиста. – Вот прямо-таки мгновение назад...

Сшибая зевак и игроков, Артем и Серега кинулись к служебному входу, выбежали на задний двор игротеки и увидели стремительно удаляющуюся спину Бильярдиста. Сволочь Бильярдист улепетывал в сторону железнодорожных вокзальных линий, явно надеясь затеряться меж вагонами, а то и схорониться в одном из них. Артем и Серега бросились следом. Бильярдист почуял погоню, оглянулся, включил дополнительную скорость, и очень скоро оказался уже на путях. По путям на полном пару шел поезд. Гонимый страхом, Бильярдист решил применить классический прием всякого отчаянного беглеца – перебежать на другую сторону путей прямо перед носом мчащегося локомотива. Что он и сделал...

– Твою мать! – всердцах выругался Серега, переводя дух. – Похоже, опять ушел Бильярдист...

Но – тут случилось непостижимое и непредвиденное. Подбежавший вослед за Серегой Артем, ни слова не говоря, вдруг согнулся и молниеносно бросился под грохочущий вагон, едва миновал вагонные колеса, оказался между двух рельс, вжался в шпалы, дождался следующего вагона, и так же молниеносно выскочил из-под вагона, оказавшись, таким образом, по ту сторону мчащегося поезда.

– Твою мать! – вторично произнес Серега, чувствуя, как у него подкашиваются ноги, и приседая, чтобы попытаться разглядеть, что же происходит по ту сторону нескончаемого поезда.

А по ту сторону поезда происходило следующее. Благополучно избежав столкновения с грохочущим поездом, Бильярдист почувствовал себя в относительной

безопасности, и решил малость перевести дух. Вот эта-то малость Бильярдиста и погубила, потому что вдруг из-под мчащегося вагона выскочил хорошо знакомый ему Артем.

– Не понял юмора... – сам себе сказал Бильярдист, чувствуя, что впадает в протрацию.

Испачканный донельзя Артем вскочил, выдернул из кобуры пистолет, и с перекошенным лицом ринулся к Бильярдисту.

– Тварь! – прорычал Артем, нажимая на спусковой крючок.

Грохнул выстрел, пуля на одну сотую миллиметра миновала голову Бильярдиста, ударилась о стоящий на соседних путях вагон, срикошетила и с пронзительным визгом унеслась куда-то вдаль.

– Ненормальный идиот! – заорал Бильярдист, падая как подрубленный. – Не стреляй... сдаюсь!

– Сволочь! – еще раз прорычал Артем, и еще две пули вонзились в асфальт в миллиметре от грешной головы Бильярдиста.

– Сдаюсь, сказано тебе! – уже не заорал, а просто-таки завизжал Бильярдист. – Спрячь свой шпалер, мент!

– Сейчас, – бессмысленно сказал Артем, стараясь унять невесть откуда взявшуюся дрожь в руках, – сейчас спрячу... вот сейчас я тебе спрячу!..

– Артем! – заорал кто-то сзади, и, обернувшись, Артем увидел Серегу. – Ты что же это творишь... мать твою по диагонали и всяко разно! Отдай пистолет! Дай сюда ствол, тебе говорят!

Артем протянул пистолет Сереге, и безвольно опустился на асфальт.

– Ах, ты ж, абракадабра ты эдакая! – устало сказал Серега. – Да что же это ты вытворяешь, братка ты мой родимый! Ну и ну! Двинуть бы тебя обоими наганями по кумполу!.. Вот ведь дурень же какой, а! Ну, скажи ты мне заради Христа, на кой ляд ты сиганул под поезд? Да пропади он пропадом, этот гребаный Бильярдист, чтобы ради него, поганца, вытворять такое! И на кой, спрашивается, хрен ты в него стрелял, в этого уроды?.. Не искромсало тебя поездом, так в тюрьму захотелось? Ты что же, совсем двинулся из-за своей бабы?

– Ничего, – безразлично сказал Артем. – Ничего...

– Ничего... – проворчал Серега, надевая наручники на Бильярдиста. – Десять лет жизни, которые я потерял сегодня из-за тебя, так и будут отныне висеть на твоей совести! Живи теперь и мучься. Вот ведь дурак какой, а! Из-за какого-то там Бильярдиста – да бросаться под поезд... Ну ты, красавец! – заорал Серега, обращаясь к Бильярдисту. – Слушай меня и запоминай намертво! Если ты хоть кому-нибудь проговоришься о том, как мы тебя сегодня брали, это будет последний гнилой базар в твоей никчемной жизни! Надеюсь, ты меня понял, не так ли? Дополнительно разьяснять не надо?

– Он что же, твой кореш, псих, что ли? – спросил Бильярдист угрюмо. – Вначале бросился под поезд, затем – выпустил в меня, ни в чем не повинного, три пули...

– Три пули? – очень удивленно сказал Серега. – Бильярдист, ты, кажется, обмолвился о каких-то трех пулях? Ась?

– Да нет, – сказал Бильярдист, – это тебе, командир, послышалось. Я вообще начинаю подозревать, что сдался вам добровольно... чтобы скостить годик-другой из моего грядущего срока. Ну что, командир, договорились? Я – обо всем этом ковбойстве молчу как глухонемой, а вы – оформляете мне явку с повинной. Заметано?

– Хрен с тобой, – согласился Серега. – Поехали домой, – сказал Серега, обращаясь более к Артему, нежели к Бильярдисту. – А то уже народ начинает собираться...

Хотя Серега, Артем и Бильярдист, явившись в райотдел, никому не проронили ни слова, весть о бессмысленном подвиге, совершенном Артемом, каким-то образом вскоре распространилась по отделу. Вначале в кабинет, где Серега и Артем разбирались с Бильярдистом, явился начальник собственной персоной. Ничего не говоря, он долго смотрел на вдрызг исцарапанного Артема, затем – на Серегу, затем стал смотреть на Бильярдиста.

– А я – чего? – не выдержал начальничьего взгляда Бильярдист. – Я – ничего... Я, видите ли, сдался добровольно. Вот они подтвердят. Вся свою жизнь мечтал сдаться вам добровольно – и вот... явка с повинной на четырех с половиной листах... Все законно, гражданин самый главный начальник!

– Ну-ну, – изрек, наконец, начальник и многозначительно вышел из кабинета.

И тот же миг, едва не сшибив начальника с ног, в кабинет влетела Юлия. Она остановилась на пороге и молча уставилась на Артема – только на него и ни на кого более. Серега неодобрительно крикнул, поднялся, взял за шкуру Бильярдиста и поволок его к выходу. Юлия и Артем остались одни.

– Что? – сказал Артем.

– Сказали, что тебя ранили на вокзале... сильно ранили... что ты угодил под поезд, – тихо произнесла Юлия. – А потом сказали, что ты приехал... раненый... вот я и прибежала, чтобы узнать... чтобы увидеть тебя.

– Со мной все в порядке, – сказал Артем.

– Исцарапанный весь, – нерешительно сказала Юлия, – и рубаха порвана... А ведь еще и прежние раны не зажили...

– Со мной все в порядке, – повторил Артем.

– Это хорошо, что в порядке... с тобой, – нерешительно сказала Юлия, продолжая топтаться у порога. – Потому что...

– Что? – еще раз сказал Артем.

– Ничего, – сказала Юлия. – Извини... я пойду.

Артем ничего не ответил, встал и отвернулся к окну. Он не хотел видеть, как Юлия будет выходить из кабинета. Он не хотел видеть, какое у нее при этом будет лицо, и какие будут глаза. Юлия постояла еще мгновение, вздохнула и вышла.

Вскоре в кабинет зашел Серега – один, без Бильярдиста.

– Этот Бильярдист такое нам обещает рассказать!.. – начал Серега, но, взглянув на Артема, осекся. – Слушай, а может, мне самому с ней поговорить, а? Так сказать, взять на себя роль посредника. Тем более – сегодня утром она самолично намекала мне на это... Может, мне и впрямь с ней побеседовать?

– Это с кем же? – спросил Артем.

– С ней! – отчеканил Серега.

– О чем и зачем? – спросил Артем.

– А хрен его знает – о чем и зачем? – задумчиво сказал Серега. – Что ты скажешь – то я ей и передам. А что скажет она в ответ – то я передам тебе. Ведь нельзя же – так-то... Сегодня ты из-за нее бросился под поезд, а завтра...

– Под поезд – это не из-за нее... – сказал Артем.

– Из-за нее! – убежденно сказал Серега. – У тебя сейчас на роже написано, что из-за нее! Евино племя... мать их! Послушай-ка, что я тебе скажу! Тебе надо развлечься или отвлечься... в общем, это одно и то же. Как говорится, клин вышибается клином. Святое дело!

– Ты это о чем? – рассеянно спросил Артем.

– Да все о том же, – сказал Серега. – Имеются у меня на примете две заранее на все согласные подружки. Блондиночка и рыженькая. Уясняешь, на что я намекаю?

– Пошел ты вместе с ними сам знаешь, куда, – устало отмахнулся Артем.

– А вот это ты напрасно, – осуждающе сказал Серега. – Легкий, ни к чему не обязывающий флирт, вино, разговоры ни о чем, хихоньки да хахоньки... Психотерапия! А то ведь – зачахнешь в самоедстве! А потом оно все образуется – само собой. Время, знаешь ли, великий целитель. И – самый лучший судья. Все на свете проходит, а, значит, и эта бодяга пройдет тоже... Ну, так что же... насчет развлечься? Разумеется, если я не нарушаю этим предложением каких-нибудь твоих планов. Возможно, ты собрался со своей благоверной помириться, простить ее... ну, тогда, конечно, это мое предложение теряет смысл.

– Ты считаешь, что за такое можно простить? – угрюмо спросил Артем.

– Не знаю, – не сразу сказал Серега. – Все, наверно, зависит от самого человека. Вернись, я все прощу – ты, надеюсь, слышал такую песенку? Ей, наверно, уже лет триста... классическая песенка! Раз на свете существуют такие песенки, значит, можно и простить... Впрочем, если тебя интересует лично мое мнение... Я думаю, что это – не тот случай... ну, о котором поется в песенке. Это, так сказать, за гранью добра и зла. Или – за гранью смысла... не знаю. Мне кажется – хоть ты ее прощай семь раз на дню, хоть ты ее не прощай вовсе – будет все едино: какая она есть, такой она и останется... есть, понимаешь ли, такая непрошибаемая порода баб. Не прожить с одним мужиком еще и недели – и ложиться под другого...да еще так, похабно и по-собачьи... это, знаешь ли, и в самом деле за гранью смысла... и много о чем говорит. Таково тебе будет мое мужское и товарищеское мнение. А, в общем, – разбирайся сам...

– Аленку жалко, – тихо сказал Артем. – Хорошая она, милая... привык я к ней. И она ко мне...

– Оно конечно... – неопределенно сказал Серега, помолчал и добавил: – Ну, так как... насчет психотерапии?

– Давай! – вяло махнул рукой Артем. – Блондиночка и черненькая, говоришь?

– Рыженькая, – сказал Серега.

– Один хрен, – сказал Артем. – Договаривайся. Сегодня, конечно, у нас из-за этого Бильярдиستا ничего не выйдет, а на завтра... что ж... договаривайся.

С Бильярдистом они провозились до позднего вечера. Выслушав и запротоколировав его рассказы, отделив, так сказать, зерна от плевел и наметив план работы на завтра с таким расчетом, чтобы и дело за день успеть сделать, и с девицами вечером пообщаться, Артем и Серега вышли на улицу.

– Поздно, – сказал Серега. – Часов, наверно, одиннадцать. Пойдем ночевать ко мне, или как?

– Нет, – сказал Артем. – Пойду к себе.

– Ты уверен? – спросил Серега.

– Все нормально, – сказал Артем.

– Ну-ну, – сказал Серега. – Тогда – до завтра. А если что – я на телефоне.

– Бывай, – сказал Артем.

Ходьбы от райотдела до дома, в котором жил Артем, было минут двадцать. Город был почти пуст. В черных кронах деревьев шелестел невидимый ночной ветер. Артем шел по безлюдной и оттого казавшейся неестественно широкой улице, и ни о чем не думал. Или нет – одна мысль в нем все-таки присутствовала. Вернее – одно желание: ему хотелось, чтобы ни эта поздняя улица, ни его ходьба по ней как можно дольше не кончались, и чтобы он шел по этой улице, шел и шел...

У подъезда своего дома Артем заметил одинокую, показавшуюся ему знакомой, человеческую фигурку. Фигурка также заметила Артема или, может, просто слышала звук его шагов, вздрогнула и подалась Артему навстречу. Это была Юлия.

– Это я, – сказала Юлия.

– Я вижу, – сказал Артем.

– Вначале я хотела дождаться тебя у райотдела, – сказала Юлия. – Я долго там стояла и пряталась за деревьями... все ждала, когда погаснет свет в твоём кабинете, и ты выйдешь... но затем я подумала, что ты, наверно, выйдешь не один, а вместе с Сергеем... а мне хотелось, чтобы ты был один. Мне обязательно надо поговорить с тобой, и все тебе объяснить, и попросить у тебя прощения, и знать, что ты меня простил, потому что... потому что я не представляю, как мне жить дальше и для чего мне жить, если тебя не будет... если ты исчезнешь из моей жизни.

Артем слушал и молчал. Он не знал, что отвечать Юлии и – ему не хотелось ничего ей отвечать. Ему сейчас не хотелось ничего. Впрочем, нет – ему хотелось пить. Ему вдруг представилась неглубокая, едва ли по пояс, река, и он сам, переходящий эту реку вброд, и буруны, клопочущие вокруг замшелых камней на дне реки, и сладкие брызги воды, тающие у него на губах, и женщина, чрезвычайно похожая на Юлию, которую он переносит через реку... он переносит эту женщину, и в ее широко распахнутых глазах отражается синее небо и белые облака... Артем облизал пересохшие губы и отвернулся.

– Может, пригласишь меня к себе? – несмело спросила Юлия.

– Что? – спросил Артем. – А, нет... У меня там – ужасный беспорядок. Ремонт... Некстати затеянный, бессмысленный и ненужный...

– Ненужный? – дрогнувшим голосом спросила Юлия. – Вот как... ненужный...

Помолчали. Невидимый ветер в черных кронах деревьев пел свою нескончаемую ночную песнь.

– Скоро полночь, – сказала Юлия. – Ноль-ноль часов и ноль-ноль минут. Краткое мгновение безвременья. Проводи меня, пожалуйста, домой. Если, конечно, тебе не трудно...

Артем молча кивнул головой и пошел. Юлия пошла с ним рядом. Вдалеке прогудел заводской гудок. Он всегда гудел, когда заканчивался один день и начинался день другой. Это была древняя и незыблемая традиция города.

– Кончился день... – сказала Юлия. – А вина – осталась... Артем...

– Вот твой дом, – сказал Артем. – Спокойной ночи.

– Подожди, – сказала Юлия. – Я прошу тебя... я так больше не могу... подожди! Я должна тебе сказать... я даже не прошу, чтобы ты меня простил... если не можешь простить, то и не прощай... я лишь умоляю – выслушай меня! Всего лишь выслушай... пожалуйста... ни о чем больше я тебя не прошу!

– Я тебя слушаю, – сказал Артем.

– Может, зайдём ко мне... домой? – спросила Юлия. – Здесь темно, поздно, и почему-то страшно... а там – светло и тихо...

Артем ничего не ответил, повернулся и пошел на детскую площадку, находившуюся недалеко от дома. На площадке была карусель с разноцветными конями, оленями и слониками. Артем уселся на подмости карусели, набрал в горсть прохладного песка и замер. Подошла Юлия, потопталась и присела рядом.

– Это любимая Аленкина карусель, – сказала Юлия. – Она любит на ней кататься...

– Я тебя слушаю, – повторил Артем, и песок скрипнул в его горсти.

– Я не знаю, с чего начать, – прошептала Юлия. – Помоги мне, пожалуйста.

– То есть? – спросил Артем, высыпая песок из ладоней и тут же набирая новую горсть.

– Ну, начни как-нибудь, – сказала Юлия. – Начни с каких тебе угодно слов... с вопросов или обвинений... а потом буду говорить я. Можешь даже ударить меня... я стерплю, и не стану тебя за это осуждать. Я даже прошу тебя – ударь меня... надавай мне пощечин... ты будешь меня бить, а я буду целовать твои руки... Я прошу – ударь меня, Артемушка... я тебя очень прошу! Я стану перед тобой на колени, а ты меня бей... а я буду целовать твои руки! Артемушка, милый мой...

– У меня руки заняты песком, – сказал Артем. – Песок... он такой прохладный и добрый... у меня нет рук, чтобы надавать тебе пощечин. Да и – какой в том прок? Лучше я расскажу тебе одну историю, похожую на страшную сказку.

– Расскажи историю, – с готовностью согласилась Юлия. – Расскажи мне историю...

– Это будет история про одного дурака, – сказал Артем, играя песком. – Итак, жил на свете один дурак. Это был очень одинокий дурак, и однажды он встретил такую же одинокую, красивую женщину. Вернее, эта женщина вовсе даже не была одинокой... еще как не была... и очень скоро это подтвердилось самым беспощадным для дурака образом... но – она говорила, что одинока, и еще она говорила, что любит этого дурака, и он ей верил... он верил в то, что она одинока, и в то, что она его любит. Он ей верил, потому что и сам ее любил... то есть он ее и впрямь любил, а вот она...

– Она его любила тоже... она его любит и сейчас... любит так, что всякое мгновение, проведенное без него, кажется ей бессмысленной вечностью и...

– А вот она ему лгала. Но – он ей верил, потому что любил ее, и они даже вместе подумывали о том, чтобы пожениться, подумывали также и о собственном тереме, и о том, в какой цвет будут выкрашены двери в этом тереме, а в какой – окна и веселые медведи, вырезанные на дверях... ну, и все такое прочее. Он воображал свою совместную жизнь с ней, он удивлялся сам себе и не мог уразуметь, как же это так получилось, что долгие годы он жил без нее... Он ее любил, а она ему в это самое время лгала...

– Она ему не лгала...

– Однажды ненастным темным вечером этот дурак отправился на работу, а она, эта женщина, сказала ему, что будет его ждать. Разумеется, она солгала... она, похоже, и не намеревалась его ждать... но он ей поверил, потому что разве можно не верить женщине, которую любишь? Шел, как уже было сказано, дождь, он разъезжал по темному городу на машине и воображал, как через какой-то час закончит свою работу, и встретится со своей любимой. Он предвкушал эту встречу, он знал, какие слова скажет своей любимой, и старался представить, какие слова его любимая произнесет в ответ. В тот момент он был счастлив... И вдруг совершенно случайно, сам того не желая, влюбленный дурак заметил притаившуюся в кустах машину...

– Это и впрямь очень страшная история...

– Да. Впрочем, для влюбленного дурака и для его возлюбленной-лгуни она страшна по-разному. В следующий же момент после того, как счастливый дурак заметил эту машину и посветил в нее фонариком, мир для него разлетелся вдребезги. А это, оказывается, очень страшно, когда мир разлетается вдребезги... Страшно и больно... да. Вероятно, вероломная любимая также испугалась. Но – это был другой страх. Это был страх вора, застигнутого на краже. Это был страх лжеца, которого изобличили во лжи...

– Это не так. Это совершенно другой страх... это страх остаться одной... страх, что жизнь превратится в бессмыслицу, в тоскливое времяпрепровождение с утра до вечера... это боязнь одиноких, холодных ночей...

– И, боясь всего этого, возлюбленная-лгунья изменила ему с первым, кто ей подвернулся. После признания в любви дураку, после изумительных, как она сама говорила, ночей, проведенных вместе, после договоренности пойти на реку и целоваться на стремнине, после заверений в том, что влюбленный в нее дурак – это тот, кому она не изменит никогда, потому что она слишком долго его ждала и он слишком для нее дорог...

– Это был не первый встречный. Это был Аленкин отец...

– Вот как? – впервые за все время беседы удивился Артем, и силой запустил горстью песка во тьму. – А ведь только позавчера ты говорила, что Аленкин отец – это я... Ты говорила с такой убедительностью, что я поверил...

– Это так и есть. Ты – ее отец. Ты – ее отец, Артемушка! И она сама так считает, и ты так считаешь, и я тоже... потому что это так и есть! Мы же с тобой говорили...

– Помню, как же. О том, как мы с тобой в машине... Шел дождь, и все такое прочее... По сути, мы говорили о том, что в конце концов и произошло. Произошло – да только я в этой сказке оказался лишним и нежелательным персонажем. Влюбленным дураком. Ладно... К чему это все – теперь-то? Уже поздно... я пойду...

– Подожди, Артемушка... не уходи! Не уходи... еще одну только минутку!

– Что еще?

– Ты это так произнес...так холодно и отрешенно... Артемушка, милый мой, любимый, единственный... что же мне теперь делать?

– Живи. Возвращайся к нему... коль уж он тебе так мил.

– К кому, Артемушка?

– К отцу Аленки... твоей дочери... к тому, с кем ты была вчера в машине... Или – к кому-нибудь другому... другому Аленкиному отцу. У тебя это получается очень легко... очень запросто: сегодня – один, завтра – другой... Интересно, сколько их у тебя – таких вот отцов твоей дочери? Ты-то хоть сама знаешь – кто из них истинный отец, а кто, так сказать, мнимый... вроде меня?

– Зачем же ты меня оскорбляешь, Артемушка?

– Я говорю правду. Правдой нельзя оскорбить.

– Но ведь там, вчера... в той машине... там же ничего не было! Там ничего не было, Артемушка!

– Неужели? Наверно, это мне просто почудилось. Так сказать, игра света и теней, помноженная на воображение...

– Наверно... игра света и теней... но если это и не так, то все равно – там ничего не было! Просто потому, что не успело быть...

– Извини, что ненароком помешал.

– Зачем же ты так, милый? Зачем же ты так... Я не знаю, как это со мной случилось в тот вечер... вчера... Господи, неужели все это было лишь вчера? Мне кажется, что за эти сутки я прожила много-много лет... половину своей жизни! Мы с ним не виделись много лет... мы с ним вообще никогда не виделись... и Алёнка – это не его дочь, это твоя дочь, да-да... а то, что случилось вчера – это... я не знаю, как это произошло. Это будто какое-то наваждение... наверно, причиной тому – выпитое вино, и то, что я зачем-то села к нему в машину...

– И то, что он был так настойчив, – закончил Артем, – а тебя разбирало любопытство. Знаешь, я где-то это уже слышал. Так что – не стоит повторяться.

– Артемушка...

– Скажи, – вдруг спросил Артем, – а куда ты подевала трусики?

– Какие трусики? – поперхнулась Юлия на полуслове.

– Те самые, – сказал Артем. – Которые я тебе подарил, над которыми ты плакала в умилении и которые целовала... и которые ты вчера сняла в той машине, а я их нашел...

– Зачем же ты их там нашел, Артемушка?

– Зачем же ты их там сняла, Юленька?

– Не бросай меня. Я умру, если ты меня бросишь... я умру без тебя.

– Иди домой, – сказал Артем. – Уже поздно.

– Я не хочу... домой, – сквозь слезы сказала Юлия. – Там – пусто. Там – страшно. Там – нет тебя...

Артем ничего не сказал, вытер испачканные песком руки об колени, встал, немного помедлил и пошел по направлению к своему дому.

– Артемушка, – сказала Юлия сзади, – Артемушка...

«Не оборачиваться! – приказал себе Артем. – Только не оборачиваться!...»

## 9.

Придя на следующее утро на работу и войдя в начальничий кабинет, Артем сам того не желая, сразу же взглянул в тот угол, где по обыкновению размещались следователи – ну и, значит, должна была находиться Юлия. Она была на месте. Она увидела Артема, вздрогнула и подалась ему навстречу. Артем скользнул по ней взглядом и отвернулся. Но, прежде чем отвернуться, Артем все же заметил: лицо у Юлии было изможденным и осунувшимся, под глазами – темные круги... Короткая, непрошенная боль полоснула вдруг по сердцу Артема: ему захотелось подойти к Юлии, обнять ее, а, может, и не обнять, а просто – подойти, улыбнуться, сказать доброе слово... При всех, на виду у всех, в нарушение незыблемых правил, царящих на ежеутреннем совещании – к черту всяческие правила... кому какое дело?! «Юлька, – захотелось сказать ему Юлии, – ах ты ж, Юлька... Дуреха ты моя несчастная...»

Но – ничего этого Артем не сделал. Сжав зубы так, что побледнели скулы, Артем уселся на место, и более на Юлию не взглянул. Она на него смотрела почти неотрывно – он это чувствовал, а вот он на нее – не смотрел...

– Ну что, не передумал? – спросил Серега у Артема после совещания.

– Насчет чего? – недоуменно отозвался Артем.

– Вот те раз! Да насчет сегодняшнего вечера, елки зеленые! Насчет беленькой и рыженькой!



– А... ну да! – сказал Артем. – Не передумал.

– Ну, вот и чудно! – сказал Серега. – Чудесненько-расчудесненько! Значит, добиваем сегодня Бильярдиста, и ближе к вечеру потихонечку сматываемся. Можно было бы и в ресторанчик, но, я думаю, лучше ко мне домой. Для пущей, так сказать, интимности обстановки и сближения тел и чувств. Ну, так я звоню подругам?

– Звони, – махнул рукой Артем.

Они добились Бильярдиста, и ближе к вечеру, закупив по пути все, что полагается, ушли к Сереге домой. У Серегиного дома их уже ждали. Одна из ждавших и впрямь была блондинкой, а вторая – рыженькой.

– Привет подругам! – издали закричал Серега.

– Привет, привет! – хором ответили беленькая и рыженькая.

– Значит, беленькая – это моя, – сказал Серега Артему. – Ну, а рыженькая соответственно твоя...

– Мне все равно, – сказал Артем.

– То есть как это – все равно? – удивился Серега. – И вовсе даже не все равно! Стараешься для него стараешься – а ему, видите ли, все равно! Уясни ситуацию! Та, которая блондинка – это так себе... ничего особенного... легкомысленная особа. Но зато рыженькая... это, знаешь ли, штучка посложнее. Интеллектуальная бабенка, одним словом... утонченная, так сказать, натура... тургеневский в некотором роде персонаж. С ней и побеседовать можно, и помолчать не в тягость... ну и вообще... В самый раз – лекарство для твоей растерзанной души. Еще и спасибо мне потом скажешь.

Вошли в квартиру. Женщины захлопотали вокруг стола. Вскоре стол был накрыт. Расселись.

– Тебя ведь зовут Артем? – спросила рыженькая у Артема, касаясь его руки.

– Да, – сказал Артем.

– А меня – Алена, – сказала рыженькая. – Ты так на меня смотришь... Тебя удивило мое имя?

– Нет, – сказал Артем. – Просто – вдруг возникли кое-какие ассоциации, которые, мне кажется, будут нам мешать. Знаешь, что? Давай сегодня ты будешь зваться как-нибудь иначе.

– И как же? – спросила рыженькая.

– Не знаю, – сказал Артем. – Как-нибудь... без разницы. Придумай сама. И – не обижайся. Это я не со зла... так будет проще – тебе и мне.

– Я понимаю, – внимательно глядя на Артема, сказала рыженькая. – Ну, что ж... Пускай это будет не имя, а прозвище. В детстве меня звали Лисенком.

– Хорошо, – невольно улыбнулся Артем. – Пускай будет так. Лисенок...

Налили, выпили, посидели, присмотрелись друг к другу, выпили еще. Заиграла музыка.

– Следующий номер нашей программы – танцы до упаду! – провозгласил Серега.

– Пойдем, потанцуем? – сказала Лисенок Артему.

– Пойдем, – сказал Артем.

У Лисенки были удивительно теплые руки, а от ее рыжих волос и от ее щеки пахло каким-то незнакомым, а вместе с тем и знакомым, смутно тревожащим запахом. Артему вдруг подумалось, что Юлия пахнет иначе, а у его бывшей тайной подруги Оксаны, о

которой за эти дни он почти совсем успел позабыть, а сейчас отчего-то вспомнил, тоже, кажется, был свой собственный запах... Он невольно усмехнулся.

– Чему ты улыбаешься? – спросила Лисенок.

– Так... – сказал Артем. – Благодаря тебе, я совершил одно выдающееся открытие.

– Так скоро? – улыбнулась и Лисенок.

– Так уж получилось, – сказал Артем, с подспудным удивлением чувствуя, что общаться с Лисенком ему приятно и легко.

– Поделился бы, если не секрет, – сказала Лисенок.

– Не секрет, – сказал Артем. – Оказывается, каждая женщина имеет свой собственный запах. Сколько есть на свете женщин, столько, наверно, и запахов. Четыре миллиарда женщин, и столько же запахов, представляешь?

– В самом деле, знаменательное открытие, – улыбаясь, сказала Лисенок. – Открытие не мальчика, но мужа. Ну, а при чем же тут я?

– Я тебя понюхал – и родилось это открытие, – сказал Артем.

– Понимаю, – сказала Лисенок. – Та, которую ты нюхал до меня, пахла иначе.

– Да, – сказал Артем. – Ты угадала... Но – не надо об этом... прошу.

– Прости, – сказала Лисенок. – Я не хотела лезть тебе в душу.

– Ничего, – сказал Артем. – У тебя это получается совсем не больно.

Помолчали, медленно кружась и вслушиваясь в музыку.

– Тебе нравится эта музыка? – спросила Лисенок.

– Да, – сказал Артем. – Такое ощущение, будто в осеннем саду падают яблоки. Медленно–медленно...

– Именно, – удивленно сказала Лисенок. – Именно так... У меня – то же самое ощущение... яблоки в осеннем саду. Удивительно...

– И что же тебя удивляет? – спросил Артем.

– Меня удивляешь ты, – сказала Лисенок. – Ты знаешь, я эту музыку слышала много раз... раз, наверно, двадцать, если не больше. И – каждый раз в компании с разными людьми... так уж получалось. Но никто ни разу не сказал, что эта музыка похожа на падающие яблоки в осеннем саду. А ты вот – сказал... первый из всех. Удивительно. Потому что – это и впрямь яблоки, падающие в осеннем саду... медленно-медленно... как в детстве, или как во сне...

– Спасибо тебе, – сказал Артем.

– За что же? – спросила Лисенок.

– Не знаю, – сказал Артем. – Просто спасибо – и все.

– Тогда – спасибо и тебе, – сказала Лисенок.

– И тоже ни за что? – улыбнулся Артем.

– И тоже ни за что... – сказала Лисенок.

...Вино было выпито, закуска съедена, в окно смотрела темень. Серега и блондинка ушли в другую комнату и заперли за собой дверь.

– Темно, – задумчиво сказала Лисенок, глядя в окно. – Когда я бываю ночью в чужих домах, мне всегда хочется смотреть в окно. Но – редко кто мне позволяет наглядеться вволю...

– Смотри, – сказал Артем, – хоть всю ночь напролет.

– Спасибо, – сказала Лисенок, водя пальцем по стеклу. – Знаешь, что... Поехали ко мне. Или, если хочешь, к тебе.

– Лучше ко мне, – сказал Артем. – Я живу совсем недалеко.

– Тогда – к тебе, – сказала Лисенок.

– Только, – сказал Артем, – у меня ужасный беспорядок. Начатый и незавершенный ремонт...

– Это ничего, – сказала Лисенок. – Главное – не это.

– А что же главное? – спросил Артем.

– Главное – это мы с тобой, – сказала Лисенок.

Артем отчего-то боялся, что когда он с Лисенком станет подходить к дому, им навстречу непременно попадется Юлия. Нет, Артем боялся не того, что он может попасться на глаза Юлии с другой женщиной. Просто – он не хотел видеть Юлию. Он боялся видеть Юлию. Он боялся той боли, которая возникала в нем каждый раз, как он видел Юлию. Когда Юлия была далеко, эта боль была не так ощутима.

Но – никого по пути они не встретили. Мир был пуст, и только неясные звуки в отдалении косвенно свидетельствовали о том, что, вероятно, в мире все же присутствует жизнь, и в мире живут люди со всеми их радостями, страданиями, ненавистями и любовью.

– Входи, – сказал Артем. – Только не ударься обо что-нибудь, пока я не зажгу свет. Давай пройдем в спальню. Там не так загажено.

Войдя в спальню, Лисенок тут же подошла к окну и уставилась на заоконную россыпь ночных огней.

– Будто незнакомые созвездия, – сказала Лисенок. – В каждом окне – свои созвездия... это так удивительно! Смотрела бы и смотрела...

– Хочешь вина? – спросил Артем.

– Вина? – очнулась от созерцания Лисенок.

– Я прихватил с собой бутылочку с пиршественного стола, – сказал Артем. – Называется «Мускат».

– Хочу, – сказала Лисенок. – «Мускат» – мое любимое вино.

– И мое тоже, – сказал Артем. – Садись сюда, на кровать. Стулья все в известке.

Они сидели рядышком на кровати, пили вино и молчали. Вдалеке глухо прогудела заводская сирена, возвещавшая полночь. Услышав этот звук, Артем неожиданно для себя вздрогнул.

– Ее также зовут Аленой? – спросила Лисенок, внимательно взглянув на Артема.

– Кого? – не сразу отозвался Артем.

– Ту, которая была здесь до меня, – сказала Лисенок.

– Нет, – сказал Артем. – Ее зовут... ее звали иначе. Аленой зовут ее дочку. Аленкой...

– Понимаю, – сказала Лисенок. – Из-за чего, если не секрет, вы расстались?

– Откуда ты знаешь, что мы расстались? – спросил Артем.

– Иначе меня бы сейчас здесь не было, – сказала Лисенок, усмехнувшись. – В крайнем случае, мы с тобой сейчас были бы на той квартире, откуда мы ушли. На том самом диванчике, что в углу, или даже на кухне с накрепко затворенными дверями. Если скомкано и наспех, то можно и на кухне... так всегда бывает. И – иначе ты не говорил бы о ней в прошедшем времени. И так, вы расстались...

– Мне не хочется говорить об этом, – сказал Артем.

– Тогда – не будем, – согласилась Лисенок. – Будем спать... Где у тебя постельное белье?

– В том шкафу, – указал Артем пальцем, и вдруг отчетливо вспомнил, что постельное белье в этот шкаф укладывала Юлия... даже не так – Юлия вместе с Аленкой. Юлия и Аленка укладывали белье, а Артем сидел на этой самой кровати и наблюдал, как у Юлии светится от счастья лицо, и невольно недоумевал по этому поводу... дескать, неужели это и впрямь такое счастье для Юлии – укладывать в шкаф белье? Артем зажмурил глаза, встряхнул головой и резко поднялся с кровати.

– Ложись, – сказала Лисенок Артему, коротко и пристально взглянув на него. – Я – скоро.

Она выключила свет, подошла к окну и долго в него смотрела, затем отчего-то засмеялась, разделась, отошла от окна и легла рядом с Артемом.

– Насмотрелась на незнакомые созвездия? – спросил Артем.

– Почти, – сказала Лисенок.

– От тебя пахнет яблоками, – сказал Артем. – Теми самыми яблоками, которые из музыки...

– Это, наверно, пахнет «мускатом», – сказала Лисенок.

– Нет, – сказал Артем. – Это пахнет тобой.

– Мне кажется, – сказала Лисенок, – что причиной вашего разрыва была она, а не ты.

– Почему ты так думаешь? – повернул к ней голову Артем.

– Мне так кажется, – сказала Лисенок.

– А что еще тебе кажется? – спросил Артем.

– Что ты – ничем не лучше ее. Или – ничем не хуже. С какой стороны посмотреть...

– Я не сделал даже тысячной доли того, что сделала она...

– И что же такого она сделала? А, кажется, понимаю... Наверно, то же самое, что делаешь сейчас ты. Но – она сделала это первая, а ты – ей в отместку... или чтобы заглушить свою душевную боль. Я права?

– Нет, – сказал Артем. – Я ничего такого не делаю. Я сейчас лежу с тобой и разговариваю о ней. И – ничего более.

– Ну, так через пять минут станешь делать.

– Нет, – сказал Артем.

– Тогда для чего же я тебе нужна? – удивленно спросила Лисенок.

– Не знаю, – сказал Артем.

Помолчали, глядя в окно и прислушиваясь к далеким звукам внешнего мира.

– Ты – странная шлюха, – сказал Артем.

– Наверно, – просто отозвалась Лисенок. – А, может, я вовсе и не шлюха, почему тебе знать? Или – шлюха не больше, чем все в этом мире. Чем ты сам...

– Может быть, – сказал Артем, и опять отчего-то вспомнил о своей тайной подруге Оксане. Конечно, подумал Артем, его минувшие отношения с Оксаной – это совсем не то, что отношения Юлии с этим... в машине и под дождем... да и понятнее все у него было с Оксаной... да и расстался он с Оксаной сразу же, как только познакомился с Юлией... и помыслов никаких у него об Оксане не осталось. О чем тут, казалось бы, рассуждать и какой виной тут себя винить – а вот поди ж ты: и терзается, и винится как бы само собою... и именно сейчас, вот ведь какое дело.

– Я рада, что ты не возражаешь, – сказала Лисенок.

– А что тут возражать, коли все так и есть? – сказал Артем. – Прости за шлюху...

– Прости и ты меня, – сказала Лисенок.

Неожиданно зазвонил телефон. Артем вздрогнул, напрягся, однако не встал и к телефону не пошел.

– Звонит же, – сказала Лисенок.

– Пускай звонит, – сказал Артем.

– Это – она? – спросила Лисенок.

– Может быть, – сказал Артем.

– Наверно, она сейчас плачет, – сказала Лисенок. – Звонит – и плачет...

– Не надо, – попросил Артем. – Пожалуйста, не надо...

Телефон умолк, и через минуту зазвонил опять.

– Если хочешь, я сама сниму трубку, – сказала Лисенок.

– И что ты ей скажешь? – спросил Артем. – Как ты ей объяснишь, кто ты и что ты делаешь у меня ночью?

– Как-нибудь объяснила бы, – сказала Лисенок. – Это, в общем, не так и сложно...

– Не надо, – сказал Артем.

– Стало быть, ты ее любишь, коль не хочешь, чтобы я брала трубку, – вздохнула Лисенок. – А коль любишь, то и простишь. Простишь, я знаю. Ну вот, телефон и умолк...

– Я бы простил, если бы понял...

– А разве простить и понять – это не одно и то же?

– Нет, – сказал Артем. – Простить – легко. А вот понять – тяжело.

– А ты ее прости, не пытайся понять, – сказала Лисенок.

– Это как же? – спросил Артем.

– А вот так же, – сказала Лисенок. – Прости, а потом оно все поймется... само собой. А не поймется – так забудется...

– Прыгни через канаву, сказали слепому. Прыгни, а до другого края долетится... само собой. А не долетится – так забудется... Слепой поверил, и прыгнул. Как ты думаешь, он достигнет другого края?

– Наверно, не достигнет, – вздохнула Лисенок. – А только жизнь – это не канава.

– Канава, – сказал Артем. – Еще какая канава. Канава, в которой есть только один берег, а другого берега не видно вовсе...

– Ну, ладно, – еще раз вздохнула Лисенок. – Значит, ты не желаешь ей мстить с моим участием?

– Нет, – сказал Артем.

– Ну и хорошо, – улыбнулась Лисенок. – Учитывая ситуацию, я, конечно, тебе в этом деле поспособствовала бы, а вот что бы я при этом подумала – уж мое дело... А коль так-то и хорошо. Спокойной тебе ночи.

– И тебе тоже, – сказал Артем. – Можно, я тебя поцелую... как сестру?

– Вообще-то сестра и брат не спят в одной постели, – улыбнулась в темноте Лисенок.

– Неважно, – сказал Артем, касаясь губами ее волос. – И все-таки – от тебя пахнет яблоками.

– А от нее? – спросила Лисенок.

– Не помню, – сказал Артем. – Не хочу вспоминать.

– Я понимаю, – сказала Лисенок. – Спи. А когда проснешься – будет утро...

...Лисенок встала с рассветом, оделась и присела на краешке кровати. Артем открыл глаза.

– Куда ты так рано? – спросил Артем. – Спала бы еще.

– А вдруг она захочет прийти к тебе утром? – спросила Лисенок. – Зачем ей меня здесь видеть?

– Ну, ты что-нибудь придумала бы, – усмехнулся спросонья Артем.

– Прощай, – сказала Лисенок. – Хочу, чтобы у вас все было хорошо. И – спасибо тебе за чудесную ночь. Тысячу лет у меня не было такой чудесной ночи. Еще раз – спасибо.

– Тебе – тоже, – сказал Артем, пытаясь встать. – Я тебя провожу.

– Не надо, – сказала Лисенок. – Прощай. А, впрочем... Можно, я как-нибудь тебе позвоню? Чтобы узнать, что у вас, в конце концов, все сладилось и сложилось. И чтобы порадоваться за вас.

– Конечно, позвони, – сказал Артем. – Я буду рад тебя слышать.

– А если ты завтра забудешь обо мне? – спросила Лисенок. – Вот будет интересно – я тебе звоню, а ты и не знаешь, кто это тебе звонит.

– А ты скажешь, что это звонит Лисенок, и я сразу же о тебе вспомню, – сказал Артем.

– Я позвоню, – сказала Лисенок, улыбнулась и вышла.

Она вышла, а в комнате остался запах яблок из осеннего сада. Артем улыбнулся, потрогал этот запах руками, и закрыл глаза. До настоящего, полнокровного утра оставался еще целый час, а то и больше, и Артем надеялся провести этот час в блаженной полудреме, в эдаком полузабытьи, когда ты лежишь, и вокруг тебя никого нет, и только отдаленный говор мира доносится до тебя, говор, до которого тебе, по сути, нет никакого дела...

Но окунуться в столь чаемое полузабытье Артему не удалось, потому что вдруг раздался стук в дверь. Вначале Артему подумалось, что это стучит Лисенок: наверно, уходя, она позабыла что-то из своих вещей, вот и вернулась. Однако вослед за этой мыслью к Артему пришла другая мысль – это стучится Юлия... да-да, именно Юлия... причем тут Лисенок... это – Юлия! Артем вскочил с постели, и сшибая на ходу стулья,

помчался к двери, но на полпути остановился... затем для чего-то вернулся в спальню, затем опять вышел со спальни, и уже не торопясь, почти автоматически, подошел к двери и открыл ее.

Стучала не Лисенок и не Юлия. Стучала, как это было ни странно, бывшая тайная подруга Оксана.

– В квартиру-то хоть пустишь? – одними глазами усмехнулась Оксана. – Или – ты не один?

– Входи... конечно, – растерянно сказал Артем, и посторонился, пропуская Оксану.

– Не ожидал моего прихода? – спросила Оксана, входя и осматриваясь. – Ну, разумеется, не ожидал... наверно, и думать забыл о своей бывшей тайной подруге Оксане. А я, как видишь, о тебе не забыла... и вот, пришла. Ты спросишь – почему так рано? Ну, так днем тебя нигде не застанешь и не отыщешь – это уже проверено и перепроверено. А вечером – я не рискнула... да и неудобно мне вечером... мой дурак в последнее время никуда меня не отпускает. Даже на свою рыбалку больше не ездит, все меня сторожит... будто почуял что-то. А – что он мог почуять... ничего он не мог почуять... потому что нечего чуют. Я теперь – верная жена. И звонить я тебе не рискнула... а, впрочем, просто не захотела. Потому что – есть такие вещи, о которых по телефону не скажешь, тут надо, чтобы было так – глаза в глаза. Ой, а грязи-то сколько в квартире – прямо ужас! А, ну да, понятно... ремонт! Ремонт как символ... как начало новой жизни. Ты уже женился, или еще не успел?

– Откуда ты взялась? – спросил Артем, приходя в себя и подспудно радуясь тому, что это не Юлия... он сейчас был рад всякому гостю – лишь бы только это была не Юлия. – Каким таким ветром тебя принесло?

– Сострадательным, – сказала Оксана. – Как ты думаешь, есть такой ветер – сострадательный?

– Не знаю, – сказал Артем.

– А я – знаю, – сказала Оксана. – Я знаю, что есть на свете такой ветер – сострадательный. Об этом ветре знает любая женщина, которая любит. Любить человека и сострадать ему – это почти одно и то же, ты не находишь? Я тебя люблю, и я тебе сострадаю. Я почувствовала, что тебе плохо, и вот я здесь.

– Почему ты решила, что мне – плохо? – спросил Артем.

– А разве нет? – спросила Оксана.

– Нет, – сказал Артем. – Мне – замечательно. Видишь, ремонт вот делаю... Ремонт, как начало новой жизни. Мне – хорошо...

– И все-то ты врешь, Ермолаев, – усмехнулась Оксана. – Врешь – а врать-то и не умеешь. Так что уж лучше не ври. Что, не сложилось у тебя с твоей новой любовью?

– А ты что же, позлорадствовать по этому поводу пришла в такую рань? – спросил Артем.

– Дурак ты, Ермолаев, как есть дурак. Люблю я тебя... до сих пор люблю – вот и пришла. Второй раз за пять минут я говорю тебе об этом, а ты – позлорадствовать пришла... Безнадежный ты дурак, Ермолаев...

– Хочешь чаю? – спросил Артем.

– Хочу, – сказала Оксана.

– Тогда пойдем в спальню, там не так загажено, – сказал Артем. – У меня теперь вся жизнь проходит в спальне. Так получается...

– Спальня, – сказала Оксана, входя. – Спальня, спальня, спальня... Однако же, несмотря на хаос, здесь пахнет посторонней женщиной... ну да, пахнет женщиной. Ермолаев, ты пошел вразнос! И после этого ты будешь меня уверять, что с тобой все в порядке? Ты примитивный лжец, Ермолаев!

– Это была не женщина, – сказал Артем. – Это было нежное яблоко из осеннего сада. Давай пить чай.

...– Она тебя бросила? – спросила Оксана, грея руки о горячую чашку.

– Лучше бы бросила, – с неожиданной для себя откровенностью сказал Артем. – Лучше бы бросила, чем так...

– Вот, оно, значит, как! – удивилась Оксана. – Тогда действительно... тогда – все гораздо сложнее. Но, думаю я, все равно не смертельно. Ты страдаешь, значит, любишь. А коль любишь, то и простишь. Так оно и будет – уж я-то тебя знаю.

– Я бы простил, если бы понял...

– А ты прости, не пытайся понять.

– Мне это уже советовали... не так давно.

– Ну, тем более.

– Не знаю... наверно, не смогу... точно – не смогу.

– Почему же?

– Потому, что страшно... не знаю... не смогу объяснить так, чтобы ты поняла.

– Да я-то как раз и понимаю... что же тут непонятного? Конечно, это страшно. Но если не простишь – пропадешь. И она пропадет тоже. Оба пропадете.

– Ничего... Пройдет время, и все станет на свои места... все забудется. Время – лучший лекарь и судья. Ничего...

– А хочешь, я поговорю с ней?

– Ты? С ней? О чем?

– Ну, скажем, о том, какими словами ей выпросить у тебя прощения. Я знаю такие слова, поверь. Я их знаю, потому что знаю тебя... и люблю тебя. И она тебя любит также... я знаю, она тебя любит. Две любящие тебя женщины... мы сумеем отогреть тебя. Само собою, я буду стараться не ради себя, и не ради нее, твоей нынешней... я буду стараться ради тебя. И – я смогу тебе помочь, потому что я люблю тебя. С тем, собственно, я к тебе и пришла.

– Не надо, – не сразу сказал Артем. – Спасибо тебе за участие и за попытку помочь... но – не надо. Не хочу...

– Как знаешь, – так же не сразу сказала и Оксана. – Как знаешь, Ермолаев... Ну, спасибо тебе за чай... я пойду. Солнышко-то вот уже как высоко... мне пора. Извини, если что не так.

– Ну, что ты... – сказал Артем, смотря в окно.

Оксана встала и направилась к выходу. Взявшись за дверную ручку, она остановилась и взглянула на Артема.

– Мои координаты ты, надеюсь, еще помнишь? – спросила она.

– Помню, – сказал Артем, по-прежнему глядя в окно.

– Хорошо, коли так, – сказала Оксана. – Потому что – мое предложение о том, чтобы вас помирить, остается в силе. Звони мне или забегай в любое время... ты



слышишь – в любое время! Плевать мне на мужа... все равно я люблю тебя, а не его!.. Значит, ищи меня в любое время... я буду ждать. Только намекни мне о том, что тебе нужна моя помощь, и – я помогу тебе! Я примчусь к тебе и помогу тебе... и не надо мне от тебя никакой ответной благодарности... ничего мне от тебя не надо! Лишь бы тебе было хорошо...

Оксана замолчала, постояла еще полминуты, затем вздохнула, и молча вышла. Хлопнула дверь, процокали по лестнице ее каблочки, и все стихло. Еще минут двадцать после ее ухода Артем сидел, бездумно глядя в окно, а затем встал и отправился на работу.

## 10.

То ли благодаря Лисенку, то ли – Оксане, то ли из-за того, что Артем стал уже привыкать к потере Юлии, но, придя на работу и увидев Юлию, он не ощутил внутри себя привычной боли. Душевного спокойствия, правда, тоже не было, но и острой боли не было также. Было какое-то оцепенение, была какая-то оледенелая безмятежность, какая-то бесстрастность – и Артем лелеял в себе это оцепенение и эту бесстрастность, как только мог, как свое собственное спасение...

Юлия же выглядела неважно – до такой степени неважно, что даже начальник райотдела и тот обратил внимание на Юлию, и, осведомившись о ее самочувствии, посоветовал ей больше заботиться о своем здоровье. «Нет-нет, со мной все в порядке!» – торопливо сказала Юлия, пристально взглянула на Артема, и выбежала из начальничьего кабинета.

– Ну, и как рыженькая? – спросил у Артема Серега после планерки.

– Нормально, – сказал Артем.

– Что ж, – сказал Серега, – в таком случае я за тебя рад и свои товарищеские обязанности в этом плане считаю выполненными.

Больше они на эту тему не разговаривали, да, признаться, и времени для отвлеченных разговоров не было. В городе случились несколько крупных краж, и Артема включили в следственную бригаду по их раскрытию. Кражи были путаные, настоящих нитей, ведущих к раскрытию, в руках у сыщиков не было, и Артем, стремясь эти нити нащупать, три дня кряду даже не являлся в райотдел, ночевал у окраинного участкового, на территории которого кражи случились, а с начальством сообщался большей частью по телефону. Это его устраивало, такому обороту дела он был рад. Он не являлся в райотдел на утренние планерки, он не видел измученную Юлию, между ним и Юлией было расстояние никак не менее десяти километров, и все эти вместе взятые обстоятельства вносили в его душу сумрачный покой... нет и вправду, подобный оборот дела Артема вполне устраивал. Идя по неверному и путаному следу искомых воров, Артем о Юлии почти не думал... и это также устраивало, даже более чем устраивало... он даже стал улыбаться... даже станцевал вместе с окраинным участковым шустрый краковяк, когда стало ясно, в каком направлении следует искать хитроумных воров...

Но – этому сумрачному покою очень скоро пришел конец. Ближе к вечеру в четверг искомые ниточки были окончательно нащупаны, четверо хитроумных воров были взяты с поличным, и можно было перевести дух. Вечером Артем ввалился в свою расхристанную квартиру – и все его недавнее прошлое, о котором он в пылу работы изрядно подзабыл, вдруг ожило и обступило его со всех сторон. Так обступило, что даже Аленкин голос послышался где-то в глубине квартиры, а в довершение всему еще и зазвонил телефон. Вначале Артем не желал притрагиваться к дребезжащему телефону, но потом подумал, что это могли звонить из райотдела по поводу краж, и нехотя поднял трубку.

– Я слушаю, – сказал он.

– У тебя такой усталый голос... – сказал голос в трубке. – Здравствуй.

– Здравствуй, – сказал Артем. – Я и в самом деле устал, как последняя собака. Трое суток на ногах...

– Я знаю, – сказала Юлия. – И – я займу у тебя лишь минутку. Просто – звонила Аленка и передавала тебе привет. Я обещала ей передать привет лично тебе в руки... так она меня просила... чтобы лично в руки. Вот я и звоню...

– Спасибо, – сказал Артем. – У тебя все?

– Все, – упавшим голосом сказала Юлия. – Нет, еще... Еще она сказала, что на следующей неделе приедет домой, и просила, чтобы ты ее непременно встретил. Ты и я... вместе.

– И что же ты ей ответила? – спросил Артем.

– А что я могла ответить? Сказала, что мы обязательно встретим... ты и я... вдвоем.

– Единожды солгав...

– Что? – не поняла Юлия.

– Есть такое выражение – единожды солгав. Единожды солгав кому-то одному, будешь затем врать и другим. Всем. Всегда. Безостановочно. Так всегда бывает. Одна ложь рождает другую ложь, а та – третью, а та – четвертую, и так – до бесконечности. Это – закон.

– Неужели тебе не хочется увидеть Аленку? – спросила Юлия.

– Знаешь, что я тебе скажу!.. – неожиданно для самого себя взорвался Артем.

– Скажи, – покорно согласилась Юлия. – Обязательно скажи, Артемушка. Все-все скажи... ничего не утаивай... я все приму, и со всем соглашусь. А только... Так, как я сама себе сказала, и то, какими словами я все это себе сказала, никто другой мне все равно не скажет. Так, как я себя исказнила, никто другой меня исказнить не сможет. Даже ты...

– А меня ты за что исказнила? Ну – за что же ты меня-то, а? Ах, ты ж!.. Аленкой она меня вздумала попрекнуть! Видеть я ее не желаю, оказывается! Да она у меня... она передо мной... да о чем с тобой после этого вообще говорить! Больно, стало быть, тебе? А мне – не больно? Мне – не больно?..

– Больно, Артемушка. Я знаю... я чувствую, что тебе – очень больно... намного больнее, чем мне. Если бы я могла твою боль взять на себя... Научи меня, как это сделать – и я сделаю... я приму твою боль на себя... я понесу твою боль... и тебе сразу же станет легко и не больно... Научи меня, Артемушка, если ты знаешь, как... потому что я сама не знаю... Ну, почему же ты молчишь... почему ты замолчал?

– Спокойной ночи, – сказал Артем.

– Да-да, – торопливо сказала на другом конце провода Юлия, – да, конечно... спокойной тебе ночи... постарайся хорошо выспаться... потому что ты устал... спокойной тебе ночи, миленький мой.

Артем положил горячую трубку, и вдруг поймал себя на мысли, что ему хочется выбросить к чертовой матери телефон, чтобы он больше никогда не звонил, затем пойти и сжечь райотдел, чтобы завтра ему некуда было идти на работу, потому что если он завтра пойдет на работу, то обязательно увидит там Юлию, и в его душе опять возникнет непереносимая боль, от которой, ему казалось, он избавился... но, оказывается, так и не избавился... затем он вдруг подумал, что неплохо было бы умереть ему самому, и тогда некому будет поднимать телефонную трубку и некому будет каждое утро ходить в райотдел на работу... и все тогда закончится само собой. Размышляя обо всем этом,

Артем в конце концов так и заснул – в испачканных глиной брюках, нестиранной рубашке и с трехдневной щетиной на лице. Он спал и боялся, что ему сейчас приснится Аленка или Юлия. Он боялся, что они ему приснятся, и этот страх заставлял его плакать во сне...

Следующим днем была пятница. Измаявшийся и осунувшийся за ночь Артем встал ни свет ни заря, и не посмотрев на часы, явился в райотдел едва ли не первым из всех. Он прошел в свой кабинет, подошел к окну и бездумно уставился в законное пространство. В дверь поскреблись. Артему тут же подумалось, что это – Юлия... он отпрянул от окна и крупно вздрогнул. Но это была не Юлия. Это был начальник Юлии – престарелый Семен Абрамович.

– Я, конечно, отчаянно извиняюсь за беспокойство, – сказал Семен Абрамович, боком входя в кабинет. – Но вместе с тем я рад, что вы пришли сегодня так рано, когда никого еще нет и можно поговорить без лишних свидетелей.

– У вас ко мне какой-то разговор? – спросил Артем.

– К сожалению, это так, – подтвердил Семен Абрамович. – И это будет очень тяжелый и неприятный разговор, который не нужен был бы ни вам, ни, естественно, мне, ни еще одному человеку... но что же поделать, коли такой разговор напрашивается до такой степени, что мое старое сердце обливается кровью! Конечно, вы можете меня не слушать и даже выставить вон из вашего кабинета, но... дело касается одного человека... одного далеко небезразличного вам человека, и которому далеко небезразличны вы... и потому выставив сейчас меня из вашего кабинета, вы тем самым ничего не добьетесь и не измените, а, вероятно, даже усугубите. Потому что ей сейчас плохо... очень плохо – вы понимаете меня?

– О ком вы говорите? – угрюмо спросил Артем.

– Ну, зачем вы пытаетесь делать вид, будто ничего не понимаете? – мягко сказал Семен Абрамович. – Вы же прекрасно понимаете, о ком идет речь, не так ли?

– Это она вас ко мне послала? – спросил Артем.

– Вы сейчас сказали чрезвычайную глупость, – покачал головой Семен Абрамович. – Разумеется, не она! Меня послала к вам собственная моя совесть, ежели вы желаете это знать. Сема, сказала мне моя совесть, иди к нему, то есть к вам, и поговори с ним, потому что тебе, Сема, уже невыносимо видеть страдания этой девочки, которую ты искренне считаешь за свою дочь, потому что ты, Сема, старый человек и все твои подчиненные тебе как дочери. Она очень страдает, поверьте мне! Она так страдает, что позавчера перепутала нумерацию в одном уголовном деле, и дело вернули назад с ехидной припиской в мой адрес! Но – дело все же, не во мне и не в этой глупой приписке, а в ней, в Юлии... Она невыносимо страдает и почти постоянно плачет... и еще я подозреваю, что она почти не спит ночами и ничего не ест... а это же может привести к очень печальным последствиям, когда молодая женщина постоянно плачет, не спит ночами и ничего не ест! Она на грани нервного срыва, поверьте мне, потому что я – старый человек и кое-что в этом понимаю...

– И что же вы хотите от меня? – с прежней угрюмостью спросил Артем.

– От вас я не хочу ничего, – сказал Семен Абрамович. – Просто моя совесть мне говорит, чтобы я пришел к вам и сказал вам все, что я об этом думаю. Не мое дело знать, что между вами произошло и кто из вас прав, а кто виноват. Но – она невыносимо страдает, и это может очень плохо кончиться... Чтобы она не путала нумерацию в делах и не натворила еще каких-нибудь бед посущественнее, я поручил ей совсем уже простую работу... но разве дело в этом? Ой, ой... Вы молодые, и вы живете так, будто пишете черновик, и вы уверены, что успеете еще все переписать набело... а я старый человек, и я знаю, что жизнь черновики не приемлет, каждое ее мгновение пишется набело и просто-таки ничего нельзя переписать на другой лист... И еще я знаю, что больше всего в

этой жизни мы изводим и казним тех, кого любим. Этого не должно быть, но это так... Я думаю, что вы умный мальчик, и вы сделаете правильный вывод из того, что я хотел вам сказать...

На утреннюю планерку Артем не пошел. Он остался в кабинете. Он сидел за столом, тупо смотрел в стену и не услышал, как в кабинет вошла Юлия.

– Это я... – сказала Юлия, робко подходя к Артему. – Ты не пошел на планерку... я была там и ждала тебя... но тебя не было – и я решила, что ты здесь... Мне надо с тобой поговорить... вернее, я хотела тебе сказать... может быть, для тебя это еще важно...

– Ты очень плохо выглядишь, – сказал Артем.

– А! – скривилась Юлия, и губы ее дрогнули. – Со мной все в порядке... вернее – какой уж там порядок... но дело не в этом... не во мне, а в том, что сегодня – пятница...

– Да, пятница, – машинально согласился Артем. – Так что же?

– В общем, конечно, ничего особенного, – сказала Юлия, – но... пятница... и завтра день нашего бракосочетания... вернее, завтра могло бы быть наше бракосочетание, если бы не... и я решила сказать тебе об этом... сама не знаю, для чего. Извини...

– Да, пятница, – повторил Артем. – Пятница...

– Пятница, – прошептала Юлия. – День накануне нашей свадьбы... Но – не будет ни свадьбы, ни Аленки рядом... потому что зачем ей быть рядом, если нет свадьбы... Прости меня за это мое ненужное напоминание. Ты вот даже забыл, что сегодня – пятница, а завтра – суббота... Я пойду...

– Юля, – сказал Артем.

– Что? – остановилась она, не оборачиваясь.

– Юля, – еще раз сказал Артем.

Она повернулась и не владея лицом, медленно пошла к Артему. Подойдя, она какое-то мгновение смотрела Артему в глаза, затем вдруг упала и обняла Артема за ноги.

– Артемушка! – страшно закричала она. – Артемушка, милый... прости меня... прости меня... не бросай меня... я тебя умоляю – лучше убей, убей прямо сейчас, но только не бросай... я не могу без тебя... я не могу без тебя... лучше убей меня – прямо сейчас!

У нее началась истерика. Растерянный Артем попытался поднять Юлию и поставить ее на ноги, но, кажется, ноги Юлию просто не держали. Она продолжала плакать и что-то кричать, и, вероятно, ее крик разносился по всему райотделу, потому что очень скоро в кабинет стали сбегаться встревоженные сотрудники. Вначале прибежал Серега Кошкин, затем кто-то еще и еще... затем Серега стал всех выталкивать вон, вытолкал и последним вышел сам. А Юлия все кричала и кричала, и растерянный Артем не знал, что с ней делать...

Наконец она затихла. Растрепанная и жалкая, она сидела на полу, всхлипывала и мелко дрожала. Кажется, ее еще и тошнило... По-прежнему растерянный Артем, не в силах поднять Юлию на ноги, наконец, догадался усестись рядом.

– Артемушка, – сказала Юлия, уткнулась ему в плечо и заплакала. Она плакала, а Артем терпеливо ждал. Что-то ему подсказывало, что ни утешать, ни уговаривать, ни поднимать Юлию на ноги сейчас не нужно...

Сколько они так сидели на полу – пять минут, пять часов?... Юлия уже не плакала: она обвила руками шею Артема, спрятала лицо у него на груди и, кажется, даже не дышала. Наконец она пошевелилась, и тогда Артем сказал:

– Ну, все, все... Все, Юлька... ладно. Пойдем домой. Давай я помогу тебе встать... и пойдем. Вот так... вот и ладно. Какая ты у меня зареванная... просто ревушка-коровушка, и все тут. Ну все, все... Ну ее, эту работу... обойдутся и без нас. Сейчас пойдем домой... сейчас мы пойдем домой. Вот так...

Артем нашел в кармане платок и принялся вытирать Юлино лицо. Затем выудил из кармана расческу и стал Юлию причесывать. Затем стал поправлять на ней одежду. Юлия покорно стояла перед ним, не открывая глаз. У нее дрожали губы...

Когда они шли по коридору, попадавшие навстречу сотрудники деликатно делали вид, что их не замечают. У самого выхода их догнал Серега Кошкин и ободряюще похлопал Артема по плечу: держись, мол, а в случае чего – я рядом...

Хотя идти было недалеко, Артем остановил такси. Юлия покорно села на заднее сиденье, Артем сел рядом и взял Юлию за руку. Через пять минут приехали.

– Вот мы и дома, – сказал Артем, помогая Юлии выйти из машины. – Вот мы и приехали...

Юлия покорно пошла вслед за Артемом, долго шарила в сумочке, пытаясь найти ключ, долго не могла попасть в замочную скважину... Вошли, и Артем сразу же повел Юлию в ванную – умываться.

Постепенно Юлия приходила в себя. Она умылась, вышла из ванной, села рядом с Артемом и даже улыбнулась.

– Ничего, – сказал Артем, и погладил ее по щеке. – Ничего, Юлька...

И тогда Юлия заговорила. Она говорила долго, горячо, сбивчиво и путано, комкая окончания предложений и постоянно возвращаясь к ранее сказанному. Она рассказывала Артему о том, как прожила эту неделю, как почти ничего не ела и не могла заснуть без таблеток, да и когда засыпала, то все едино это был не сон, а как бы продолжение страшной яви... ей снилось, что от нее ушел он, Артем, что она сама его от себя навсегда оттолкнула, что отныне всегда будет только так, то есть будет тоска, будут слезы, будет нескончаемое одиночество, отчаяние и страх... и она опять пила таблетки, не зная и не желая знать их наименования, потому что ей было не интересно наименование каких-то таблеток, дело было вовсе не в наименовании таблеток, она их пила раз за разом, и выпив, проваливалась в черную яму сна, и ей опять снилось то же самое: тоска, страх одиночества, раскаяние, желание что-то поправить и изменить и страшное осознание, что теперь-то, пожалуй, ничего уже не изменишь и не исправишь... И она опять просыпалась, и выходила на балкон, и у нее тотчас же возникало желание перегнуться через перила и после краткого стремительного черного полета навсегда избавиться от страшной яви и такого же страшного сна... но каким-то неосознанным и непостижимым усилием воли она каждый раз удерживала себя от губительного желания, вспоминала Аленку, сочиняла беспощадные безмолвные речи в осуждение самой себя, воображала, какими словами она станет просить прощения у него, Артема, и это были такие слова, такие слова... но когда она дозванивалась до Артема или мимоходом с ним встречалась, все эти слова разом куда-то пропадали, и выговаривалось нечто невразумительное, жалкое и неубедительное... А в последние три ночи к ней стал являться некто ужасный... она не знала, кто это такой, и что ему нужно, но он приходил, молча садился в кресло напротив и смотрел на нее ужасными фосфорическими глазами. «Ты – кто?» – спрашивала она у чудовища, но чудовище ничего не отвечало, и только смотрело на нее своими страшными глазами, все смотрело и смотрело, смотрело и смотрело... И тогда она вскакивала, включала свет, и чудовище тотчас же исчезало, а когда она выключала свет, оно вновь появлялось, и тогда она не стала выключать свет вовсе, но это мало помогало, потому что чудовище с фосфорическими глазами скоро перестало бояться света и уже почти не отходило от нее...

Артем слушал не перебивая. Он чувствовал, что ему жаль Юлию, что он сострадает Юлии, он мысленно винил себя самого в ее страданиях, он знал, что готов многое сделать, чтобы помочь Юлии забыть эту страшную для нее неделю, он целовал руки Юлии – и вместе с тем он ощущал, что между ним и Юлией по-прежнему стоит незримая, незыблемая стена, в основе которой лежало единственное короткое слово «почему». Почему она так поступила... тогда... в той машине? Ну почему же она так поступила... по-че-му? Артему казалось, что он много чего бы отдал в обмен на то, чтобы этот треклятый вопрос перестал его мучить, чтобы он исчез и больше никогда не возникал, либо – чтобы Артем каким-то образом сумел примириться с этим вопросом, сжиться с ним – но вопрос не исчезал, и примириться с ним никак не получалось. Артем слушал Юлию и силился самостоятельно отыскать ответ на этот вопрос – и он не мог отыскать ответ, и чувствовал, что ему из-за этого страшно...

– Ты, наверно, голодный, – опомнилась, наконец, Юлия. – Сейчас я тебя чем-нибудь покормлю...

Она встала и ушла на кухню, но вскоре вышла оттуда со смущенной улыбкой.

– Ты знаешь, – сказала она, – а ведь у меня из еды ничего нет. Просто-таки совсем ничего... ни крошки! Удивительно, как это я не заметила, что у меня ничего нет... и, кажется, вчера у меня тоже ничего не было, и позавчера тоже... я не помню.

– Я сейчас спущусь в магазин и что-нибудь куплю, – сказал Артем, вставая.

– Пойдем вместе, – очень серьезно сказала Юлия. – Я тебя очень прошу – давай пойдем вместе. Я не хочу отпускать тебя одного. Я очень боюсь, что ты уйдешь и не вернешься. Я этого очень боюсь, Артемушка...

– Пойдем, – сказал Артем, беря ее за руку. – Конечно же, пойдем вместе...

Они спустились в магазин, где по просьбе Юлии в числе прочего купили бутылку вина.

– За что же мы будем пить? – спросила Юлия, когда они вернулись и сели за стол.

– За ластик, – сказал Артем.

– За что? – не поняла Юлия.

– За ластик, которым можно стереть последнюю неделю нашей с тобой жизни, – сказал Артем. – Стереть и забыть... будто ее никогда и не было – этой недели.

– А разве бывает такой ластик? – спросила Юлия.

– Не знаю, – сказал Артем.

– Тогда давай его изобретем, – сказала Юлия. – Изобретем, и немедленно сотрем эту окаянную неделю.

– А ты знаешь, как его изобрести? – спросил Артем.

– Знаю, – ответила Юлия.

– Тогда давай изобретем его вместе, – сказал Артем. – Давай попробуем...

– Да, – сказала Юлия, – да...

Она встала из-за стола, взяла Артема за руку и повела его в комнату.

– Ты помнишь, – спросила Юлия, – что было перед тем, как... нет, не так... Господи, совсем не так... я совсем не это хотела сказать! Артемушка, милый мой, единственный, подскажи мне, с чего начать... помоги мне!

– Был вечер, – сказал Артем.

– Был вечер... – как эхо повторила Юлия.

– Я собирался идти на работу, – сказал Артем. – Мы с Серегой Кошкиным должны были рейдовать по городу.

– Ты собирался идти на работу... – повторила Юлия.

– Да, – сказал Артем, – именно так. А ты мне сказала, что будешь меня ждать.

– А я сказала, что буду тебя ждать...

– И вот только что я вернулся с работы. И ты меня дождалась.

– И я тебя дождалась... – сказала Юлия, и ее губы задрожали.

– Да, – сказал Артем. – Я вернулся, и ты меня дождалась. И никакой страшной недели не было. Она нам с тобой просто пригрезилась... приснилась. Нам с тобой приснился одинаковый страшный сон. Так бывает...

– Так бывает... – сказала Юлия. – Когда люди любят друг друга, им снятся одинаковые сны. Большею частью – счастливые, но иногда – и страшные.

– Да, – сказал Артем. – Именно так... Ну, здравствуй, Юленька. Мой рейд закончился – и я вернулся.

– Здравствуй, миленький, – сказала Юлия. – И как прошел твой рейд?

– Как и всегда... без особых происшествий, – сказал Артем. – Мы с Серегой ездили по вечернему городу, а в городе шел дождь. А больше ничего и не случилось...

– Пойдем ужинать, – сказала Юлия. – Только ты извини меня за то, что ужин столь немудрящий. Понимаешь, я ожидала тебя, и так увлеклась ожиданием, что потеряла ощущение времени. А когда я опомнилась, то было уже поздно – твой рейд закончился, и ты вернулся.

– Ну, что ты, – сказал Артем. – Ужин – замечательный. Есть даже вино, которое пахнет осенними яблоками. И за что же мы будем пить?

– За нас с тобой, – сказала Юлия.

– Да, – сказал Артем, – за нас с тобой. И еще – за нашу дочь Аленку.

– Да, – сказала Юлия, – да...

Вино было выпито, и ужин был съеден.

– Пойдем спать, – сказала Юлия. – Уже поздно...

– Уже почти середина ночи, – сказал Артем. – Вечерние рейды всегда завершаются за полночь. Какой только дурак их придумал, эти рейды?..

Артем встал из-за стола, подошел к Юлии и взял ее на руки. Юлия взглянула на него широко распахнутыми глазами, и Артем увидел в ее глазах отраженное синее небо и белые облака. Он ничуть не удивился тому, что как де оно так получается – он и Юлия находятся в комнате, а в Юлиных глазах отражается синее небо и белые облака. Отражаются, так отражаются... пускай себе отражаются, и замечательно, что они отражаются, и прекрасно, что помимо синего неба в Юлиных глазах он видит конопушки на ее лице, золотистые волосинки на щеке, тонкую бьющуюся жилочку на виске... «Юлька, – звенела в голове у Артема мысль, – ах ты ж, Юлька...»

– А теперь отпусти меня, – сказала Юлия, когда они вошли в комнату.

Артем отпустил Юлию, и она стала раздеваться. Юлия всегда вначале раздевалась, а уже потом ложилась в постель, а не наоборот – и Артему это нравилось, и самой Юлии это нравилось также. Артем смотрел, как Юлия раздевается и подспудно удивляясь, чувствовал, что тот самый, окаянный вопрос «почему», который еще совсем недавно так его мучил, звучит в нем все глуше и глуше, и все меньше и меньше он,

Артем, ощущает необходимость получить на него ответ. К чему ответы и к чему вопросы, когда напротив тебя стоит желанная и родная тебе женщина, и она обнажается, и обнажается только для одного тебя, и так будет и завтра, и послезавтра, и всегда? Не надо никаких вопросов, и пропади они пропадом, ответы на них!..

...Наконец на Юлии остались одни трусики, и увидев их, Артем тут же насторожился и напрягся так, будто он был не человек, а натянутая до предела струна. Трусики на Юлии были чрезвычайно похожи на те, которые он когда-то ей подарил, и которые в тот проклятый вечер обнаружил в машине. Разумеется, скорее всего, это были другие трусики, но они были так похожи на те... да даже если бы они и вовсе не были похожи на те самые, это, наверно, мало что изменило бы, потому что, увидев трусики, Артем, помимо своей воли, разом припомнил все: и дождливый вечер, и укрытую в кустах от посторонних глаз машину, и то, как он, Артем, подходит с фонариком к этой машине, и то, как он светит фонариком в салон, и то, как он увидел в салоне две копошащиеся фигуры, и то, как вскоре из машины выскочила растрепанная, наспех одетая и смертельно испуганная Юлия, и то, как повинувшись некоему внутреннему побуждению, он пошел затем к машине и обнаружил в ней Юлины трусики, которые очень походили на те, что были сейчас на ней... Помимо своей воли Артем вспомнил ВСЁ, будто кто-то посторонний и всемогущий насильно втокнул ему в голову эти воспоминания. Тот жалкий ластик, который они так старательно изобретали с Юлией, и, казалось им обоим, изобрели, мигом превратился в прах, и оказалось, что ничем этот ластик не помог, и ничего он не стер... Артем закрыл глаза, и ему вдруг захотелось плакать.

– Юля, – сказал он, – Юля...

– Что? – спросила Юлия, глядя на него и мертвея лицом.

– Я хочу задать тебе один вопрос, – сказал Артем. – Всего один...

– Я знаю, что это за вопрос, – сказала Юлия глухо. – Но – я не смогу тебе на него ответить...

– Почему же? – спросил Артем.

– Потому что на него нет ответа, – сказала Юлия.

– И что же нам делать? – спросил Артем.

– Стереть его ластиком, – сказала Юлия.

– Я не могу. У меня не стирается... – сказал Артем.

Юлия ничего не ответила. Как была полунагая, она уселась на полу и напряженно уставилась на стену.

– У меня не стирается, – повторил Артем в отчаянье. – Я хочу все стереть... я очень хочу стереть... но – ничего не стирается... и я не могу так... когда не стирается... я боюсь! Я боюсь, что в любой момент все опять повторится... что ты опять все это повторишь. Я не хочу бояться – но я боюсь. Я боюсь, потому что у меня нет ответа на вопрос...

– Если ты хочешь, я могу тебе поклясться, что ничего похожего больше не повторится. И – я сдержу свою клятву, – тихо сказала Юлия.

– Не хочу, – сказал Артем.

– Почему? – спросила Юлия.

– Потому что – бессмысленно, – сказал Артем. – Любая клятва – бессмыслица. Нужно не клясться, а просто любить и не обманывать друг дружку. И тогда не нужно будет клясться. Клятва – это та же ложь. Преддверие лжи...



– Неужели ты не понимаешь, – сказала Юлия, не отрывая напряженного взгляда от стены, – что я тебе не изменяла... что я тебе не в состоянии изменить, даже если бы того и хотела... что даже там, в той проклятой машине – это была не измена... потому что изменить можно только сознательно и намеренно, а там... тогда – это было бессознательно, это было как наваждение... я не знаю, как тебе сказать, чтоб ты понял... ведь я там... тогда... я думала только о тебе, я любила тебя... какая же это измена?

– Стало быть, это было наваждение, – сказал Артем.

– Наваждение, – сказала Юлия.

– У этого твоего наваждения имеется и другое название. И, наверно, не одно. У него имеется тысяча других названий, – сказал Артем. – Скверных названий. И страшных...

– Ты меня не понимаешь... – отрешенно сказала Юлия.

– Я тебя не понимаю, – повторил Артем, помолчал и добавил: – Я пойду...

– Да, конечно, – деревянно сказала Юлия. – Иди...

Артему по-прежнему хотелось плакать. Он встал, потоптался посреди комнаты, повернулся и пошел к выходу.

– Мы с тобой больше никогда не увидимся, – сказала Юлия ему в спину. – Мы с тобой больше никогда не увидимся. Никогда...

Артем замер на пороге, мгновение постоял и шагнул за дверь...

## 11.

Он решил сегодня же уехать в командировку в другой город. Не потому, что ехать туда так уж было надобно, но вместе с тем – и надобно: следы одной из краж, которые Артем раскрывал последние три дня, вели как раз в тот город, и рано или поздно ехать туда все едино пришлось бы. Это было первым, но далеко не решающим обстоятельством. Решающим обстоятельством была, разумеется, Юлия. Артем чувствовал, что если он куда-нибудь не уедет, не сменит хотя бы на время остановку, не окупнется в какой-то иной, никак не связанный с Юлией мир, если его и Юлию не будут разделять десятки километров, он, вероятно, сойдет с ума...

В тот же вечер Артем и отбыл. Ехать ему предстояло на поезде. Артем прибыл на вокзал за четыре часа до отправления. Ожидая, пока истекнут эти часы, он слонялся по вечернему перрону, то и дело бездумно натываясь на всяческую перронную публику, на привокзальные скамейки, столбы, фонари и деревья. Однажды ему показалось, что вдалеке, на краю перрона, стоит Юлия... будто бы Юлия стоит и напряженно кого-то высматривает среди снующей по перрону толпы. Сам того не желая, Артем устремился к Юлии, сшиб по пути двоих или троих из снующей публики, но добежав до края перрона, никакой Юлии он там не увидел. На том месте, где ему померещилась Юлия, вообще никого не было – только густая тень от привокзального дерева... Артем ошарашено повертел головой, прошел по перрону, наткнулся на пристанционный киоск и купил там огромную бутылку водки. Он не знал, для чего ему нужна была та водка... он долго стоял посреди вечернего перрона, вертя в руках дурацкую бутылку, а затем неожиданно решил сходить в гости к своему агенту Антивирусу, который обитал недалеко от вокзала.

Антивирус оказался дома, и очень удивился, увидев на пороге своего жилища столь неожиданного гостя. Между Артемом и Антивирусом было договорено, что являться к Антивирусу в его жилище Артем имеет право только в каких-то экстренных и чрезвычайных случаях – чтобы, чего доброго, не расшифровать Антивируса, потому что расшифрованный агент – это уже не агент, да и вообще – подобное обстоятельство

могло закончиться для Антивируса очень даже печально. Поэтому не удивительно, что узрев Артема на пороге своего обиталища, Антивирус испытал целый букет моментальных чувств: тут было и удивление, и испуг, и смятение, и чего тут только не было.

– Э... – сказал Антивирус. – Я чего-то недопонял, начальник, относительно твоего неожиданного маневра. Наверно, случилось нечто выдающееся... Я так думаю, что пять минут назад ограбили центральный городской банк. Либо – стрельнули в президента какой-нибудь африканской республики... если, конечно, есть на свете такая республика, и в ней имеется президент. По поводу банка ничего покамест сказать не могу, а что касемо покушения на президента, то тут у меня имеется никак не менее десяти оригинальных версий...

– Это кого там принесло на ночь глядя? – выглянуло из дверей спальни существо женского пола. – Шляются тут всякие... покою от вас нет, пьяниц приبلудных!

– Это – Катерина, – прокомментировал появление существа Антивирус. – Все в порядке, Катенька, все в норме... это – человек серьезный, а вовсе никакой не пьяница... ты усядься где-нибудь в спальне и до поры до времени тут не фигурируй... нам с товарищем надо побеседовать на серьезную тему. Ты ведь, начальник, пришел ко мне, чтобы побеседовать, не так ли?

– Что ты сказал? – очнулся Артем. – А... нет... просто – я пришел... до поезда еще – целых три часа, вот я к тебе и зашел... давай выпьем, а? Я с собой захватил, так что... давай с тобой выпьем, Антивирус...

– Ну, давай, – помедлив, сказал Антивирус. – Давай выпьем, коли так... Прошу сюда, на кухню. Катюха, ты слышишь там, или нет? Мы с товарищем уединяемся на кухне, следовательно – сиди там у себя, и без крайней надобности перед нами не возникай! Тебе понятно, или тебе не понятно?

...– Стало быть – уезжаешь в другой город? – спросил Антивирус, когда половина принесенной Антоном емкости была опустошена. – По неотложным, говоришь, надобностям? Ну-ну...

– Да, – сказал Артем, рассеянно глядя в черное окно. – По неотложным надобностям...

– Ну-ну, – повторил Антивирус, помолчал и добавил: – Знаю я твои надобности... слышал.

Артем оторвался от созерцания заоконной тьмы и молча уставился на Антивируса.

– Слыхал-слыхал, – повторил Антивирус. – И даже имею на сей счет собственное мнение... вот так.

– Серега Кошкин натрепался, что ли? – мрачно усмехнулся Артем.

– На хрена мне твой Серега Кошкин, интересуюсь я знать? – оскалился Антивирус. – Я – Антивирус, понятно тебе? У меня – врожденная способность добывать информацию... ведь, сдается, именно ты дал мне когда-то такую характеристику? Правильная, между прочим, характеристика... но сейчас – не об этом. Не об этом сейчас, понятно тебе? Не в том сейчас дело, сынок...

– А в чем же тогда? – угрюмо спросил Артем. – Может быть, скажешь?

– Скажу... разумеется... коль уж случилась у нас с тобой такая беседа... Дело сейчас – в тебе самом. В твоих неотложных надобностях, как ты изволил выразиться. Вот в чем сейчас дело...

Артем взглянул на собеседника, хотел что-то возразить, но ничего не сказал, а только скривился и опять уставился в густую заоконную темень.

– Это правильно, что ты не желаешь говорить мне никаких поперечных слов, – пронизательно заметил Антивирус. – Это, сынок, очень даже правильно... потому что – всякие твои слова... то есть буквально всякие, какие бы ты сейчас ни сказал, тебя же и обличат. Обличат, внесут в твою душу сумятицу, – а оно тебе надобно? У тебя сейчас, я думаю, и без того не душа, а сплошная сумятица... сплошное, так сказать, коловращение мыслей и чувств.

– Давай лучше выпьем, Антивирус, – сказал Артем. – Не чокаясь и без тостов... как за упокой. Тошно мне, Антивирус... Никогда не предполагал, что мне может быть так тошно. Хоть вешайся или под поезд бросайся... Дрянь водка, ты не находишь? Пью – а никакого тебе воздействия... Ты прав, Антивирус. Какие, к чертям собачьим, неотложные надобности? От себя я бегу в этот дурацкий город... вот так-то. Бегу, хотя и знаю, что от себя убежать невозможно...

– А вот с этим я не согласен, – сказал Антивирус. – Между прочим, зря ты грешишь на водку... водка как водка... очень даже замечательная и забористая. Да... Не согласен, говорю я, с твоей аксиомой, что от себя убежать невозможно. Можно... еще как можно! Правда, не навсегда, а лишь на какое-то время... но и этого бывает достаточно... и это может быть спасением.

– Это что-то новое, – криво усмехнулся Артем. – Это какая-то новая философия...

– Ничего нового! – отмахнулся Антивирус. – И никакой философии... потому что в этом мире вообще не может быть ничего нового! Все в этом мире уже было с кем-то и когда-то, было и минуло, затем – опять повторилось, и опять минуло, и опять повторилось... это и есть жизнь во всем ее кажущемся разнообразии. Сынок! Мне – много лет, и лета мои – тяжкие... одной тюрьмы за моими плечами – восемнадцать лет, да и другого горя в моей жизни было сверх всякой мыслимой меры... а из этого следует, что я старше тебя едва ли не на тысячу лет, а то, может, и более того. Такая вот получается арифметика. Давай-ка лучше выпьем!

Они выпили, помолчали каждый о своем, после чего Антивирус спросил:

– Скажи мне, Ермолаев, а то дитя... ну, ты помнишь... которое когда-то общалось со мной по телефону и до изнеможения довело меня своими вопросами – оно... это... как бы половчее выразиться...

– Это Аленка, – сказал Артем. – Ее дочь... И, я надеялся, что и моя. Но...

– Понятно, – сказал Антивирус, помолчал и продолжил: – Хорошее дитя... любознательное и искреннее. Щебечет, будто канарейка... Так на чем мы остановились перед тем, как выпить? А, ну да... как же, помню. Ермолаев, сынок, голубь ты мой драгоценный – от себя убежать очень даже возможно! Это говорю тебе я, старый Антивирус! Вот гляди, какой замечательный получается у нас расклад. Давеча ты изрек, что намерен убежать от себя самого. Беги, сынок! Беги – и убежишь. А когда убежишь, загляни в том далеке, где ты оказался, в свою собственную душу, и если ты не законченный негодяй, ты увидишь в своей душе две вещи... два решающих момента. Да... Во-первых, ты увидишь, что как бы далеко ты ни убежал, все едино какая-то часть тебя осталась здесь, рядом с той женщиной, от которой ты убежал. Эдакое, понимаешь ли, раздвоение личности... И если ты не законченный мерзавец, ты взглядишься в это свое раздвоение и поймешь, что ты – настоящий – остался здесь, подле своей женщины... а то, что ты будешь представлять из себя там, в твоём далеке – это будешь не совсем ты... потому что, повторяю, ты, настоящий, будешь рядом с твоей любимой. Такой вот кажущийся парадокс – но разве этот парадокс не есть свидетельство того, что убежать от себя все-таки возможно? Разумеется, на время... потому что очень скоро тебе захочется соединиться с собой, настоящим, и тогда... тогда у тебя все будет нормально. Ты понимаешь, сынок, о чем я тебе толкую?

– И да, и нет, – не сразу сказал Артем. – Странные у тебя речи... никогда не слышал от тебя таких речей.

– Ну, так слушай дальше, коли не слышал, – сказал Антивирус. – И – не обращай при этом внимания на мою чрезмерную болтливость. В трезвом виде, как ты, вероятно, знаешь, я гораздо менее разговорчив... впрочем, в трезвом виде я и не столь мудр и убедителен. Так что терпи мою болтливость и извлекай из нее рациональные зерна – себе же самому на пользу... Так на чем бишь мы с тобой остановились? А, ну да... на двух замечательных моментах. О первом моменте все уже сказано – стало быть, поговорим о моменте втором. Я не знаю, кто больше виновен в вашей размолвке – ты сам, или твоя любимая женщина. Говорю тебе – я этого не знаю, да и знать не желаю. А потому – чисто гипотетически – предположим, что виновна она. Ну и что с того? Там, в том далеке, куда ты сейчас так стремишься, ты очень скоро поймешь одну замечательную истину. Ты поймешь, что невиновных в этом мире не бывает, да и быть не может... и потому ты сам виновен перед своей возлюбленной не меньше, чем она перед тобой. Только и того, что о твоей вине перед ней она не знает, а ты о ее вине – волею случая прознал. Ты это поймешь – и тогда ее вина перед тобой покажется такой ничтожной, такой несущественной и нелепой, что ты отбросишь к чертовой матери все свои дела, примчишься к своей женщине, упадешь перед ней на колени... а затем, если у тебя есть совесть, ты позвонишь старому Антивирусу и скажешь ему: «Антивирус, старая ты собака, ты был прав... ты во всем был прав! Кланяюсь тебе поясно, и моя любимая женщина также кланяется тебе, и все у нас замечательно... порадуйся за нас, Антивирус, старая ты собака!» Так ты мне скажешь, и я тихо порадуюсь за вас. Так что езжай... беги от себя стремглав... это будет для тебя полезно. Беги, говорю я тебе, да только не опоздай обратно...

– Что? – взглянул на Антивируса Артем. – Что ты сказал?..

– Я сказал, – ответил Антивирус, и разлил остатки водки по стаканам, – что убежать от себя – очень даже возможно, но – можно опоздать к себе вернуться. Так навек и останешься – убежавшим от себя самого. И я не скажу, как ты тогда будешь жить. Потому что – я не знаю... Вот что я сказал, а более – ничего.

Где-то в глубине Антивирусова обиталища настенные часы хрипло пробили десять ударов. Артем поднялся и пошел к выходу. Его поезд отправлялся в одиннадцать часов вечера.

– Прощай, Антивирус, – сказал Артем. – Не все, конечно, я понял из твоей речи, но за то, что я понял – большое тебе спасибо.

– Это – ничего, – сказал Антивирус. – Остальное – поймешь в пути. В пути, знаешь ли, многое понимается... в особенности, когда ты убегаешь от самого себя. Катерина, золотце мое бесподобное, выдь и попрощайся с гостем, потому что он уже уходит от нас!..

...В купе, где ехал Артем, его попутчиками были три мужика, которые всю ночь пили водку и говорили о женщинах. Мужики пригласили в свою компанию и Артема, но он отказался, взобрался на верхнюю полку и погрузился в думы. Артем думал о себе самом. Он думал о том, что, оказывается, в мире есть много добрых людей, которые искренне вникли в его горе, и так же искренне желают ему, Артему, в его горе помочь. Серега Кошкин, Лисенок, бывшая тайная подружка Оксана, теперь вот старый Антивирус, а еще раньше – престарелый Семен Абрамович, Юлин начальник... Затем Артем стал думать о Юлии, и невольно поймал себя на мысли, что, оказывается, нынешние его думы о Юлии совсем не похожи на думы вчерашние... в нынешних думах было гораздо меньше горечи и отчаяния, а больше было какой-то осторожной, тонкой и звенящей, будто паутина на ветру, надежды... В чем была суть и в чем был смысл этой надежды, Артем не вникал, с него было достаточно самого ощущения этой надежды, которая виляла и звенела, будто

тонкая паутина на ветру... и он лелеял внутри себя эту паутину-надежду, и тихо плакал, и слушал, о чем судачат мужики внизу, и чувствовал, как тонкая звенящая паутина надежды нежно обволакивает его душу...

## 12.

Вернулся Артем через пять дней. Поезд прибыл ровно в полдень, и уже через сорок минут Артем входил в родной райотдел. Райотдел встретил его небывалой тишиной и пустотой. Сотрудники не сновали по коридорам, прочего народу также не было. Дежурный по райотделу, с которым Артем походя поздоровался, кивнул ему в ответ и взглянул на него так странно, что Артем только недоуменно пожал плечами, и ничего более...

В кабинете начальника был сам начальник, а также несколько сотрудников, в том числе и Серега Кошкин.

– Разрешите войти? – спросил Артем, и все, кто был в кабинете, включая начальника и Серегу, разом замолкли и уставились на него тем же странным взглядом, что и недавно дежурный.

– Докладываю, – сказал Артем, – что командировка прошла успешно. Кража раскрыта классически, плюс к тому – раскрыты и еще несколько застарелых висяков. Подробности – отдельным списком. Да что это с вами со всеми?

– Ты что же, ничего не знаешь? – спросил начальник.

– Ничего... – сказал Артем. – А что случилось?

– Видишь ли... – осторожно начал начальник, но Серега Кошкин перебил его.

– Василий Матвеевич, я сам... можно? – сказал Серега. – У меня это получится лучше... вы уж извините.

– Ну, давай ты... – угрюмо сказал начальник, встал и отвернулся.

– Видишь ли, какое дело, – сказал Серега, обращаясь к Артему. – В общем... как бы тебе это сказать... короче, она умерла. Сегодня – как раз ее похороны... через час. Все наши ушли туда... вот... и мы тоже собирались идти...

– Кто умер? – удивленно спросил Артем. – Чьи похороны?

– Юлия умерла, – сказал Серега. – Вот так...

– Что? – недоуменно уставился Артем на Серегу. – Какая Юлия?

– Юлия, – сказал Серега.

– Это... – растерянно сказал Артем. – Как так – умерла? Это что – такая шутка?

– Ага, – сказал Серега. – Я просто обожаю шутить подобным образом. Разве ты не знал?

– Но как же? – не мог взять в толк Артем, чувствуя, что у него вдруг затряслись руки. – Какая Юлия... умерла?

– Твоя, – не выдержал молчания начальник и выругался сквозь зубы.

– Моя, – сказал Артем, силясь собрать воедино мысли. – Моя...

– Пойдем в наш кабинет, – сказал Серега Артему. – Матвеевич, можно я его уведу к себе в кабинет? Не беспокойся, все будет нормально...

Начальник ничего не ответил, раздраженно махнул рукой, сел за стол и обхватил голову руками...

... – Вот так, – сказал Серега. – Сегодня – ее хоронят. Через час...

– Как она умерла? – спросил Артем, сидя на стуле и ритмично раскачиваясь. Он и рад был бы не качаться, но – он боялся не качаться. Ему казалось, что если он остановится, то вместе с ним остановится и целый мир. Навсегда. Безвозвратно...

– Таблетки, – сказал Серега. – Говорят, она пила какие-то таблетки... что-то типа снотворного. Передозировка. То ли преднамеренно, то ли не рассчитала норму... кто теперь разберет? Теперь это уже и не важно...

– Таблетки, – сказал Артем. – Да-да, конечно же... таблетки. Она говорила... она говорила, что пьет какие-то таблетки... Но почему же вы не сообщили мне... сразу?

– А ты что бы – приехал и ее воскресил? – неожиданно зло спросил Серега. – Ее хватились только к вечеру... то есть почти спустя сутки после того как она... На кой хрен тебе было сообщать? Чтобы ты сгоряча пустил себе пулю в лоб или сиганул под поезд, и вместо одного покойника мы бы сегодня хоронили двоих? Ромео и Джульетта... мать вашу по диагонали вместе с вашими романтическими страстями!

– Сволочи, – обращаясь неизвестно к кому, сказал Артем. – Ах, сволочи...

– Не сволочней тебя! – по-прежнему зло сказал Серега. – Уроды... вашу мать... с вашими любовными страданиями! Дите вот у нее осталось... сиротствовать теперь будет.

– Дите, – сказал Артем.

– Дите, – безнадежно подтвердил Серега. – Ладно, извини за резкость. Просто – накипело... ты понимаешь.

– Понимаю, – сказал Артем. – Что же мне теперь делать, Серега?

– Не знаю, – сказал Серега. – Откуда мне знать? На похороны-то пойдешь?

– Я боюсь, – сказал Артем.

– Бойся себя, а не ее, – сказал Серега. – Ее-то – что теперь бояться? А тебе – еще жить...

– Ты пойдешь со мной... туда? – спросил Артем.

– Само собой, – сказал Серега. – Даже если будешь меня гнать от себя – и то пойду. И не отойду, даже если полезешь на меня с кулаками.

– А я ведь там, в командировке... я ведь уже почти все для себя решил, – сказал Артем. – И радовался этому... приеду, думаю, и – тотчас же к ней... упаду перед ней на колени, уткнувшись лицом в ее колени... я ведь с ней разговаривал там, как с живой... будто она была со мной рядом... и мне казалось, что она мне отвечает... я слышал ее голос... а она тут... это... Как же так, Серега? Я не понимаю...

– Не оглядывайся, – сказал Серега. – Только не оглядывайся...

– Она ничего не оставила... записку или, может, письмо? – спросил Артем.

– Ничего, – сказал Серега. – Да если бы и оставила – я бы все равно тебе сейчас об этом не сказал. Догадываешься, почему? Ну, пойдём, а то опоздаем. Скоро должны выносить.

– Ты знаешь, – сказал Артем, – какие последние слова я от нее слышал? Мы с тобой больше никогда не увидимся, сказала она. Ты знаешь...

– Не знаю, – отрезал Серега, – и знать не желаю! Не оглядывайся – сказано тебе!

Когда Артем в сопровождении Сереги подошел к дому, Юлию как раз выносили. Людей было много, но, увидев Артема, людская стена моментально расступилась. Неотступно сопровождаемый Серегой, Артем прошел вперед по образовавшемуся

коридору и скоро оказался рядом с гробом. Как и полагается по традиции, гроб вынесли из квартиры и установили на двух табуретках, чтобы всякий мог взглянуть на покойную в последний раз. «Не смотри... не надо! – шепнул Артему какой-то настойчивый голос то ли внутри Артема, то ли откуда-то извне, и внемля этому голосу, Артем безотчетно зажмурил глаза.

– Старик! – раздался вдруг знакомый голос, и Артем, вздрогнув, открыл глаза. – Старик, старик!..

Сквозь людскую стену к Артему пробивалась Аленка. На Аленке была повязана черная косынка, и Аленкины глаза по этой причине были уж и вовсе беспредельно распахнутыми и васильковыми. Сам того не желая, Артем протянул Аленке навстречу руки, но Аленка, увидев протянутые руки, вдруг остановилась.

– Старик, – очень отчетливо сказала Аленка, – почему? Почему, старик?..

И тотчас же к Аленке бросилась какая-то женщина, в которой Артем, напрягшись, признал Юлину мать.

– Пойдем, дитяtko, – сказала она Аленке. – Пойдем со мной... не надо к нему... не надо у него ничего спрашивать... не разговаривай с ним!

– Почему, старик?.. – успела еще раз крикнуть Аленка и, кажется, собиралась сказать что-то еще, но Артем резко развернулся и расталкивая людскую стену, устремился прочь.

Пришел он в себя лишь у подъезда своего дома.

– Ты – домой? – спросил Серега, неотступно следовавший за Артемом.

– Что? – оглянулся Артем. – А, это ты... Нет, не домой. Не домой... Там – разруха... некстати начатый и незавершенный ремонт... и еще дверь с медведями и кленовыми листьями... Пойдем лучше к тебе.

– Пойдем, – сказал Серега. – Пойдем ко мне...

За окном сгущались сумерки. Артем неотрывно смотрел в окно и буквально–таки физически чувствовал, как они сгущаются. Вот весь законный мир подернулся серой мглой, вот эта мгла стала гуще, вот еще гуще, вот уже почти совсем ничего не видно, вот по черному оконному стеклу застучали редкие слезы дождя...

– Серега, – встряхнул головой Артем, – у тебя есть телефон?

– Мобильник, – сказал Серега. – А зачем тебе?

– Дай, – коротко сказал Артем. – Ты не помнишь номера Лисенка?

– Кого? – удивленно спросил Серега.

– Лисенка, – сказал Артем. – Этой... рыженькой... которая...

– Где-то был записан, – сказал Серега. – Но для чего тебе?

– Дай, – сказал Артем.

– Двадцать семь шестьдесят три восемнадцать, – сказал Серега. – Может, включить свет?

– Не надо, – сказал Артем, наощупь набирая номер. – Алло. Мне бы Лисенка. Лисенок, это ты? Здравствуй. Это Артем.

– Я тебя узнала, – сказал голос на другом конце. – Рада тебя слышать. Как ты узнал мой номер?

– Это неважно, – сказал Артем. – Я хотел тебе сказать...

- Я тебя слушаю.
- Помнишь, ты хотела узнать, сложилось у нас с Юлией или не сложилось?
- Ее зовут Юлия? Я же говорила тебе, что у вас все будет хорошо...
- Ее звали Юлия. Она умерла.
- Что?
- Сегодня ее похоронили.
- Господи... Как же так-то? Почему?

– Не задавай мне такого вопроса. Сегодня мне его уже задавали. А еще раньше я его задавал сам... Это вопрос, на который нет ответа...

- Прости. Может, я могу чем-то помочь?
- Можешь. Воскреси мне ее...
- Прости...

В трубке зазвучали бесконечные короткие гудки. Тьма за окном стала совсем непроницаемой.

- Мне надо позвонить еще... одному человеку, – сказал Артем.
- Да, конечно, – сказал Серега. – Звони... Может, подсказать номер?
- Я помню, – сказал Артем. – Алло. Антивирус, это ты?
- Я, – сказал Антивирус.
- Она умерла, Антивирус. Сегодня ее похоронили...
- Я знаю, – сказал Антивирус. – Сегодня я присутствовал на ее похоронах.
- Я тебя там не видел...

– Это неважно. Важно другое. Зря я отпустил тебя в ту командировку. Но я же не знал, что она кушала таблетки... Если бы я это знал, то, может, все было бы совсем по-другому. Я, старый Антивирус, знаю многое на этом свете. А вот о том, что она кушала таблетки, я не знал. Моя вина...

– Моя вина намного больше твоей...

– Мне нет дела до твоей вины. Дай мне Бог силы справиться с моей собственной виной. Прощай, Ермолаев. Не звони мне больше, и не ищи со мной встречи. Я не желаю тебя видеть...

– Антивирус...

– Все, Ермолаев, все. Не о чем нам говорить. Ты – опоздал. Я просил тебя не опаздывать, а ты – опоздал. С тем и живи. Ты мне противен, сынок...

Держа в руках трубку, Артем бездумно смотрел в окно. Прилетая из тьмы, в оконное стекло бились редкие небесные слезы.

– Ложись-ка спать, – сказал Серега. – Это самое лучшее, что ты сейчас можешь сделать. Да и мне так будет спокойнее.

- Нет, – сказал Артем, и поднялся. – Сейчас мы пойдём...
- Куда? – поднялся и Серега.
- Тут недалеко, – сказал Артем. – К нашему райотделу.
- Зачем? – спросил Серега.



– Там, на тыльном дворе, есть пожарная лестница, – сказал Артем. – А сверху – металлическая площадка. Маленькая металлическая площадка...

– Ну, и что же? – спросил Серега.

– Когда-то на этой площадке стоял один замечательный... самый замечательный из всех, кого я встречал в своей жизни, человечек... маленькая девочка в синем платье и с васильковыми глазами. Она взобралась на площадку, а спуститься обратно на землю боялась, и просила меня, чтобы я ей помог... и я ей помог. Я обещал тому человечку, что когда-нибудь и сам поднимусь на ту площадку, и взгляну оттуда на весь мир. Этот человечек уверял, что мир с той площадки видится совсем иным... намного чище и милосерднее... и осмысленнее, и... Этот человечек тогда не знал еще таких слов, но он сказал именно об этом... именно так. Я хочу подняться на ту площадку. Я хочу увидеть мир осмысленным и чистым...

...Они подошли к райотделу и прошли на задний двор. В мире царила тьма, прошитая редкими холодными дождевыми нитями.

– Артем! – вдруг раздался голос из тьмы. – Артем, это я...

Это была бывшая тайная подружка Оксана. Она возникла из темноты, приблизилась к Артему и уткнулась ему в грудь лицом.

– Откуда ты здесь? – отрешенно удивился Артем.

– Я ждала тебя у твоего дома, – сказала Оксана. – Но – тебя там не было... и я подумала, что, может, найду тебя здесь. И я пришла сюда, и стала ждать... вот уже четыре часа, если не больше...

– Извини, – сказал Артем. – Я не знал... я не знал, что ты меня ждешь.

– Ничего, – сказала Оксана. – Ничего... главное не это.

– Она умерла, – сказал Артем. – Сегодня ее похоронили.

– Я знаю, – сказала Оксана. – Потому-то я сегодня и пришла... к тебе. Скажи, чем тебе помочь? Ты только скажи – и я помогу...

– Ничем, – сказал Артем. – Просто – подожди меня здесь, внизу... вместе с Серегой. А я – пойду...

– Куда? – недоуменно шевельнулась Оксана. – Я – с тобой...

– Не надо... со мной, – сказал Артем.

– Но... – недоуменно возразила Оксана.

– Я вам все объясню, – выступил из темноты Серега. – Пускай он идет... не надо с ним. Пускай он идет один...

...Артем нащупал мокрую металлическую перекладину, затем нащупал еще одну, и еще одну. Лестницы не было видно, но она угадывалась, она была. И Артем стал взбираться по ней вверх. Ему казалось, что он взбирается бесконечно долго, и что желанная металлическая площадка находится так высоко, что оттуда запросто можно дотронуться рукой до неба. Он взбирался и взбирался, а лестница все не кончалась и не кончалась...

Наконец Артем нащупал металлическую площадку и ступил на нее. Он распрямился, повернулся лицом к миру, желая, вероятно, увидеть мир милосердным и чистым, но ничего не было видно: непроницаемая, прошитая холодными нитями дождя тьма царила над миром. Неожиданный черный ветер налетел из этой непроглядной тьмы, ударил Артема в лицо, ослепил ему глаза, моментально выстудил его сердце и проник ему в душу...

## ТРИ БЕЛЫЕ РОЗЫ НА ПАМЯТЬ

*«Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста;  
набрал мирры моей с ароматами моими,  
поел сотов моих с медом моим, напился  
вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья;  
пейте и насыщайтесь, возлюбленные! Я сплю,  
а сердце мое бодрствует; вот голос  
моего возлюбленного, который стучится: «Отвори мне,  
сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая  
моя! Потому что голова моя вся покрыта росой,  
кудри мои – ночью влагою». Я скинула хитон мой;  
как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои;  
как же мне мараить их? Возлюбленный мой  
протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя  
взволновалась от него. Я встала, чтоб отпереть  
возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра,  
и с перстов моих мирра капала на ручки замка...»  
(Песни песней, 5, 1–5).*

– Да ну их всех к лешему – в первую очередь, родительницу мою, маманю, да и сестрицу заодно! Ну что у меня за жизнь по их милости! Каторга, а не жизнь, честное слово! Каждый день одно и то же, будто я и не человек вовсе, а какой-нибудь рейсовый автобус: взад-вперед, привези-увези... Надоело! Остобрыдло! До самых селезенки достало! Нет, решено: завтра или послезавтра, самое большее – через неделю завербуюсь на какую-нибудь войну. Давно мечтал, давно собирался, но все откладывал, все мне было недосуг... а теперь – завербуюсь! Решено и заматано – и не о чем тут больше говорить! Сейчас их много, всяких войн: и на юге, и на западе, и где ты только пожелаешь. Если очень постараться, то даже и на севере, где-нибудь впритык к Северному полюсу, также, я думаю, можно отыскать какую-нибудь порядочную войну. И пускай меня там контузят или даже ранят, пускай даже оторвет руку или ногу – это все едино лучше, чем мои каждодневные рейсы: взад-вперед, взад-вперед... А то еще по четыре раза за ночь заглядывай к ней, к сестрице то есть, в комнату – жива ли она еще, не надо ли ей чего...

Короче говоря – о-хо-хо! Главное, какой аргумент отыскала маманя, разрази ее на ровном месте! Она же, говорит, твоя старшая сестра, она же, дескать, калека-инвалидица парализованная: самостоятельно ни встать, ни сесть не может, а свежим воздухом дышать да на мир хотя бы изредка взглянуть ей надо или не надо? Вот и вози ее на инвалидной коляске: утром – в городской сквер, а вечером – обратно... А чего ж, говорит мамаша, тебе еще делать – ведь ты все едино безработный и от безделья каждодневно маешься!

Вишь ты, умная какая! Ну и что с того, что я безработный? Как будто кроме этой дурацкой работы в жизни не может быть никаких прочих занятий и интересов! У меня они имеются, – а как вы хотели? Вот, например, позавчера я свел знакомство с одной просто-

таки замечательной компашкой. Компашка что надо, короче говоря! Первосортная компашка! Только вообразите: одного зовут Фикус, другого – Батон, третьего – Какаду, а четвертая в этой компашке – умопомрачительная девица! Ноги – от коренных зубов, прическа – белесая копна! Умираю по блондинкам, между нами говоря! «Зови меня, – говорит, – Зинкой Гарантией». «И чего же такого интересного, – спрашиваю, – ты мне можешь гарантировать?» «А все, что угодно, – отвечает эта зараза, – при взаимной договоренности сторон и совпадении интересов. Какие, например, у тебя есть ко мне интересы?» «Ха, вот это да... интересы! – говорю я своим чередом. – Допустим – имеются у меня к тебе интересы. Предположим, мне интересно измерить длину твоих изумительных ножек от пяток до... ну, скажем, до твоего пупка. Ничего интерес, подходящий?» «А чем, – хохочет, – будешь мерить? Измерительный прибор у тебя имеется ли, в порядке ли?» «В полной норме – в любое время года и при любой погоде!» – отвечаю воодушевленно. «Ну, тогда, – выдает резюме эта Зинка, – три с половиной с тебя сотни – и можешь измерять с какой тебе угодно стороны: хоть с пяток до пупка, хоть в обратном направлении. Хоть даже по диагонали! А за меньшую сумму, извини, никак не могу. Тариф. Да и жизнь дорожает прямо-таки катастрофическим образом...» Вчера у меня трехсот пятидесяти рублей не было. Сегодня они у меня имеются. И кому какое дело, где я их раздобыл? Как говорится – не у вас, и ладно.

Ну и вот. Сегодня мне самый смак идти изучать пупок Зинки Гарантии со всеми его соблазнительными окрестностями, да и Фикуса-Батона-Какаду надо бы пивком побаловать – как-никак закадычные дружки. Нет же – волокиты сестрицу в сквер, а что касается твоих собственных забот, так всем на это наплевать! Твою мать в такую жизнь! Нет, на фронт! На фронт – добровольцем! Этим, как его... ландскнехтом! Наемником! На восток! На запад! На Северный полюс!

Ладно. Покамест же, проклиная все на свете, отправляюсь во флигелек родительского особняка, где обитает моя малоподвижная сестрица. Разумеется, она меня уже ожидает: привыкла, зараза, прямо-таки условный рефлекс у нее на меня выработался! Смотрит на меня с надеждой, и просительно при этом улыбается. На сестрице – зеленый спортивный костюм, надетый нашей всеобщей заботливой мамашей еще с утра, и теперь моя забота взять сестрицу в охапку, снести вниз, посадить в коляску и свезти эту коляску вместе с сестрицей в чертов сквер, который, между прочим, находится далеконько – может, целых полтора километра от дома будет... чтоб на него бомба упала, на этот сквер и на сестрицу вдобавок! Все, поехали, некогда мне сегодня валандаться с тобой, разлюбезная моя сестрица! Быстрее, еще быстрее! Коляска гремит по ухабам, сестрицу, естественно, изрядно трясет и швыряет, однако она терпит и даже виду не подает. Еще бы она протестовала! Все едино, кроме меня, ее некому возить в этот дурацкий сквер – чтоб на него, говорю еще раз, упала не одна бомба, а целых пятнадцать! Тпру, приехали! Я резко торможу, устанавливаю коляску так, чтобы она не доведи чего не укатилась куда-нибудь по собственному хотению, прощально машу сестрице рукой, говорю, что вечером непременно свезу ее обратно... Все, я побежал... я уже мчусь с третьей космической скоростью! На бегу я на всякий случай оглядываюсь: сестрица смотрит мне вслед. Ох, и уродина же у меня сестра! Ну и уродина!..

\* \* \*

– Помимо того, что я – полный паралитик, я еще и несусветная уродина. Что ж, такова судьба. Кому-то определено испытание красотой, кому-то – уродством, кто-то легким шагом носится по аллее, кто-то оплывшим бревном восседает в инвалидной коляске... Все в этом мире предопределено заранее, каждому – свое, а коль так – какой смысл роптать на свой удел?

Впрочем, это сейчас я такая смиренная и мудрая, а поначалу-то я роптала, да еще как роптала! Два раза руки на себя пыталась наложить, кричала, плакала, билась головой

о стену и о железные кровати прутья – за что, дескать, мне отмерено столь много и страшно, чтобы и неподвижность, и уродство... для чего, мол, мне тогда и жить, если до своих шестнадцати лет я была девчонка как девчонка, о чем-то таком мечтала, стремилась к каким-то неизведанным горизонтам, влюблялась и даже однажды целовалась... а с шестнадцати лет будто кто-то подменил мое тело, будто кто-то проклял меня наипугающей клятвой! Мгновенная и полная неподвижность, с каждым днем все больше и больше дурнеющее лицо, ноги-руки будто бревна, тело как омерзительный мешок... Боже мой, мамочка моя, за что мне все это... убейте меня, я не хочу жить, не хочу жить, не хочу!..

Ну а затем я, конечно, смирилась. Человек – он ведь привыкает ко всему, и к хорошему, и к плохому, человек – существо приспособляющееся. Не совсем, конечно, смирилась, но в третий раз накладывать на себя руки, наверно, не стану... да и мудреное, оказывается, это дело – накладывать на себя руки, будучи парализованной! Ни во что, как следует, не ударишься, ни до чего не дотянешься, только изведешься – да и все тут...

Нет, и впрямь: только измаешься душой – и ничего больше. Первый раз я пыталась покончить с собой спустя месяц после начала своего горя. Весь прошедший месяц я надеялась, я уповала на чудо, что вот-вот – и будет все как и прежде... я почувствую свои руки и ноги, я встану... нет, я вскочу, я взлечу... и первым делом я помчусь в городской сквер... там растет старая, развесистая, удивительная дикая яблоня... я подбегу к этой яблоне, я обниму ее за теплый шершавый ствол, прижмусь к стволу щекой, зажмурю глаза, наверно, заплачу легкими слезами... и затем все будет замечательно – навсегда. Ну, а спустя месяц я поняла, что – не взлечу, не помчусь в городской сквер, не обниму яблоню... отныне я буду неподвижным, день ото дня дурнеющим бревном... и так будет всегда, до самого конца... Разумеется, никто мне этого прямо не говорил, все как могли, лгали мне, что все минует и образуется... лгала и мать, и братец, и люди в белых халатах, которых мать приглашала ко мне целую прорву... лгали все – но я-то понимала, что ничего уже не минует и не образуется. Не знаю, откуда пришло ко мне такое понимание... мне кажется, что оно пришло ниоткуда, само собой, как ниоткуда и сама собой приходит темная ночь...

И тогда я впервые захотела наложить на себя руки. Я решила размозжить себе голову о железные прутья кровати. Чего проще, думала я: стоит лишь как следует удариться головой о тот, например, выступ на спинке кровати, и все будет кончено... Надо только дождаться, чтобы рядом никого не было. Например, ночью никого со мною рядом не бывает, ночью – я одна. Итак, ночью. Ночью. Надо только удариться головой о тот выступ на спинке кровати, и все будет кончено...

Помню, что я никак не могла дождаться, когда же закончится день и настанет ночь. Я ждала и ждала, а ночь все не наступала и не наступала, и вокруг меня постоянно хороводились какие-то люди... то мать, то брат, то еще кто-то, я уже и не помню, кто именно... и каким же благом казалась мне грядущая ночь!

«Скоро все закончится! – с каким-то болезненным, странным упоением думала я. – Скоро все закончится...»

Наконец все от меня ушли, и наступила ночь. Я прекрасно помню ту ночь... прошло уже шестнадцать лет, то есть половина моей жизни, а я все равно помню... Я лежала на своей кровати вверх лицом... никак иначе я и не могла лежать... как меня положили, так я и лежала... но я могла поворачивать голову и смотреть в окно... и я помню, что в ту ночь сквозь оконные стекла на меня смотрела луна. Это была удивительная, чистая, огромная, потрясающая луна... никогда больше, за все прошедшие с той ночи шестнадцать лет, я не видела такой луны! Мне казалось, что луна прильнула к самым стеклам моего оконца... мне даже казалось, что я явственно вижу, что у луны имеются глаза... у нее

были добрые и сострадательные глаза... такие сострадательные и добрые, что я немедленно заревела.

«Не смотри! – сквозь слезы сказала я луне. – Не смотри, я тебя прошу... не надо! Для чего тебе смотреть на все это...»

И как только я произнесла такие слова, луна тотчас же укрылась невидимым в темноте облаком.

«Спасибо тебе», – сказала я луне, и протянув руку, нащупала во тьме тот самый выступ. – Сейчас, – прошептала я, – сейчас...»

И – изо всех своих сил я ударились головой в чугунный выступ. Вернее, я надеялась, что ударюсь, но... Моя голова даже не соприкоснулась с выступом! Между моей головой и выступом было непреодолимое расстояние... возможно, какой-то жалкий миллиметр непреодолимого расстояния, но именно этот миллиметр и не позволил мне в ту ночь умереть. Разумеется, если бы я лежала на один миллиметр ближе к выступу, или если бы я могла самостоятельно, без посторонней помощи, преодолеть этот миллиметр, придвинуться ближе к чугунному выступу, тогда все было бы иначе. Но – я лежала на один миллиметр дальше, чем того надо было, а на помощь мне позвать было некого: мать и брат, вероятно, уже спали... да если бы они и не спали, то все равно – какие они мне были бы помощники в таком деле? «А для чего тебе надобно лечь на один миллиметр ближе к тому выступу?» – спросили бы они меня – и что бы я им ответила?

В отчаянье я попробовала удариться о выступ еще дважды или, может, даже трижды – и все с тем же результатом... Всего один миллиметр, всего только один жалкий миллиметр... И я заплакала, на этот раз от бессилия... и как только я заплакала, луна тотчас же сбросила свое облачное покрывало и вновь прильнула к моему оконцу. «Не уходи, – попросила я луну. – Не уходи... останься со мной. Мне страшно». «Я не уйду», – ответила луна одними своими глазами, и она действительно всю ночь была со мной. Вначале я видела ее всю целиком, затем – половину, затем – четверть, затем – лишь краешек, а затем – лишь неяркие лунные зайцы лежали на стене, зайцы, исполосованные тенями ветвей от невидимых мною деревьев за моим оконцем. А затем я уснула...

В следующий раз я попыталась покончить с собой спустя, наверно, год после той, столь неудачной, попытки. На этот раз я решила удавиться. Такой способ ухода из этого мира и избавления меня от себя же самой казался мне гораздо более надежным, чем предыдущая попытка преодолеть окаянный миллиметр расстояния между мною и тем самым чугунным выступом на спинке кровати.

Итак, я решила удавиться. Вначале я разработала тщательный план своего ухода из предельно жестокого ко мне мира. «Значит, так, – размышляла я, когда оставалась наедине с собой. – Вот это – спинка кровати... она высокая, надежная и крепкая. А вот это – я... моя голова покоится на подушке, а подушка опирается о вышеупомянутую спинку кровати, и расстояние между моей головой и спинкой кровати совсем небольшое. Стало быть, я вполне смогу дотянуться руками до спинки кровати, закрепить на ней веревку с петлей, затем надеть эту петлю себе на шею... а дальше все будет хорошо, дальше все будет просто замечательно». Нет, это и впрямь был превосходный план... так мне, по крайней мере, казалось. И для его воплощения не хватало лишь одного – веревки.

Мне не хватало веревки! У меня не было веревки... такой малости! Я денно и ночью размышляла о веревке... эта окаянная веревка мне даже снилась во сне, даже грезилась наяву... мне чудилось, будто я уже держу ее в руках, мне казалось, будто я ощущаю ее ни с чем не сравнимую шероховатую упругость и прочность... в такие времена эта незримая, выстраданная мною веревка казалась мне воплощением надежности и скорого моего избавления от мук... ах, какое же это было счастье –

чувствовать, что у тебя есть веревка! Но затем наваждение проходило, и оказывалось, что никакой веревки в моих руках нет, и мною овладевало отчаяние...

Ах, как же мне нужна была веревка... как же она мне была нужна! Попросить веревку у матери либо у брата было, конечно, немыслимо... это было делом невозможным! «А для чего тебе веревка?» – разумеется, тут же поинтересуются они – и что я им отвечу? А если ничего не отвечу – тут же начнутся всяческие подозрения, а вслед за подозрениями – что-нибудь еще и похуже... например, мать с братцем вздумают устроить в моем флигельке круглосуточное дежурство, и тогда прости-прощай, мое ночное одиночество, а вместе с ним и возможность расквитаться с моей постылой жизнью. Ах, как же мне нужна была веревка... как же мне была нужна веревка!

Какое-то время я лелеяла в себе мысль о том, что, может быть, я отыщу веревку где-нибудь по пути в сквер, куда меня изредка вывозил мой братец, или, может быть, какая-нибудь добрая душа дарует мне веревку тогда, когда братец оставит меня одну в сквере... «Ну а что тут такого... отчего бы и нет?» – размышляла я. Вот, скажем, сижу я в сквере, втиснутая в инвалидную коляску, и вдруг подходит ко мне некто... одним словом, подходит ко мне некий добрый человек, смотрит на меня участливо и с состраданием... ну, а как же можно еще на меня смотреть, на такую-то?.. да, так вот, смотрит на меня участливо и с состраданием, а затем, предположим, спрашивает у меня – а что, дескать, он может сделать для меня доброго? «Да вот, – отвечу я, – мне нужна веревка... совсем немного, метра, может, три... но чтобы она была надежная и крепкая, а главное – чтобы она еще была и тонкой... это чрезвычайно важно – чтобы она была непременно тонкой!» «Ну, а почему же – именно тонкой?» – спросит у меня этот участливый человек. «Да потому, – отвечу я ему, – что тонкую веревку мне легче будет спрятать под одеждой, и когда мой братец вернется и станет увозить меня отсюда, он, может быть, не заметит этой веревки. А коль не заметит, то и не отберет, а коль не отберет, то, таким образом, я смогу пронести эту веревку к себе во флигелек, затем дождусь ночи... ночью, знаете ли, я всегда остаюсь одна... итак, затем я дождусь ночи, а дальше все будет хорошо... все будет как надо...» «Я понимаю», – скажет участливый человек, а затем сунет руку в карман своей одежды и вытащит оттуда веревку... да-да, он вытащит из кармана веревку! Разумеется, это будет замечательная веревка... это будет удивительная, превосходная веревка, тонкая и чрезвычайно прочная... как раз такая, которую я выстрадала и заслужила во время своих бессонных, наполненных отчаяньем ночей... «Вот, – скажет участливый человек, протягивая мне веревку, – возьми...» «Спасибо», – прошепчу я, принимая этот выстраданный дар, и, конечно, тут же захочу заплакать от счастья. «Да чего там», – махнет рукой участливый человек, усмехнется, повернется, и уйдет вдаль по аллее...

Ах, сколько раз я представляла себе такую сцену... я буквально бредила этой сценой! «Вот сегодня, – каждый раз думала я, когда мой братец вывозил меня в сквер, – вот сегодня... как раз именно сегодня все и случится... именно сегодня ко мне подойдет участливый человек – и произойдет чудо... да уж не он ли это показался в дальнем конце аллеи? Ах, если бы это был он... это непременно должен быть он! Вот он приближается, вот он уже рядом!..» Господи, сколько же их, возможных, так сказать, дарителей веревки прошло мимо меня за все время моего отчаянного ожидания! Были среди них и с добрыми лицами, и с недобрыми... были всякие... но никто не остановился рядом со мной, никто не затеял со мной разговора, и никто не подарил мне веревки... «Люди милые! – многократно хотелось крикнуть мне... крикнуть громко, изо всех своих сил, так, чтобы меня было слышно в самом дальнем конце аллеи, – разве вы не видите, что мне нужна веревка... разве вам трудно понять, как она мне нужна... вам это совсем не трудно – вы только взгляните на меня, такую, и вам сразу же станет понятно, что мне нужна веревка! Ну, что вам стоит подарить мне веревку... ведь всего-то какие-нибудь три метра... ведь это же для вас такая малость и безделица! Люди милые, отчего же вы все так жестоки!..» Но, разумеется, ничего подобного я так и не крикнула... я вообще ничего

ни разу не крикнула, я лишь смотрела на проходящих мимо меня людей, и душа моя утопала в невыплаканных слезах... ах, люди вы, люди!

В конце концов, я отчаялась встретить доброго человека с веревкой, и опять начала думать о том, что веревку я должна найти где-нибудь по пути в сквер, или, может, тогда, когда мой братец станет везти меня из сквера домой. Или, допустим, привезет меня братец в сквер, оставит, как обычно, одну, и тут-то она и возникнет, моя долгожданная и выстраданная веревка... возникнет вот здесь, прямо на обочине асфальтовой тропинки, которая начинается в одном конце сквера и теряется в его другом конце... и вся-то моя забота будет – как-нибудь исхитриться дотянуться до веревки... ничего, уж как-нибудь я до нее дотянусь! Я не знала, откуда и каким таким непостижимым образом возникнет эта веревка... может, упадет с неба, может, ее принесет ко мне ветром... да и какая разница – каким образом она возникнет и откуда возьмется... дело, разумеется, было совсем не в том, как и откуда она возникнет, дело было совсем в ином... В конце концов, мое стремление обнаружить веревку где-нибудь по пути в сквер или в самом сквере превратилось для меня в очередную навязчивую идею, едва ли не в паранойю... а, может, и в полноценную паранойю, откуда мне знать? Каждый раз, когда мой братец вывозил меня в сквер и оставлял одну, веревки мне мерещились едва ли не за каждым кустом... они шевелились, извивались, они о чем-то перешептывались между собой и походили на копошащихся змей... а, может, это и были змеи, я не знаю... но ни разу ни одна из этих веревок или змей так и не приблизилась ко мне – чтобы я могла до нее дотянуться...

Мои муки продолжались до самой осени, а затем закончились сами собой. Начались холода, и братец перестал вывозить меня в сквер. Мне предстояло пережить долгую, тоскливую зиму... мне предстояло несколько нескончаемых месяцев безысходно пробыть в моем флигельке, день за днем неподвижно лежать на кровати, слушать тоскливое пение вьюги за стеной и до одурения всматриваться в морозные разводы на единственном оконце... я этого не хотела, я больше так не могла – лежать, вслушиваться и вглядываться, и более ничего... потому что – какое же это отчаяние, когда ты лежишь, слушаешь и смотришь – и больше ничего... и при этом ты знаешь, что так будет и завтра, и послезавтра, и всегда... нет, нет, я так не хотела! Я хотела умереть! Я хотела умереть!..

И тогда-то, от отчаяния, меня осенило. Уж коль оно так получается, что веревки мне не добыть, значит, ее, веревку, мне надо смастерить самой. Собственноручно смастерить... ну а отчего бы и нет? Что с того, что я – паралитик? Нет, и впрямь – что с того... почему это обстоятельство должно служить мне преградой? У меня имеются две проворные руки, а еще – у меня имеются зубы... разве это так сложно – смастерить веревку с помощью двух рук и зубов? Это совсем даже не сложно, это – сущие пустяки, если у тебя имеются две руки, и еще зубы вдобавок... я смастерю себе веревку, я сумею, я справлюсь, и тогда мне не надо будет слушать каждодневное, выматывающее душу пение вьюги за окном... тогда все будет очень хорошо.

Самое главное – из чего ее сделать, веревку? Я билась над этим вопросом три или, может, даже четыре дня – и тут меня осенило вторично: да из чего ты еще ее сделаешь, сказала я себе, кроме как из простыни, на которой ты лежишь? Все очень просто: располосуй простыню на длинные ленты, заплети затем ленты в косичку... две руки и зубы в придачу – этого вполне хватит, чтобы из лент получилась косичка... а косичка – ведь это и есть полноценная веревка... и вот когда у меня будет веревка, то уж что-то, а соорудить петлю и как-нибудь привязать веревку к дужке кровати я сумею... и уж тем более я сумею сделать все остальное, то есть то, ради чего я веревку соорудила. Ах, и отчего только столь замечательная мысль не пришла ко мне раньше! Эта мысль не пришла ко мне раньше, и получается, что я напрасно прожила на свете лишних полгода. Ну, ничего, ничего... теперь-то все скоро закончится!

Итак, веревка из располосованной простыни... удивительная, блестящая идея! Надо только дождаться ночи... надо убедиться, что мать и братец уснули – и за дело. За ночь я должна управиться... я просто обязана управиться за одну ночь, потому что если я не управлюсь за одну ночь, то другой ночи у меня уже не будет... братец и мать не предоставят мне другой ночи, они спеленают мне руки, они приставят ко мне еженощную стражу, они удумают целую тысячу иных способов... нет-нет, мне надо обязательно управиться за ночь, другой ночи у меня уже точно не будет...

Ох, как же я ждала наступления той самой ночи... как же я ждала! Помню: за окном весь день кружила вьюга... это была молодая и задорная вьюга... мне казалось, что она заполонила собой весь белый свет, всю вселенную... мне казалось, что во всем мире ничего больше не осталось – только эта молодая, сумасшедшая вьюга, надсадно и тонко стенающая в ветвях деревьев за окном и швыряющая в мое оконце шальной металлический снег... только вьюга и еще – день, который никогда не кончится. Вьюга, нескончаемый день и я... это три данности до такой степени были невыносимы, до такой степени взаимонесочетаемы, что я то и дело душила в себе слезы. Вслух, конечно, я не плакала, я не могла, не имела права плакать вслух, громко, навзрыд – потому что мать, а, может быть, и братец тотчас же кинулись бы ко мне, тут же начались бы всяческие ахи, охи, расспросы и подозрения, и все могло бы закончиться тем, что кто-нибудь остался бы со мною на ночь.

Чтобы не слышать нескончаемого пения вьюги и чтобы не плакать, я принялась думать о грядущей ночи. Я не думала о том, как я буду плести веревку... уж как-нибудь сплету, я справлюсь, это не вопрос... я думала о другом – гораздо более для меня занимательном. «Вот интересно, – зажмурив глаза, размышляла я, – как оно будет, когда я сплету веревку, смастерю петлю, один конец веревки привяжу к спинке кровати, а петлю накину себе на шею... что в тот самый момент я буду чувствовать? Где-то я читала, что в такой момент перед человеком проносится вся его жизнь... вся – до самых мельчайших подробностей... наверно, так будет и со мной... ведь я тоже человек. А, может, со мной будет как-нибудь иначе... потому что – какая у меня жизнь... какие в моей жизни могут быть подробности? Нет, со мной все должно случиться иначе... накинула петлю на шею, дернула изо всех сил головой, и – только затихающее пение вьюги за окном... оно будет все тише и тише, а дальше – полная и блаженная тишина... тишина – и, наверно, такая же блаженная темнота. Тишина и темнота – как же это, наверно, хорошо, когда тишина, темнота и более – ничего... побыстрее бы только наступила ночь... отчего же она не наступает, отчего же этот окаянный день все тянется и тянется, тянется и тянется?..»

Сама не заметив как, я задремала. Очнулась же я оттого, что вьюга за окном стала петь иным, более гулким и протяжным голосом. Я знала, что когда вьюга начинает петь гулким и протяжным голосом, это означает, что на смену дню приходит вечер, который – преддверие ночи. Ночь, ночь, моя долгожданная и желанная ночь – спасибо тебе за то, что ты, наконец, наступаешь!

В моей комнатке уже горел ночник, передо мной в выжидательной позе с полотенцем в руках стояла молчаливая мать. Это означало, что настало время ужина. Сейчас меня поднимут, обложат со всех сторон подушками, чтобы я не завалилась на бок или на спину, затем водрузят передо мной специальную дощечку, затем застелют эту дощечку полотенцем, затем поставят на полотенце тарелку, чашку и, может быть, что-нибудь еще – и готов мой ежедневный пиршественный стол. А затем я буду есть, а мать будет стоять напротив и молча на меня смотреть. Так бывало всегда, стало быть, так будет и сегодня.

«Я не хочу есть! – сказала я матери, когда она зашла ко мне. – Слышишь, я не хочу есть... убери, пожалуйста».



Однако мать ничего не ответила, потому что она вообще была не слишком разговорчивой, а после того, как со мной случилось мое горе горькое, она и вовсе будто онемела – четырех слов от нее за день, бывало, не услышишь.

«Я не хочу есть!» – повторила я, но и на этот раз мать ничего не ответила, а просто приподняла меня, взбила вокруг меня подушки, поместила передо мной дощечку, укрыла ее полотенцем... словом, все было, как и всегда.

«Ешь», – разжала, наконец, мать губы, затем отошла от меня на три шага, сложила руки на груди и молча, безо всякого выражения на лице принялась на меня смотреть.

«Я не хочу есть!» – совсем уже было собралась сказать я и в третий раз, но не сказала ничего: неожиданная, короткая, всепоглощающая ненависть вдруг захлестнула меня, и именно эта ненависть и не позволила мне ничего сказать. Я не знаю, к кому была обращена моя ненависть: к матери, к этой постылой дощечке с дурацкой едой на ней, к растреклятой несмолкаемой вьюге за черным вечерним стеклом, к моей бесталанной жизни... Я совсем уже было собралась схватить с моего жалкого пиршественного стола тарелку и запустить ею... запустить куда угодно – в стену, что напротив, в черное окно, в воющую за окном метель, в мать... но вдруг моя ненависть иссякла... она иссякла так же мгновенно, как и появилась... а взамен пришла здраворассудочность, что ли... да-да, именно так, здраворассудочность.

«Опомнись, – вкрадчиво зашептал во мне чей-то голос, – что ты собираешься делать... зачем? Ну, швырнешь ты сейчас тарелкой, ну, грянет тарелка о стену, об оконное стекло, ну, угодит в мать... неважно, куда она угодит... важно – другое. Важно то, что вряд ли ты после такого своего поступка останешься ночью в одиночестве... вот что по-настоящему важно! А ведь как оно тебе нужно, сегодняшнее ночное одиночество... ах, как же оно тебе необходимо! Сама ведь знаешь...»

«Ну и пускай! – не разжимая рта, устало возразила я вкрадчивому голосу. – Ну и пускай... и ладно! Не будет этой ночи – будет другая. Не будет другой – будет третья...»

«Не будет, – возразил в ответ вкрадчивый голос. – Не будет ни другой, ни третьей ночи... то есть, конечно, они будут, но – не будет именно такой ночи... ночи, преисполненной решимостью... когда все возможно и все получается... нет, такой ночи больше не будет».

«Почему же?» – огрызнулась я.

«Потому что ничто не повторяется дважды, – сказал вкрадчивый голос. – Ты ведь и сама это понимаешь... ничто не повторяется дважды».

«Я не понимаю! – беззвучно мотнула я головой. – Я – не понимаю!..»

«Понимаешь, – настойчиво возразил мне вкрадчивый голос. – Все ты понимаешь...»

«Да, понимаю», – поникла я, взяла ложку, и принялась есть, не ощущая никакого вкуса.

Я ела и чувствовала, что моя ненависть окончательно иссякла и улетучилась, а взамен ко мне подступает жалость – и опять же непонятно было, кого именно я намерена была жалеть этой своей жалостью. Себя? Не знаю, не уверена, что себя... какой прок мне было жалеть себя в преддверии долгожданной ночи... Может быть, это была жалость к матери? Наверно, так: это была жалость к матери. Наверно, когда я нынешней ночью умру, мать будет плакать... Ну, конечно же – она будет плакать. Даже братец – и тот, наверно, будет плакать, когда я умру. Ну, ничего... ничего. Поплачут, и перестанут... и скоро поймут, что моя смерть – это выход для всех, это облегчение для всех... от моей смерти всем будет только легче – и матери с братцем, и мне самой...

«Спасибо, мамочка, – улыбнулась я. – Спасибо за ужин... все было очень вкусно».

Мать колыхнулась, подошла ко мне и принялась убирать тарелки, чашки, полотенце, полированную дощечку... все, в общем, было как и обычно, за тем лишь исключением, что сегодня все было в последний раз... так я думала.

«Спасибо, мамочка, – еще раз улыбнулась я. – А теперь, будь добра, убери из-под меня лишние подушки. Нет, телевизор включать не надо, ну его, этот телевизор... а вот ночник – оставь. Ты ведь знаешь, что я боюсь темноты – пускай он горит, ночник. И – все, иди... мне больше ничего не нужно, я буду спать. Спокойной тебе ночи, мамочка. И братцу тоже – спокойной ночи».

Мать все прибрала, постояла, пожевала губами, молча на меня посмотрела... какие-то сомнения, похоже, все-таки терзали ее материнскую душу, повернулась и вышла.

«Мама, стой... не уходи!» – едва не закричала я ей вослед, но тут же закусил губу так, что во рту сделалось солоно, и мой крик не вышел наружу и погиб внутри меня. И правильно – зачем кричать? Не надо кричать... бессмысленно. Теперь, с уходом матери, в моей жизни остался единственный смысл... тот самый, в образе веревки. Надо лишь дождаться ночи... всего лишь дождаться ночи. Вот и весь смысл...

...Как я ни ждала ночи, но она все же наступила неожиданно. Вдруг стало тихо... так тихо, что у меня зазвенело в ушах. Я удивленно приподняла голову и взглянула в оконце: за оконцем была тишина, никакая сила не швыряла больше колючим снегом в стекла, лишь бархатная ночная тьма льнула к оконцу, и в этой тьме отражался горящий в моей комнатке неяркий ночник. Вот так: наступила ночь, и вместе с нею утихла метель. Мне предстояло умереть в идеально безмолвном мире... мне предстояло из одного безмолвного мира перейти в другой безмолвный мир.

«Ну, что ж, – мимоходом подумала я, – так даже лучше. Из одной тишины сразу же шагнуть в другую тишину... нет, и впрямь – так даже лучше...»

Надо было действовать. Прежде всего, надо было постараться вытащить из-под себя простыню, потому что – как ее иначе распустишь на тоненькие полоски? Да-да, надо было вытащить из-под себя простыню... но как? Вот именно – но как?.. Как может лежащий человек, не имея возможности не то, что приподняться, но даже как следует пошевелиться, вытащить из-под себя простыню? Господи, да почему же я не подумала об этом раньше... ведь это же так просто – подумать и понять, что невозможно лежащему человеку вытащить из-под себя простыню! А если невозможно вытащить из-под себя простыню, то из чего же тогда свить веревку? Я совсем уже было ударилась в бессильное отчаянье, как вдруг во мне возник тот же самый, что и вечером, во время моего последнего земного ужина, вкрадчивый голос.

«Какие пустяки, – сказал мне этот голос. – Было бы из-за чего впадать в отчаянье и реветь! Подумаешь – простыня! А – пододеяльник? Ведь ты же укрыта одеялом, а на нем – пододеяльник! Заметь: одеяло не под тобой, а на тебе... существеннейшая, между прочим, разница... просто-таки кардинальная и принципиальная разница! Да! Итак, на тебе – одеяло, на нем – пододеяльник, и у тебя имеются две руки и зубы в придачу...»

Одеяло и пододеяльник на нем... вот так здорово... как же я сама до этого не додумалась... ведь это же и вправду так просто и очевидно – одеяло и пододеяльник на нем! И – две мои руки и зубы в придачу! Этот таинственный вкрадчивый голос, возникающий в самые сложные и безвыходные моменты моей жизни – он, несомненно, мой друг... он мой единственный друг... никогда в моей нескладной жизни не было друга лучше!

Итак, пододеяльник. Осторожно... осторожно. Главное – чтобы одеяло вместе с пододеяльником предательски с меня не соскользнуло и не упало на пол... тогда, разумеется, все пропало... тогда я до него не дотянусь. Осторожно, осторожно... Какое

же оно огромное, это одеяло... никогда бы не подумала, что оно – такое огромное и тяжелое! И – какой же маленький вырез у пододеяльника... как же из такого выреза вытащить одеяло... да какой же дурак изобрел такой нелепый вырез! Осторожно, осторожно... Вот так... Вот так... Стоп! Ух, ты, чуть не уронила... чуть не утратила свой шанс шагнуть из одной тишины в другую... Осторожно... вот так... вот так... замечательно. Хорошо все же, что я догадалась попросить не выключать ночник, и хорошо, что мать прислушалась к моей просьбе... Мастерить веревку в полутьме намного проще, чем в полной тьме. Так... значит, так... хорошо... половина дела сделана. Замечательно, когда у человека имеется две руки и зубы в придачу. Две руки и зубы – это почти свобода...

Не знаю, сколько времени я возилась с окаянным одеялом и нелепым пододеяльником на нем. Но – я добилась своего, я одержала первую маленькую победу на своем пути из тишины в тишину. Теперь мне предстояло сделать другой шаг – расплосовать пододеяльник на ленточки и свить из этих ленточек веревку. И тут меня опять одолело отчаяние... да как же все-таки мне не везло в моей жизни! Пододеяльник оказался бязевым – а что такое бязь? Бязь – почти как брезент... какие уж тут ленточки, и какая веревка? Да какой же идиот вздумал шить пододеяльники из бязи? И – отчего такой пододеяльник оказался на моем одеяле – как раз в самое неподходящее время? Вкрадчивый голос, мой единственный друг и советчик – где ты? Посоветуй, что мне предпринять...

Но – не было слышно в тот момент вкрадчивого голоса... не знаю, куда подевался мой друг и советчик. И я стала искать решение без чьей бы то ни было посторонней помощи. Первым делом я постаралась взять себя в руки и приказала себе не паниковать и не впадать в отчаянье.

«Ты – одна в этом мире, и никто тебе не поможет, – стала твердить я заклинание. – Ты – одна в этом мире, и никто тебе не поможет. Ты – одна в этом мире...»

Твердя заклинание, я одновременно терзала бязевый пододеяльник. От моих рук пользы было мало, приходилось в основном действовать зубами.

«Ты – одна в этом мире...» – в семисотый, наверное, раз повторила я – и, о чудо! – вдруг от моего окаянного пододеяльника отделилась первая полоска! От радости я едва не закричала вслух, но вовремя опомнилась и прикусила язык: на мой крик могли прибежать мать с братцем – и тогда все для меня было бы кончено...

Вторая, третья и все последующие полоски отделились от пододеяльника гораздо легче и быстрее, чем первая. Каждую полоску я воспринимала как... я не знаю... как некий выстраданный подарок судьбы... той самой, предельно неласковой ко мне судьбы, которая на прощанье отчего-то вздумала помочь мне... а, может, оттого и вздумала, что – на прощанье?.. Эта мимолетная мысль вдруг показалась мне интересной, но – я тотчас же отогнала ее от себя. Сейчас, когда до моего желанного ухода из этого мира оставались какие-то часы, – какой прок мне было философствовать? Философия была для меня бессмыслицей и обузой, у меня в жизни оставался один – последний – интерес...

Я по-прежнему действовала зубами: во рту у меня было влажно и солоно, и, кажется, кровь изо рта стекала на мое уродливое тело и на постель, но я не обращала на это внимания... незачем мне было теперь обращать внимания на такие пустяки... лихорадочное возбуждение и предвкушение скорого и желанного конца владело мною. Единственное – я все время опасалась, что скоро закончится ночь, за окном рассеется тьма, в мою комнату войдет мать или братец, и я не успею закончить свое столь удачно начатое дело. Поэтому, терзая зубами жесткий пододеяльник, я то и дело косилась в окно – но тьма за окном была прежняя, непроницаемая, и только одинокий огонек моего ночника отражался в этой тьме...

Спустя час, а, может, два, а, может, и четыре, добрая половина пододеяльника оказалась располосованной, и я решила, что – достаточно. Для веревки – хватит. Теперь мне предстояло веревку изготовить, то есть заплести бязевые ленточки в надежную косицу, наладить на одном конце косицы петлю... в общем, все было понятно. Теперь я могла действовать не только зубами, но и руками, поэтому мое дело спорилось. За какой-то час, а, может, за полтора веревка была готова. Я осмотрела веревку и тихо рассмеялась от счастья. Это была замечательная, превосходная веревка, это была всем веревкам веревка! Это была нежная и добрая веревка, моя надежда и моя помощница... с ее помощью я распрощаюсь с этим миром, с моим предельно недобрым ко мне телом... с ее помощью я обрету, наконец, вечную и блаженную тишину, где, вероятно, не будет ничего... и это хорошо, это просто замечательно, что не будет ничего... именно этого мне и хотелось, именно на то я и надеялась, чтобы там, куда я уйду, не было ничего...

Итак, мне предстояло последнее усилие... вернее, два... нет, даже три последних усилия. Первое усилие – соорудить надежную петлю, второе усилие – привязать веревку к дужке кровати, третье усилие – продеть голову в петлю и помогая себе руками, потому что мое тело ничуть меня не слушалось, рухнуть с кровати на пол так, чтобы петля затянулась на моей шее...

Орудя руками и зубами, петлю я изготовила такую, что любо-дорого... произведение искусства, чудо дивное, а не петля! Со второй проблемой – попыткой привязать обратный конец веревки к дужке кровати – пришлось повозиться так, что я в очередной раз едва не впала в бессильное отчаянье. Дужка находилась сзади меня, она была высоконькой, а я сама лежала на спине... и попробуй-ка, дотянись до этой дужки руками – да еще и завяжи на ней веревку надежным узлом! Мои руки не доставали до дужки кровати! Терзая пододеяльник, плетя затем веревку и завязывая петлю, я надеялась, что они достанут, а они – не доставали!

И опять я воззвала к своему другу и советчику – вкрадчивому голосу, и опять он отчего-то мне не ответил. Я покосилась на законную тьму, и мне показалось, что тьма стала как будто бы не столь черной и бархатной... мне показалось, что в ней образовалась едва уловимая серость. Неужели утро? Нет и впрямь – неужто и вправду уже наступило утро? Надо было действовать... надо было как можно быстрее доводить начатое дело до конца, тем более что и осталось-то всего ничего... Страх, что уже утро и что в мою комнатенку с минуты на минуту могут войти, придали мне сообразительности и силы. Ничего дееспособного, кроме рук и зубов, у меня не было. Зубы в данной ситуации были мне не помощники, а вот руки... Лежа на спине и упираясь локтями о матрац, я попыталась подползти ли, подтянуться ли поближе к дужке кровати. По моим расчетам выходило, что к этой окаянной дужке и ползти-то всего ничего... каких-нибудь пять или семь сантиметров... однако эти пять или семь сантиметров я ползла долго и трудно, буквально по миллиметрам преодолевая нескончаемое для меня расстояние. И вот, наконец, мои отведенные за голову руки коснулись дужки, затем я охватила дужку пальцами, и на какое-то мгновение я задохнулась от невыразимого счастья...

Веревка была в моей левой руке, я заранее надежно намотала ее на запястье. Теперь, не опуская рук, мне предстояло отвязать веревку от запястья, перехватить ее пальцами, и помогая пальцами другой руки, привязать веревку к дужке... причем, это надо было сделать быстро и ловко, иначе отведенные за голову руки могут устать, потерять чувствительность и веревка запросто могла выскользнуть из пальцев и свалиться куда-то в пространство между кроватьной спинкой и стеной... А, кроме того, веревку надо было привязать так, чтобы она не оказалась слишком короткой... короткая веревка – это было бы ужасно, потому что – как ты затем угодишь головой в петлю, если веревка окажется короткой и не достанет до головы?..

...Веревка оказалась как раз такой, как надо, то есть не длинной и не короткой – и ощущение мгновенного, стремительного восторга охватило меня. «Все, – подумала я,

надевая петлю на голову и ощущая, как петля сама, совершенно без помощи моих рук, опускается все ниже и ниже, и нежной бархатистой змеей охватывает мое горло. – Все... все! Осталось последнее движение, я рухну с кровати на пол – и все! И – вечная тишина и темнота... вечный покой! Ну же!..» И я, разом собрав все свои силы, попыталась швырнуть свое тело с кровати на пол. Но – у меня ничего не получилось. У меня ничего не получилось! Мое тело отказалось меня слушаться! Проклятое тело... окаянная, обрюзгшая колодина! Я тебя заставлю выполнить мое последнее желание... я заставлю тебя совершить свой последний, короткий и стремительный полет! Ну же! Ну же!!! А-а-а-а!..

Разумеется, напрасно я доверилась своему телу: я совершила еще три попытки ринуться с кровати вниз, и все с тем же успехом, то есть – безо всякого успеха. Проклятое тело! Проклятое тело! Ну, ничего, ничего... уж я тебя заставлю... ты у меня выполнишь мою последнюю волю, как миленькое! Как миленькое – слышишь, ты, мерзкое тело!.. Ничего... ничего! У меня есть две руки и зубы в придачу! Да-да... вот именно... две руки и зубы в придачу... именно руками и зубами я изготовила себе веревку, ты меня слышишь, проклятое тело?.. и моих рук и зубов вполне хватит, чтобы заставить тебя повиноваться, окаянное, проклятое тело! Впрочем, если разобраться, то, опять же, зубы тут мало чем могли пригодиться: разве что в изнеможении кусать в кровь губы... но от этого толку мало. А вот руки – пригодятся еще как! Если, предположим, опираясь локтями о матрац, передвигать, таким образом, тело к краю кровати... ведь придвинула же я свое тело именно таким способом к дужке кровати – а до нее, между прочим, расстояние было куда как больше, чем до края кровати... там-то было – целых, наверно, семь сантиметров, а здесь – наберется не больше четырех... почти в два раза меньше!.. так вот, не минует и двух минут, как тело окажется на самом краю кровати, грянется о землю, и тогда... А что – тогда... тогда – ничего... ничего – во всех возможных смыслах этого понятия... Тогда – петля затянется на моей шее, и – все... все! И так, вперед... вернее, не вперед, а в сторону, а затем – стремительно вниз... По сантиметру, по полсантиметра, и – до самого конца. Ага, окаянное ты бревно, ага... ты – поддаешься? Ты – поддаешься... так тебе и надо... ненавижу тебя!..

...Я не почувствовала ни полета, ни боли от падения тела наземь... я не почувствовала ничего. Вернее – я почувствовала лишь одно – как ласковая змея нежно, но неуклонно сжимает мое горло... все сильнее и сильнее... и я с инстинктивным восторгом подалась навстречу этим объятиям... странно и непостижимо, но мое тело на этот раз вполне мне подчинилось... а, может, так мне только казалось, неважно... все было неважно, кроме неуклонных и нежных объятий змеи на моем горле... еще немного, еще сильнее, еще, еще!..

А затем все кончилось... кончилось неожиданно, разом, непостижимо и совсем не так, как я надеялась. Неуклонные и нежные объятия змеи вдруг ослабли, змея выдохлась, иссякла, ее не стало, она перестала быть ощутимой. Вначале я подумала, что это и есть смерть... та самая, желанная и блаженная смерть... помню, я еще мимолетно удивилась... как, дескать, оно так – я умерла, но, тем не менее, все осталось по-прежнему... вот – прильнувшая к оконному стеклу бархатная тьма, вот – отраженный в этой тьме свет ночника, вот – мое тяжелое дыхание и мое невольное недоумение по поводу того, что, мол, только что я ощущала объятие веревки на своем горле, а теперь уже – не ощущаю... да какая же это смерть, если она ничем не отличается от жизни? А потом, вослед за удивлением и недоумением, пришло горькое разочарование: это – не смерть, я – не умерла. И мне тотчас же захотелось плакать. Всклипывая, я подняла руку и дотронулась до своей шеи. Веревка была на месте, и петля по-прежнему обнимала мою шею, но она, петля и вместе с нею вся веревка, были мертвыми и вялыми... да как же такое могло произойти?.. А, вот как: должно быть, лежа еще на кровати, я не слишком надежно закрепила узел на спинке кровати, и когда я рухнула с кровати на пол и потащила за собой веревку с петлей на моей шее, этот ненадежный узел подался вослед

за мной и сполз по дужке вниз. Да-да, так оно, вероятно, и есть: я – жива... Я жива, и все мои отчаянные надежды раздобыть веревку в сквере, затем – изготовление веревки из бязевого пододеяльника оказались напрасными. Я – жива...

«Где ты? – плача, и не надеясь на ответ, спросила я у моего единственного друга и советчика – вкрадчивого голоса. – Слышишь, где ты?»

Но, как это ни странно и ни поразительно, голос тотчас же отозвался.

«Я здесь, рядом», – сказал он.

«Ты – рядом, – еще горше заплакала я. – Ну, и что с того, что ты – рядом? Что с того проку, что ты – рядом?»

«Я – рядом», – вновь повторил вкрадчивый голос.

«Что же ты мне не помог?» – безнадежно спросила я.

«Я – не помог? – удивился мой единственный друг и советчик. – Очень странно и обидно слышать от тебя упреки в том, что я тебе не помог! А – мои советы по изготовлению веревки? Вот же она – веревка... по-прежнему на твоей шее!»

«А – толку? – рыдая, спросила я. – А – что с того толку?»

«Ну, – неопределенно сказал мой друг, – не все еще кончено. Подумаешь – не получилось с веревкой! Не получилось с ней – получится с чем-нибудь другим... как-нибудь иначе... мало ли способов! А коль имеются способы, то – отыщутся и возможности. Дело за малым – за временем... всего-то. Не сегодня – так завтра...»

«Убирайся прочь! – сказала я моему другу. – Не желаю тебя слушать... никогда!»

«Ну-ну, – сказал вкрадчивый голос, помолчал и добавил: – Не желаешь сегодня – пожелаешь завтра. Потому что – ничего еще не кончено...»

И голос исчез. Разумеется, я не видела, как он исчез, потому что это был всего только голос, но – я это почувствовала: будто вдруг где-то рядом со мной образовалась какая-то невидимая, но вполне ощутимая пустота. Я подняла руку и потрогала эту невидимую пустоту... точно, это была пустота... незримая, но вполне ощутимая промоина в пространстве...

Не знаю, сколько времени я пролежала на полу с бесполезной петлей на шее. У всякого живого человека имеется где-то внутри некий счетчик времени... так вот, внемля моим внутренним часам, мне казалось, что уже давно должно наступить утро. Но утро все не наступало, ночь по-прежнему льнула к моему оконцу, и по-прежнему в бархатной непроницаемой тьме невнятно отражался свет ночника... и я по-прежнему лежала на полу с веревкой на шее, будто какая-то огромная, донельзя уродливая парализованная зверюга, которую кто-то для чего-то привязал к кровати... Я уже не плакала: с того момента, как я прогнала моего вкрадчивого друга и советчика и взамен его рядом со мной образовалась невидимая, но вполне ощутимая пустота, плакать мне расхотелось. Я лежала, и только изредка всхлипывала, и еще мне было холодно. Мне было холодно, но, разумеется, укрыться я не могла: мое одеяло вместе с истерзанным бязевым пододеяльником осталось на кровати, до которой я не могла дотянуться...

...Очнулась я от топота ног и громких голосов. Я открыла глаза, и не сразу поняла, кто я и где я. Впрочем, постепенно и исподволь ко мне возвращалось ощущение бытия. Ночь закончилась, в окно смотрелся серый безрадостный день, я лежала на полу с веревкой на шее, в полуотворенную дверь моей светелки дуло сквозняком, а рядом со мной стояли мать и братец... Не хочу говорить о том, что было дальше, да и – ничего особенного дальше не было. Мать причитала, братец скрипел зубами и бросал на меня свирепые взгляды, с меня сняли петлю, затем меня подняли с пола и уложили обратно на кровать, затем мать принесла новый пододеяльник, натянула его на одеяло, затем

постояла, подумала и сняла пододеяльник, и с той поры на моем одеяле никогда больше не было пододеяльника... Да и потом, кажется, также не было ничего особо выдающегося. Разве вот что: почти два месяца братец затем ночевал в моей комнате, да еще, вдобавок, по двадцать раз забегал в мою комнатку днем, чтобы меня проведать, страшно при этом ругался в мой адрес и даже несколько раз бил меня по лицу...

Он ругался и бил меня, а я – молчала. Я большей частью смотрела в окно, за которым торжествовала зима, и это холодное, всеобъемлющее, равнодушное зимнее торжество вносило в мою душу сумрачный, холодный покой... я чувствовала себя частью этого отстраненного, всеобъемлющего, бесцельного торжества... я также была зимой, и снегом, и метелью, и беззвучным инеем на виднеющейся вдали старой липе, и рыжим последним листом на этой липе, который упорно и бессмысленно не желал отрываться от ветки и падать на глубокий голубой снег, чтобы затем, в следующее же мгновение, быть поднятым ветром и раствориться в низких неласковых небесах... Не знаю, что еще я чувствовала в ту зиму... наверно, больше ничего. А затем минула зима, наступила весна, братец перестал ночевать в моей комнатке... тем все до поры до времени и закончилось.

Именно так – до поры до времени. Потому что – во мне самой ничего не закончилось и не изменилось, и я сама ничуть не изменилась... а, впрочем, я – то как раз изменилась... я менялась буквально день ото дня – в худшую, разумеется, сторону. Я не имею в виду какие-то внутренние, душевные изменения, хотя, вероятно, и в этом я также менялась в худшую сторону... но внутренние, душевные изменения – это сложно, это не сразу поймешь и не сразу увидишь... а вот внешне я менялась просто – так стремительно, хотя казалось – дальше-то уж куда? Но – при мне было зеркало, а зеркало, как известно, самая правдивая вещь на свете. Зеркало говорило мне ежедневную, нелицеприятную и беспощадную правду, и некуда мне было деваться от этой правды... Господи, люди добрые, да за что же мне такое, за какие такие мои несусветные грехи... ведь не было же у меня никаких грехов, не успела я их нажить за мою короткую жизнь!.. И однажды, поглядевшись в зеркало, я что есть силы швырнула его, предельно честное и ни в чем не повинное, о стену – и только искрящиеся стеклянные брызги разлетелись по комнате! И с той поры я никогда больше не смотрелась в зеркало...

Не знаю: то ли разбитое зеркало, то ли наступившая весна, то ли воспоминания о двух моих жалких попытках самоубийства, то ли еще что-то – неведомое и непостижимое – так подействовало на меня, но с того момента, как я разбила зеркало, меня будто бы кто-то подменил. Я стала печальной, мудрой и терпеливой. Я буду жить, сказала я себе. Я буду жить, и буду надеяться, что когда-нибудь кто-нибудь мне разъяснит, для чего мне дадено такое испытание. Может статься, я когда-нибудь поверю в Бога, и Он ответит на все мои вопросы. Я даже стала представлять, как именно Господь Бог будет отвечать на мои вопросы, и какими словами... Наверно, Он явится ко мне Сам, а, может, Он мне приснится во сне... да-да, скорее всего, Он мне приснится во сне, потому что я неоднократно слышала или где-то читала, что Бог в основном снится людям во сне... ну, а коль он снится людям, то и мне приснится также... я ведь тоже человек. А, может, Бог пришлет ко мне своего посланника-Ангела... больше всего мне хочется, чтобы это было именно так... то есть, чтобы это был Ангел... эдакий кроткий улыбчивый юноша с добрым лицом и теплыми руками... а еще лучше – пускай это будет мальчишка... да-да, семилетний мальчишка с льяными волосами и удивительными, бездонными голубыми глазами... Ангел – это гораздо лучше, чем сон, потому что своему сну ты можешь верить или не верить, ты даже можешь его забыть, а Ангелу – как же ты ему не поверишь, и как ты о нем забудешь, когда он будет перед тобой, воочию и наяву...

И если это случится, если так произойдет, то произойти это должно в той самой комнатке, где я обитаю... ну, а где же еще, как не здесь? Значит, я буду сидеть и смотреть в окно, за окном будет идти дождь, и в моей комнатке никого не будет... отчего-то всегда так получается, что когда идет дождь, в мою комнатку никто не приходит. Ну, и вот – в этот-то момент и должен явиться ко мне светловолосый и синеглазый мальчишка

или юноша с добрым лицом и нежными руками... я, разумеется, ничуть его не испугаюсь, потому что я ведь буду знать, что он – Ангел, а не кто-нибудь еще... «Ничего, – скажет мне Ангел, – ничего, родимая, потерпи... ты потерпи, а за это тебе будет награда... уж такая тебе будет за твое терпение награда, что про то и не слыхано, и все твои нынешние горести враз покажутся такой несуразицей, такой безделицей... ну, скажем, как вот эти дождевые капли, что стекают сейчас по стеклам твоего оконца. Гляди – вот они только что были на стекле, и вот их уже и нет... так исчезнут и твои страдания. Потерпи, голубушка: все в мире проходит, пройдут и твои горести. Пройдут, пройдут...» «Я потерплю, – скажу я в ответ Ангелу, – я, конечно же, потерплю...» «Потерпи, родимая», – еще раз скажет Ангел, наклонится ко мне и поцелует меня в губы... а если это будет мальчишка, то он поцелует меня в щеку... а затем он растворит оконце и полетит, а я буду смотреть ему вслед, хранить на своих губах вкус его поцелуя и ждать, когда все мои напасти минуют, как миновали дождевые капли на оконном стекле... потому что коль он, Ангел, обещал мне избавление, то, значит, так оно и случится...

...Значит, тогда мне было шестнадцать лет, а сейчас – тридцать два. Половина моей жизни прошла в неподвижности и уродстве... и в ожидании появления Ангела... Но – ладно, ладно... Я – в сквере, а потому займемся-ка лучше изучением окружающей среды: он так красив и непостижим – окружающий меня мир! Вот это – сквер. Вот – дерево, которое называется дикая яблоня. А под яблоней, в коляске, я. А в метре от меня – асфальтовая дорожка, по которой то и дело снуют люди: туда-обратно, туда-обратно... Людей много – и все они разные. Большинство из них не обращает на меня никакого внимания, но некоторые, все же, обращают, и тогда в их глазах я безошибочно читаю: ох, и уродина, дескать, сидит в коляске под яблоней, ну и уродина же... свет еще не видывал подобных уродин! А я на них за это и не обижаюсь. Во-первых, привыкла, а во-вторых – за что же обижаться, если я и в самом деле уродина, которых свет не видывал? Пускай себе думают, пускай даже говорят о том вслух... ведь это же всего лишь констатация факта, а вовсе даже не желание причинить мне преднамеренную боль...

Вообще мне нравится, когда меня вывозят в сквер. Конечно, я понимаю, что мой братец делает это с большой неохотой, но ведь делает же, и поэтому я на него не сержусь – ни за преднамеренную дорожную тряску, ни за всякие слова в мой адрес... Я прекрасно понимаю, что ему, молодому и красивому, мало доставляет удовольствия катать туда-сюда такое уродливое существо как я, но он же меня возит, а ведь надо еще и увозить меня отсюда, а ведь надо еще по приезду домой вынуть меня из коляски, втащить на себе наверх во флигель, уложить в кровать, то-се... Спасибо ему за все – и за что же на него обижаться?

Впрочем, я отвлеклась: я ведь говорила о сквере. Сквер для меня – целый мир, который мне жадно хочется познавать. Познавать людей, которые проходят по асфальтовой дорожке, познавать саму дорожку, траву у ее обочин, насекомых, жужжащих в траве, деревья, облака на небе и само небо, а если вдруг случится дождь, то познавать дождь... Разумеется, далеко не каждый день меня вывозят в сквер. Случается, что и по неделям не вывозят, ну да что ж – у всех своя собственная жизнь и свои заботы, и глупо с моей стороны было бы требовать исключительного внимания к себе.

Когда я понимаю, что сегодня меня никуда не повезут, я прошу, чтобы меня посадили у окна, и целый день смотрю в окно. В моем флигельке замечательное окно, оно выходит в старый заброшенный сад, весь заглохший, весь поросший кустами, травой и цветами – большей частью желтой куриной слепотой, розовым клевером и белой ромашкой и, разумеется, лопухами. Отчего-то так получается, что в саду почти никого, за исключением собак и птиц, никогда не бывает – и это хорошо, что не бывает; из-за своей безлюдности сад кажется до предела таинственным, безгранично-необъятным, независимым... Независимый сад, так-то!



Впрочем, иногда в сад все же заходят люди. Забегают ребяташки, шумной гурьбой вваливаются гуляки, два или три раза приходили какие-то старики – старик и старуха... они приходили, садились рядышком на поваленное замшелое дерево и о чем-то долго беседовали... должно быть, они беседовали о своей стариковской жизни или, может, вспоминали минувшие годы... во всяком случае, так мне казалось. А однажды... ох, это однажды... однажды в сад зашли мужчина и женщина. Мужчина был красив и статен, женщина также была хороша и примерно одних лет со мною... на ней было изумительное летнее платье с розовыми цветами, и еще – у нее были чудесные пышные каштановые волосы, в которых играл залетающий в сад легкий летний ветер. Осмотревшись и никого не заметив (обо мне они, разумеется, даже не предполагали), мужчина и женщина уселись на траву, о чем-то поговорили, затем мужчина обнял женщину, а женщина – мужчину, затем они стали целоваться... они целовались долго и увлеченно... затем мужчина стал снимать с женщины ее замечательное платье с розовыми цветами... женщина смеялась, явно понарошку отталкивая руки мужчины... но вскоре женщина оказалась совершенно обнаженной и, в свою очередь, стала раздевать мужчину... Ну, а потом... От моего наблюдательного пункта до них было метров двадцать, густая трава скрывала их наполовину – но каким-то странным и непостижимым образом я замечала... а, может, просто чувствовала, как пульсирует на женщине каждая ее жилочка, как ее тело покрывается легкой испариной и обволакивается нежной истомой, как своими бедрами она неосознанно стремится объять не только возлежащего на ней мужчину, но и весь пустынный сад, да что там сад – весь мир, всю вселенную, как в самом низу ее живота исподволь образуется беспокойная, все нарастающая стремительная легкость... такая легкость, что хоть бери и взлетай под самые небеса... как удивительные сладкие спазмы сжимают ее гортань, и сладкие звуки погибают где-то там, внутри ее горячего тела... и легкие, счастливые женские слезы окрашивают весь окружающий мир в нежные радужные соцветия...

И вдруг я сама себя вообразила этой женщиной... да нет, вообразила – сказано слишком неточно... я просто-таки слилась с этой неизвестной мне женщиной в единое целое... она – стала я сама... и как только я это ощутила, тотчас же удивительный пламень зажегся где-то внизу моего живота и стремительно зажег все мое тело... все звуки, которые еще миг назад я запросто могла произносить, вдруг превратились во мне в необыкновенно легкие слезы, в стремительный стон... и вот я уже лечу, лечу... я стремительно взлетаю под самые небеса и одновременно низвергаюсь в сладкую пропасть... самую сладкую пропасть, которую можно только вообразить и почувствовать... я низвергаюсь в эту пропасть, стремясь как можно быстрее достигнуть ее дна, и вместе с тем всей своей сутью оттягивая соприкосновение с желанным дном, потому что и полет под небеса, и падение оттуда на дно пропасти, и само дно – все это одинаково прекрасно... так прекрасно, что и не высказать... и только легкие счастливые слезы застилают мои глаза и окрашивают весь мир в непостижимые радужные соцветия... и вот я уже на дне сладкой пропасти... я низринулась на ее дно, не помня и не ощущая самого момента соприкосновения с дном... просто – я летела и плакала – и вот я уже лежу на дне сладчайшей пропасти... я лежу – легкая, опустошенная и счастливая, с удивлением констатируя, что, оказывается, ничего лучше и желаннее этого таинственного дна у меня в жизни еще не было и что это дно и есть, возможно, то, к чему я всю свою жизнь стремилась... стремилась неосознанно, подспудно, сама, может быть, не отдавая себе отчета, куда и зачем я стремлюсь, и какой смысл в том стремлении... я не знаю, как точнее и понятнее можно выразить то, что я ощущаю, что кипит и клокочет внутри меня и что заставляет меня плакать счастливыми и легкими слезами... все слова столь грубы и приблизительны, что с их помощью невозможно выразить просто ничего... ничего.

...Не знаю, сколько времени я лежала рядом с моим мужчиной на дне сладкой пропасти... время в тот миг было не важно, не существенно и бессмысленно... просто – мы лежали на дне сладкой пропасти – я и мой мужчина. Он лежал, покусывая стебелек

ромашки, и смотрел в синее небо и бегущие по нему белые облака, а я – уткнувшись разгоряченным лицом в его плечо... и не было для меня ничего в мире желаннее, надежнее и мягче, чем плечо моего мужчины.

А затем мой мужчина и я стали одеваться... вернее, было не так: вначале мой мужчина оделся сам, а затем стал одевать меня... и опять же – все было не так. Перед тем, как начать меня одевать, мой мужчина долго стоял передо мной на коленях и улыбаясь, смотрел на меня... а я, легкая, счастливая и обнаженная, лежала в густой траве, и в моих бесподобных каштановых волосах путались белые ромашки, розовый клевер и желтая куриная слепота. Ну, а затем мой мужчина стал меня одевать... он одевал меня неспешно, с удовольствием и смехом, и я чувствовала, что одеваться мне было так же приятно, как и недавно раздеваться. Впервые в своей жизни я себя ощущала... как бы поточнее выразиться... окрыленной, что ли... да-да, именно окрыленной, а вовсе не парализованной оплывшей уродиной... я и думать забыла, что я – уродина... я была той прекрасной женщиной, только ею – и никем более! И вместе с моим мужчиной я вскоре покинула сад.

Конечно, вскоре наваждение схлынуло, я пришла в себя и вновь оказалась той, кем я есть на самом деле – уродливой, неподвижной, сросшейся с инвалидной коляской развалиной. Однако какая-то частица меня той, какой я была в саду, во мне все же осталась – и как же трепетно я лелеяла внутри себя эту частицу! Несмотря на прекрасную погоду, я, сославшись на плохое самочувствие, к радости братца даже отказалась от поездки в сквер и день-деньской просидела у окна, надеясь, что те двое – мужчина и женщина – вновь придут в сад, возлягут на свое ложе из цветов и трав, и вновь повторится то, что было вчера, и я вновь сольюсь с той женщиной, и на сей раз, может быть, так ею и останусь... Но они больше не пришли, и лелеемая мною частица той женщины постепенно во мне иссякла. На всякий случай я прождала их еще две недели, затем объявила, что выздоровела, и на следующий день меня отвезли в сквер.

А вообще–то меня зовут Олей...

\* \* \*

– Сегодня утром в моей жизни случились два независимых друг от друга события. Во-первых, моя жена уехала к своей матери в другой город погостить, а во-вторых, я вдруг почувствовал, что сегодня со мной произойдет нечто необыкновенное – настолько необыкновенное, что сколько бы я еще ни жил, ничего подобного более со мной не случится... вот именно сегодня, может быть, еще до наступления вечера, и уж во всяком случае, не позднее наступления ночи.

К первому событию, то есть к отъезду жены, я отнесся так, как и полагается относиться любящему мужу. Мы с женой провели бурную прощальную ночь, а когда наступило утро, мы единодушно и вполне искренне вознегодовали: вот, дескать, не могло оно, утро, подождать со своим наступлением и подарить нам еще хотя бы несколько мгновений блаженной ночи!

Добродушно потешившись над измочаленным видом жены, я вызвал такси, и жена, осыпав меня тысячью прощальных поцелуев, умчалась к утреннему поезду. Я же принялся жарить яичницу, кипятить кофейник, гладить рубашку – одним словом, готовиться к предстоящему трудовому дню, попутно размышляя, что вот де живем мы с женой в браке уже четыре года, да и до брака были знакомы изрядное количество времени, – а вот не наскучили мы до сих пор друг дружке, и это хорошо, это замечательно, что не наскучили, иначе я просто не представляю, как бы мы с ней жили, если бы нами овладели скука и взаимное отвращение. А, впрочем, что тут и представлять–то? Мы бы с ней тогда жили точно так же, как живет большинство моих коллег по работе со своими подругами жизни. Наслышался и навиделся! Нет, моя жена

никому из этих подруг не чета. Умница, красавица, а какая затейница в любви! Например, она обожает заниматься любовью, когда в окно нашей спальни ломится полная луна. А в промежутках между нашими любовными таймами она встает и танцует в лунных лучах – нагая, изящная... и кажется, будто лунные лучи просвечивают ее насквозь, и нет в ней ни изъяна, ни единой темной точки... Я долго не мог привыкнуть к этой ее причуде и все допытывался, что значат для нее и луна, и эти танцы в лунном свете. «А вот нравится – и все!» – хохотала она...

...Закончив ближе к вечеру работу, я вспомнил, что отныне целых две недели я некоторым образом холостяк, а это означает, что домой мне торопиться особенной нужды нет, и, стало быть, можно не спеша пройтись по городу и даже заглянуть в пивной бар, где я не был, кажется, с того времени, как женился. Услышав о моем намерении, мне в попутчики напросился один мой сослуживец, и мы пошли, болтая по дороге о разных отвлеченных пустяках.

«Да, кстати, – сказал мой попутчик, – если мы пройдем через этот сквер, то срежем угол и, таким образом, сократим путь на 696 шагов. Проверено практикой!»

«Что ж, давай сократим», – согласился я, и подзабытое за день ощущение того, что именно сегодня со мной должно случиться нечто необыкновенное, вдруг охватило меня с новой силой.

Да-да, именно сегодня... именно сегодня, и, возможно, как раз в этом самом сквере! Черт, просто наваждение какое-то, честное слово!.. Уже абсолютно не слушая разглагольствовавшего о чем-то попутчика, я шел по асфальтовой дорожке, разрезавшей сквер надвое, и мое сердце трепетало от охватившего меня странного предчувствия. Вот именно сейчас... вот именно не доходя до того дерева... кажется, это дикая яблоня... и той скамьи со сломанной спинкой... да-да, именно сейчас!..

«Мать честная, ну и уродина! Слышишь, Андрюха (меня зовут Андрей), ты только взгляни! Я говорю – ну и уродина же!» – вдруг произнес мой попутчик.

Я отвлекся от своего неизъяснимого, но чрезвычайно сильного ожидания чуда, взглянул в ту сторону, куда указывал мой попутчик – и отчего-то остолбенел... какая-то непонятная мне самому заторможенность овладела мною! Хотя, впрочем, это было и не мудрено: та женщина, на которую указывал мой попутчик, и впрямь была неопишимо уродлива – это ощущалось даже при первом беглом взгляде. Сидя в инвалидной коляске и сильно гримасничая, женщина пыталась поднять с земли книгу, которую, должно быть, сама же и уронила. Но дотянуться до книги она не могла. Ее оплывшее, вдавленное в коляску тело было абсолютно неподвижным, а руками, разумеется, она до земли не доставала, хотя и очень старалась. Не знаю, отчего, но это зрелище произвело на меня весьма сильное впечатление... можно даже сказать – это зрелище меня потрясло...

«И зачем только живут – такие? – ошарашено произнес мой спутник. – Ну и ну...»

Я же не сказал ничего: какая-то непостижимая для меня самого сила вдруг вывела меня из состояния оцепенения, я быстро подошел к женщине, поднял книжку и положил ее женщине на колени.

«Спасибо вам, – сказала она. – Большое спасибо».

Голос женщины дико дисгармонировал с ее внешностью. Если бы, допустим, я разговаривал с ней по телефону, то непременно решил бы, что она писаная красавица – настолько нежным и мелодичным у нее был голос.

«Я ненароком вздремнула, – продолжала между тем женщина, – вот книга и упала. А поднять ее – сами понимаете... спасибо Вам еще раз».

«Следующий раз, – сказал я, – держите Вашу книгу покрепче – даже когда заснете непробудным сном!»

«Надо будет постараться, – сказала женщина. – Потому что далеко не всегда находится рядом столь отзывчивая душа, как Ваша...»

«Разве это так тяжело – подойти и поднять упавшую книгу?» – спросил я.

«Наверно, не тяжело, – ответила женщина, – да только отчего-то редко кто подходит и поднимает...»

«Ничего, – сказал я лишь бы что-то сказать, – ничего...»

И я отошел к ожидавшему меня попутчику. Шагов сто мы прошли в молчании.

«Я вот думаю... – вдруг сказал мой попутчик. – Почему одним дается все – и богатство, и красота, и здоровье, и все остальное, а другим – такое... – махнул рукой попутчик в сторону женщины. – Интересно, есть ли у нее родные? Я думаю, что есть: ведь вывозит же ее кто-то в этот сквер, да и обратно тоже... Вряд ли она сама...»

«Ты это о ком?» – рассеянно спросил я.

«Да об этой... об уродине – о ком же еще? – ответил попутчик. – О ней... Пойдем, пойдем... ты чего остановился?»

«Прости, – неожиданно для самого себя сказал я, – но – я не пойду в бар... передумал. Не хочу. Иди сам».

«А ты – куда?» – с каким-то едва уловимым намеком спросил попутчик.

«Домой, – ответил я, – куда же еще-то?»

«Ну-ну...» – сказал мой попутчик все с тем же намеком, пожал плечами, и ушел.

Я же какое-то время постоял на месте, а затем повернулся и направился в ту сторону, где в инвалидной коляске сидела та самая женщина. Почему я так поступил, что мне было нужно от этой женщины? Если бы я знал... Будто какая-то неведомая сила вынуждала меня делать то, что я делал.

Ее еще никто никуда не увез (мой попутчик был прав: вряд ли женщина была в состоянии передвигаться самостоятельно – хоть бы и на коляске). Она по-прежнему недвижимо сидела в своей коляске и, кажется, внимательно читала ту самую книгу, которую десять минут назад я поднял с земли. Я отошел за черемуховый куст и со своего укрытия принялся внимательно наблюдать за женщиной. Опять-таки – я абсолютно не отдавал себе отчета, для чего я так поступаю: будто некая посторонняя воля руководила моими действиями... Я наблюдал за женщиной целый час, а, может, даже больше, не знаю... я наблюдал до тех пор, пока к женщине не подошел какой-то молодой верзила, ухватился за коляску, и ни слова не говоря, покатил ее вдоль по аллее, затем свернул на какую-то, уходящую вправо, тропинку, и скоро верзила и коляска с женщиной скрылись с моих глаз. Я вышел из своего укрытия и отправился домой.

Дома я не стал ужинать, весь вечер рассеянно смотрел телевизор, не вникая в суть творящихся на экране событий, затем лег спать, но вскоре понял, что спать мне совершенно не хочется. Вначале я думал, что моя бессонница – следствие отсутствия жены, но вскоре сам себе поражаясь понял, что ни жена, ни ее отсутствие здесь ни при чем, а ворочаюсь я с боку на бок и пялюсь в темноту по совершенно иной причине – из-за той уродливой женщины в инвалидной коляске. Да-да, так оно и было... из-за нее! Это для меня было странно... можно сказать, это было более чем странно! Жалел ли я эту без сомнения несчастную женщину... впрочем, какую там женщину – это несчастное существо, сострадал ли ей? Отчасти, вероятно, так оно и было, но не жалость являлась причиной моей упорной бессонницы, нет, не жалость... причиной было нечто другое, чего я никак не мог до конца постичь и осознать. Существо в инвалидной коляске и нелепом спортивном костюме зеленого цвета буквально стояло перед моими глазами, и именно потому я и ворочался. А тут еще как назло из-за туч выползла луна и принялась, зараза

такая, пялиться то в одно, то в другое окно спальни... с ума можно сойти! «...Потому что далеко не всегда находится рядом столь отзывчивая душа, как Ваша», – так, сдается, сказала она, когда я подал ей упавшую книжку. «Ничего, – сказал я ей в ответ, – ничего...». Н-да... но все-таки – куда мне деваться от окаянной луны, как мне от нее спастись? Невозможная луна, невыносимая... во все окна разом светит, черт бы ее побрал!..

Утром я встал совершенно разбитым и измученным, что, в общем-то, было и понятно – ведь заснул я лишь тогда, когда в окне уже угадывался рассвет. Есть мне не хотелось, я лишь выпил сразу три чашки кофе и отправился на работу. А, отработав, я пошел в тот самый вчерашний сквер. Я прекрасно осознавал, для чего я туда иду: чтобы увидеть ту вчерашнюю уродину... ту женщину в инвалидной коляске.

...Она сидела в той же самой коляске и на том же самом месте, правда, сегодня безо всякой книги. Похожая на неподвижную, облаченную в зеленое одеяние глыбу, женщина занималась тем, что просто провожала глазами всякого проходящего по аллее.

«Здравствуйте», – сказал я, подходя к ней.

«Здравствуйте», – сказала она, узнав меня.

«Мне очень жаль, – сказал я, – что у Вас сегодня нет вчерашней книги».

«Почему?» – спросила она.

«Потому, что я так и не узнал ее названия», – сказал я.

«Вам хотелось бы узнать ее название? – удивленно спросила женщина. – Но для чего?»

«Во-первых – просто интересно, – сказал я. – А во-вторых – как это так? Книгу в руках держал, а названия ее – не узнал. Несоответствие получается. Вы согласны со мной?»

«Если хотите, я Вам могу сказать ее название», – сказала женщина.

«Очень хочу!» – сказал я.

«Пожалуйста, – мне показалось, что моя собеседница чуть улыбнулась. – Рэй Бредбери, рассказы».

«Так прямо и называется? – спросил я. – Ну... По-моему, скучное название для книги. Хотя... У рассказов, вероятно, имеются свои собственные названия?»

«Разумеется», – сказала женщина.

«Тогда назовите мне хотя бы несколько», – попросил я.

«Пожалуйста, – вспоминая, сказала женщина. – «Золотые яблоки солнца», «Разговор оплачен заранее», «Улыбка», «Калейдоскоп», «Синяя бутылка»...»

«Синяя бутылка? – переспросил я. – Отчего же именно синяя... почему, скажем, не зеленая?»

«Наверно, могла быть и зеленая... – в раздумье сказала женщина. – Но синяя, мне кажется, – как-то загадочнее... таинственнее, что ли. А, может, даже и трагичнее. Представьте: несчастный человек бродит по пустынному, вымершему Марсу и ищет древнюю синюю марсианскую бутылку. Все ее ищут... Бродят по мертвому миру, и ищут. Кто ее найдет, тому она исполнит любое его желание. Любое – самое сокровенное...»

«Вот, значит, как. Стало быть – самое сокровенное желание... Мне кажется, это не слишком-то интересное занятие, и уж во всяком случае – довольно-таки бессмысленное», – сказал я.

«Почему же?» – с явными нотками заинтересованности в голосе спросила моя собеседница.

«Потому, – ответил я, – что когда исполнится самое заветное твое желание – для чего же тогда и жить? Жить-то тогда, я думаю, будет уже неинтересно... не будет смысла Жить и ждать – это, по-моему, одно и то же».

«Точно так же, – сказала женщина, – рассуждает и сам автор рассказа. Но дело в том, что... кстати, какое, по-вашему, самое заветное желание у всякого человека... ну, может, не у всякого, а – у большинства людей? Самое-пресамое... только не торопитесь с ответом!»

«Ну, это просто, – сказал я. – Самое-пресамое желание для большинства... вероятно, разбогатеть, безбедно прожить жизнь, любить и быть любимым... ведь так?»

«Нет, – ответила женщина, – не так. Совсем не так... даже наоборот. Самое-пресамое заветное желание человека – умереть... так, по крайней мере, считает автор, а вослед за ним – и его герои. Не все, разумеется, но – большинство... те, у которых утонченные души...»

«Как Вы сказали... умереть? – спросил я удивленно. – Гм... умереть. Для этого, наверно, надо быть очень несчастным... и притом понимать, что ты несчастен... потому что счастливые о смерти не думают, и не желают ее. Счастливые – хотят жить. Вы сказали, что этот человек... там, на Марсе... который искал синюю бутылку... он был несчастен?»

«Это сказала не я, а сам автор», – в раздумье ответила женщина.

«Которого зовут...» – я пошевелил в воздухе пальцами.

«Рэй Бредбери», – напомнила женщина.

Удивительное дело: чем больше я с этой женщиной беседовал, тем менее замечал ее уродливость; более того, какое-то подспудное, очень глубоко сидящее во мне чувство говорило, что моя собеседница мне даже нравится... впрочем, я, кажется, не совсем точно выразился... моя собеседница меня волновала – ну, скажем, как красивая женщина волнует всякого мужчину... поразительное в данном случае чувство... я поражался сам себе!

«Одного только я не пойму, – сказал я в продолжение нашего разговора. – Лететь на Марс, чтобы там умереть... ведь гораздо проще осуществить такое желание здесь, на Земле, не правда ли? Не понимаю... Впрочем – марсианская бутылка, которая знает самые сокровенные человеческие тайны – даже такие, о которых человек не догадывается сам... в этом, конечно, что-то эдакое есть... И все равно – не понимаю... И что же, все те, кто находили эту бутылку, и впрямь умирали?»

«Не все, а только те, у которых утонченные души, – ответила женщина. – Которые ощущали себя несчастными... Так – написано в рассказе. Все они умирали... смерть – это наивысшее человеческое благо, самое сокровенное желание всякого человека с тонкой душой. Они умирали... превращались в разноцветные искры, а затем исчезали и сами искры... Превратиться в разноцветные искры – красивая смерть... Вы со мной согласны?»

«Наверно, – в раздумье сказал я. – Превратиться в разноцветные искры и навсегда затем исчезнуть... да, это и впрямь красиво... И все равно – я не понимаю...»

«Должно быть, – сказала женщина, – и Марс, и синяя бутылка – это аллегии. На самом же деле...»

«Простите, – вдруг перебил я свою собеседницу, дивясь невесть как пришедшей ко мне мысли. – Скажите, вы долго еще будете находиться здесь?»

«Может, час, а, может быть, полтора», – ответила женщина, явно не понимая, отчего я вдруг столь неожиданно переменял тему разговора.

«Тогда, – сказал я, – очень прошу Вас – не уходите... не уезжайте до моего возвращения! Очень Вас прошу... дождитесь меня... я мигом!»

Оставив мою удивленную собеседницу, я помчался к выходу из сквера, где, как я мимоходом успел заметить, продавались цветы, и среди них – букет из трех удивительных белых роз. Вот эти-то розы мне вдруг и захотелось подарить моей собеседнице... именно так – подарить ей три белые розы! Разумеется, что, совершая столь неожиданный для самого себя поступок, я никаких особых целей тем самым не преследовал... да и какие цели можно преследовать применительно к неподвижной уродине в инвалидной коляске... это было бы даже и не смешно! Просто – мне вдруг захотелось подарить ей три белых розы... только и всего. Только и всего... три белые, удивительные розы! Я мыслил и действовал в порыве мгновенных чувств, – а что такое – мгновенные чувства? Осознание и оценка того, что ты натворил, повинуюсь собственным мгновенным порывам, обычно приходит гораздо позже... потом. Ну да вряд ли стоило сейчас об этом размышлять, сейчас надобно было действовать. Только бы никто не успел купить эти три белые розы, только бы никто их не купил!..

К счастью, розы еще не были проданы. Купив, не торгуясь, букет, я, уже не спеша, пошел назад. Я шел и рассматривал розы. Они были чудо как хороши! Их нежно-белые по краям лепестки переходили в таинственную, глубокую, окрашенную в нежный кремовый цвет бархатистость ближе к сердцевине... авнутри каждого цветка таилась, несмотря на то, что время было уже вечернее, непросохшая утренняя роса! Я разглядывал розы, и мне казалось, будто они мне улыбаются – каждая своей собственной, неповторимой, подспудно будоражащей улыбкой... Бережно держа в руках эти три белые улыбки, я подошел к моей собеседнице.

«Вот, – сказал я, протягивая розы, – это – вам...»

Само собою, она ничего подобного никак не ожидала, поэтому изумилась до крайней степени.

«Мне?! – спросила она. – То есть мне... для меня... для чего... зачем?!»

«Просто так, – сказал я, – на память».

«На память – о чем?» – все так же пораженно спросила она.

«О чем? Например, о нашей сегодняшней встрече, – сказал я. – О нашей с Вами беседе о синей бутылке, смысле жизни и самых потаенных человеческих желаниях. Об этом вечере, в конце концов...»

«Вы что же, – спросила она, – каждому встречному дарите такие чудесные цветы?»

«А они, по-вашему, и вправду чудесные?» – спросил я.

«Они изумительные! – ответила она. – Но...»

«Тогда – никаких «но»! – нарочито протестующим тоном сказал я. – При чем тут всякие «но»? Просто – мужчина дарит женщине цветы... обыкновенное дело! Гляньте, на них не успела еще высохнуть утренняя роса! Берите же!»

«Утренняя роса... – сказала женщина, принимая букет, и вдруг ее губы задрожали мелко-мелко. – Спасибо Вам... но простите... мне хотелось бы сейчас побыть одной... наедине с этими цветами и...»

«Да, конечно, – сказал я. – До свидания. Еще лишь одно: меня зовут Андрей».

«Оля...» – едва слышно сказала женщина.

Если кто-то думает, что я тот же час ушел, то он ошибается. Нет, я и в самом деле ушел, но – всего лишь за черемуховый куст, где, притаившись, стал наблюдать за женщиной, которую звали Олей, и которой я подарил три белые розы. Сейчас она откровенно плакала, уткнувшись лицом в цветы. Мне казалось, что я прекрасно понимаю ее чувства... да и что тут было понимать! Ей подарили прекрасный букет из трех белых роз! Учитывая все мыслимые и немыслимые обстоятельства, такое в ее жизни наверняка было впервые. Заплачешь тут... любой бы на ее месте заплакал! Разумеется, я не считал свой поступок чем-то исключительным, и уж тем более у меня не имелось желаний проводить с этой несчастной женщиной какие бы то ни было психологические эксперименты. Какие эксперименты, с какой такой целью... зачем... в чем была бы их суть и смысл? Просто – я сделал то, что сделал. Я подарил ей букет из трех белых роз. И все.

...Оля все еще плакала, когда к ней подошел вчерашний дылда.

«Тю! – сказал дылда, – нашей уродине кто-то подарил цветочки! Бывают же чудеса на белом свете... ну и ну!»

Высказавшись таким образом, дылда ухватил коляску и скорым темпом потащил ее по кочкам и колдобинам. Оля сидела в коляске и – я видел это – всеми силами старалась уберечь свои розы, нежно держа их на весу... Малость постояв за кустом, я украдкой отправился за дылдой и, соответственно, за коляской с Олей. Мне вдруг стало интересно узнать, а где же она живет...

\* \* \*

– Мне подарили цветы! Впервые за всю мою бесталанную жизнь нашелся мужчина, который подарил мне три белые изумительные розы! Конечно, он чудак, этот мужчина. Очень даже возможно, что таким необычным способом он преследует свои, одному ему ведомые цели. Впрочем, о каких таких целях я, дура эдакая, говорю? Какие цели применительно ко мне может преследовать мужчина?... А, может, он какой-нибудь маньяк? Да уж, маньяк... хотела бы я видеть того маньяка, который мог бы позариться на меня такую... да и не похож он ни на какого маньяка! Интеллигентный, импозантный мужчина... вероятно, неглупый... вряд ли глупый человек так бы сразу ухватил суть «Синей бутылки»... А он – ухватил... он высказывал очень дельные мысли... и он не боялся говорить о том, что многого не понимает в «Синей бутылке»... не всякий решится сказать о себе, что он – чего-то в чем-то не понимает... для большинства сознаться в своем незнании сродни позору... а он – признался... он, должно быть, весьма незаурядная личность... но кто же он такой?

Я думаю, что здесь все дело в элементарной жалости. Незаурядные люди – они все сострадательные... иначе, наверно, и быть не может. Жаль ему стало меня, уродину, вот и решил осчастливить цветочками... Ну, да ладно. В моем положении роптать и смешно, и грешно, и вообще бессмысленно. Тем более что цветы – сущее чудо! Вот они стоят – в вазочке на подоконнике. Пускай эти три белые розы и являются символом непрощенного ко мне сострадания, пускай и напоминают косвенно о моем уродстве и беспомощности – все равно это настоящие, прекрасные белые розы, которых мне отродясь никто не дарил, да, вероятно, больше и не подарит... Розы мои розы – какие же вы удивительные, и какой у вас запах... ночью-то! Ну вот: мне опять хочется плакать, я опять реву...

\* \* \*

– Теперь я знаю, где она живет. Окно ее флигелька выходит в старый заброшенный сад, где, по-моему, никогда никого не бывает. Да, но и что с того? Ровным счетом ничего.



Просто – окно ее флигелька выходит в старый, заброшенный сад. При желании можно было бы перелезть через забор, незамеченным пройти по саду и свободно забраться в это окно...

Какие-то странные посещают меня сегодня мысли! Ну что это такое, в самом деле – перелезть через забор, незамеченным пройти по саду, забраться в окно... Кому и для чего все это нужно? Ну и ну... я сам себя не понимаю. Мне самому от себя смешно, честное слово! Включу-ка я лучше телевизор, сварганю-ка я себе ужин, сварю-ка кофею! По идее, вот-вот должна позвонить жена: наверно, уже добралась до места. Ага, вот и звонок! Точно, женушка. Ну, здравствуй, любимая, здравствуй. Рад, что добралась благополучно. У меня все нормально. Жарю картошку, пью кофе и смотрю телевизор. Люблю тебя и целую. С нетерпением жду обратно. Пока. А все-таки – если перелезть через забор и, незамеченным пробраться по саду, то уж залезть в ее окно – сущие пустяки...

Следующим днем был выходной, на работу идти было не нужно, и это обстоятельство вселило в мою душу какое-то неосознанно-смутное ощущение досады, раздражения, разочарования... не знаю даже, как это и назвать. В самом деле – чем мне сегодня заняться? Сидеть истуканом у телевизора – да ну его, этот телевизор! Без толку слоняться по городу – да ну его, этот город! Может, пойти в пивбар? Вот это уже похоже на дельную мысль... тем более, если пройти по скверу, то путь окажется короче на 696 шагов. Впрочем, постой-ка, погоди, милый друг! Сознайся-ка ты себе самому – пивбар ли тебе нужен или... В том-то и дело, что никакой не пивбар, а это самое «или»... в том-то, милый мой, и все дело. Парализованная уродина в инвалидной коляске тебе нужна, вот так-то! И нечего самого себя водить за нос – если уж быть откровенным перед самим собой до самого донышка! Так-то... Да – но что с того? Что тут такого, если я подойду к той женщине и продолжу с ней разговор... ну хотя бы о том же самом писателе... как бишь его... кажется, Рэй Брэдбери? Наверняка, помимо «Синей бутылки», у него имеются и другие рассказы. Да и с «Синей бутылкой» далеко не все ясно...

Схожу – исключительно ради познавательного интереса. Хотя – какой смысл идти? За окном – сплошная хмарь, вот и дождик, кажется, уже накрапывает... точно, накрапывает дождь. Вряд ли ее сегодня вывезут в сквер – в такую-то погоду. А, может, и вывезут... может статься, уже и вывезли. Каково ей одной – под дождем? Ни укрыться, ни сдвинуться с места... и ведь вряд ли кто поможет! Ведь даже книгу – и ту никто не поднял, кроме меня!.. Нет, все-таки схожу. А если ее в сквере нет, заверну в пивбар. Или – вернусь домой. Только и всего.

...Ни на прежнем месте, ни во всем сквере ее не оказалось. Понятное дело – дождь. Ну а, допустим, если все же не дождь причиной ее сегодняшнего отсутствия, а, предположим, имеется какая-нибудь иная причина... скажем, что-нибудь неожиданное и скверное? Например, она заболела? Или даже так – попросила никогда больше не вывозить ее в этот сквер, где шляются всякие подозрительные типы, ни за что ни про что дарящие ей белые розы? Как узнать, как убедиться, что ничего страшного с ней не случилось? В принципе – очень просто: надо только подойти к дому, где она живет, перелезть через забор, пройти по саду, подобраться к окошку, которое, наверно, и открыт-то ничего не стоит... А что тут такого, в самом деле? Мы ведь теперь с ней вроде как друзья... а разве друг не имеет права навестить друга?.. Ну, а чтобы никого не смущать своим лазанием по заборах и шастаньем по саду, следует, вероятно, дожждаться вечера. Вечером-то будет сподручнее, это уж наверняка...

... Время в дурацком пивбаре тянулось раздражающе медленно. Я коченел за кружкой безвкусного пива, в пол-уха слушал легкомысленную музыку, вяло отбивался от назойливых кандидатов в собутыльники и еще более назойливых непотребных женщин, смотрел в окно на непрекращающийся дождь – но окаянные часовые стрелки будто прилипли к одному и тому же месту... и вновь я припадал к кружке с безвкусным пивом, и

вновь посылал к чертовой матери вьющихся вокруг кабацких девок, и вновь тупо смотрел на истекающий дождевыми слезами куст за окном пивбара...

Наконец, вроде бы начало темнеть: дождь из отдельных водяных жгутиков превратился в серую струящуюся массу, куст за окном стал похож на замершего нахохлившегося зверя... Оставив недопитую кружку и оттолкнув от себя кабацкую девку, я пошел к выходу. На улице шел упорный дождь, и под этим дождем ноги сами несли меня к забору, старому саду за забором и окну флигеля, выходящему в сад – и я совершенно не сопротивлялся и совсем не удивлялся своеволию собственных ног...

\* \* \*

– Сегодня весь день шел дождь, и, разумеется, братец не пожелал при такой погоде везти меня в сквер. А жаль: мне очень хотелось посидеть под дождем, стать совершенно мокрой от дождя, со счастливым одурением повертеть головой, так чтобы капли с моих мокрых волос разлетались радужным веером... Ну да кто в этом мире когда-либо потакал моим желаниям – пускай даже и таким невинным, как вымокнуть под дождем? Ладно, ладно... Пришлось весь день лежать, немножко смотреть телевизор, который, кстати, я презираю и даже ненавижу, немножко читать, немножко дремать, а большей частью – смотреть как по оконному стеклу скатываются дождевые капли, и еще любоваться моими розами. Любуясь розами, я невольно вспомнила и о том мужчине, который эти розы мне подарил. Мне вдруг захотелось отгадать... мне захотелось понять – а кто же он, этот мужчина? И – для чего он подарил мне такой бесподобный букет?

Подумав о букете и о мужчине, я тут же вспомнила, что вчера я уже пыталась отыскать ответы на эти вопросы, и вроде бы даже отыскала их... вчера я думала, что это все – из жалости ко мне, убогой... а вот сегодня я так не думала. Сегодня я думала иначе... сегодня мои мысли были более расплывчатыми, более общими и, если можно так выразиться, более восторженными... да-да, именно так – более восторженными! В конце концов, я даже додумалась до того, что мужчина, подаривший мне изумительные розы, был ни кто иной как Ангел... тот самый Ангел, о котором я грезила раньше, да и сейчас нет-нет и вспомню... Правда, по моему разумению, Ангел обязан выглядеть как-то иначе... а, впрочем, откуда мне знать, как он обязан выглядеть? Я никогда не видала Ангела, я его только ждала... Итак, продолжала думать я, тот вчерашний мужчина в сквере – Ангел. Я его ждала – и вот я его дождалась. Все логично, закономерно и правильно. Явился Ангел, затеял со мной разговор и подарил мне букет из трех белых роз. И мне сразу же стало легче жить на этом неласковом для меня свете. Для того, наверно, Ангелы и существуют, для того они и являются, чтобы облегчить человеческую жизнь. Спасибо тебе, Ангел...

...А потом стало темнеть, пришла мать и принесла ужин, а когда я поужинала, мать выключила телевизор, включила ночник и молча ушла: мы с матерью почти всегда, за исключением каких-то отдельных случаев, и встречаемся, и расстаемся без лишних слов – об этом, сдается, я уже говорила. Итак, мать молча включила ночник... надо сказать, что я всегда стараюсь спать при включенном ночнике, потому что побаиваюсь темноты. Когда наступает темнота, мне обычно начинают мерещиться всяческие ужасы, из темных углов моей комнатки начинают выступать разнообразные страшные хари – не всякую ночь, разумеется, да ведь и одного раза достаточно, чтобы испугаться навсегда... тем более, в моем положении, когда ни убежать, ни защититься... А при включенном ночнике вроде бы и ничего – можно дожидаться первого солнечного луча, которого обитающие в моей комнатенке хари очень боятся, и как только луч появляется, они тут же убегают... Этот сияющий приглушенным светом ночник – самое близкое для меня существо, во всяком случае, в ночное время. Он – мой верный страж, добрый друг и надежный хранитель моих ночных сокровенных мечтаний и грез, которых кроме него я не доверяю больше никому, он мой собеседник и свидетель моих невидимых миру слез...

Однако нынешним вечером даже мой верный страж светильник не уберег меня. Какой ужас я испытала в самом начале этого в высшей степени необычного происшествия, какой ужас! Вдруг отворилось беззвучно окно в моей комнатенке, которое, оказывается, не было заперто даже на шпингалет – и в проеме возникает темный человеческий силуэт! Кто бы не испугался на моем месте, будь он даже в добром здравии и не прикованным к постели! Вполне естественно, что испугалась и я, да притом еще как испугалась! Ну, думаю в испуге, вот и пришел мой конец! Да притом, какой нелепый конец – такой же, как и вся нелепая моя жизнь! А все едино – умирать – то не хочется... это раньше мне хотелось умереть, да... а сейчас – не хочется... причем, именно сейчас, именно такой смертью, да еще – когда на моем окне стоят в вазе три белые розы!

И я приготовилась защищаться... то есть вознамерилась закричать таким криком, чтобы его мог услышать весь мир... ну, а что же еще я могла сделать, чтобы себя защитить?

«Умоляю, – вдруг произнес силуэт тихим голосом, – только не кричите! Я не сделаю Вам ничего плохого!»

Говоря так, мой неожиданный гость как-то нелепо взмахнул рукой, и от этого его движения ко мне вдруг вернулась способность воспроизводить звуки... нормальные человеческие звуки, а не душераздирающий и умоляющий крик.

«Не машите руками! – сказала я незнакомцу. – Вы можете уронить мои розы... видите – в вазочке на подоконнике?»

«В самом деле – розы, – сказал мой таинственный посетитель, и вдруг рассмеялся. – Букет из трех белых роз!»

«Не вижу ничего смешного! – раздраженно сказала я. – Да, три белые розы. И знаете, что я Вам скажу еще...»

«Да ведь это я их Вам подарил! – перебил меня мой нечаянный гость. – Вчера, в сквере... помните?»

«Отойдите от окна и подойдите ближе к свету! – сказала я. – В самом деле... это Вы...»

«Ну, вот, – сказал гость, – все и образовалось!»

«Ничего не образовалось, – возразила я, и при этих словах мой страх почему-то полностью улетучился. – Ничего не образовалось! Для чего Вы здесь? Почему вечером и через окно? И вообще – кто Вы такой?»

«Просто-таки водопад вопросов! – опять засмеялся незнакомец, который, впрочем, отчасти все же был мне знаком: ведь это и вправду именно он подарил мне букет, и это именно с ним мы дискутировали о синей марсианской бутылке, и это именно о нем я размышляла все последнее время и даже решила, что он – мой выстрадавший Ангел. – Уж и не знаю, на какой из них отвечать в первую очередь...»

«Тогда – на последний!» – велела я.

«То есть – кто я такой?» – уточнил мой неожиданный посетитель.

«Вот именно», – сказала я, и вдруг ощутила себя такой, какой, в общем, и была – возлежащей на кровати бесформенной колодой с оплывшим, дурным лицом и всклокоченными волосами... и от такого моего ощущения мне сразу же расхотелось беседовать с моим неожиданным гостем, кем бы он ни был – пускай даже и Ангелом.

«Ладно, – сказала я, – не надо никаких ответов... ничего не надо. За розы, конечно, еще раз спасибо... но уходите. Немедленно уходите... и прошу Вас, закройте поплотнее за собой окно».

«А если я не выполню Вашего требования и не уйду – тогда как? – спросил мой гость, и вдруг спохватился. – Простите, я, кажется, сморозил изрядную глупость... я совсем не то хотел сказать! Умоляю, выслушайте меня... в конце концов, ведь не каждый же день, наверно, к Вам приходят гости... то есть я хотел сказать – не каждую ночь... тем более, таким необычным образом, и...»

«И не всякие из них, – перебила я, – дарят мне чудные белые розы – Вы это хотели сказать? Ладно. Розы Вас извиняют... но все равно – вдруг сюда сейчас кто-нибудь зайдет... представляете?»

«А что, должны зайти?» – спросил мой гость.

Разумеется, мне тут же надобно было сказать, что да, должны зайти с минуты на минуту, что вообще меня, убогую, проводят ровно семьдесят семь раз за ночь... но отчего-то я сказала совсем обратное.

«Да нет, – сказала я, – в принципе не должны... ночью обычно ко мне никто не заходит».

«Ну, и чудесно! – воскликнул гость. – Стало быть, мы сможем спокойно поговорить, не боясь ничьего вторжения!»

«Поговорить – о чем? – спросила я, и неожиданно опять подумала о том, что мой собеседник – это ниспосланный мне за мои страдания Ангел... это непременно должен быть Ангел... уж слишком необыкновенные поступки он совершает... и вчера в сквере, и сегодня, сию минуту. – Так о чем же мы с Вами будем говорить?» – повторила я свой вопрос.

«Да о чем угодно! – воскликнул мой гость. – Например, давайте продолжим дискуссию о марсианской синей бутылке, которая, как Вы сказали сегодня днем в сквере, есть аллегория. Ну, так мне очень интересно знать – аллегория чего именно?»

«Дискуссия о синей бутылке, – сказала я, – это, конечно, интересно, а главное – очень своевременно...»

«А Вы думаете, – вдруг сменил тему мой ночной посетитель, – легко мне было решиться на то, чтобы прийти к Вам вечером, да притом еще через окно?»

«И долго Вы решались?» – спросила я.

«С утра, – ответил мой гость. – Я сидел в баре, ожидая вечерних сумерек, а они все не наступали... вокруг меня все время крутились какие-то смутные непонятные личности... пьяницы, шлюхи, и еще кто-то... они все время приставали ко мне, всем им что-то было от меня надо... а я их отгонял... и было такое впечатление, будто время застыло на месте. Но потом все же настал вечер... и вот... я пришел...»

«Значит, Вы пришли, чтобы поговорить со мной о синей бутылке?» – с иронией спросила я.

«Нет, – очень серьезно сказал мой посетитель, – не о бутылке. С бутылкой, я думаю, успеется... давайте поговорим о нас... то есть о Вас... а если Вы того захотите, то и обо мне».

«Ну что ж, – после вполне объяснимого молчания сказала я. – Давайте поговорим... и давайте начнем с Вас».

«Почему же именно с меня?» – возразил мой гость.

«Да потому, – сказала я, – что вот она я... вся как есть... во всей своей красе. А Вы пришли неизвестно откуда, невесть зачем, да притом ночью и через окно... и вообще мне непонятно – кто Вы такой?»

«И кто же, по-вашему, я такой?» – с какой-то непонятной для меня серьезностью спросил мой странный гость, и, скорее всего, именно эта серьезность и заставила меня сказать то, что я сказала моему посетителю в ответ на его вопрос.

«Мне кажется, – сказала я, – что Вы – небесный Ангел».

«Как Вы сказали?» – с предельной степенью удивления спросил мужчина.

«Я сказала – Ангел, – повторила я. – Или я неправа?»

«Но отчего же – именно Ангел?» – по-прежнему удивленно спросил мой гость.

«Ну, а кто же еще? – усмехнулась я. – Кто же еще мог подарить мне вначале белые розы, а затем явиться ко мне в гости таким вот странным образом?»

«А можно я Вас поцелую?» – вдруг спросил мой неожиданный гость...

\* \* \*

– А можно я Вас поцелую? – спросил я у этой женщины.

Мой вопрос в равной мере был неожидан как для меня самого, так и, я предполагаю, для нее.

«Что?» – спросила она, и надобно было слышать, как она произнесла это короткое слово.

«Мне очень хочется Вас поцеловать!» – очень четко сказал я.

Минуты три она молчала, а когда все же ответила, в ее голосе чувствовались откровенные слезы.

«Конечно, – сказала она, – я понимаю... я – неподвижная парализованная уродина... вероятно, я вызываю у Вас сострадание и отвращение... и все такое прочее... что же я могу вызывать еще, кроме сострадания и отвращения... но зачем же так... зачем же так утонченно надо мной издеваться? Ведь я не сделала Вам ничего плохого! Или, может, Вы думаете, что Ваши розы дают Вам такое право?..»

Ничего не отвечая, я подошел к ней, наклонился и поцеловал ее в губы.

«За что?» – коротко всхлипнула она.

И тогда я, опустившись перед ее кроватью на колени, поцеловал ее еще раз.

«Вот, – сказал я, – я даже не убираю от Вас своего лица... можете вклеить мне сразу две пощечины – по одной за каждый мой поцелуй...»

Она какое-то время лежала неподвижно, затем неловко обняла мою голову и как могла, привлекла меня к себе. И тогда я одной рукой сбросил с нее одеяло, а другой...

\* \* \*

– Разумеется, я знала, что всякая женщина на свете доживает до того момента, когда мужчина впервые ее раздевает для вполне понятной и желанной как для него, так и для нее самой, цели. И, разумеется, я также втайне мечтала о таком моменте... я мечтала, несмотря ни на что, вопреки всем обстоятельствам... вопреки всему на свете... хотя, конечно, я понимала, что вряд ли такой момент для меня когда-либо наступит... ну да мечтать ведь никому не возбраняется, не так ли? Особенно – по ночам, когда рядом с тобой никого, кроме твоего верного молчаливого друга ночника, нет...

Однако совершенно неожиданно такой момент наступил и для меня... И вы знаете, что я в первую очередь ощутила? Не свое уродство, вовсе нет! Я мгновенно забыла о

своим уродством и о своей неподвижности... я вдруг ощутила себя полноценной, прекрасной, изящной и притом желанной женщиной... вот так! Ах, какое же это, оказывается, непередаваемое чувство – ощущать, как торопливые, горячие, точные мужские руки обнажают твоё тело... каждая женщина, пережившая это, поймет меня с полуслова, а те женщины, которые этого еще не испытали – пускай испытают каждая в предназначенное им время.

А затем мой мужчина начал раздеваться сам, и иное, но такое же, доселе не испытанное, ощущение охватило меня. Впервые, если, конечно, не брать во внимание той сцены в саду, я видела обнаженного мужчину, однако между тем случаем и случаем нынешним была разница, да притом еще какая разница! Ну, а затем настало самое главное...

«Женщине в таких случаях полагается как можно шире раздвигать ноги», – сказал мой мужчина.

«Я не могу... – упавшим голосом прошептала я, тотчас же вспомнив, кто я есть на самом деле. И поспешила добавить: – Но если ты мне поможешь, то, может, у меня получится...»

«Конечно же, получится! – уверенно сказал мой мужчина. – Все у нас получится!»

И сразу же вслед за этим я ощутила прикосновение его руки там... короче, там, где меня никогда еще никто не касался. Даже мать, трижды в неделю обмывая меня, как можно деликатнее обходила прикосновением эти места... а его рука, рука моего мужчины, господствовала там властно, энергично, но вместе с тем и по-особому нежно и щадящее... И – о чудо! Доселе неподвижные и бесчувственные мои ноги вдруг сами собой стали раздвигаться... вероятно, я преувеличиваю, говоря так... наверно, это было весьма слабое и жалкое телодвижение, однако же это было телодвижение, и в тот момент я до такой степени обрадовалась этому телодвижению, что даже невольно рассмеялась, тут же, правда, зажав себе рот рукой: мой громкий смех мог услышать кто-нибудь из домашних...

Здесь я должна сказать вот что. Мне кажется, что всякая нормальная женщина вряд ли стала бы придавать значение столь естественным пустякам... его руки, мои ноги... для нормальной женщины все это, наверно, само собою и в порядке вещей. Но я – то была женщиной ненормальной, я была паралитичкой... и, кроме того, каким-то особым, глубинным чутьем я понимала, что все, происходящее сейчас со мной – возможно, единственный, случайный, мимолетный эпизод во всей моей жизни, прихоть судьбы, необыкновенное расположение небесных светил... что ничего подобного со мной более никогда не повторится, а, следовательно, мне нужно все запомнить до самых мельчайших нюансов: и что делали его руки, и как раздвигались мои ноги, и что в этот момент и во все последующие моменты ощущала каждая клеточка моего организма, и что чувствовала моя душа, и какие мысли посещали меня в этот момент... Чтобы мне было что вспоминать во все те годы, которые мне суждено еще прожить...

Помимо своей воли я закрыла глаза, однако это обстоятельство не мешало мне ни чувствовать, ни, главное, видеть. Вот ведь какое чудо – быть с закрытыми глазами и одновременно видеть все, что с тобой происходит! Вот мой мужчина нависает надо мной... это непостижимо, это странно, но мне ни капельки не тяжело, я не ощущаю его веса – будто он сотворен не из костей и мышц, а соткан из невесомого воздуха... и опять невольная мысль о том, что мой мужчина – это Ангел, промелькнула во мне... промелькнула – и тут же исчезла... мне в тот миг было все едино – Ангел ли мой мужчина, или кто-нибудь иной... Вот меня пронзает короткая, мгновенная боль... там... то есть там, где и полагается быть подобной боли в такой момент... я об этом предостаточно читала и слышала по телевизору... боль кольнула и тут же исчезла... она растворилась, она улетучилась... а взамен тут же пришло ощущение, которому и

определение-то подобрать мудрено... и я извечным, инстинктивным женским чутьем понимаю, что так оно и должно быть, что сейчас, в этот самый момент, со мной произошло то, что происходило ранее и будет происходить впредь со всеми женщинами в этом мире – до тех пор, пока не пройдет сам мир. Сейчас, в это самое мгновение, я и мой мужчина – были единая плоть, одно дыхание, одна общая душа... и это все было так просто и естественно, как проста и естественна зеленая трава в саду, дождевые капли на оконном стекле, игра теней и света в городском сквере, мои белые розы на подоконнике, ночная тьма за окном... Боли не было, она улетучилась и больше не возвращалась... вместо нее пришло... я не знаю, что именно пришло, я не в состоянии внятно выразить это словами... мне казалось, будто я плыву по какой-то доброй, нескончаемой реке и меня качает на волнах вверх-вниз, вверх-вниз... и ласковый, нежный ветер овеивает мои разбросанные ноги и проникает внутрь меня, начиная с самого низа живота и подступая к сердцу, к горлу, к глазам... и мне отчего-то хочется плакать, мне хочется кричать... но крик не выходит из меня, он мечется где-то внутри меня, превращаясь в сладостный стон... я стону, и не осознавая, что делаю, кусаю руку моего мужчины... а волны меня все качают и качают, качают и качают... еще и еще, еще хоть разик, хоть четверть разика... и вдруг я чувствую, что становлюсь невесомой... и вот я уже лечу, я лечу, лечу... я лечу, не зная, куда и не ведая, чем закончится мой полет... да и не важно, чем он закончится, сейчас важно другое... сейчас важен сам полет – и больше ничего на всем свете...

«Мама! – обретаю я, наконец, дар речи, – мама, что это было... мамочка!...»

И тут же, опять-таки благодаря вековечному женскому инстинкту, я понимаю, что все закончилось, и отныне я – женщина во всех возможных смыслах этого понятия...

Мой мужчина какое-то время еще нависает надо мной... и опять-таки мне от этого ни капельки не тяжело... и опять я невольно думаю о том, что он – Ангел... затем он приподнимается и, вероятно, потому, что на моей узкой кровати вдвоем улечься невозможно, садится у моих все еще разбросанных ног.

«Помоги мне сдвинуть ноги, и прикрой меня одеялом», – прошу я его.

Он тут же выполняет мою просьбу, и некоторое время мы молчим, а затем я спрашиваю:

«Скажи, так, как было сегодня... так бывает всегда?»

«По-всякому, – отвечает мой мужчина. – Бывает и лучше...»

«Лучше? – искренне поражаюсь я. – Куда уж лучше... да и как это – лучше?»

«А вот в следующий раз я постараюсь тебе показать, что значит лучше», – говорит мой мужчина.

Его слова приводят меня в состояние крайнего смятения. Как так – в следующий раз? Неужели будет еще и следующий раз? Должно быть, он врет, мой мужчина: за что мне столько счастья, чтобы еще и в следующий раз?..

«Не лги, – говорю я ему, – я тебе не верю... о каком следующем разе ты говоришь? Помимо того, что это – ложь, это еще и жестоко...»

«Я говорю правду, – ответил мой мужчина. – Если ты захочешь, то будет и следующий раз, и третий, и четвертый... будет много-много раз, если ты этого захочешь».

«Я тебе не верю, – говорю я и чувствую, что вот-вот разревусь. – Для чего ты меня обманываешь... и прошу тебя, одень меня... а то представляешь – утром придет мать, – а я раздетая...»

Мой мужчина начинает меня одевать... наверно, это ему непривычно, и с непривычки он одевает меня довольно-таки неуклюже и долго.

«Трудно, наверно, возиться с такой куклой, как я?» – спрашиваю я.

«И все-таки, – не отвечая на мой вопрос, говорит мой мужчина (впрочем, теперь, наверно, я даже могу назвать его своим любовником – подумать только!), – я приду к тебе еще раз. Завтра или послезавтра. И тогда ты убедишься, что никакой я не обманщик».

Говоря это, мужчина закончил меня одевать, бережно поправил всклокоченную постель, затем стал одеваться сам, и очень скоро оделся...

«Будто ничего и не было...» – с невольной горечью подумала я.

«Ну, я пошел, – сказал мой мужчина (мой любовник!). – Ты вот что... ты не вели закрывать на ночь окно, ладно? А то как же я проникну к тебе завтра, если окно будет заперто? Ну-с, прощай... до завтра... до завтрашней ночи».

«Подожди, – сказала я торопливо, – подожди... все-таки я не понимаю. Я не понимаю... да! Кто ты... для чего ты все это со мной сотворил? Нет, я ни о чем не сожалею... все было замечательно, и спасибо тебе за все, что случилось, но... Может быть, это у тебя такая шутка, или какой-нибудь эксперимент... или, может, все это просто из сострадания ко мне, убогой? Или – ты все-таки Ангел? Я не понимаю...»

«Опять вопросы, – сказал мой гость, – и вопросы-то все какие-то глупые... А если я тебе скажу, что ты мне просто нравишься... очень нравишься – тогда как?»

«Я тебе нравлюсь?! – спросила я, и чтобы тут же не расплакаться, попыталась рассмеяться, правда, получилось это у меня неважно. – Ну, и шутник же ты, однако... я тебе, оказывается, нравлюсь! Посмотри на себя и посмотри на меня... да о чем тут вообще говорить! Зачем ты лжешь? Должно быть, ты просто добрый человек... да ведь, наверно, и жена у тебя есть... жена-красавица – не то, что я, уродина!»

«Каждый из нас на этом свете по-своему урод, – сказал мой нечаянный любовник. – И – каждый из нас по-своему прекрасен. А что касается жены... Есть у меня жена, нет жены – разве именно сейчас... вот именно сейчас – это важно?»

«Пожалуй, что нет, – поразмыслив, сказала я. – Как раз именно сейчас главное – в другом».

«Наконец-то я слышу умные слова! – воскликнул мой ночной гость. – Тогда на том и закончим. И распрощаемся до завтра или до послезавтра».

Он наклонился и поцеловал меня в губы. Не скрою: несмотря на все мои сомнения, мне был приятен его поцелуй – точно так же, как чуть ранее мне было приятно все иное. Я обняла голову моего мужчины, и долго не хотела отпускать...

\* \* \*

– Взобравшись на подоконник, я спрыгнул в мокрую траву, беззвучно прошел по саду, перелез через забор, и вскоре уже был дома. Дома я наскоро сунулся под душ... горячей воды не было, шла лишь холодная, я, разумеется, озяб и сразу же нырнул под одеяло, надеясь согреться и заснуть.

Спать, однако же, мне не хотелось, и я поневоле стал размышлять обо всем, что сегодня со мной приключилось. Я размышлял – и сам себя не понимал... я не понимал себя напрочь! Что я сотворил сегодняшней ночью... и для чего я все это сотворил? Я никогда не был ни возвышенным покорителем женских сердец, ни, тем более, заурядным пошляком-бабником. Моя жена была первой моей любовью, первой и единственной моей женщиной... и вдруг такое! Да притом с кем – с парализованной страхолюдиной, на которую без душевного содрогания и взглянуть-то невозможно! Какая сила, какие чувства повлекли меня к ней? Сострадание, жалость, симпатия... все чушь! Не было у меня по отношению к этой убогой ровным счетом никаких чувств – ни положительных, ни отрицательных... ну, разве что сострадание, да и то оно, мне кажется, закончилось... я



даже и не заметил, как и когда оно во мне иссякло. Может статься, я получил с этой уродиной... как бишь ее зовут... кажется, Олей?... да, так, может, я получил с ней какое-нибудь особенное удовольствие? Так ведь тоже – ничего подобного... если, допустим, сравнивать эту колоду с моей женой... какое тут вообще может быть сравнение? И уж совсем непонятным для меня было то, что вот настанет завтра, а уж послезавтра – точно, и я вновь под покровом ночи отправлюсь в тот самый сад и влезу в то же самое окно... и ведь-таки отправлюсь и влезу – в этом я был убежден, мало того – я этого жаждал... Погодите-ка, за кого она меня приняла в первый момент – за Ангела? Ну и ну... Значит – Ангел... Ангел, не ведающий, что он творит...

... Проснулся я от настойчивого телефонного трезвона. Звонила, разумеется, жена.

«Доброе утро, котик! – защebetала она. – Ты, наверно, соскучился по мне... а уж как я соскучилась по тебе – просто невероятно! Моя мама шлет тебе привет... все спрашивает, не обижаешь ли ты меня. Пусть только попробует, смеюсь я... Котик, пока мамы рядом нет, я хочу сказать тебе одну очень важную вещь. Хочу к тебе – прямо не могу! И к тебе хочу, и тебя хочу – видишь, какой замечательный у меня получился каламбур... правда же, он – замечательный? А мама все спрашивает – останься да останься хотя бы на недельку. Котик, ты не против, если я погощу у мамы всего только одну недельку? Ты не разбалуешься там без меня, а? Ну что ты все молчишь и молчишь, будто не рад моему звонку?»

«Да нет, – сказал я, – я просто слушаю голос моей любимой киски... конечно же, я соскучился... я рад тебе! Ты хочешь погостить у мамы недельку? Ну что ж... Да нет, у меня все в порядке... и ем я вовремя, и рубашки меняю ежедневно... да-да, не беспокойся. Целую и жду».

На этом, собственно, разговор и закончился. Сказать честно, я весьма смутно понимал, о чем мне говорила жена, и что я ей говорил в ответ. Единственное, что основательно засело в моей голове – так это то, что моя жена намерена погостить у своей матери еще недельку, и я дал свое согласие. И это означало, что еще целую неделю со мною не будет никого рядом, не надо, следовательно, будет ни от кого таиться, не надо будет никому лгать, а можно будет свободно и безбоязненно ходить по ночам к ней... к Оле. Вот что это означало, и только это мне сейчас было по-настоящему желанным. Вот дождусь темноты – и сегодня же пойду. Да-да, сегодня же и пойду! Помнится, я обещал Оле, что приду завтра... но для чего же откладывать на завтра? Сегодня же и пойду... решено!

Однако вот ведь какая незадача... сейчас всего лишь утро, за ним неизбежно последует день, на работу мне по причине второго выходного дня идти не надо... как же мне обмануть проклятое время и поскорее дождаться желанной темноты? Ну, побреюсь, ну, поглажу себе рубашку, ну, приберусь в квартире – все едино этим почти не сократишь тягучего хода времени! Ба, идея! А схожу-ка я в сквер... в тот самый! Погода сегодня вроде бы ничего, от ночного дождя не осталось и воспоминания – следовательно, ее, Олю, должны сегодня вывезти в сквер. Ну, и вот: она, разумеется, будет сидеть на своем обычном месте, может, будет читать, может, рассматривать прохожих или облака на небе... а я возьму да и пройду мимо так, чтобы она непременно меня заметила! То-то, наверно, будет для нее неожиданность, то-то сюрприз! Интересно, что она почувствует при моем появлении? А еще интересней, что почувствую при ее появлении я сам. И – о чем мы станем с ней говорить, когда встретимся...

... Вот он, сквер, и вот она, дорожка. А вот в конце дорожки – знакомый силуэт, одетый в зеленый спортивный костюм и восседающий в инвалидной коляске. Как, однако, я все верно рассчитал, и как я все предвидел... ее и вправду сегодня вывезли в сквер! Я выхожу на середину асфальтовой дорожки... я подхожу ближе... все ближе и ближе... и вот уже расстояние между нами – всего каких-то десять метров. Она меня замечает... а, скорее всего, она просто почувствовала мое приближение. Она как-то странно – то ли

удивленно, то ли испуганно – вскидывает голову и смотрит на меня, и столько всего я замечаю в этом взгляде, столько всего!..

«Здравствуйте, сударыня! – говорю я, подходя к ней и останавливаясь. – Вот так неожиданная встреча! Ну, и как Вам сегодня ночевалось? Не беспокоили ли Вас часом дурные сновидения и не посещали ли Вас призраки, которые суть духи бесплотные? Или, может, Вас в эту ночь ненароком посетили Ангелы небесные... хотя бы, может, один небесный Ангел?..»

Она ничего не отвечает, просто смотрит на меня, и я продолжаю:

«А мне, знаете ли, привиделся весьма странный сон. Этот сон тем более странный, что основным действующим лицом в нем были именно Вы, сударыня... да-да, именно Вы! Вам, быть может, будет интересно знать, какую роль Вы играли в моем странном сне? О, это была весьма необычная роль... можно даже сказать, основополагающая роль!..»

Произнося всю эту ахинею, я вдруг осекся, потому что заметил – Оля плачет. Ну, понятно: мой идиотский разухабистый тон и еще более идиотские слова она, вероятно, восприняла как издевательство над ней. Ну, и ублюдок же я... ох, и ублюдок... ведь у меня даже в мыслях не было издеваться над ней!

«Прости меня, пожалуйста, – сказал я. – Прости меня, Оля... это я по глупости, а не со зла. Просто, подойдя к тебе, я не смог найти ни подходящих слов, ни нужного тона... Прости за всю мою околесицу!»

«Подошел бы молча, – сквозь слезы сказала она. – И – все. Молча...»

«Не сообразил! – развел я руками. – Еще раз – прости».

«Уже простила», – ответила она.

«Так скоро?» – невольно улыбнулся я.

«Да, так скоро», – ответила Оля.

Помолчали.

«Однако и взаправду, – наконец сказал я, – мне бы хотелось знать, как ты провела ночь... после того, как мы расстались. Спала ли, что снилось...»

«Почти не спала, – сказала она. – Просто лежала и слушала всякие ночные звуки за окном. А ты?»

«Да и я, в общем, тоже... – ответил я. – Только под утро задремал».

Наш разговор явно не клеился. Постояв еще минут пять, я сказал:

«Ну ладно, я, пожалуй, пойду. Рад был тебя видеть. До свидания. – И добавил, чуть помедлив: – До вечера... до сегодняшнего вечера...»

Произнося эти слова, я заметил, как вспыхнули ее щеки и затрепетали ее ресницы...

\* \* \*

– Уж чего-чего, а его появления в сквере я никак не ожидала: просто не думала, что он вдруг может взять и прийти. Его появление я ощутила сразу же, как только он ступил на асфальтовую дорожку. Что я чувствовала по мере того, как он ко мне приближался? Не знаю, что я чувствовала... это невозможно выразить словами. Он шел по дорожке... он подходил ко мне все ближе и ближе... а внутри меня чей-то непрошенный голос тягуче произносил цифры... один, два, три, четыре, пять... и под аккомпанемент этих цифр мелькали вразнобой сцены из моего ночного приключения... и еще мне чудилось, что вот-вот должна разразиться гроза с молниями и громами... не

знаю, отчего мне все это казалось. Ну, а когда он подошел и начал нести свою околесицу про сны и сновидения, тягучий голос внутри меня тут же умолк, картинки тут же стушевались и померкли, грозы, я поняла, также не случится, и мне показалось, что я вот-вот умру. Зачем он так говорил... ну, для чего он все это говорил? Неужто он все-таки надо мной издевается – утонченно, неторопливо, нетрафаретно... но за что же? Я хотя и уродина – но ведь не подопытный кролик, в самом деле... и что плохого я ему сделала, чтобы он вот так... Правда, он тут же попросил у меня прощения за свои слова и за тон – и мне показалось, что просил он искренне... впрочем, очень может статься, что желаемое я с готовностью выдаю за действительное. Ну, а когда он, уходя, проронил и затем подчеркнул фразу «до вечера», я опять почувствовала, что вот-вот умру, правда, на этот раз совершенно от других чувств. Хорошо, что он ушел и не заметил того, что со мной творится после его прощальных слов. А для чего ему и замечать-то? Это все – мое... никому этого не отдам, ни с кем не хочу делиться... даже с ним... или – тем более с ним... потому что делиться этим с ним – означает привязаться к нему самой прочной, самой смертной веревкой... не хочу, потому что боюсь. А вдруг он никогда больше ко мне не придет – и что мне тогда делать с этой веревкой?.. Была уже однажды в моей нескладной жизни веревка... это была очень горькая, страшная и бессмысленная веревка... а эта, другая, веревка может оказаться еще горше и страшней, чем та, первая... хватит с меня веревок. Не хочу... боюсь. Лучше я буду размышлять над его последними словами. Как он сказал, уходя? Он сказал – до вечера... вот как он сказал.

До вечера... вот как! Неужели он и впрямь придет ко мне вечером, влезет в окно, подойдет, поцелует... неужели впрямь и сегодня повторится то, что было вчера? Неужели и вправду у меня отныне есть мужчина, который... которого я с полным на то основанием могу назвать своим любовником? Подумать только – у меня есть любовник... как у той давней женщины в саду, как у всех тех, на одно лицо, девиц в телевизоре! Да, очень может статься, что у меня действительно есть любовник. Любовник, любовник... я сознательно не хочу употреблять слова «любимый»... потому что слово «любимый» намного больше напоминает мне ту самую веревку, чем слово «любовник»... в конце концов, оба эти слова происходят от одного и того же слова «любить»... стало быть, какая разница – любовник или любимый? Я хочу любить, я хочу, чтоб меня любили... пусть быстрее наступит вечер, пусть быстрее наступит, пусть быстрее...

Однако как ни заклинай окаянное время, оно все едино остается тебе неподвластным, и движется своим чередом: за вторым полуденным часом наступает третий, за третьим – четвертый... Дабы все-таки хоть как-то обмануть неподвластное время, я принялась перебирать в памяти тот, едва не приведший к непоправимому конфузу эпизод, который приключился со мной прошлой ночью после ухода моего гостя-любовника.

Все дело было в кровавом пятне на моих простынях, которое, естественно, образовалось в результате... в общем, ясно всякому, в результате чего образуются подобные пятна. Я ощущала это пятно всем своим естеством, оно жгло мое тело, оно бесило и мучило меня – и все из-за того, что я не могла встать и ликвидировать это зримое свидетельство моего ночного приключения. Спрятать же пятно надо было непременно, иначе – что я скажу матери утром по поводу образования этого пятна? Я сказала моему любовнику, что не спала до утра, слушая темноту за окном, но не спала-то я совсем по другой причине: я не спала из-за пятна. И только под утро я придумала, как мне быть. Изю всех сил я стала терзать ногтями крохотный участок своего тела, и терзала до тех пор, пока на месте терзания не образовалась ранка, и из ранки не потекла кровь. И только после этого я успокоилась и даже вздремнула, а утром сказала матери, что ночью сквозь неплотно затворенное окно ко мне залетела какая-то жужжащая тварь и укусила меня; я расчесала место укуса до крови... вот она, ранка, а вот и кровь... Кажется, мать мне поверила, потому что тут же попыталась закрыть окно на все задвижки и шпингалеты.

«Нет-нет, – запротестовала я, – не надо закрывать окно... ночью так душно... лучше ты меня на ночь поплотнее укрой одеялом, а окно пускай будет открытым!»

Однако когда же, наконец, наступит вечер?..

\* \* \*

– Как и вчера, сегодня я весь день провел в баре, мусоля одну и ту же кружку пива. Сегодня в баре все было так же, как и вчера: те же самые запахи, то же самое безвкусное пиво, те же самые посетители – преимущественно кандидаты в собутыльники и шлюхи...

Наконец, стало темнеть, и тут же пошел дождь: тяжелый такой, угрюмый, основательный... Впрочем, вряд ли какой-то там дождь, пускай даже и беспросветный ливень, смог бы удержать меня от моего грядущего путешествия. Дождавшись, пока окончательно стемнеет, я вышел из бара и направился в сторону заброшенного сада. Вот и мокрая ограда, вот и напоенный звуками дождя сад, вот и полуотворенное окно, в котором угадывался приглушенный свет ночника...

«Привет!» – сказал я, вваливаясь в комнату, и по мгновенному взгляду ее обительницы понял, что она меня ждала...

\* \* \*

– «Привет! – сказал мой любовник, отряхиваясь. – Я промок до такой степени, что просто ужас! Дождь... просто-таки водопад, а не дождь! Как назло...»

«Ну, такними одежду, она и просохнет», – сказала я.

«Так ведь на мне нет ни единой сухой нитки! – сказал мой любовник. – Я мокрый насквозь!»

«Ну, так все и снимай!» – сказала я.

«Не понял... – слегка растерянно произнес мой посетитель. – Так-таки и все?»

«Так-таки и все, – сказала я. – Или ты меня стесняешься? Тогда я не понимаю, чего ради ты ко мне пришел... Неужели тебе по-прежнему не дает покоя зеленая марсианская бутылка?..»

«Ну, так это...» – все так же растерянно произнес мой любовник, и принялся расстегивать пуговицы своей рубашки...

Надо сказать, что я вполне сознательно затеяла такой рискованный и, как бы это поточнее выразиться, обнаженный разговор... именно так, обнаженный: применительно к той ситуации, о которой я говорю, такое слово подходит как нельзя лучше. Пока я ждала своего любовника, пока я терзалась сомнениями типа «придет – не придет»... а я ждала и терзалась – да еще как... во мне параллельно стали возникать весьма странные чувства и мысли.

«Ну, ладно, – рассуждала я. – Допустим, явится он, мой мужчина, ко мне еще раз... пускай даже еще два или три раза. Но ведь затем он все едино уйдет – навсегда. Кончится эта его прихоть... эта его блажь – и уйдет. Или – растворит окно и улетит к себе на небо... если он Ангел. Ведь не жениться же он на мне собирается... тем более, если он и в самом деле – Ангел. Значит – уйдет... или улетит. И – никогда я его больше не увижу. И никогда более со мной ничего подобного не случится... такого просто не может быть, чтобы нечто подобное произошло со мной еще хоть раз... хоть когда-нибудь... то есть чтобы кто-нибудь еще... впрочем, о чем это я, распутная дура, говорю... при чем тут «кто-нибудь еще»? Я не хочу более никого, я не желаю никого, кроме него одного – моего нечаянного, долгожданного и выстраданного любовника... и не важно, кто он – человек

или все-таки Ангел... мне нужен он один – и никто более! Но – он скоро от меня уйдет... да-да, он уйдет... Но пока он не ушел... пока он не исчез из моей жизни... мне нужно испытать с ним все-все... все, что я видела однажды в саду и много раз по телевизору, о чем читала в книжках, о чем грезила в своих потаенных ночных мечтаниях, воображая себя здоровой, подвижной, ловкой, красивой, желанной, неотразимой... Чтобы было о чем вспоминать все те годы, которые предстоит мне прожить после его ухода. Да-да, мне нужно торопиться. Пока он не ушел, мне нужно научиться ценить каждое мгновение моей жизни рядом с ним, не тратя их, эти мои драгоценные мгновения, на всякие там условности, недоговоренности, полунамеки, стыдливость... Иначе говоря, за эти мгновения мне необходимо прожить полноценную женскую жизнь – так, как я ее себе воображаю. ту самую жизнь, на которую обычной женщине отпущены долгие годы... А потому – все условности и намеки, вся стыдливость – они ни к чему... прочь их, долой, о них не стоит даже и думать! Я хочу быть женщиной... я хочу быть во всех смыслах обнаженной и, может быть, даже развратной женщиной. Мне кажется, что всякая женщина мечтает быть обнаженной и развратной, но дело в том, что обнаженность и развратность нормальной женщины длится многие годы, и потому-то не видно ни обнаженности, ни развратности... как можно видеть то, что длится годами и складывается из отдельных мельчайших песчинок... но я-то – не нормальная женщина! Мне отпущено слишком мало, какие-то жалкие мгновения... и пускай в эти мгновения уместится все – и моя обнаженность, и моя развратность...

... «Ну, так это...» – растерянно произнес мой любовник, расстегивая пуговицы на своей рубашке.

И – неловким движением едва не свалил на пол вазу с тремя белыми розами.

«Мои розы! – невольно вскрикнула я. – То есть я хотела сказать – осторожнее...»

«Ты глянь! – удивился мой любовник. – Распустились-то как – просто чудо!»

«Да, распустились, – сказала я. – Распустились, потому что дарены от чистого сердца, не так ли?»

«Ну, разумеется, – сказал мой любовник, и благодаря, вероятно, невольной смене темы разговора, предложил: – Слушай, давай начнем с того, что я раздену тебя. Понимаешь, так принято... вначале раздевается она, а затем уже – он».

«Тогда для начала поцелуй меня», – сказала я...

\* \* \*

– Признаться честно, она меня сегодня удивила, даже более того – поразила. Уж чего-чего, а такой смелости, откровенности и раскованности я от нее не ожидал. Первоначально от неожиданности я даже малость стушевался, хотя затем, конечно, взял себя в руки. Мне казалось, что я ее понимал... то есть я понимал, что, так сказать, лежало в основе этой ее откровенности и раскованности... да и что тут было понимать! Долгие годы неподвижности, одиночества и, вероятно, отчаяния... и тут я – первый в ее жизни, и, скорее всего, последний мужчина... что тут, спрашивается, было понимать... все было предельно понятно.

Она была просто-таки ненасытна, моя невольная любовница!

«...А теперь вот так! – то и дело просила она меня. – И еще – вот так! И этак. Я это однажды видела по телевизору. А вот так – я видела во сне... или, может быть, в моих ночных грезах...»

Я чуть было бестактно не удивился по поводу содержания ее снов и грез, но вовремя прикусил язык: что тут, в конце концов, удивительного – ведь, человек же она... как и все прочие! Правду сказать, большую часть всех этих «так» и «этак» я выполнял и

за себя, и за нее... но – ничего... в общем и целом все у нас получалось очень даже сносно, ну, а что все же не получалось, над тем мы добродушно посмеивались...

... А затем она, изможденная и покрытая сверкающим потом, лежала на своей постели, а я сидел у ее ног.

«Видишь, – вдруг сказала она, – я уже научилась самостоятельно сдвигать и раздвигать ноги... посмотри, как замечательно у меня получается!»

Я взглянул – и мое сердце вдруг сковали холодные стальные обручи. Какое там научилась, какое там замечательно! Так, чуть-чуть, самую малость... хотя, вероятно, для нее и такая малость была сродни настоящему подвигу. Наблюдая за судорожными и жалкими движениями ее бедер, я вдруг почувствовал... не знаю, как и выразиться... сострадательное недоумение, что ли... причем, непонятно – к себе ли, к ней ли... говорю же – не знаю. Кто эта жалкая, до невозможности уродливая женщина? Почему я нахожусь здесь? Что я здесь делаю... что я вообще творю? Как назвать то, что я творю – злодейством ли, благом ли... и для кого я творю это злодейство либо благо? Для самого себя? Для этой уродливой паралитички? И будто некая пелена вдруг спала с моих глаз...

«Должно быть, скоро начнет светать, – сказал я, взглянув в окно. – Надо уходить... пора».

Верней, я только хотел так сказать, но Оля меня опередила... мне показалось, что она вдруг почувствовала мое состояние... то, что я уйду и, скорее всего, больше никогда не приду... больше никогда не возникну в ее жизни – никаким образом.

«Подожди, – торопливо опередила она меня. – Еще не утро... до утра еще далеко, а ночью ко мне в комнату никто не заходит... подожди еще с полчаса... еще не утро... до утра еще далеко!»

«Конечно, – сказал я, – разумеется... я подожду... я никуда не тороплюсь...»

«Сядь сюда, – указала она рукой. – Сядь рядом со мной на полу... так, чтобы я могла гладить тебя по голове... Вот так, спасибо...»

\* \* \*

– «Сядь сюда, – попросила я. – Сядь рядом со мной на полу... так, чтобы могла гладить тебя по голове... Вот так, спасибо...»

Он тотчас же выполнил эту мою просьбу... но мне показалось, что сделал он все это неохотно... мне показалось, что сейчас самое его большое и сокровенное желание – уйти от меня и, вероятно, больше никогда не появляться в моей жизни. Так мне показалось, я это вдруг почувствовала... да и что тут было чувствовать... всякая женщина предчувствует предстоящую разлуку со своим возлюбленным, а ведь он был моим возлюбленным, и я была женщиной... Но – я не хотела его отпускать вот так, мгновенно, я не хотела, чтобы все те нити, которые привязывали меня к моему любимому, оборвались столь внезапно и беспощадно... и как раз тогда, когда я еще не до конца ощутила себя женщиной, когда я еще не реализовала себя как женщина... Я тут же поймала себя на мысли, что «не реализовала» – это, если вдуматься, предельно дурацкое и бессмысленное выражение... однако мне было не до осмысленности выражений, мне надо было много чего сказать моему любимому... именно сказать, и ничего больше, на большее, казалось мне, уже не оставалось времени... а мне надо было сказать, мне непременно надобно было сказать, чтобы потом всю оставшуюся жизнь не мучиться, что вот, дескать, хотела сказать, и имела возможность сказать, и было кому сказать, а – не сказала...

Что именно я хотела сказать своему любимому? Все. То есть – все о себе, о своей нескладной жизни. Я хотела выговориться, выплакаться в плечо моему любимому...

инстинктивным женским чутьем я понимала, что это – мне надо, что нет ничего более согревающего и облегчающего женскую душу, более великого на свете, чем выплакаться в плечо своему любимому, особенно – если тебе есть о чем плакать. А мне было о чем плакать... И – мне не надо было никакого от него утешения и сострадания... дело было не в утешении и не в сострадании, а всего лишь в том, что мне надо было выплакаться в плечо тому, кого я любила...

Я запустила пальцы в волосы своему любимому... я взъерошила ему волосы, я закрыла глаза, и стала говорить. Я говорила о своей несуразной жизни, и о своих самых потаенных мечтах... о тех самых мечтах, о которых до сих пор никто, кроме все понимающего молчаливого ночного светильника, не знал, и о своих двух неудачных попытках самоубийства, и о своих ощущениях и мыслях во время двух наших совместных ночей, и даже о том, что я чувствовала, когда однажды была невольным свидетелем любовной сцены в саду между неведомыми мне мужчиной и женщиной... я говорила обо всем, я раскрыла перед моим любимым свою душу до самого ее потаенного донышка... я сейчас чувствовала себя женщиной, я была сейчас женщиной, мне это было надобно – раскрыть до самого донышка душу перед своим любимым...

«...А в третий раз, – говорила я, – накладывать на себя руки я расхотела... однажды мне вдруг показалось, что и такая жизнь – это все равно жизнь... это все равно жизнь, мой миленький... и она – единственная, и больше – никакой другой жизни у меня не будет... ты ведь понимаешь меня, да? А, может, я просто чувствовала, что когда-нибудь встречу тебя... а как бы мы с тобой встретились, если бы я тогда умерла... никак бы мы с тобой тогда не встретились! Но – мы с тобой встретились... и я счастлива, что мы встретились... миленький мой, ты даже, наверно, не представляешь, как я счастлива, что мы встретились, и что ты для меня значишь... а, впрочем, ты, конечно, все это представляешь и знаешь, потому что – ты такой умница, и я тебя люблю... я тебя люблю, мой миленький... и я хочу, чтобы ты об этом знал! И одного я только так до сих пор не поняла... скажи, миленький мой, ты – Ангел, или все же ты человек... знаешь, если честно, мне это все равно, я хочу это знать чисто из женского любопытства... я ведь женщина, милый мой... ведь правда же, я – женщина?..»

Я говорила... я судорожно и любовно ерошила ему волосы, а он, мой любимый, сидел на полу и ничего мне не отвечал. У меня, признаться, не было даже уверенности в том, слушает ли он меня, а если слушает, то понимает ли он меня и сострадает ли мне... желает ли сострадать и понимать? Впрочем, мне было все равно... для меня было главное – высказаться... пока еще мне было перед кем высказываться. И я говорила, говорила... и одновременно каждой своей клеточкой ощущала, как истекает отпущенное мне время... это время было отпущено мне для моего счастья, и сейчас оно истекало по капельке, по песчинке, по невообразимо малой частице: кап-кап-кап... истекало время, а вместе с ним и счастье...

Наконец, мой любимый мужчина зашевелился, вздохнул, взглянул в окно, и я поняла: мое время закончилось... оно истекло – по капельке, по песчинке, по малой частице...

«Кажется, уже и вправду светает», – неуверенно произнес мой мужчина.

«Да, – отрешенно сказала я, – наверно... Ты – иди. Иди... Одень меня... я ведь до сих пор не одета – и иди».

«Разумеется», – бесстрастно и невпопад произнес мой мужчина, поднялся и принялся меня одевать.

Он меня одевал – а я прислушивалась к тому, как он это делает... я вникала в его движения, я ощущала его руки, я слушала его дыхание, и сквозь это дыхание до меня доносилось: кап-кап-кап-кап... Это истекали последние мгновения моего короткого, моего великого счастья.

«Ну, все, – сказал мой мужчина, когда закончил меня одевать. – Стало быть, я пошел... уже светает».

«Иди», – в который уже раз сказала я.

Мой мужчина помедлил и, стараясь на меня не смотреть, взобрался на подоконник. Я за ним наблюдала, и он, конечно, это знал... он чувствовал, что я за ним наблюдаю... он чувствовал, но, тем не менее, так и не повернул ко мне головы, так и не сказал мне ни единого слова. А я по-прежнему, не отрываясь, смотрела на него... ко мне в голову вдруг пришла занятная мысль.

«Интересно, – думала я, – прыгнет ли он на землю или – взлетит? Если прыгнет, то он – человек, а если взлетит, то, конечно, он – Ангел...»

Мой интерес был умозрительным и отстраненным... мне, по сути, было все равно, кем он был, уходящий от меня возлюбленный – человеком или Ангелом... мне лишь хотелось его запомнить – Ангелом или человеком... Он стоял на подоконнике, и, казалось мне, не решался, что ему сделать – прыгнуть на землю или взмыть в небеса. Ненароком он задел вазу с тремя белыми розами... цветы колыхнулись, он успокоил их рукой – и прыгнул на землю, прямо в шуршащую от нескончаемого дождя тьму.

«Он не Ангел, – подумала я, – он – человек...»

А, может, промелькнуло во мне в следующее мгновение, я все-таки ошибаюсь, и он ко мне еще придет... следующей ночью, или, в крайнем случае, через ночь... он вновь ко мне придет – и у меня будет еще одна ночь счастья... целая ночь, наполненная счастьем?... Впрочем, я не знаю – хотела ли я еще одной такой ночи: может статься, что больше и не хотела... не знаю, не могу сказать... наверно, я просто не верила в то, что мой мужчина, мой любовник, мой любимый еще раз ко мне придет.

«Он не Ангел, он – человек», – еще раз подумала я и отрешенно закрыла глаза...

\* \* \*

– Я одел женщину, с которой провел ночь, прибрал в ее комнате, и отворил окно в шуршащий от нескончаемого дождя мир. Взобравшись на подоконник, чтобы прыгнуть оттуда на землю, я ненароком дотронулся до стоявших в вазе роз. Три белых цветка источали стойкий, тяжелый, все заглушающий аромат. Мною вдруг овладело странное, стремительное желание – взять эти цветы и выкинуть их в предрассветную тьму... я вдруг почувствовал, что ненавижу эти цветы. Конечно, я ничего такого не сделал... наоборот, я успокоил цветы рукой... я понимал, что это было бы слишком жестоко по отношению к той женщине, от которой я сейчас уходил – выбросить мною же подаренные цветы... да и для чего мне оно было нужно? Просто – мною вдруг овладело странное, стремительное желание... а затем оно так же стремительно и непостижимо исчезло... а, кроме того, я не испытывал никакого зла к оставляемой мною уродливой женщине – равно как и никакого доброго чувства.

«Кто я, и для чего я здесь?» – вновь помимо своей воли подумал я, помедлил и прыгнул в мокрую траву.

Последнее, что я, уходя, почувствовал – был долгий и пристальный взгляд уродливой женщины... она смотрела мне вслед... может, она хотела что-то сказать мне на прощанье, я не знаю...

\* \* \*

– «Он больше не придет! Он больше не придет! Не придет! – подумала я, звук его шагов смешался с шелестом дождя, и стало совсем непонятно – дождь ли это шуршит



или шаги ли моего любимого затихают вдали. – Он даже не поцеловал меня на прощанье... он больше не придет!»

Странно, но думала я об этом совершенно спокойно. А впрочем – что же тут странного? Разве я изначально не знала, что рано или поздно он уйдет, и уже больше никогда не вернется? Разве сегодня, стремясь выплакаться ему в плечо, я ничего такого не чувствовала? Прекрасно знала и чувствовала – и внутренне была к его уходу готова... потому и стремилась выплакаться. Да–да, именно так – внутренне я была к его уходу готова... я была к этому готова с самого начала, с самого первого мгновения наших двух незабываемых ночей... оттого-то я и была сейчас спокойна.

Две ночи, две неожиданные, чудесные, ни на что не похожие ночи! Даже не ночи – две жизни! Одна жизнь – это все, что было до этих блаженных ночей, другая – сами две ночи. Разумеется, ничего похожего со мной больше никогда не произойдет. Ну и пускай. Зато у меня теперь есть воспоминания, которые никто не сможет у меня отнять. Эти воспоминания скрасят все мое дальнейшее существование. Я буду жить, и вспоминать... по крошке, по частице, по капельке... а когда вспомню все–все, вернусь к началу, и буду вспоминать заново... И – тем я и буду счастлива. Потому что – это и впрямь, наверно, счастье, когда тебе есть о чем вспомнить – по крошке, по частице, по малой капельке, а затем вернуться к истокам, и начать вспоминать вновь...

\* \* \*

– Пока я пробирался сквозь пустынный сад, пока перелезал через забор и шел, поминутно оступаясь и скользя, меня мучил дождь. Мне почему-то чудилось, что это был не обыкновенный ночной дождь, а словно сотворенный из многих миллиардов тяжелых, холодных и пронзительных чугунных нитей, и каждая такая нить стремилась во что бы то ни стало дотянуться до меня, хлестнуть меня по телу, глазам или лицу...

Исхлестанный дождем, я добрался, наконец, домой, сбросил с себя мокрую одежду и тотчас же забрался под одеяло. То ли из-за усталости, то ли по какой–то иной причине мне не хотелось думать ни о дне минувшем, ни о дне завтрашнем... мне не хотелось думать ни о чем, а хотелось только мгновенно заснуть, а утром проснуться... и чтобы когда я проснусь, не было дождя...

...Утром меня разбудил звонок от жены. Жена сообщила, что, несмотря на данное своей матери обещание погостить у нее недельку, она истосковалась по мне, своему любимому мужу, до такой степени, что решила немедля вернуться домой, и сегодня же вечерним поездом прибывает.

«Не забудь, как полагается, встретить свою киску! – щебетала жена. – И само собой – приготовь праздничный ужин! Можно даже с вином. Ты не забыл, какое вино я люблю больше всего? Киндз-ма-ра-ули! Ну, пока–пока... встречай!»

И – нескончаемые короткие гудки, от которых собственно я окончательно и пробудился. А пробудившись, я стал соображать. Значит, так – возвращается жена... сегодня вечером... вечерним поездом. Надо не забыть прибраться в квартире, приготовить ужин, купить вино киндзмараули... что еще? А еще – цветы. Да, цветы... моя жена очень любит цветы. Можно – розы... красные или белые розы...

Я подумал о розах – и тотчас же передо мной возник отчетливейший мысленный образ... даже не образ, а целая мысленная картина – в движении, цвете и запахе... будто некое объемное немое кино вдруг разверзлось передо мною. Нескончаемый дождь за черным окном, источающие тяжелый аромат три белые розы на подоконнике, обнаженная и до невозможности уродливая парализованная женщина на кровати, и сам я рядом с этой женщиной... Нет, никаких белых роз я покупать не буду, куплю какие-нибудь другие цветы – например, астры. Или – лилии. Или – что-нибудь еще, но только не розы.

На свете, кроме роз, есть множество других прекрасных цветов... ненавижу розы! Значит, так: надо действовать. Сегодня приезжает жена. Всё... всё!

Жену, разумеется, я встретил, как полагается. Подкатил прямо к перрону на такси, в руках у меня был изысканный букет астр наполовину с лилиями. Едва сойдя с поезда, жена радостно завизжала, бросилась ко мне, повисла у меня на шее... Ну, здравствуй, женушка. Стало быть, встретились.

«О! – радостно воскликнула жена, оказавшись дома. – Идеальный порядок, и ужин, и вино! Ну-ка, какое вино... ах, киндзмараули! А какие удивительные цветы... я это оценила еще на вокзале! Спасибо, милый! Теперь-то я вижу, что ты и вправду ожидал свою киску!»

«Еще бы! – сказал я. – Считал дни, часы, минуты и секунды до твоего возвращения!»

«И сколько же секунд мы были с тобой в разлуке?» – воодушевленно спросила жена.

«Двадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч сто тридцать три секунды!» – отрапортовал я.

«Так много?» – весело не поверила жена.

«Ну, сосчитай сама», – предложил я.

«Не хочу! – закричал она. – Это долго и скучно! Мне кажется, у нас есть занятие гораздо веселее!»

Она выпорхнула из-за стола, мигом очутилась на моих коленях, прижалась ко мне, и я тотчас же захлебнулся запахом ее тела, волос, губ, глаз...

Ах, как же она была хороша, моя жена, какое великолепное, совершенное, податливое и вместе с тем неуловимое тело у нее! Вот она вспорхнула с постели, раздвинула шторы на окне, в окно хлынул лунный свет (никакого дождя нынешней ночью не было), и начала свой обычный танец – обнаженная в лунном свете. Гибкая, изящная, совершенная... серебриющиеся в лунном свете волосы мягко хлещут по упругой идеальной груди, ритмичные движения обнаженных округлых бедер (тех самых бедер, которые я только что ласкал и целовал) могут свести с ума кого угодно... впрочем, что это я, дурак такой, говорю! Я желаю, чтобы эта грудь и эти бедра сводили с ума меня одного... во все времена, до скончания века меня одного – и никого более! Ничего на свете я сейчас не желаю больше... бедра, грудь, упруго хлещущие по груди волосы!..

Исполнив танец, жена с визгом и хохотом накинулась не меня, я протянул руки ей навстречу... и тут в моей памяти мгновенной вспышкой возникло некое сопоставление. Прекрасная, грациозная, совершенная жена – и там, на другом конце города, во флигельке с окнами в заброшенный сад, другая женщина – неподвижная, парализованная и оплывшая уродина... «Смотри, – говорит мне эта другая женщина, – я уже научилась без посторонней помощи сдвигать и раздвигать ноги...» Жалкие, вымученные полудвиженьица и четвертьдвиженьица, которыми эта уродливая женщина так гордилась... и, главное, я был свидетелем этих убогих и жутких, по своей сути, телодвижений... больше того – я, можно сказать, являлся главной причиной этих телодвижений... все это, показалось мне, было со мной – только где, когда и главное – как вообще такое могло со мною быть?.. Или, может, все это мне только приснилось – в одинокой, без жены, постели и под шум нескончаемого дождя?..

«Что это с тобой? – удивленно спросила жена, и даже отстранилась от меня, недоумевающая. – Я думала... я надеялась, что мы с тобой будем, как обычно... до самого утра... что с тобой, милый? Может, тебе нездоровится?»

«Да нет, что ты, – вымученно улыбнулся я, изо всех сил стараясь казаться беспечным. – Наверно, я просто немножко отвык от тебя за время нашей разлуки... В конце концов, всякое упражнение требует частой тренировки, не так ли?»

«Только и всего? – легко рассмеялась жена. – Ну, коль так, то это – дело поправимое!»

Помимо того, что моя жена была красавица, она была еще и умелица, а я был молодым мужчиной... кроме того, мы с женой еще и любили друг дружку, что тоже немаловажно. Короче, дальше все было определено ясно: мы с женой провели изумительную ночь... ночь, наполненную сладким изнеможением, лунным сиянием одновременно во все окна нашего жилища и удивительными, в лунном свете, танцами. И ничего лучшего для себя я не желал, да и – могло ли что-либо быть лучше?

Не могу, впрочем, сказать, что во всем этом была исключительно заслуга моей умелицы-жены. Нет, в эту блаженную идиллию я также внес свой вклад, и это был весьма странный, противоречивый и подспудно пугающий меня вклад. Раз за разом в моем воображении, совершенно помимо моей воли, возникал образ некоей уродливой женщины: то в инвалидной коляске посреди городского сквера, то лежащей в кровати в крохотном флигельке, за черным окном которого мерно шумел нескончаемый дождь... «Не думать о ней! – приказывал тогда я себе. – Не смей о ней думать... ничего никогда не было... это мне только кажется... это всего лишь странные и непрошенные галлюцинации... это всего лишь мой сон... сон моей минувшей ночи!» И чтобы избавиться от наваждения, я принимался любить мою жену с утроенной энергией и страстью. «Вот видишь, какая я у тебя!» – раз за разом восклицала моя жена.

Все мои страстные усилия она ставила себе в заслугу, а я, разумеется, не возражал...

\* \* \*

– Пожалуй, еще с неделю после того, как мой нечаянный любовник ушел от меня в последний раз, я тешила себя мыслью, что он все-таки вернется – хотя бы на полчаса, хотя бы на десять коротких минуток... Или – подойдет ко мне в сквере, когда братец соизволит меня туда отвезти. Это была подспудная, почти не зависящая от меня мысль...

«Да не вернется он! – подсказывал мне мой здравый рассудок. – И – в сквере к тебе также он не подойдет! Кто ты есть, чтобы мечтать о таком? Все кончено! Хватит с тебя и тех двух ночей, которые были... благодари судьбу и за них... кто ты есть в этом мире, чтобы желать себе какого-то многодневного, долгого, почти нескончаемого счастья... подумай сама!» Разумеется, мой рассудок был прав. Он был прав окончательной, бетонной, неоспоримой правотой, и по этой причине я тут же возненавидела свой рассудок...

В борении с собственным рассудком, а, по сути, – в борении сама с собой я даже не заметила, что мои розы явственно начали увядать. Ну, а когда заметила, мне вдруг захотелось удариться в отчаянье... непрошенные воспоминания нахлынули вдруг на меня... и опять-таки мне на выручку пришел мой ненавистный рассудок. «А чего же ты хочешь? – сказал он. – В этом мире рано или поздно все кончается: в последний раз к тебе приходит любовник, в последний раз он от тебя уходит, увядают даренные им розы... все кончается! Все кончается, все движется от своего начала к своему окончанию, иначе не может и быть... в этом-то и кроется высшая справедливость! Но жизнь-то – продолжается, поэтому надо жить – без любовника и некогда подаренных им роз...»

Разумеется, и на этот раз мой рассудок был прав: все на свете кончается. После того, как мать по моей просьбе молча вынесла увядшие розы, я переключилась на воспоминания... по фрагменткам, по капелькам, по малым частицам – как и

намеревалась. Начала я, разумеется, с роз... нет, даже не с них, а с того, что им предшествовало, то есть с того, как я задремала и уронила книгу, а он, мой любимый, подошел и поднял ее... и дальше все по порядку – с самого начала до самого последнего мгновения... то есть до того мига, когда мой мужчина стоял на подоконнике, а я думала – спрыгнет он на землю или взлетит в черные предутренние небеса, с которых на землю падал нескончаемый дождь...

Эти воспоминания захватили меня настолько, что я перестала читать книги, напрочь забыла о телевизоре и о том, что вот уже столько дней мой братец-лодырь не вывозил меня в сквер... Пускай не вывозит, до прогулок ли мне теперь! Что они мне могут дать, эти прогулки, какими такими впечатлениями они меня могут одарить! Вовсе даже не в сквере, а в моей комнате, вот на этой самой кровати, я испытала самые потрясающие в моей жизни впечатления! У меня был любовник! У меня был любовник! Ах, какой замечательный это был любовник, какой нежный, обходительный, умелый!.. И какой нежной и умелой была я сама... и это при моих-то возможностях... а, впрочем, причем тут, спрашивается, мои возможности... о каких возможностях я говорю! Когда у меня был любовник, я и сама была любовницей... я была ловкой, стремительной, подвижной, желанной... он ведь сам, мой любовник, однажды мне сказал об этом – и я до сих пор убеждена, что он мне не лгал! Погодите-ка, мне надо припомнить, как же именно он сказал мне об этом... а, ну да, конечно же! «...Да погоди ты, – взмолился мой любовник, – я просто не успеваю за тобой!..» Да-да, именно так он и сказал, и это не было ложью, потому что, во-первых, это было сказано таким тоном, таким тоном... то есть самым искренним тоном... а, во-вторых, тогда, когда эти его слова были произнесены... в общем, там была такая ситуация, что – в такой ситуации просто невозможно солгать... немислимо солгать.

Об одном только я сейчас жалела: почему я, дура такая, была столь стеснительна во время двух наших любовных свиданий? Ох, и дура же я, дура... ведь так и не успела из-за своей стеснительности испробовать всего того, что в принципе запросто могла бы испробовать... а коль испробовать, то, значит, и почувствовать, а коль почувствовать, то и запомнить... на всю свою оставшуюся жизнь запомнить, и сейчас – вспоминать, вспоминать, вспоминать... Во время тех двух ночей я, разумеется, как могла, стремилась избавиться от моего стеснения, даже, припоминается, изобрела по этому поводу целую философскую теорию... но до конца я так от своей стыдливости и не избавилась... Наверно, все-таки я надеялась... в самой глубине своей души или, может, на уровне подсознания, что он, мой нечаянный любовник, не уйдет так скоро, что мне будет даровано еще столько-то мгновений счастья, а потому – я успею, я еще все успею...

Ну да ладно, что толку теперь об этом мечтать и для чего себя корить... только измаешься душой, и ничего более. Уж лучше я буду вспоминать то, что было... вспоминать по капелькам, по фрагментикам, по малым крохам... «... Это и есть то, что называется оргазмом?» – спросила я у моего любовника, когда ко мне вернулся дар речи. «Наверно», – ответил мой любовник. «Ну и ну, – сказала я, – теоретически такое вообразить просто невозможно!» Помнится, он тогда засмеялся и нежно погладил меня по волосам...

...Погруженная в свои чувственные воспоминания, я совершенно перестала замечать ход времени. Однажды, традиционно находясь в плену своих воспоминаний, я бросила случайный взгляд в окно, увидела сквозь стекло крохотный кусочек сада, и та картина, которую я увидела, заставила меня подспудно насторожиться. Что-то было не так в законном фрагментике... что-то в нем было неладно. А, ну конечно же – добрая половина листьев на видимой мною из окна ветке липы была окрашена в желто-багряный цвет! Что такое, отчего? Непонятно, то ли это липа вдруг стала засыхать, то ли...

«Да ведь октябрь давно уже на дворе! – сообщила пришедшая на мой зов мать. – Оттого и желто... а то как же иначе! Уж и зима на подходе...»

Октябрь! Эта новость повергла меня в состояние оторопелого недоумения. Легко ли – октябрь! Ведь это же означает, что мой любовник ушел от меня вот уже три месяца тому! Три месяца тому – а я и не заметила, и не ощутила этой бездны времени... будто три дня прошло с того момента, как он ушел!..

Той же ночью мне приснился сон. Вообще-то сны мне снятся часто, однако большей частью они – какие-то нелепые, бесформенные, путаные обрывки, которые забываются сразу же, как только я просыпаюсь. Нынешней же ночью мне приснился совершенно иной сон. Мне приснился удивительный сад, сплошь засаженный невиданными деревьями и цветами, среди которых виднелось множество белых роз. И посреди всего этого благолепия будто бы стою я – маленький, кудрявый и подвижный ребенок. Я стою и держу в руках три прекрасные белые розы. Зачем я здесь, как я сюда попала, куда я уйду затем из этого чудесного места, кто я?.. «А я, – вдруг говорю я сама себе, – это не ты. Я – твоя дочь». Эти неожиданные и удивительные слова повергли меня в недоумение. Дочь... какая дочь? Нет у меня никакой дочери, и не будет никогда... «Неправда, – отвечаю я сама себе. – У тебя есть дочь. Я твоя дочь. Видишь эти три белые розы? Они тебе подтвердят, что я – твоя дочь». «Да-да, – колыхнулись три белых цветка в моих руках, – у тебя есть дочь...»

Тут-то я и проснулась, а проснувшись, смятенно уставилась во тьму за окном. Вот так сон... никогда ничего подобного мне не снилось! Удивительный сад, наполненный белыми розами, девочка, держащая в руках букет из трех белых роз, и эта девочка – вроде бы я сама, а вроде бы и не совсем я... удивительно! «Я – твоя дочь, – сказала мне эта девочка. – У тебя есть дочь...» Ах, если бы это был не сон, а явь... если бы в моем сне была хоть капелька правды! Дочь... дочь или сын, без разницы – это же была самая потаенная моя мечта... настолько потаенная, что я никогда ни о чем таком и не думала... я не смела об этом думать! Однако то, о чем мы не смеем думать днем, иногда снится нам ночью во сне... ах, если бы в моем сне была хоть крохотная частица правды!

И тут я неожиданно почувствовала где-то внутри себя, прямо под сердцем, некое движение... чей-то едва ощутимый вздох почудился мне под моим сердцем. Вначале я подумала, что это просто шевельнулось само мое сердце... да нет, сердце как обычно билось размеренно и ровно... тогда что же это за шевеления и вздохи? Вот вроде бы опять что-то такое шевельнулось и вздохнуло у меня под сердцем... и сразу же вслед я вдруг ощутила... как бы мне поточнее выразиться... вроде бы как раздвоение самой себя. Да-да, именно так – раздвоение самой себя! Будто бы одна я нахожусь сейчас вот в этой самой комнате на этой самой кровати, а другая я в то же самое время находится в каком-то другом месте... или даже внутри меня самой, не знаю... точь-в-точь как в моем недавнем сне. «Я – твоя дочь», – сказала я самой себе в своем сне...

Стоп... спокойно... будем рассуждать логически и, по возможности, без недоуменных эмоций. Уж не беременна ли я? Да нет, чепуха: только вообразить – я беременна... Нет, а вдруг... а почему, собственно, это – чепуха? Разве у меня не было никогда мужчины? Как это так – не было мужчины? Был мужчина! И чем же я занималась с моим мужчиной, когда он у меня был? Да как это – чем занималась... тем и занималась... целых две ночи кряду! А разве мне не ведомо, что от подобных занятий с мужчинами женщины обычно становятся беременными? Да, в общем, ведомо, однако я как-то ни о чем таком не подумала... вообще я была уверена, что уж кого-кого, а меня это никак не касается. А отчего это вдруг всех касается, а меня – не касается? Разве я не женщина? Да в общем-то вроде как женщина... Без всяких «вроде»! Ты – женщина, и у тебя был мужчина! Это – первое. И – второе: поразмысли, если ты женщина, когда у тебя в последний раз было то, что обычно бывает у всех женщин? Когда было? Когда же оно у меня было... вот те раз! Да, пожалуй, месяца три тому и было, а после того, как от меня

ушел мой любовник, вроде бы и не было... Ну и ну... а я-то, дура такая, до того увлеклась своими воспоминаниями, что обо всем ином и думать позабыла... и не обратила на это важнейшее обстоятельство ни малейшего внимания! Так, стало быть, я беременна?! Господи... уже целых три месяца!.. Неужто!?

\* \* \*

– Октябрь, осень. Я люблю осень... никакую другую пору я не люблю так, как осень. Вечереет, я иду с работы по золотисто-багряному скверу. Собственно говоря, идти по этому скверу мне не по пути, однако сегодня я предумышленно выбрал окольный путь, чтобы как следует поразмыслить. На душе у меня – именины. Сегодня утром моя жена сообщила, что ждет ребенка. Через полгода у меня будет сын или дочка – мне совершенно без разницы!

«Какой ты у меня молодец!» – в восторге кричал я, узнав о новости.

«Скорее, это ты молодец, а не я!» – смеялась жена.

«Мы с тобой оба молодцы! – весело возражал я. – Наш ребенок непременно будет похож на тебя!»

«Нет, на тебя! – в свою очередь возражала жена. – Ты у нас такой красивый!»

«Ну, а ты – еще красивее!» – кричал я...

Однако стоп... стоп... смутно знакомое место. Откуда оно мне может быть знакомым, а? Городской сквер, щербатая асфальтовая дорожка, скамья со сломанной спинкой под дикой яблоней, черемуховый куст невдалеке... Ну да, да... конечно же... уродливая женщина в инвалидной коляске... Оля. Именно на этом самом месте мы с ней когда-то и познакомились. Кажется, о чем-то мы с ней на этом самом месте говорили... погодите-ка – о чем же мы с ней говорили? Нет, не припомню... а, ну да, конечно же! Мы говорили с ней о литературе... о странном рассказе какого-то писателя... и сам рассказ был странным, и его название также было странным... да-да, именно так. Мы говорили с ней об этом рассказе... кажется, рассказ назывался «Синяя бутылка»... да-да, именно так он и назывался. Синяя бутылка – символ неисполненных человеческих желаний, самое потаенное и желанное из которых – смерть... А затем – я подарил Оле букет из трех белых роз. Именно так – букет из трех белых роз... это были удивительные розы! Оля, Оля... Честно говоря, я и думать-то о ней забыл. Оля... Что с ней сейчас, жива ли, по-прежнему ли обитает в своем флигельке с окнами в заброшенный сад?.. Ну да ладно, не до нее мне теперь. У каждого из нас своя жизнь и своя дорога... встретились, соприкоснулись, разошлись – и продолжаем жить дальше...

Ладно, пойду: мне теперь особо задерживаться нельзя, у меня жена в положении. Прошлой ночью, когда мы с ней лежали в постели, она взяла мою руку и положила к себе на живот.

«Послушай, – сказала жена, – как живет внутри меня твой ребенок!»

Я замер... и вдруг ощутил под рукой слабое биение и вроде как бы дыхание. Ох, как же меня взволновало это биение и дыхание – до утра заснуть не мог!

\* \* \*

– Я беременна! Через каких-то полгода у меня будет ребенок! Мне хочется, чтобы это была дочь... а, впрочем, пускай будет и сын – мне все равно. Такое событие надо как следует прочувствовать и осознать. Когда у меня появится ребенок, моя убогая жизнь тотчас же изменится, она приобретет наполненность и истинный смысл... да разве в одном этом дело?! Главное – у меня будет ребенок... это будет мой ребенок, который,

возможно, даже будет похож на меня! Ой, да что же это я, дура, такое говорю – будет похожим на меня! Господи, да ни в коем случае! Нет-нет, конечно же, он будет похож на своего отца... мой ребенок будет таким же красивым и добрым, как и его отец... мой ребенок будет похожим на Ангела! Господи, побыстрее бы они минули, эти шесть месяцев! Какое, оказывается, счастье – чувствовать и знать, что у тебя будет ребенок! И еще большее счастье, безусловно, когда он появится на свет. Если у меня будет дочь, я назову ее Машей, а если сын, то Ваней.

Вот только... Ума не приложу, как обо всем сказать матери... да и братцу, конечно же, следует сказать тоже. Разумеется, сразу же посыплются вопросы: каким образом, когда, с кем, как вообще исхитрилась?... а вслед за вопросами – наверно, и упреки, и, может быть, даже оскорбления и побои... в первую очередь, конечно же, от братца. Ну, ничего, ничего... все как-нибудь образуется. Кроме братца, у меня еще есть и мать... мама. Моя мама – человек добрый. Когда она увидит, что ее дочь счастлива (наконец-то, единственный раз в жизни, по-настоящему счастлива), она также будет счастлива. И – все войдет в счастливую колею: я буду ждать дочку или сына, а мать соответственно внучку или внука...

А все-таки страх как хочется узнать именно сейчас, за полгода до события, какие у моего ребенка будут волосы и глаза, как он будет лепетать и протягивать ко мне ручки, чем будут пахнуть его волосы и какой вкус будет у его щек... Наверно, отец моего ребенка и впрямь был Ангел... что с того, что он, когда мы с ним расставались, спрыгнул на землю, а не взмыл в небо? Подумаешь, не взмыл в небо... а, может, им, Ангелам, нельзя на виду у посторонних взмывать в небеса... может быть, им это запрещено какой-нибудь специальной ангельской инструкцией... откуда мне знать? Дело ведь не в том, спрыгнул он на землю или взмыл в небеса, дело в другом... дело в том подарке, который он мне преподнес... прослышал, должно быть, Господь о моем самом сокровенном желании, послал ко мне своего Ангела, и Ангел смастерил мне дитя... самый желанный для меня подарок и утешение на всю мою бесталанную жизнь! Господи, у меня будет ребенок... через каких-то полгода у меня будет дитя... благодарю Тебя за то, что Ты прознал о моем самом сокровенном желании и послал ко мне Своего Ангела!

... Сегодня понедельник, начало последней недели октября. За окном моей комнатки идет дождь. Может быть, именно потому, что идет дождь, я чувствую себя ужасно плохо. Меня мучит тошнота и озноб, все мое тело как будто разрывается на части, несколько раз, похоже, я даже теряла сознание... Мать хлопчет около меня, ахает и причитает, и не может понять, что со мной творится. Я также не могу этого понять, но чтобы успокоить мать, да и саму себя заодно, я силюсь улыбнуться и говорю матери:

«Ничего, мамочка, ничего... это только дождь. Вот увидишь – кончится дождь, и мне сразу же станет лучше!»

Мать с сомнением смотрит на меня, косится на мокрое от дождя окно, недоверчиво качает головой, что-то бормочет и уходит, а я тут же погружаюсь в забытие – будто проваливаюсь в бездонную, обитую черной ватой яму...

... Прихожу я в себя оттого, что в моей комнате присутствует некто посторонний. Ощущение присутствия чужого человека в моей комнате для меня просто невыносимо... сколько я себя помню, никто чужой мою комнату никогда не посещал... только в самом начале, когда я стала такой, какая я есть сейчас, ко мне приходили чужие люди в белом одеянии, а так – никто и никогда... Мать, брат и отец моего ребенка не в счет – какие же они для меня чужие? А вот кто эта шумная, грузная женщина... что она делает в моей комнате и у моей постели? На ней – какое-то белое одеяние вроде докторского халата... ах да, это же, наверно, врач! Это врач, и осознание того, что это – врач, отчего-то действует на меня просто-таки угнетающе... для чего тут врач... что ему тут нужно? А, понимаю: должно быть, пока я была без сознания, мать успела вызвать врача. Зачем? Я же ей сказала – кончится дождь, и мне сразу станет легче...

«Никак очнулась, деваха? – спросила докторша, заметив, что я смотрю на нее. – Вот и хорошо, что очнулась, потому как имеется серьезный разговор, который желательно вести в твоём присутствии. Мамаша, – обратилась докторша к матери, – Вы уже знаете о том, что Ваша дочь – беременна?»

Выдав, таким образом, мою самую заветную тайну, докторша искоса взглянула на меня, и я легко прочитала её взгляд. Дескать, надо же – беременна, и кто только позарился на такую-то уродину... бывают же чудеса на белом свете!

«Бе... – проблеяла между тем мать, ошарашено открыв рот, – Вы сказали – беременная?! Да Вы что... да как же так... да быть того не может... да с чего Вы это взяли?»

«В таких вещах, мамаша, – важно сказала докторша, вновь взглянув на меня, – я не ошибаюсь! Да, беременна... месяца три уже сроку будет. А Вы что же, до сих пор не знали? Н-да... Впрочем, – продолжала докторша, – дело даже не в том, знали Вы или нет – дело в другом. Позвольте Вас, мамаша, на минутку...» – И докторша увела явно впавшую в столбняк мать за дверь.

До позднего вечера за окном шумел дождь... и никто в мою комнату не входил. Я лежала и силилась думать о том, что такого могла сказать матери докторша, что вот уже и поздний вечер, а ко мне в комнатку до сих пор никто не вошел... я силилась думать и еще о чем-то – но какие уж тут думы! Мысли разбегались, я никак не могла собрать их воедино... а главное, на душе у меня было до того муторно и тревожно, будто бы я некогда совершила жуткое тайное злодеяние, и вот теперь настала пора за это злодеяние отвечать. Но ведь я не совершала никакого злодеяния... разве моя открывшаяся беременность – это злодеяние... разве счастье может быть злодеянием?!

Уже за полночь в комнату вошла мать: глаза заплаканные, лицо скорбное и негодующее. Она молча поменяла кувшин с водой, молча положила на мой столик два яблока – мой запоздалый ужин, и так же молча ушла. Я взяла одно яблоко, поднесла его к губам... яблоко сильно пахло солнцем и еще чем-то забыто-щемящим и добрым...

За окном, в темноте, нескончаемо шумел дождь...

\* \* \*

– Ну и ну! Вот это – да! Вот учудила моя сестрица, так учудила! Вот тебе и параличка, вот тебе и уродина! Когда рыдающая мамаша мне обо всем сообщила... ну, о том, что моя сестрица, оказывается, в интересном положении, я прямо-таки со стула грохнулся... вот просто-таки взял и грохнулся, честно говорю... прямо-таки пол подо мной затрясся от моего падения! И – целых, наверно двадцать пять минут я лежал на полу в неподвижном состоянии... мне уже начало казаться, что больше я никогда и не поднимусь, что меня разбил паралич, как и мою дражайшую сестрицу, что меня обнял кондратий, что меня одолела самая лютая разновидность столбняка... честное слово я так о себе и подумал! А когда я слегка пришел в себя и поднялся, мы с мамашей тут же устроили серьезное семейное совещание.

Первым делом я велел мамаше прекратить ахать, выть и причитать.

«Прекрати, мамаша, – сказал я, – свои несвоевременные причитания и свое вытье... у меня просто волосья дыбом ерошатся от твоего вытья... не до причитаний сейчас – дело делать надобно... верней, надо думать, как нам быть дальше в нашем, благодаря сестрице, несуразном и дурацком положении!»

И мы с мамашей тут же стали думать, как нам быть дальше. О том, чтобы позволить сестрице родить, не могло быть и речи – в этом плане у нас с мамашей мнение было с самого начала всеобщим и единогласным. Я мамаше так и заявил:



«Скажи, мамаша, на кой, спрашивается, хрен нам с тобой нужен этот невесть кем и неведомо каким образом сделанный ребенок? Ну, допустим, родит она этого своего выблядка, – а дальше-то что? Нет, и в самом деле – а дальше-то что, а? На чью, спрашивается, шею она его повесит, этого своего выродка? На свою собственную? Как же – на свою собственную... она и сама, будто гиря, висит на нашей с тобой шее, о чем ты, мамаша, и без меня распрекрасно знаешь! Отвези-привези, накорми-прибери... и так изо дня в день... тьфу! Так на чью же шею она повесит этого своего выблядка, а? Может, на твою, разлюбезная ты моя мамаша? Да вот только выдержит ли такой груз твоя старая шея, вот в чем вопрос! Не выдержит, тут и рассуждать не о чем. Сама сестрица висит на твоей шее, да еще своего ребенка туда же повесит... ах ты ж, зараза такая! Мамашу бы пожалела, прежде чем... как же, пожалеет она, блядь парализованная! А, может быть, на моей шее повиснет этот ее щенок? Ну да, конечно, только о том я всю свою жизнь и мечтал! Ты со мной согласна, мамаша?..» «Да, – испуганно кивала на протяжении всей моей речи мамаша, – да...» «Ну и, стало быть, решено! – отрубил я. – Решено и отрезано!»

Это, так сказать, была первая часть вопроса, а ведь имелась еще и часть вторая... да притом еще какая – ничуть не проще части первой, а, может, еще и покучерявее!

«Тяжелая у нее беременность, – сказала нам с мамашей намеренно докторша. – И чем дальше, тем будет тяжелее... вообще, учитывая то обстоятельство, кто она такая есть, эта будущая мамаша, ей, по-хорошему, и рожать-то не следовало бы! Потому как – могут быть крайние осложнения! Крайние – понятно вам или нет?»

Вот так – крайние осложнения! А на хрена, спрашивается, нам с мамашей нужны эти крайние осложнения, когда и без них тошно? Нет, уважаемая сестрица, как ты себе хочешь, а родить твоего выблядка мы с мамашей тебе не позволим! Тебе же самой лучше будет... еще и благодарить потом нас будешь!

Теперь насчет третьего вопроса... то есть насчет того, кто и каким таким неслыханным образом исхитрился смастерить сестрице ребенка. Признаюсь, этот вопрос стоял в моей голове отдельным пунктом и занимал меня очень и очень... просто-таки до самозабвения... просто-таки до печеночных коликов он меня занимал! Ну, в самом деле... во-первых – кто? Кто мог до такой степени польститься на мою уродливую сестрицу... не дух же бесплотный, в конце концов! Ох, как бы мне хотелось хоть разик взглянуть на этого духа... то есть на этого типа... кобель, должно быть, он несусветный и неразборчивый, кобель позарился на паралитичку убогую... Ну, ничего, ничего... может быть, мы еще и взглянем на этого кобеля, может, мы еще с ним и свидимся... имеются, знаете ли, у меня на сей счет кое-какие соображения! Во-вторых, каким, интересно, эдаким образом этот неведомый субъект исхитрился сотворить такое деликатное, в общем-то, дело? И, главное, где именно – вот о чем бы хотелось мне знать! Посреди аллеи, где я обычно оставляю сестрицу одну? Мудрено, народ же кругом! Стало быть – не в аллее. По пути на аллею и по пути с аллеи – тоже вряд ли... такое невозможно даже теоретически, потому что этот путь мы с сестрицей всегда совершаем вдвоем. Ну, и что же получается в остатке? А в остатке получается, что – в ее же собственной комнате, больше нигде. А что, и очень даже запросто! Окно сестрицыной комнатенки выходит в глухой сад, на ночь это оконце, насколько мне помнится, частенько не запирается... просто-таки идеальные условия для всяких потаенных дел, а уж для такого занятия, как делание ребенка – и того паче! Что, скажем, стоило этому типу дожидаться ночи, перелезть через забор, незамеченным пройти сквозь сад, забраться в отворенное окно, сделать свое дело и тем же самым макаром удалиться восвояси? Логично? Еще как логично! И черным пологом покрыла ночь их преступные следы – как поется в одной полузабытой мною песне... Скажем прямо – лично я на его месте именно таким бы образом все и сварганил... впрочем, речь сейчас никак не обо мне, а именно о сестрицыном паразите-соблазнителе... ах ты ж, мама моя родимая... ну и дела творятся на белом свете, а, вернее будет сказать, под покровом ночной тьмы!..

Итак, картина более-менее проясняется... ох, как бы мне хотелось увидаться с этим субъектом с глазу на глаз! Ну ничего, может быть, еще и свидимся... Эхма, мать ты моя родимая! Да ведь, скорее всего, и те три белые розы именно он ей подарил – так сказать, для соблазнения чувств! Ну, разумеется... а я-то, дурак, целый месяц, помнится, сушил себе голову – откуда, мол, у этой уродины цветочки... Так вот откуда у нее цветочки... ну и ловкий же, видать, парень, этот сестрицын соблазнитель... да и сама сестрица, оказывается, не промах, даром что бревно парализованное! Ну, ничего, ничего... надо делать дело, а все остальное – будет потом... там поглядим, что к чему и воздадим каждому по заслугам его...

\* \* \*

– Они пришли ко мне далеко за полночь – мать и брат. Увидев их, я вдруг испугалась... испугалась по-настоящему, просто-таки взхлеб... мое сердце вдруг стало вещать о какой-то скорой, неминуемой и страшной опасности. Вслед за мной испугался и мой ребенок: он вдруг зашевелился во мне и вроде как часто задышал... Господи, что они удумали с нами сделать?..

«Стало быть, так, сестрица! – деловым тоном начал брат. – Как он, этот гад, исхитрился тебя обрюхатить, я это очень даже отчетливо себе представляю. Проник к тебе ночью через окно, не так ли? Молчишь? Стало быть, я прав... однако не это меня сейчас интересует. Меня интересует – кто он? Ну, так кто же он, а?»

Я молчала. Да и что я могла сказать моему брату, если бы даже и пожелала что-нибудь сказать? Назвать имя отца моего ребенка? Приметы, что сохранились в моей памяти? Рассказать о наших с ним встречах на аллее и здесь, в моей комнатке? Рассказать о трех белых розах? О зеленой марсианской бутылке? Сказать, что я до сих пор подозреваю в нем Ангела Божия? Зачем мне это было говорить братцу? Какими словами я могла ему обо всем этом сказать?..

«Зачем тебе?» – тихо спросила я у брата.

«Затем, что надо! – заорал брат. – Затем, что я хочу его увидеть и побеседовать с ним на кое-какие интересные темы! Ну, так кто он?»

«Не знаю», – по-прежнему тихо ответила я.

«Ах, так значит, ты не знаешь? – зарычал мой брат. – Она, видите ли, не знает... ничего, сейчас вспомнишь, блядь ты парализованная... сейчас ты мне все расскажешь!»

И братец с угрожающим видом двинулся ко мне.

«Сынок! – повисла на шее у брата мать. – Ты что же это, сынок... опомнись... разве можно?!»

«Эх, мамаша! – плаксиво сказал брат, безнадежно махнул рукой и сел на стул. – Ладно, это – дело мое... уж я его все равно отыщу... ладно. Ты же, сестрица, вот чего... завтра же утром подгоним «скорую помощь» – и в больницу... понятно тебе?»

«Зачем – в больницу? – очень тихо спросила я, изо всех сил стараясь не вникать в потаенный смысл слов, произнесенных братом. – Для чего – в больницу?»

«Для того самого! – жестко сказал брат, а мать согласно кивнула. – Будто не понимает... дурочкой прикидывается! Еще одну, кроме себя самой, хочешь на нас обузу повесить... ах ты ж – бревно парализованное! Не выйдет... даже и не рассчитывай! Сказано – в больницу... завтра утром!»

Каким-то краешком рассудка я понимала, что брат прав... прав неотвратимой, жестокой, всесокрушающей правотой: нельзя мне иметь никакого ребенка, не для меня такое счастье, как и вообще всякое на свете счастье. Все правильно и логично... но при

чем тут какая-то логика и чья-то правота, когда моему (моему!) ребенку угрожает опасность, когда моего ребенка хотят убить!

«Нет! – закричала я шепотом. – Нет, ни за что... не надо... я не хочу! Не надо!»

«Не надо... – насмешливо передразнил братец. – Ишь ты – не надо! Да кто ты такая, обуза, чтобы решать, что надо, а что не надо? А, кроме того, – ведь ты еще не все знаешь! Да! Ведь ты же все равно не сможешь родить... ты умрешь во время родов вместе со своим щенком... или даже еще раньше! Об этом нам сказала докторша, понятно тебе? Мамаша может подтвердить, что я не вру!»

Я взглянула на мать. Она поймала мой взгляд, отвернулась и заплакала.

«Ну, вот! – сказал брат. – О ней заботятся, а она – надо, не надо, хочу, не хочу... Понимать должна!»

«Коль так, то умрем вместе... я и мой ребенок...» – прошептала я, изо всех сил стараясь не заорать, не удариться в неопишную, жуткую и бессильную истерику, не начать биться головой о подушку... совершенно не представляю, что я могла утворить в самую ближайшую секунду.

«Ох, – скривился братец, – как же мне все надоело! Остобрыдло... вашу мать! Нет, решено: завербуюсь на какую-нибудь войну и... Мамаша, прекрати, наконец, выть... без твоего вытья тошно! Ступай отсюда, без тебя разберусь... тут и разбираться-то не в чем!»

Когда плачущая мать ушла, брат подошел к моей кровати, и, раскачиваясь с пятки на носок, стал молча смотреть на меня.

«Генка! – сказала я ему. – Слышишь, Генка... ведь мы с тобой брат и сестра! Ведь ты же, наверно, помнишь – когда я еще умела ходить... помнишь, как ты защищал меня от мальчишек? А когда мы с тобой однажды забрались в чужой сад, и хозяин нас поймал – помнишь, как ты нарочно подставился под удар, чтобы уберечь меня? Генка...»

«Ну?» – спросил брат.

«Не надо никакой больницы... я прошу тебя! Как-нибудь все образуется... все будет хорошо, Генка... не надо завтра в больницу!»

«Спи!» – жестко сказал брат, пододвинул стул и уселся у окна.

«Почему ты... не уходишь?» – давя спазмы в горле, прошептала я.

Мне хотелось, чтобы он ушел... чтобы все на свете, кому до меня есть хоть какое-то дело, этой ночью оставили меня одну... чтобы были только темень за окном, незримый дождь в темноте и я с моим ребенком... Но, судя по всему, даже такое мое желание не могло осуществиться.

«Спи! – повторил брат. – А я посижу... покараулю до утра... мало ли чего...»

Эта ночь была для меня нескончаемой. Мне было плохо... мне было плохо во всех смыслах этого слова. За окном монотонно шелестел дождь... я то и дело проваливалась в горячую черную яму... а когда я оттуда на какое-то время выкарабкивалась... а выкарабкивалась я из этой ямины по одной единственной причине – меня побуждал к тому мой ребенок... он эту ночь вел себя особенно беспокойно, шевелился, часто дышал, будто хотел убежать или спрятаться, или что-то мне сказать... это и заставляло меня выныривать из черной жуткой ямины.

«Ничего, – говорила я тогда своему ребенку, – ничего... как-нибудь... доживем до утра – а уж там...»

И не договорив, я вновь падала в ту самую яму... а когда я снова приходила в себя, то видела и ощущала все то же самое: беспокойство моего дитяти, непроницаемую темень за окном, шорох дождя, застывшую на стуле фигуру братца...

«Ничего, – вновь повторяла я, обращаясь к своему ребенку, – ничего... вот доживем до утра...»

А что еще могла я сказать моему дитяти, чтобы его утешить и успокоить? Ничего больше я не могла сказать...

\* \* \*

– Вчера вечером моя жена сообщила, что должна лечь в больницу.

«Что такое? – всполошился я. – Что-нибудь с тобой или ребенком?»

«Нет-нет, – принялась успокаивать меня жена, – ничего страшного! Просто – врачи рекомендуют... осмотр, профилактика... то-сё... всего-то – на недельку».

Сегодня утром я отвез жену в больницу, и целый день чувствовал себя прескверно. Мою душу томила какая-то тягость, в мире ощущался стойкий неуют... может быть, это было из-за того, что с утра зарядил дождь, и не переставая, все шел, шел...

К вечеру я совершенно для себя неожиданно ощутил странное желание... вернее, вначале это было не желание, а вдруг нахлынувшие воспоминания. Лето, аллея в городском сквере, снующие взад-вперед люди... а посреди всей кутерьмы – инвалидная коляска с восседающей в ней женщиной... женщина одета в нелепый зеленый костюм и притом неопишимо уродлива... Затем моя память нарисовала мне старый, заброшенный, наполненный дождем сад, дом с флигелем на окраине сада, отворенное окно во флигеле, подоконник с тремя белыми розами в вазочке, маленькую комнатку с ночником и лежащую на кровати все ту же неподвижную уродливую женщину. И все, что за всем этим некогда последовало, мне моя память нарисовала тоже – отчетливо, в деталях, и отчасти даже в ощущениях... И вслед за этим мне вдруг с непреодолимой силой захотелось сейчас же прийти к этому саду, перелезть через забор, пересечь сад, неслышно ступая, подойти к окну флигелька, влезть в окно и увидеть лежащую на кровати уродливую женщину...

Эта непонятная для меня страсть к вечеру приобрела такую силу, что я, несмотря на непрерывный дождь, торопливо оделся, и даже не сообразив захватить с собой зонтик, выбежал во тьму. Мои ноги помимо моей воли несли меня по знакомому маршруту. Вот и забор, отделяющий сад от улицы... вот большой камень, который я некогда придвинул к забору, чтобы половчее попасть в сад... прошло столько времени, а он, камень, все на том же самом месте... а вот и сам сад, наполненный тьмой и шуршащим дождем. Вот старая липа – от нее ровно двадцать шесть шагов до заветного оконца... даже такая, навсегда, казалось бы, позабытая мелочь мне помнилась сейчас отчетливо. В оконце угадывается отблеск ночника... так и должно быть... она, эта женщина, всегда спит с зажженным ночником... я помню, она мне об этом когда-то сама говорила. Вот выступ фундамента... на него следует стать левой ногой... руки в этом случае как раз дотянутся до оконца – и оконце легко распахнется...

...Темная квадратная фигура вдруг поднялась мне навстречу из комнаты.

«Ага! – грубым мужским голосом сказала фигура. – Вот ты и явился, голубь... я прямо как чувствовал! Хех!»

И фигура, выбросив вперед черную руку, цепко схватила меня за ворот, встряхнула – и тут же разящий, ошеломительный удар в лицо свалил меня на мокрую траву под окном. Вслед за этим вся фигура целиком вывалилась из окна, упала на меня, и я начал получать удары один за другим – удары страшные, нерассуждающие...

На какое-то время я потерял сознание... а когда очнулся, то с трудом сообразил, что темная фигура, рыча и матерясь, волокла меня куда-то по саду... да-да, кажется, фигура волокла меня к выходу из сада... к выходу, которым я никогда до этого не

пользовался. Дотацив меня до выхода (избитый и ошеломленный, я не мог активно сопротивляться), фигура нанесла мне последний, завершающий удар по голове, и я упал во что-то холодное и жидкое – да так и остался лежать, не имея ни сил, ни желания подняться.

«Ты понял, сука, за что тебе расплата?» – прорычала фигура – и я опять потерял сознание.

Сколько я так лежал – минуту, час? Кажется, все-таки долгонько, потому что когда я пришел в себя, дождя уже не было, а один край неба занимался утренней болезненной зарей. Я с трудом приподнялся и пошел навстречу утренней заре... мне смутно припоминалось, что именно там, в той стороне, должен быть мой дом.

Тащился я к дому долго, тяжело, ранние прохожие испуганно шарахались от меня. Дома я тот же час сбросил с себя мокрую одежду и принялся разглядывать себя в зеркало. Ясное сознание, а вместе с тем и самообладание постепенно возвращались ко мне. Ничего себе отделала меня черная фигура! Впрочем, кажется, обошлось без сотрясения мозга... а, может, и не обошлось – поди сейчас разберись. Ладно. На работу, конечно, я сегодня не пойду, позвоню и скажу, что прихворнул... да и вечером к жене в больницу, как было обещано, также не пойду... куда идти – с такой-то физиономией? Разумеется, при желании я нашел бы, что сказать жене... сказал бы, к примеру, что на меня напали бандиты... но все-таки не стоит волновать понапрасну жену в ее-то положении. Стало быть, к жене я съезжу завтра поутру – авось до завтра все и образуется с моей физиономией. А пока – спать: сон – лучшее лекарство как от физических, так и от душевных болей.

... А все-таки – за что он меня так отделал, этот черный тип? Кулаки у дьявола, как два молота – ведь запросто мог и убить такими-то кулачищами! Что он сказал, волоча меня по саду? Понял ли я, дескать, за что расплатился... кажется, так? Наверно, принял меня за ночного грабителя. Неужто он каждую ночь сидит у окна и поджидает грабителей? Смешно... а интересно – она, эта женщина, к которой, повинувшись своему непонятному ночному желанию, я так стремился... кажется, ее звать Олей... она-то слышала или нет, как меня бил этот тип (видеть, разумеется, она не могла)? А, может, она сейчас и вовсе уже не живет в этом флигельке, а живет там как раз этот самый квадратный тип... времени-то прошло изрядно, и все могло поменяться. А все же интересно, какая такая непонятная сила погнала меня ночью к этому окаянному оконцу... ведь темень, и дождь, и вообще бессмыслица... Спать, спать...

...Утром меня разбудил телефонный звонок. Звонила жена, и голос у нее был чрезвычайно встревоженный.

«Милый, – зачастила жена, – что с тобой произошло? Я так истосковалась по тебе и твоему голосу... позвонила к тебе на работу, а там говорят, что тебя нет... что ты вроде как заболел. Андрюшенька, милый, что случилось?»

«Все в порядке, – сказал я. – Завтра я буду в полной форме и обязательно приеду к тебе!»

«Нет-нет, – запротестовала жена, – я чувствую, что ты нездоров, что тебе нужна моя помощь... и голос у тебя какой-то не такой... я немедленно возвращаюсь домой!»

И бросила трубку... вот ведь незадача! Придется, пока жена не вернулась, основательно поразмыслить над версией об избиении меня бандитами... чтобы, значит, все в этой версии было логично и выглядело правдиво. Н-да... но какая все-таки сила погнала меня ночью к этому флигелю, будь он неладен? Зачем, для чего, что я хотел там отыскать и с кем увидеться? Я размышлял и поражался самому себе...

Жена примчалась буквально через полчаса после нашего телефонного разговора, и увидев меня во всей, так сказать, красе, захохла и запричитала. Пришлось ее

успокаивать, и заодно рассказывать о коварном бандитском нападении на мою персону. Ничего, вроде складно получилось...

\* \* \*

– Утром я очнулась с ощущением того, что хочу умереть. Неважно как – мгновенно или в долгих муках, неважно также – от чего и каким образом... Главное – успеть сказать «прости» моему ребенку – и можно было бы погружаться в счастливое состояние небытия – разумеется, вместе с ребенком. Братца в комнате не было, лишь у окна валялся опрокинутый стул, на котором брат с непонятными для меня намерениями всю ночь просидел у окна – стало быть, можно сводить счеты с моей постылой жизнью, мешать некому. Можно долго и основательно прощаться с моим ребенком, можно всласть в последний раз наглядеться в окно на золотистую липу – много чего, короче говоря, можно было бы успеть сделать, пока никого, кроме меня самой, нет в комнатке, да вот только каким, спрашивается, образом свести мне счеты с моей бесталанной жизнью? Удавиться – так ведь для этого надобно встать, соорудить петлю, влезть в нее... а иначе – никак, иначе – уже было однажды пробовано... Отравиться – но чем же... лежащими подле меня двумя яблоками, что ли? Ударить себя чем-нибудь острым в сердце? Но, во-первых, лежа это сделать не слишком-то и сподручно, а во-вторых – чем ударить? Моя несуразная жизнь лишала меня даже элементарной возможности умереть по собственной воле. Оставалось лишь лежать и ждать... правда, можно было бы еще закричать, зарыдать, искусать себе в отчаянье руки – да ведь от этого весьма мало толку, это не поможет мне ни умереть, ни убережет себя и свое дитя... Ангел, мой любимый Ангел – отчего же ты не придешь ко мне, не поможешь мне и не защитишь меня – меня и мое дитя... ведь это же и твое дитя тоже... где же ты, мой милый Ангел... или ты меня не слышишь и не знаешь, что сейчас творится и что хотят сотворить со мною и нашим с тобой дитем... приди же! Приди, и защити нас... и тогда все будет хорошо, все забудется и минует!..

Не минуло. Скоро в комнату вошла по-прежнему заплаканная мать и молча принялась обряжать меня в чистую одежду. «Будто покойника...» – отрешенно подумала я. Странное дело: сегодня, едва очнувшись, я почувствовала, что обладаю возможностью мыслить как-то отстраненно, будто глядя на все происходящее, да и на саму себя тоже, со стороны. Никогда раньше я за собой такой особенности не замечала. Вот и о предполагаемых способах убийства самой себя и, следовательно, об убийстве своего ребенка я размышляла весьма даже отстраненно, вот и Ангела я звала, ощущая себя так, будто бы я в это время находилась где-то в стороне от самой себя... или, может, даже и не в стороне, а – где-то выше, где-то под самым потолком моего жилища, а, возможно, даже и не под потолком, а еще выше, где-то аж под самыми осенними небесами, вот и сейчас, когда мать меня обряжала в чистое, я размышляла точно таким же – отстраненным – образом... Припоминается, я где-то читала, что психика некоторых человеческих особей именно таким образом реагирует на стрессовые, жизненно важные для этих особей ситуации – чтобы, значит, особям не так страшно было погибать. Что ж, видимо я и есть такая человеческая особь...

Обрядив меня, мать все так же молча, удалилась. Вскоре в мою комнату ввалилась целая шумная компания: та же заплаканная мать, братец с написанной на лице решимостью и два человека в белых халатах и с носилками – должно быть, санитары. Санитары с помощью братца подняли меня с кровати, переложили на носилки и понесли. Внизу стояла машина скорой помощи (дождь, кажется, к этому времени уже кончился), носилки со мною впахнули внутрь, и машина тронулась. Меня сопровождали санитары: ни мать, ни брат со мной не поехали...

«Я не хочу, – для чего-то сказала я санитарам. – Слышите, я – не хочу!..»

Но санитары ничего мне не сказали. По приезду в больницу меня внесли в просторное, залитое белым светом помещение, заставленное каким-то оборудованием, смысл и назначение которого мне были непонятны... да, в общем, ни в какой смысл я и не стремилась вникнуть. Меня сняли с носилок, переложили на неприятно холодный стол и деловито принялись раздевать. Раздевали меня, кажется, не санитары, а какие-то другие люди, но – какая разница? Повторяю: я наблюдала за собой как бы со стороны, мне было абсолютно все равно – раздевают ли меня, живьем ли закапывают в землю...

Когда я оказалась раздетой, меня подняли на руки и стали втискивать в некое приспособление, напоминающее уродливое кресло. Вокруг меня суетились то ли пятеро, то ли шестеро человек... но отчего-то я запомнила лишь юную, никак не больше двадцати лет от роду девочку, которая, как мне показалось, больше мешала, чем помогала своим коллегам, и все смотрела на меня широко распахнутыми глазами... Вскоре все суеотящиеся вокруг меня люди стали надевать маски... глазастая деваха также надела маску, но вот ее глаза так и остались, потому что куда ты их спрячешь, такие-то глазки...

«Ну, правильно, – отрешенно подумала я, – не каждый день ей доводится видеть уродину вроде меня, к тому же еще и обнаженную, к тому же которой сейчас будут делать аборт. Смотрит сейчас на меня эта девчонка своими глазами и, должно быть, думает: кто это, дескать, нашелся такой отчаянный, что не побрезговал и сотворил этой уродине ребенка... А вот вообрази, милая, – нашелся, не побрезговал и сотворил...»

И как только я дала мысленный ответ глазастой девахе, вдруг владеющая мною с самого утра отрешенность куда-то подевалась, и взамен я ощутила леденящий, всеобъемлющий ужас. Да ведь не будет у меня через несколько минут никакого ребенка! Я-то, наверно, буду и дальше, я останусь, а вот ребенка – не будет! Сейчас... вот прямо сейчас и убьют моего ребенка... убьют хладнокровно, бесстрастно, со знанием дела, даже не задумываясь о том, что они творят и что означает для меня, убогой, потеря моего ребенка... Не будет у меня ребенка! Не будет у меня ребенка!..

«Не надо... не хочу! – втиснутая в уродливое кресло, заметалась я. – Я вас умоляю... что вы хотите делать?... не надо!»

«Укол!» – рявкнул кто-то из-под маски, и я тотчас же почувствовала, как тонкое металлическое жало вонзилось в мою левую руку.

Какое-то время я еще металась и кричала... затем мною стало овладевать безразличие и успокоение.

«Вы будете убивать моего ребенка? – сонно спросила я людей в масках. – Что ж, вас много, а я одна и парализованная... вы сумеете... вы убьете мое дитя, и я не сумею его защитить... а только для чего вы прячете свои лица под масками? А-а, понимаю... чтобы вас никто не узнал... вы боитесь. Вы – боитесь... Да только Богу ведь все равно, в масках вы или без масок... Он все видит, Бог-то... от Него под маской не спрячешься, нет... и Он когда-нибудь у вас спросит... Зачем, спросит Он, вы убили ее ребенка?... тем более что отец этого ребенка – Ангел... вы знаете, что отец моего ребенка – Божий Ангел? А-а, вы этого не знаете... а почему вы не знаете?... вам бы следовало вначале узнать, а потом уже и убивать... И вот, значит, Бог у вас спросит, и что вы Ему ответите? Ничего вы не ответите, потому что – нечего вам будет сказать... А вы знаете, как во время дождя пахнут белые розы? Вы знаете, какой у меня был замечательный букет – три белые розы!.. Три белые розы... да! А хотите, я вас скажу, кто мне его подарил – букет из трех белых роз? Мне его подарил он... отец моего ребенка... того ребенка, которого вы собираетесь убить... он, отец, был Ангелом...»

«Наркоз!» – рявкнул тот же голос из-под маски, и я почти мгновенно провалилась в хорошо знакомую мне обитую черной ватой пропасть...

Чувствовала ли я что-либо в то время, когда убивали моего ребенка? Как сказать... мне кажется, наркоз подействовал на меня как-то по-особенному, возможно, не в полную свою силу, избирательно, и я зацепилась где-то между явью и небытием. Во всяком случае, я видела нечто в этой обитой черной ватой пропасти, куда я провалилась... я видела там три белые розы. Да-да, три белые розы. Только представьте: полная, идеальная темень... ни дуновенья, ни звука... и вдруг из этой тьмы беззвучно возникают три удивительных белых цветка... они плывут мне навстречу, и вот они уже в моих руках... рук своих, впрочем, я не вижу, а вот цветы вижу очень отчетливо... это хорошо мне знакомые три белые розы. Я хочу уткнуться в них лицом, я хочу почувствовать их запах – но вдруг из их таинственного чистого лона начинает нести смрадом свежей крови, и вскоре мои цветы из нежно-белых превращаются в кроваво-красные... и из каждого цветка начинает струиться кровь. Я роняю цветы, в ужасе смотрю на свои окровавленные руки... мои руки мне теперь отчетливо видны... хочу закричать, но голоса у меня нет, хочу осмотреться, но кругом лишь непроницаемая тьма... мне страшно, страшно...

\* \* \*

– Я – медсестра, мне 21 год, зовут меня Аней. Сегодня наш доктор Валерий Игоревич попросил меня ассистировать ему в одной операции. Вообще-то ассистировать – не моя обязанность, но та медсестра, которая должна была это делать, сегодня по какой-то причине на работе отсутствовала, а операция, как объяснил мне Валерий Игоревич, была срочная (обычно это означает – щедро оплаченная), вот Валерий Игоревич и подкатился ко мне.

«Всего-то пустяков, – сказал он, – аборт одной особе сделать.хлопот на полчаса, зато будешь иметь приличные чаевые!» Короче, уговорил...

Однако прежде чем говорить о самой операции, следует, наверно, пару фраз сказать о самом Валерии Игоревиче. Девчонки из нашего отделения в один голос утверждают, что Валерий Игоревич – несусветный бабник и сердцеед. Откровенно сказать, я и сама об этом догадываюсь. Уже который месяц кряду Валерий Игоревич подбивает, так сказать, клинья под меня саму. И недомолвками всякими обволакивает, и впрямую намекает, и жестами, и взглядами, и прикосновениями... Скажу честно, что несмотря на репутацию Валерия Игоревича, мне его ухаживания приятны: очень уж красив и обаятелен наш доктор. Разумеется, возлагать на него какие-либо серьезные надежды – легкомысленно и смешно, а вот закрутить с ним изящный, ни к чему не обязывающий романчик – отчего бы и нет?

...Да, так я об операции. Быть ассистенткой на абортах мне приходилось и раньше. Дело действительно не слишком хлопотное, хотя и, на мой взгляд, изрядно гадостное. Я никогда не сочувствовала и не сострадала этим раскоряченным обнаженным бабам, приходящим в нашу клинику убивать своих не родившихся детей. Я их даже презирала – холодным, ленивым, мимолетным презрением. Неужели нельзя было, обычно думала я, как-нибудь уберечься, перетерпеть, подумать, прежде чем... вот ведь похотливые твари! Ну, нет: со мной такого не случится никогда. Если уж так будет суждено, если уж кто-нибудь мне поспособствует... муж ли, которого у меня покамест нет и в помине, или, скажем, тот же Валерий Игоревич, я ни за что не стану корячиться в этих пакостных креслах, как делают все эти бабы... коль уж оно получится, то непременно буду рожать. Потому что – одним грехом другой грех не перекроешь... вот так.

«Пошли! – кивнул мне Валерий Игоревич. – Вроде, пора... кстати, что ты собираешься делать сегодня вечером, если, разумеется, это не секрет? Ух ты, глазастая!..»

«Это секрет даже для меня самой, – сказала я. – Иначе говоря, пока еще не знаю».



«Тогда, – предложил мой воздыхатель, – не махнуть ли нам вечером в одно замечательное местечко, а? За гамму невинных удовольствий – ручаюсь!»

«А удовольствия, – скокетничала я, – и впрямь будут невинные?»

«Как в раю!» – торжественно провозгласил Валерий Игоревич, и от такой торжественности я невольно расхохоталась...

Пришли в операционную, и тут я едва сдержала возглас удивления... да что там – удивления... я моментально была поражена, смята, волна самых разнообразных чувств захлестнула меня помимо моей воли! Все дело было в пациентке, которую нам предстояло оперировать. Я привыкла, что все наши пациентки в общем и целом подразделялись на три условные категории: на смущенно хихикающих девочек-подростков, на мрачных запойных дам и на собственно жен и любовниц с неизменно глуповатым выражением на лицах. Сейчас же было нечто особое... нечто такое, что просто-таки из ряда вон! Едва прикрытая простыней бревноподобная уродина возлежала, каким-то чудом втиснутая в неудобное паскудное креслице, а вокруг нее суетились сразу три санитар-мужчины... отчего же мужчины, когда в таких случаях полагается быть женщинам?

«Парализованная... – не разжимая зубов, проговорил Валерий Игоревич. – Оттого и заплачено столь щедро... иначе я бы и не взялся... бывает, что и парализованные беременеют... всякое случается в этой сволочной жизни!»

А, ну да, парализованная... все понятно. Всякое случается в этой сволочной жизни. Вряд ли женщины-санитарки, будь их хотя бы даже четверо, смогли бы передвинуть с места на место такую оперируемую... весу-то в ней, наверно, килограммов сто, если не больше... Совершенно помимо своей воли я взглянула в лицо этой уродине... она явно почувствовала мой взгляд, и наши глаза встретились...

«Всем надеть маски!» – рявкнул Валерий Игоревич, который, похоже, чувствовал себя не в своей тарелке. – Наркоз!» – рявкнул он вторично, когда уродина вдруг залепетала нечто вроде «не хочу – не надо – не смейте» и еще – что-то про Бога и про Ангела, который вроде бы приходился отцом ребенка этой уродины... ребенка, которого мы вознамерились убивать. Уродине тотчас же дали наркоз... а я все смотрела и не могла оторвать глаз от этой обмякшей от наркоза и оттого ставшей еще более безобразной женщины...

«Креслице-то... твою мать! – сквозь зубы ругнулся Валерий Игоревич, подступая к женщине. – Француженок только пластать на таком креслице!..»

«Интересно, – сказал один из санитаров, глядя на докторские манипуляции, – кто ей сподобился смастерить брюхо... я бы, наверно, ни за какие деньги...»

«Муж, – предположил другой, – хотя вряд ли... откуда у такой может быть муж? Должно быть, какой-нибудь чудак... хотелось бы мне любопытства ради взглянуть на этого умельца!»

«Заткнитесь! – рявкнул на санитаров Валерий Игоревич. – Муж, не муж... вам-то что за дело... ишь, пустились в рассуждения! Сходите покурите... да не слишком далеко – скоро понадобится! Ты–то чего стоишь и пялишься!» – дошла очередь и до меня, когда санитары ушли.

Все произошло и закончилось так же, как и тысячи раз до этого.

«Позови санитаров и сопроводи ее до палаты! – приказал мне Валерий Игоревич. – И зайди потом ко мне...»

«Отвезли? – мрачно спросил Валерий Игоревич, когда я зашла к нему, и безо всякого перехода добавил: – Будь оно все неладно... напиться хочется от такой жизни... от всего этого паскудства. Послушай, Аня, – он впервые назвал меня по имени, – день

уже к закату... давай, и мы с тобой куда-нибудь закатимся... есть у меня на примете одно славное местечко».

«Вы мне уже сегодня об этом говорили, – сказала я. – Перед операцией».

«Правда? – устало удивился доктор. – Надо же... совсем забыл. И что же, ты согласилась?»

«В общем и целом», – сказала я.

«Ну, тогда поехали», – сказал Валерий Игоревич, и опять ругнулся – неизвестно по какому поводу и в чей адрес.

...Местечко было и впрямь милым – маленький ресторанчик в кавказском стиле.

«Налейте мне коньяку!» – попросила я Валерия Игоревича.

«Зови меня на «ты», – в свою очередь попросил мой кавалер. – Так будет уютнее – и тебе самой, и мне. И – теплее. А то – дует...»

«Откуда дует?» – не поняла я.

«Со всех шести сторон света», – пояснил Валерий Игоревич.

«И где же Вы... то есть – и где же ты нашел столько сторон на этом свете?» – невольно улыбнулась я.

«Север, юг, восток и запад, – пояснил мой ухажер. – А еще – верх и низ...»

«И отовсюду дует?» – спросила я.

«А ты сама – разве этого не чувствуешь? – в свою очередь спросил мой кавалер. – Дует... и до того зябко... А, ладно... давай-ка лучше пить коньяк...»

Мы пили коньяк, но весело нам отчего-то не становилось.

«Знаешь, – сказал мой кавалер, – сегодня я впервые в жизни пожалел о том, что выбрал себе такую омерзительную профессию».

«Почему же именно сегодня? – спросила я, хотя и догадывалась, каков будет ответ: вероятно, все дело было в сегодняшней прооперированной уродине. – Ну, так почему же именно сегодня?»

«Будто сама не знаешь, – грустно подтвердил мои предположения Валерий Игоревич. – Твою мать... сколько я за все эти годы выпотрошил бабьих утроб – и хоть бы тебе что... ни разу – ни малейшего душевного содрогания! А вот сегодня... не пойму. Вроде все как всегда, то же небо опять голубое... Ан нет – не все как всегда, и небо вовсе не голубое, а сплошная безрадостная хмарь – и дует откуда-то сверху... с самого неба... Не пойму... Может, пойдём потанцуем?»

«Не хочу», – сказала я.

«Да и я не хочу тоже, – сказал мой ухажер. – Но что же нам тогда делать? Ведь мы же пришли веселиться, не так ли?»

«Да, – сказала я. – Но почему-то совсем не весело...»

«Не весело», – согласился мой кавалер.

«Знаешь, что? – сказала я. – А ну его, этот твой ресторан! Давай отсюда уедем... например, к тебе домой».

Мы ехали на такси, сидели рядышком на заднем сиденье и всю дорогу молчали. Приехали, поднялись, расположились, но веселье и легкость, несмотря на захваченный с собой коньяк, все-таки не наступали.

«Может, включить музыку?» – спросил мой кавалер.

«Включи», – сказала я.

Музыка была хорошая, добрая, и мне вдруг захотелось плакать.

«Выключи, пожалуйста, – сказала я, – и иди ко мне».

Валерий Игоревич (впрочем, наверно, просто Валерий) подошел, сел рядом, его руки обняли мои плечи, затем талию, затем заскользили по моим бедрам... Не то чтобы эти намекающие прикосновения были мне неприятны, но и приятными их было назвать нельзя... они были никакими – потому, наверно, что и я сама сейчас была никакой.

«Ты не хочешь?» – спросил Валерий, и его рука коснулась моей груди.

«Не знаю», – сказала я.

«Может, боишься последствий?» – спросил он то, чего как раз сегодня, наверно, спрашивать было нельзя.

«Нет, не боюсь! – резко ответила я, и одним движением освободилась от его объятий. – Ведь ты же у нас специалист по последствиям... если сам их создашь, то сам же их потом и устранишь! Как, например, сегодня...»

«Зачем ты так...» – тихо сказал он.

Я взглянула на лицо своего ухажера, и тут же пожалела о только что сказанных словах: его лицо было несчастным, и горькая складка лежала меж бровей...

«Прости», – сказала я.

«Чего там», – сказал он, и мы долго молчали.

«Знаешь, что? – после молчания заговорил Валерий. – Я хочу тебя попросить... ты не уходи от меня сегодня, ладно? Обещаю, что вопреки твоему желанию ничего такого не будет... просто мне сегодня почему-то страшно».

«Не уйду, – сказала я. – Веди и показывай свои спальные апартаменты... я буду стелить постель».

Я постелила, и мы легли. Мы лежали рядом в темноте, не касаясь друг друга. Я чувствовала, что Валерий не спит: он в отношении меня чувствовал, наверно, то же самое.

«О чем ты думаешь?» – вдруг спросил меня Валерий.

«Об этой женщине», – честно сказала я.

«Я так и знал, – сказал он. – И о чем же именно ты думаешь... если, конечно, это не секрет?»

«Я все думаю, – сказала я, – кто он такой – этот ее мужчина, который у нее был... как они познакомились... мне хочется знать, как у них все происходило, расстались ли они или продолжались встречаться до последнего, придет ли он ее навестить, что ее заставило пойти на такой шаг... я имею в виду аборт...»

«Выходи за меня замуж», – неожиданно сказал Валерий.

«Эк куда тебя понесло... со страху, что ли?» – невольно рассмеялась я.

«Наверно, так и есть, – не сразу ответил мой ухажер. – Наверно, со страху... Отчего-то мне страшно... боюсь я. А чего именно боюсь – и самому непонятно...»

«Разве страх – это то самое чувство, руководствуясь которым, зовут замуж?» – спросила я.

«А!» – с безнадежностью в голосе сказал мой кавалер, и мы опять долго молчали.

Я уже совсем было подумала, что он уснул, и приготовилась спать сама, но Валерий вдруг повернулся ко мне и сказал:

«Я хочу тебя попросить... сходи завтра к ней, ладно? Я-то, наверно, не смогу... дела, – а ты сходи, проведай ее... может, ей чем–нибудь надо помочь или, может, ей чего–нибудь надо принести...»

«Схожу, – сказала я, – это ты хорошо придумал... непременно схожу!»

«Сходи», – сказал он, и повернулся ко мне.

Его руки коснулись моей груди, и я подалась навстречу этим рукам.

«Знаешь, – сказала я, – я, кажется, поняла, кем для нее был ее мужчина... чего она от него ждала. Она хотела, чтобы он ее защитил... потому что ей страшно жить. Конечно, ей страшно жить, такой-то... ведь тот мир, в котором она живет, так, должно быть, ограничен... он для нее как клетка! А это, должно быть, очень страшно, когда мир – как клетка... это, мне кажется, очень страшно! И, наверно, она пыталась защититься от всего этого любовью... как, например, хочу сейчас защититься я, потому что сейчас и мне страшно, и мой собственный мир отчего–то кажется мне клеткой... мне кажется, что сейчас я похожа на нее, на эту женщину... сейчас мы с ней почти одинаковы, почти одно и то же. Иди ко мне... вот так... ближе... еще ближе. Какие у тебя нежные и добрые руки... какая же я неумеха – не могу найти в темноте твоих губ...»

\* \* \*

– Я очнулась рано утром, и долго не могла сообразить, где я нахожусь. Окружающий мир разительно не был похож на столь привычный для меня интерьер моей комнатенки во флигеле с окном в заброшенный сад. Наконец, до меня дошло: я нахожусь в палате... да–да, в больничной палате. Вчера меня привезли в больницу, убили моего ребенка, а меня зачем–то поместили в больничную палату.

Осознав это, я тотчас же почувствовала странную пустоту внутри себя. Будто какая–то часть меня каким–то образом отсутствовала... будто бы меня расчленили или выпотрошили. Впрочем, сдается, большей частью это была не физическая пустота, а какая-то иная... я не знаю. Мое тело не болело, и душа не болела тоже... если бы не это ощущение пустоты, то я, наверно, не смогла бы даже понять – жива ли я, умерла ли... Полнейшее спокойствие, всепоглощающее равнодушие, всеобъемлющее чувство непричастности к чему бы то ни было на свете... Даже о своем погибшем ребенке... ведь у меня убили вчера ребенка!.. даже об этом я думала как бы проходя и с полной отрешенностью. Ну, ребенок, ну, убили... ну что ж... ладно. Не хочется даже думать об этом... ни о чем не хочется думать... даже дышать не хочется... если бы я могла, то и не дышала бы.

...Что от меня надобно этой девочке в белом халате? Как ни странно, я сразу же ее признала – это была та самая, глазастенькая, помогавшая вчера убивать моего ребенка... что ей еще-то от меня надо? Может, убить еще и меня? Что ж, пускай убивает, я не стану ни протестовать, ни защищаться... мне абсолютно все равно... я уже и без того почти мертвая.

«Здравствуйте... – робко сказала девчонка, и не дождавшись от меня ответа, продолжила: – Я вижу, Вы уже проснулись... очень хорошо. Сейчас я принесу Вам завтрак... Вам обязательно нужно позавтракать! Я сейчас!»

Девчонка исчезла, и вскоре вернулась с подносом, на котором, возможно, и был мой завтрак... не знаю, мне это было совершенно неинтересно.

«Вот, – сказала девчонка, ставя поднос на тумбочку, – кушайте... приятного аппетита! Вам обязательно надо покушать!»

Я лежала, невидяще глядя в потолок, а девчонка ждала.

«Почему же Вы не едите? – спросила, наконец, девчонка, и вдруг вся вспыхнула, бестолково засуетилась, даже глаза для чего-то прикрыла ладошками. – Ох, простите... простите... я такая дура... я сейчас... я Вам помогу!»

Сказав это, девчонка бросилась ко мне, но тут же остановилась и уставилась на меня своими глазищами, в которых виднелись откровенные слезы... впрочем, слезы так слезы, меня это не трогало так же, как и все остальное на свете.

«Я не знаю, – залепетала девчонка, – я никогда не ухаживала за такими... простите... скажите, как Вам будет удобно, и я...»

«Почему я здесь?» – отозвалась я.

«Доктор говорит, – тотчас же застрекотала девчонка, – что была трудная операция... за Вами денек-другой понаблюдают... это ненадолго. А там и домой...»

«У меня ничего не болит», – сказала я.

«Ну и что же... ну и славно, что не болит! – опять застрекотала девчонка. – Значит, скорее поправитесь!»

«Не хочу», – сказала я.

«Э... чего Вы не хотите?» – удивленно спросила девчонка.

«Ничего не хочу, – сказала я. – Уйдите от меня».

«А как же завтрак?» – пролепетала девчонка.

Я не ответила ничего. Больше всего на свете мне сейчас хотелось отвернуться к стенке или уткнуться лицом в подушку. Разумеется, без посторонней помощи я ничего этого сделать не могла, а потому лишь закрыла глаза и изо всех сил сжала зубы.

«Да, да...» – сказала девчонка и, кажется, ушла.

Дабы в этом убедиться, я открыла глаза: девчонки действительно не было. Рядом на тумбочке стыл не нужный мне завтрак. Я опять закрыла глаза и незаметно для себя заснула.

...Когда я проснулась, то первым делом увидела, что у моего изголовья сидит все та же глазастая девчонка.

«Простите, – сказала девчонка, поймав мой взгляд, – но я подумала, что, может быть, Вам что-нибудь понадобится, когда вы проснетесь... вот я и пришла».

Мне и в самом деле кое-что было нужно. Мне очень хотелось пить и еще хотелось в туалет... и первое, и второе для меня было в тягость, никого ни о чем не хотелось просить... будь оно все проклято! Однако куда же было деваться – я вынуждена была сквозь зубы сообщить девчонке о своих надобностях, и девчонка тотчас же хлопотала вокруг меня.

«Несладкая у тебя работа», – сказала я девчонке, наблюдая, как она хлопочет.

«А я это не по работе! – тут же отозвалась моя невольная нянька. – У меня выходные... вернее, я взяла отгулы, так что...»

«Тогда – зачем? – спросила я и тут же поймала себя на мысли, что задала я свой вопрос с удивлением... да-да, с удивлением... мне и в самом деле вдруг стало интересно узнать логику поступков моей няньки. Что ж, жизнь брала свое, жизнь, несмотря ни на что, продолжалась, поневоле приходилось и удивляться, и говорить, и жаждать... жизнь, как это, наверно, всегда и бывает, и на сей раз оказалась сильнее и мудрее жалкого существа – человека. – Ну, так зачем же?» – повторила я свой вопрос.

У глазастой девчонки была, как я успела заметить, уморительная особенность закрывать лицо ладошкой в моменты душевного смятения, а такие моменты, как мне показалось, у нее случались частенько. Вот и сейчас девчонка сотворила этот свой обычный жест и отчаянно затрясла головой: не спрашивай, мол, все едино не отвечу... не смогу ответить так вот запросто!

«Ну, и ладно, – сказала я. – И не говори. Я хочу есть».

«Да-да! – вскинулась девчонка. – Я сейчас... сейчас уже время обеда... я мигом!»

Она куда-то убежала, но уже через мгновение вернулась с подносом, уставленным всякой всячиной.

«Ого! – опять вынуждена была удивиться я. – Как, однако, кормят в вашей больнице!»

«Это не больничное, – сказала девчонка. – Это из дому... мы с мамой приготовили...»

«Зачем?» – в который уже раз спросила я.

«Чтобы кушать...» – тихо ответила девочка, и мне показалось, что она вот-вот готова заплакать... и тут же я почувствовала, что во мне пробудилось еще одно ощущение – мне вдруг стало жаль эту девочку... просто жаль, и все тут, безо всяких логических объяснений.

«Значит, будем кушать! – я даже сумела усмехнуться. – Но – с одним условием. Поскольку это все не больничное, а из дому, ты мне составишь компанию!»

«Да-да... конечно!» – тут же заулыбалась девчонка (вообще, как я заметила, она очень быстро переходила от слез к улыбке и наоборот, и это мне исподволь нравилось; кажется, я где-то читала, что быстрый переход от слез к улыбке и обратно – особенность людей чутких и добрых... что ж, очень может быть).

«Помоги мне сесть», – попросила я, и девочка стремглав кинулась выполнять мою просьбу.

Мы познакомились, девочку звали Аней. Аня буквально сияла от счастья, видя, как я уплетаю ее пирожки. Я и впрямь была голодна. Позавчерашняя безуспешная борьба за своего ребенка, вчерашняя операция, сегодняшнее глухое отчаяние... кажется, я ела впервые за последние три дня. Да-да, жизнь брала свое... жизнь уверенно брала свое.

Закончив обедать, мы поневоле разговорились.

«И все-таки, – спросила я, – для чего я тебе надобна? Может быть, я – твоя дипломная практика на какую-нибудь тему... ты ведь такая молодая и, стало быть, должна где-то учиться? Или, может, я для тебя просто некий невиданный экземпляр... эдакий муравьед, а?»

«Зачем ты так? – тихо спросила Аня (видя, что я ее называю на «ты», она также стала говорить мне «ты»). – Просто я хочу тебе помочь... люди ведь должны помогать друг дружке, не так ли?»

«Должны...» – с горькой иронией сказала я.

«Ну, и вот... должны! – подхватила Аня. – А, кроме того, я перед тобой виновата... ах, как же я перед тобой виновата!»

«Когда же ты успела передо мной провиниться?» – спросила я.

«Когда... – замялась Аня. – Ведь это же я была ассистентом там, вчера...»

«Я знаю, – сказала я, и мне вдруг захотелось плакать. – Впрочем, какая разница? Не ты, так другая...»

«Лучше бы другая...» – прошептала Аня и, кажется, тоже собралась зареветь.

Мне вдруг до боли захотелось погладить Аню по голове – как младшую сестру, которой у меня никогда не было, или как подругу, которой у меня также никогда не было, о чем я неожиданно для самой себя и призналась Ане.

«Все, кто у меня когда-нибудь был, – сказала я, – это мать и брат... еще когда-то был любовник... давно».

«Любимый?» – переспросила Аня.

«Нет, – сказала я, – любовник...»

«А какая разница?» – спросила Аня.

«Почти никакой, – сказала я. – За исключением нюансов».

«Понимаю, – сказала Аня. – За исключением нюансов... Любимый – это, наверно, больнее, чем любовник. Особенно, когда расстаешься...»

«Да, – посмотрела я на Аню. – Да...»

«И у меня тоже мать, брат и... – запнулась она на слове, – любовник. Чем же мы с тобой отличаемся друг от дружки? Ничем не отличаемся...»

«Давай поболтаем», – предложила я.

«Давай! – засияв от радости, тут же согласилась Аня. – Только о чем?»

«Расскажи о себе», – предложила я.

«Нет, – не согласилась Аня, – что обо мне рассказывать... лучше ты о себе».

«А что ж, – подумала я, – и расскажу. Обо всем расскажу: о своем одиночестве, о своем несусветном уродстве, о любовнике, о подаренным им трех белых розах... Получится как исповедь... не знаю, насколько нужно это Ане, а вот мне – нужно... мне это очень нужно! Кажется, когда-то я уже исповедовалась одному человеку... это был мой любимый... нет, мой любовник... напрасно я раньше думала, что между понятиями «любимый» и «любовник» нет никакой разницы... разница есть – и притом, какая разница! Любимый – это тот, кто всегда рядом... рядом и в радости, и в беде, а любовник – это тот, который рядом, когда тебе радостно, и отсутствует, когда тебе горько. Вот так... и эта большеглазая девочка Аня тоже так думает. Что ж, значит, так оно и есть... Стало быть, мой мужчина, независимо от того, кем он был – Ангелом или человеком, был мне любовником, а вовсе не любимым. Потому что – когда мне было плохо, и я его звала, он – не пришел...»

«...Ну, слушай, если хочешь, – сказала я Ане. – Была ли ты когда-нибудь парализованной уродиной и жила ли ты одна в запертом помещении с окном в заброшенный сад, где шумит нескончаемый дождь, и лишь изредка бывает солнце?..»

Я говорила долго: кончился день, вечер сменился ночью, и только за полночь я не то чтобы закончила свой рассказ – я просто-напросто выдохлась, и потому замолчала. И как только я замолчала, моя терпеливая слушательница жалко скривилась, губы ее запрыгали, она с плачем упала на меня, обхватила мою голову, залила мое лицо своими слезами и осыпала беспорядочными поцелуями.

«Бедная ты моя, несчастная... – приговаривала Аня, – как же оно так... почему так... почему все так несправедливо? Прости меня, дуру несчастную... если бы я обо всем заранее знала... почему же все так несправедливо?!»

«Ничего, – отвечала я, – ничего... ничего...»

А потом не выдержала и я, и, обнимая Аню, сама заревела в голос. Так мы с ней проревели почти час... две осознающие себя несчастными бабы. А что нам еще

оставалось делать в этом мире? Только плакать. Слезы – единственное утешение для несчастных...

...Ближе к обеду следующего дня, когда я спала, а Аня где-то отсутствовала, ко мне в палату заявили гости: мать, на лице которой застыло неизгладимое плаксивое выражение, и братец, на лице которого, напротив, читалось откровенное любопытство. Будто острым ножом полоснуло по моей душе, когда я их увидела. Конечно, это были родные для меня люди, теоретически рассуждая, никого роднее на свете у меня не было – но вместе с тем это были люди из моего вчерашнего дня, жуткого, кошмарного вчерашнего дня, о котором мне не хотелось сейчас ни думать, ни вспоминать. Что им было от меня надобно, этим вчерашним людям... что им было надо еще... после всего, что они со мной сотворили?

«Доченька! – кинулась ко мне мать, а брат так и остался стоять посреди палаты, глуповато улыбаясь. – Доченька, это мы... как ты себя чувствуешь? Мы вот гостинчик тебе принесли...»

«Не надо», – сказала я, и в душе моей не было к матери и брату ничего, кроме холодной досады.

«Чего не надо?» – опешила мать, а брат удивленно разинул рот.

«Ничего не надо, – сказала я. – Ни ваших гостинцев не надо, ни вас самих не надо... уходите!»

«Э...» – поперхнулись разом братец и мать.

И в это время в палату вошла Аня. Она, услышала, разумеется, мои последние слова, и мгновенно оценила ситуацию.

«Уходите! – велела она матери и брату. – Больной нельзя волноваться... навестите ее как-нибудь потом... завтра... а вообще-то она скоро будет дома... через два или три дня... тогда и приезжайте за ней... а сейчас – уходите, уходите!»

«Вот так...» – констатировала я, когда мать и братец скрылись за дверью.

«И как же ты теперь? – растерянно спросила Аня. – Ведь от силы послезавтра тебе и в самом деле домой... как же ты будешь с ними уживаться?»

«Не знаю», – сказала я.

Аня присела у моих ног, и мы долго молчали.

«А знаешь, что? – сказала, наконец, Аня. – Я хочу тебе что-то сказать... только ты не отрицай с самого начала то, что я хочу тебе сказать... ты прежде хорошенько поразмысли, ладно? Пойдем жить к нам... нет, и вправду – пойдем жить к нам! Моя мама и мой брат будут не против, я в этом убеждена, дом у нас большой, места хватит... пойдем, а? Представляешь, у тебя будет сестра, и у меня будет старшая сестра... мы будем дружить, гулять, секретничать по вечерам! Большого сада у нас, правда, нет, но вид из окна очень даже неплохой... видна дальняя гора, и маяк на той горе... а когда бывает пасмурно, на горе лежат облака... это очень таинственно и красиво!»

«Пропади они пропадом, все эти сады и все эти облака!..» – рассеянно сказала я, думая свою тяжкую думу.

О чем именно я думала? Разумеется, о сумасбродном Анином предложении. Милая девочка, добрая душа, дуреха несчастная – ты сама не понимаешь, что предлагаешь. Пробовала ли ты когда-нибудь денно и ночью, изо дня в день и из года в год ухаживать за человеком, который, по сути, бревно неподвижное... даже хуже, чем бревно, потому что бревно лежит себе и никого не трогает, есть-пить не просит, не воет от отчаяния по ночам... Ведь через месяц ты проклянешь все на свете... и доброту свою неуместную проклянешь, и меня проклянешь... родные – и те отчаялись и прокляли, а уж



чужие-то... Ах, деваха ты деваха, подруга ты моя нечаянная, ты сама не ведаешь, что говоришь и что предлагаешь!

Но и домой мне не хотелось – вот ведь какое дело! Конечно, там, дома, привычно и по-своему даже уютно: сколько лет и зим вылежано в родимом флигельке – куда от этого денешься... всякий человек привыкает к месту... к тюрьме, говорят, и то привыкают. Однако возвращаться домой сейчас, после всего... после того, как самые близкие мне люди меня предали и убили моего ребенка... нет, ни за что, одни воспоминания замучают. Особенно по ночам, особенно когда за окном будет идти дождь или плакать метель. Ну, и что же мне в итоге оставалось? Нет, и впрямь – что же мне в итоге оставалось? А оставалось мне – только одно...

«Сядь, – сказала я Ане, – и постарайся меня выслушать... кроме тебя, мне и говорить-то об этом не с кем. Только ты постарайся быть спокойной... постарайся обойтись без эмоций, хорошо? Потому что если будут эмоции, то разговор не получится... ты меня не поймешь. А мне надо, чтобы ты меня поняла... от этого зависит очень многое... если ты меня поймешь...»

\* \* \*

– «Сядь и постарайся быть спокойной», – сказала мне моя подруга и, как я искренне надеялась, в скором будущем самая настоящая моя сестра.

Я ведь от чистой души приглашала ее к себе жить, а не только из-за жалости. Разумеется, предстоял серьезный разговор с матерью и братом, вслед за этим, наверно, резкое изменение всего нашего жизненного уклада, потому что это ведь не шутка – новый человек в доме, притом какой человек – совершенно беспомощный... Впрочем, я надеялась и верила, что родные меня поймут, и все в итоге будет хорошо, просто замечательно.

Однако Ольга неожиданно повела разговор совсем о другом.

«Знаешь, – начала она, – я хочу сказать... прежде всего, большое тебе спасибо за то, что ты появилась в моей жизни и вытащила меня из той ямы, в которую я угодила... в которую меня столкнули – каждый понемногу... Одна бы я не смогла оттуда выбраться... а это очень страшная яма, уж я-то знаю... она – будто горячая черная бездна, и кричи оттуда, хоть закричись – все равно тебя никто не услышит и не поможет... Спасибо тебе, сестренка, что подала мне руку и помогла выбраться... только зачем? Для чего ты это сделала? Погоди, не надо... ты обещала быть спокойной. Именно так – для чего ты это сделала? Дальше-то – что? Дальше-то – куда мне деваться?»

«Как же это – куда? – не удержалась я. – Как же это куда... а – ко мне? Мы ведь уже говорили об этом, и мне показалось, что ты почти согласилась...»

«К тебе... – горько усмехнулась моя подруга. – К тебе... ах ты ж, глупышка! Да ты хоть представляешь, что я такое?»

«Ты – человек!» – сказала я запальчиво.

«Человек... – опять усмехнулась Оля. – Подсунь под меня горшок, убери из-под меня горшок, подними меня, уложи меня... и так – ежедневно, ежемесячно, ежегодно – сколько там мне еще отпущено... А попробуй-ка меня хотя бы один раз помыть... не пробовала? То-то и оно. Света белого не взвидишь, через месяц проклянешь и меня, и себя, и свою неуместную и глупую доброту».

«Неправда! – замотала я головой. – Не прокляну! Конечно, я тебя пока еще знаю мало, но ведь и ты меня не знаешь! Я вытерплю... я справлюсь!»

«Зачем? – совершенно спокойно спросила Оля. – Зачем тебе меня терпеть? Зачем ты хочешь привязать себя ко мне веревкой, совершенно не понимая, что это за веревка? А это очень страшная веревка... это тяжкая и безнадежная веревка... это такая веревка, которой нет конца и краю! Нет, девонька... слышишь – нет. Надеюсь, ты не станешь тащить меня к себе насильно? Меня уже и без тебя изнасиловали – кто хотел и как хотел...»

Мы помолчали. Мне казалось, что я понимала горькую и безнадежную правоту Олиных слов, хотя примириться с такой правотой было выше моих сил... не хотелось мне мириться с такой жестокой правотой! Надо было что-то делать... надо было срочно что-то предпринимать!

«А что тут предпримешь? – по-прежнему спокойно сказала Ольга. – Нечего здесь предпринимать, в том-то все и дело. Как сказал некогда один мудрый человек, каждому – свое. Понимаешь, милая глупышка, что это означает? Это означает, что мне – мое. Ты вот что, подруга... только ты не суетись и зря не волнуйся, а постарайся понять, что так будет лучше... всем будет лучше, и в первую очередь – мне самой. Не понимаешь? Ну, это же очень просто... это так просто понять! У вас – больница. Насколько мне известно, во всякой больнице имеются препараты – таблетки всякие или, может, микстура... Опять не понимаешь? Ох ты ж, чистая душа... Ну, выпьешь, скажем, горсть таких таблеток, уснешь – и больше не проснешься. Никогда не проснешься... теперь-то понимаешь? Так есть у вас такие таблетки?»

«Ну, есть, – недоуменно сказала я, – только ты это к чему?»

«Принеси мне парочку таких упаковок», – очень четко сказала Ольга.

«Да зачем же они тебе?» – все еще не понимая, спросила я.

Однако Оля ничего не ответила на этот мой вопрос, она просто смотрела на меня и молчала, и именно благодаря этому молчанию до меня постепенно стал доходить потаенный смысл ее страшной просьбы...

«Ты – что? – шепотом спросила я, – ты это что же... ты зачем... как же так?! Зачем же так... я, конечно, понимаю, что тебе очень тяжело, но зачем же так-то... все равно надо жить!»

«Жить? – зло сказала Оля. – Значит, говоришь, надо жить... взгляни на меня ... нет, ты взгляни еще раз... пристальнее! И это называется жизнью? Ты все это – называешь жизнью?! Я – как выпотрошенная рыба... вы убили моего ребенка – мой единственный, мой последний смысл... и это, по-твоему, жизнь? Да пошла ты... как-нибудь справлюсь и без тебя... уж как-нибудь я ее раздобуду, эту микстуру! Как-нибудь! Уходи немедленно... сейчас же!»

«Оленька, – заплакала я, – ну что ты, сестренка... ты погоди, ладно? Мы что-нибудь с тобой придумаем... я мигом, я только кое с кем посоветуюсь и все образуется... ты погоди, ладно?»

Я выбежала из Олиной палаты и побежала к Валерию Игоревичу. Мне вдруг подумалось, что именно он, Валерий Игоревич, сможет помочь в Олиной беде, которая была и моей бедой тоже. Да-да, именно Валерий Игоревич сможет нам помочь... или, может, теперь мне его следовало бы называть просто Валерием... я не знаю, давала ли мне право единственная наша совместная ночь, в которой, если честно, коньяка и невысказанного отчаяния было гораздо больше, чем любви, называть моего кавалера просто по имени... да и помнит ли он об этой ночи, я и то о ней почти забыла, не до воспоминаний мне сегодня... Ну, да ладно, к чему сейчас терзаться и рассуждать, для этого еще будет время, а пока надо решать судьбу Оли, и для этого необходимо с кем-то посоветоваться, а с кем мне еще и советоваться, как не с ним, с Валерием Игоревичем, или, быть может, просто Валерой...

Он был на месте и, увидев меня, поднялся навстречу.

«Наконец–то! – улыбаясь, сказал он. – Уж и не чаял тебя увидеть, думал, не случилось ли чего... даже домой хотел к тебе ехать! Ну, здравствуй, что ли!»

«Здравствуйте...» – выдавила я.

«Вот те раз! – удивленно сказал он. – Отчего же так официально? Помнится, мы договаривались быть на «ты», не так ли?»

«Вроде договаривались», – уже смелее сказала я.

«Ну, тогда еще раз здравствуй!» – сказал мой кавалер.

«Здравствуй», – сказала я.

«Вот и славно! – засмеялся он, подошел ко мне и поцеловал меня в щеку. – Мы с тобой не виделись больше суток... с ума можно сойти! Мне даже начало казаться, что ты мне просто пригрезилась, и ничего между нами никогда не было... Спрашиваю тебя на работе – мне говорят, что ты отсутствуешь... вроде бы взяла отгулы. Какие такие отгулы, для чего? А – никто не знает: взяла, говорят, отгулы – и все тут. Где же ты была это время?»

«В общем, здесь, рядом с тобой, – сказала я. – В палате у Оли... для того и отгулы взяла».

«У какой Оли?» – рассеянно спросил мой ухажер.

«У той самой, которую мы с тобой оперировали, и которую ты просил затем навестить... минувшей ночью... неужели и впрямь не помнишь?» – удивленно спросила я.

«Не помню, – так же рассеянно сказал мой кавалер. – Ночь, разумеется, помню, а вот оперированную Олю... нет, не помню».

Он не помнит! Эта его короткая фраза заставила меня просто-таки задохнуться. Он не помнит! Да ведь если бы не Оля и не операция, которая произвела позавчера на нас обоих столь тягостное впечатление, то не было бы ни скомканного вечера в ресторане, ни той самой ночи... Он не помнит... ну да, конечно! Для чего ему помнить какую-то несчастную уродину, которая на самом деле – вовсе даже и не уродина, а... Ну, да ладно – о чем тут говорить... не о чем говорить! Ох, и дура же я несусветная! Защититься от страха и отчаяния мимолетной любовью, как я расценивала свой поступок той ночью – это же надо удумать такое! Одним грехом защититься от другого греха... да ведь один грех плюс другой грех – это будет два греха, и ничего более...

«Быстро же ты забыл...» – силась не разреветься, сказала я моему кавалеру.

Он, кажется, заметил перемену в моем настроении.

«Ну, ладно, ладно... ну, прости, – забормотал он. – Сама ведь знаешь – работы уйма, замотался, подзабыл... Ты говоришь, вместе оперировали... аборт, да?.. это такая страшная, парализованная уродина? Как же, припоминаю...»

«Никакая она не уродина!» – запальчиво сказала я.

«Ну, хорошо, хорошо, – согласился мой кавалер, – не уродина... а, кстати, причитающиеся тебе деньги за эту операцию я так и не отдал... вот ведь какой я дурак забывчивый!»

Он хлопнул себя по лбу, полез в ящик стола и протянул мне несколько бумажек.

«Не надо! – резко сказал я. – Не за этим я к тебе пришла!»

«Прости, – сказал мой ухажер, комкая деньги, – все у меня сегодня как-то невпопад... прости».

Он опять попытался меня поцеловать, я резко отстранилась и поймала себя на мысли, что мне хочется ударить моего ухажера по щеке.

«Я к тебе сюда не целоваться пришла! – сдерживаясь, сказала я. – Я по поводу Оли... по поводу помощи. Ей надо помочь... может быть, ты ей поможешь... у тебя ведь, говорят, авторитет и связи...»

«Помочь? – удивленно переспросил мой кавалер. – Но при чем тут я? Ладно, ладно... кстати, ты сказала, что все это время провела в ее палате... она что же, еще здесь? Но почему она здесь... операция – то пустячная... какое-нибудь осложнение?»

«Не осложнение, – сказала я. – Просто – ей некуда деваться... некуда выписываться из больницы».

«Некуда деваться? – опять удивился мой любовник, и я поймала себя на мысли, что уж очень он часто удивляется; это, вероятно, от нежелания помочь, мимоходом подумала я... ох, и дурой же я была той ночью, да и сейчас, вероятно, не лучше – нашла с кем советоваться по поводу помощи. – Некуда деваться... но ведь раньше она где-то жила, не так ли?»

«Жила», – сказала я.

«И что же?..» – в свою очередь спросил мой вчерашний любовник.

«Долго объяснять», – тихо сказала я.

Ни за что в жизни я сейчас не рассказала бы моему кавалеру Олиной горькой и вместе с тем по-своему замечательной истории. Не заслужил мой ухажер, чтобы услышать такую историю, да и, скорее всего, не поймет он ее... вот именно – не поймет... не дано ему понять.

«Если можешь, – сказала я, – то помоги без лишних расспросов. Если же не можешь, или не хочешь...»

«Подожди, – прервал меня мой любовник, – подожди... я чувствую, что с тобой что-то неладно... между нами что-то неладно...»

«Между нами?» – с неожиданной для самой себя горькой иронией спросила я.

«Ладно, не надо, – поспешно сказал мой кавалер, – не цепляйся к словам. Разумеется, я постараюсь помочь этой... Оле. Ты говоришь – ей некуда деваться? А давай, определим ее в дом инвалидов».

«В дом инвалидов?» – невольно удивилась я.

«Ну да... это что-то вроде интерната, – пояснил мой любовник. – Там и уход, и питание, и лечение... и все такое... короче, как раз для нее. Чем не выход из положения?»

«Но туда же, наверно, сумасшедшая очередь!» – сказала я.

«Подумаешь – очередь! – фыркнул мой ухажер. – Сейчас схожу к нашему главному: он мужик пробивной – мигом решит! Только ты не уходи, я скоро... слышишь, ты не уходи!»

Он вышел, а я осталась. Неожиданная и вместе с тем весьма естественная мысль вдруг посетила меня: странно, что я до сих пор об этом не подумала... ну да ведь и некогда мне было особо об этом думать. А ведь от того, чем мы с моим ухажером занимались в ту ночь – от этого, в принципе, случаются дети. Так что очень может быть, что минуту назад за дверью скрылся и через десять минут в эту дверь войдет вновь отец моего будущего ребенка! Как все просто и как все странно... только бы он не разрушил все до конца, только бы он отыскал нужные слова применительно к Оле и вообще... пускай даже не слова, пускай бы он хоть помолчал как следует! Вот ведь что удивительно

– моя судьба каким-то странным и непостижимым образом напоминает судьбу Оли: у нее был любовник, и у меня тоже, она осталась беременной, и я, может статься, тоже... Правда, ее история, несмотря ни на что, оказалась гораздо красивее и романтичнее, чем моя собственная: таинственный любовник – не то человек, не то Ангел – появляющийся каждый раз из ночного росистого сада, белые розы... А что было у меня? Привел, напоил, уложил... а, впрочем, все было почти наоборот – пришла, напилась, легла... эхма! Правда, в отличие от Оли, мой любовник здесь, рядом, в принципе, я даже замуж могу за него выйти, если он позовет и если я соглашусь... Вот именно – если соглашусь. Но нет, я не соглашусь – несмотря ни на какие предполагаемые последствия нашего кратковременного, длиною в одну единственную ночь, романа. Не соглашусь, даже если он и будет звать... даже если он на колени передо мной упадет... все равно не соглашусь! Разные, оказывается, мы с ним люди...да, в общем-то, даже не в этом дело. Оля, Оля с ее неизбывным горем будет стоять между нами: ведь это именно благодаря ее горю, мы с моим любовником соединились той ночью. Разумеется, мы, возможно, соединились бы и так, однако случилось то, что случилось, – а разве возможно, разве мыслимо строить свое счастье на чьем-то горе? Мне кажется, что за эти два дня знакомства с Олей я то ли сильно повзрослела, то ли и вовсе стала иной... Так что не нужно тебе, дорогой мой бывший и кратковременный любовник Валерий Игоревич, ни подбирать правильные слова, ни правильно молчать – почувствуй ты хоть это! Господи, ведь буквально еще вчера я, наверно, сама бы себе удивлялась... вот, дескать, как горько и мудро я умею рассуждать! А сейчас – я этому совсем не удивляюсь... Наверно, причиной тому – вчерашняя операция, минувшая ночь с ее скомканной и наивной любовью, сегодняшнее общение с Олей, а затем – с Валерием Игоревичем... Наверно, за это время я помудрела и состарилась – на целую тысячу лет...

«А вот и я! – сказал Валерий Игоревич, входя. – Ну, все в порядке. Я же говорил: наш шеф – мужик пробивной. Завтра утром наши санитары на нашей же машине все и организуют: погрузят, свезут, разгрузят... Ты довольна?»

«Спасибо, – сказала я. – Только мне бы хотелось завтра вместе с санитарями...»

«Вместе, так вместе, – сказал Валерий Игоревич, – что за проблема! Но прежде, чем наступит завтрашнее утро, должен кончиться сегодняшний день и наступить вечер, а потому – не сходить ли нам сегодня вечером куда-нибудь, а?»

«И куда же? – спросила я. – Опять в ресторан, или сразу к тебе домой? А зачем?»

«Ну, мать, ты даешь!.. – деланно засмеялся Валерий Игоревич, но вдруг осекся и стал очень серьезным. – Что-то у нас не так... что-то не ладится... да. Я не понимаю... может, я в чем-то виноват?»

«Нет, – сказала я, – никто ни в чем не виноват».

«Ты хочешь уйти? – заметив мое инстинктивное движение к двери, спросил Валерий Игоревич. – погоди, не уходи... я тебя прошу. Присядь на диван... присядь, присядь... давай поговорим».

Я присела на краешек, и мы долго молчали.

«Знаешь, – наконец сказал Валерий Игоревич, – обо мне много всякого говорят... большей частью, конечно, врут... по сути я ведь так одинок! Да... Ты помнишь – тогда, ночью я предлагал тебе выйти за меня замуж? Мое предложение остается в силе. – Он замолчал, ожидая моего ответа, и не дождавшись, спросил: – Почему же ты молчишь? Может, тебе надо подумать?»

«Уже подумала, – усмехнулась я. – Спасибо, конечно, за столь лестное предложение, но... мне нужно идти к Оле. Нужно сообщить ей новость и помочь собраться».

«К Оле? – удивленно спросил Валерий Игоревич. – К какой еще Оле? Ах, да, к Оле... Но причем тут какая-то Оля, когда...»

«Притом... именно притом», – сказала я, поднялась и вышла.

Ну, вот и закончился мой легкомысленный романчик с красивым мужчиной. Все правильно, все как и должно быть – но если это так, то отчего же тогда мне хочется плакать... невыносимо, навзрыд, по-бабьи?..

\* \* \*

– Ну и дела! Моя разлюбезная сестрица, оказывается, совершила еще один самостоятельный и неожиданный поступок – никого не спрашивая, оформилась в этот... в эту... богадельню для таких же убогих, как она сама. Чудеса, да и только! Главное дело, на кой, спрашивается, ляд ей понадобилась та богадельня? Ей что же – дома было плохо? Обижал ее кто-то дома, бил ее кто-то, мордовал кто-то? Вот ведь какая дрянь неблагодарная, моя сестрица!..

«...А – нет ее», – сообщили нам с мамашей, когда мы прибыли в больницу, чтобы забрать оттуда наше парализованное сокровище.

«Это как так – нету? – удивился я, а мамаша по своему обыкновению тотчас же заскулила и захлюпала носом. – И куда же, спрашивается, она подевалась?»

«А – в богадельню», – коротко ответили нам с мамашей, и не пожелали больше с нами разговаривать.

В какую такую богадельню, для чего в богадельню? Битых четыре часа, волоком таская за собой воющую мамашу, я носился по больничным коридорам и кабинетам, бесновался, матюгался и громыхал в двери, пока, наконец, не добился внятного ответа. Не захотела, оказывается, моя сестрица более жить с нами после того, как мы спровадили ее на аборт и, таким образом, спасли ее от смерти, лютую злобу затаила она на нас с мамашей, и оттого отбыла в свою богадельню. Вот так!

Еще добрых четыре часа минуло, пока мы с мамашей отыскивали эту чертову богадельню. Лично я бы, наверно, и не искал никакую богадельню и сестрицу в ней... сдалась мне эта богадельня вместе с сестрицей – если бы не мамаша.

«Да как же оно так? – причитала мамаша. – Как же это так получается, чтобы родимое беспомощное дитя по собственной воле уходило из дому... да ведь там, в той богадельне, за ней и присмотреть-то, как следует, не присмотрят, и не накормят как следует, и не напоят, и доброй ночи не пожелают!..»

И так мне, в конце концов, надоели мамашины ахи и охи, что я, не доходя тридцати метров до богадельни остановился и рывкнул на мамашу:

«Да прекрати же, наконец, мамаша, свои несвоевременные и бессмысленные причитания! Не желает она жить дома – да и хрен с ней, с твоей дочерью и одновременно моей сестрицей! Ничего: истоскуется, и вернется сама! Запросится обратно как миленькая! А не запросится – тоже не беда... подумаешь! Ты, мамаша, только припомни – каково нам с тобой было, когда она обитала с нами под одной крышей... в особенности, конечно, – каково было мне? Взад-вперед, из дому в сквер, из сквера в дом – будто я и не человек вовсе, а рейсовый автобус марки «Икарус»! А то еще, главное дело, беременеть повадилась... да о чем тут вообще рассусоливать! Ничего... ничего! Проживем и без нее, и даже еще лучше, чем с ней! Тем более – звон какая замечательная эта богадельня, ты только взгляни! Вся в зеленой растительности, и с красной крышей... ничего! И прекрати, наконец, страдать, мамаша, тебе сказано! А то от твоих страданий просто-таки шизофренией можно захворать! Или, допустим, впасть в паралич – как твоя дочь и одновременно моя сестрица! И – лечь рядом с нею в эту чертову богадельню!..»

И, высказавшись, я уволок страдающую мамашу подальше от богадельни, где пребывало наше малоподвижное сокровище. Мы добрались домой, мамаша постепенно успокоилась, а затем наступил вечер. Да-да, затем наступил вечер, и с его наступлением в моей душе будто бы что-то перевернулось и переиначилось. Пес его знает, что со мной случилось и отчего оно именно так случилось... моя душа вдруг заныла и застонала, мою душу вдруг объяла какая-то необъяснимая, лютая тоска. Дом, в котором обитала сестрица, а теперь – мы обитали совместно с мамашей, вдруг показался мне огромным, неуютным и наполненным всевозможными сквозняками, а затем, вослед за сквозняками, мне вдруг почудились чьи-то голоса... честное слово – явственно почудились чьи-то голоса!

«Генка! – стали окликать меня эти голоса. – Слышишь, Генка!..»

Само собою, что я испугался... испугаешься тут, любой бы на моем месте испугался!

«Ну, все, – первым делом подумал я, – довела меня мамаша своими неистребимыми страданиями до шизофрении... как в воду я сегодня днем смотрел, когда велел мамаше иссякнуть и не причитать!..»

«...Генка, – между тем звенели голоса, – слышишь, Генка!..»

Я везде, где только можно, включил свет, я метался из комнаты в комнату, а голоса все звали меня и звали... от этого и вправду можно было сойти с ума. В конце концов, устав бегать от голосов, я зашел в бывшую сестрицыну комнатку, включил свет... Комнатка, разумеется, была пуста, сестрицыну кровать мамаша аккуратно застелила, стул, на котором я некогда просидел всю ночь напролет в ожидании невесть кого... и таки я его, этого самого «невесть кого», дождался... по моему убеждению, это и был как раз тот субъект, который исхитрился обрюхатить мою сестрицу, и мы очень славно с этим субъектом пообщались... так вот, этот самый стул был приставлен к стене, а в самой комнатке витал какой-то непонятный и подспудно тревожащий душу запах... ляд его знает, чем пахло в бывшей сестрицыной комнатке – то ли розами, то ли еще чем-то похожим...

«Генка, – опять послышалось мне, – слышишь, Генка?..»

«Ну? – не оборачиваясь, спросил я незнамо у кого. – Чего надобно?»

«А помнишь, – сказал голос, и я крупно вздрогнул, потому что вдруг в этом голосе я признал голос моей сестрицы... да-да, это, несомненно, был ее голос... мне ли не знать!

– А помнишь, как когда-то, когда я еще умела ходить, ты защитил меня от мальчишек? А помнишь, как однажды мы с тобой пошли на речку, и ты учил меня плавать? Генка...»

Я ничего не ответил голосу, а только изо всех сил сжал зубы и двинул кулаком по оконной раме. Окно, разумеется, не было заперто на шпингалет, оконная рама улетела в законную тьму и там, во тьме, рассыпалась на миллион звонких мелких осколков. Я влез на подоконник, и очутился в саду. Сад показался мне таинственным и зловещим, липкая тьма висла на ветвях деревьев, и вверху не было никакого просвета... там также обитала непроницаемая темнота.

«Хоть бы мне увидеть звездочку, – для чего-то подумал я, – хоть бы мне увидеть звездочку... хоть бы одну-единственную!..»

Не знаю, сколько я, задрвав голову, простоял в непроницаемом ночном саду в ожидании звезды... должно быть, час, а может, и больше. В эту ночь звезд на небе не было, они были укрыты тьмой, а может, все они улетели на какие-нибудь другие, более благодатные и разумные небеса... говорю же – не знаю. Так и не дождавшись никакого небесного проблеска, я опустил голову и пошел вон из сада. Вначале мне казалось, что я

шел к выходу из сада, но вскоре, к немалому своему удивлению, я очутился у какой-то прорехи в старом садовом заборе, которая никак не могла быть воротами... Несмотря на темноту, я все-таки смутно различал, что это – все-таки прореха в заборе, или, может, даже лаз, но вовсе даже не ворота.

«Лаз, – подумал я, – лаз... ну да, разумеется... должно быть, тот, кто обрюхатил мою сестрицу, и воспользовался этим лазом... а что, очень даже возможно!»

И только я так подумал, как где-то сзади, со стороны дома, вновь зазвучал все тот же голос... правда, на этот раз он был тише и приглушеннее, но, тем не менее, это был все тот же, будто бы сестрицын, голос.

«Генка, – сказал этот голос, – слышишь, Генка...»

Я встряхнул головой, стиснул зубы, единым махом перепрыгнул забор и пошел во тьму, не оглядываясь на дом и не прислушиваясь более к голосу, который звал меня все тише и тише и наконец, показалось мне, совсем умолк...

Куда я шел? В общем и целом, я знал, куда. Я шел к моим закадычным приятелям Фикусу, Батону и Какаду и приятельнице Зинке Гарантии. Сегодня они мне были нужны как никогда, сегодня мне было, что им сказать, моим закадычным и верным приятелям... вот только бы они были на месте... только бы их в эту ночь черт не расшугал в разные стороны!

Они были на месте: и Батон, и Какаду, и Фикус, и даже Зинка Гарантия.

«Здорово, кореша! – сказал я им. – Выпить у вас – не отыщется ли? Страсть, как выпить хочется... потому как жизнь моя дала трещину, перекособочилась, и фортуна, сука такая, повернулась ко мне своим задом... И какой же отвратительный, скажу я вам, зад у этой суки фортуны!..»

Выпить, разумеется, у них было. Мне налили, я выпил, грохнул стаканом об пол, и ударился в тоску. Нехорошо мне сегодня было, неприкаянно и неуютно, а отчего – хрен его и разберет! Из-за сестрицы, что ль?.. да ну, вряд ли... при чем тут сестрица? Или – все-таки и впрямь из-за нее... да нет, ерунда, сущая хреновина... столько лет мы с этой сестрицей жили бок о бок под одной крышей, и хоть бы тебе что... никакой такой тоски и неприкаянности не возникало во мне отродясь, а тут – на тебе, хоть в петлю суйся!

«Генка, – вновь еле слышно зазвучал во мне сестрицын голос, – слышишь, Генка... А помнишь, когда я еще умела ходить...»

Это было невыносимо... я скрипнул зубами и запустил вторым стаканом в стену – только стеклянные искры брызнули во все стороны! Само собою, вся моя закадычная компания, включая Зинку Гарантию, уставилась на меня четырьмя парами недоуменных глаз... что, дескать, эдакое творится сегодня с тобой, в чем, мол, суть эдакого твоего демарша... этак скоро и стаканов у нас не останется!

«Гуляем, братва лихая! – выдохнул я. – Гуляем сегодня напропалую, на всю катушку, на всю, ядрена вошь, ивановскую улицу, потому что – не исключено, что в последний раз! В последний – уясните потаенный и сокровенный смысл этого понятия вашими бестолковыми мозгами... всех вашу мать!»

Разумеется, как только я произнес мои отчаянные словеса, вся компашка, включая Зинку Гарантию, тут же принялась недоуменно у меня выпытывать – как, мол, так получается, отчего же – в последний раз... быть того не может, чтобы – в последний раз... пускай наши враги, а не мы, гуляют сегодня в последний раз... ну и все такое прочее, все в таком же духе и стиле.

«В последний – и все тут! – упорствовал я. – Потому что – завтра я вербуюсь на войну... и что вам за разница, – на какую? Да и мне тоже нет разницы, на какую... на любую! Сейчас их много развелось, всяких войн – и на востоке, и на юге... если сильно



постараться, то и на севере, где-нибудь впритык к Северному полюсу, также можно отыскать какую-нибудь порядочную войну! Вот так! И пускай меня там контузят или оторвет левую руку или ногу... а, скорее всего, меня там убьют, непременно убьют, быть того не может, чтобы меня там не убили... и это хорошо, что меня убьют, это замечательно, потому что – жить мне не хочется... остобрыдло мне все на свете! А почему мне не хочется жить, и отчего мне остобрыдло – откуда я знаю? Так, накатило... и до того мне тошно, братва лихая, что... никогда еще мне не было так тошно! Так что – гуляем... а ты, Зинка, никуда сегодня не девайся, и вы, братва, не имейте на нее сегодня никаких конкретных видов, потому что – сегодня она моя, Зинка Гарантия... сегодня у меня будет с ней прощальная ночь... понятно вам или нет, цирковым уродам? А, может, кто-нибудь желает со мной... то есть на войну... так я ничуть не против. Ну, так – желает кто-нибудь со мной на войну?..»

Разумеется, они пожелали... то есть пожелали все – и Батон, и Какаду, и Фикус, и даже Зинка Гарантия... все пожелали! Впрочем, Зинку Гарантию мы тотчас же дружно отринули, потому что – не бабье это дело, воевать... бабье дело, хором объяснили мы Зинке, заключается в другом... у всякой бабы в жизни своя функция и свой смысл... так что пошла ты отседова, халява в юбке, и не суйся в мужские дела, коли у тебя в этом сволочном мире имеется своя собственная функция!.. А все остальные, то есть Фикус, Какаду и Батон очень даже радостно согласились идти завтра со мной на войну... то есть, правильнее будет сказать, согласились только двое, а именно Какаду и Фикус, а вот Батон вначале согласился, а затем неожиданно сел на измену и отказался идти воевать по причине якобы своих слабых организмов и каких-то смутных личных обстоятельств, за что тут же получил от меня увесистую зуботычину, а вослед за мной такими же зуботычинами Батона наградили Какаду с Фикусом, и даже Зинка Гарантия – и та одарила Батона зуботычиной, несмотря на то, что у Зинки в этом мире имелась своя собственная функция...

Спать, разумеется, я улегся с Зинкой Гарантией. И не потому, что мне эта Зинка сегодня так уж была надобна, а просто – так, по моему представлению, полагалось: завтра я уходил на войну, а сегодня у меня была прощальная ночь с Зинкой Гарантией.

Битый, наверно, час, не касаясь друг дружки, мы с Зинкой лежали рядышком и смотрели в темноту, а затем Зинка у меня спросила:

«Скажи, ты и вправду идешь завтра на войну, или это – твой пьяный треп?»

«Иду», – сказал я.

«Зачем?» – спросила Зинка.

«Затем, – сказал я, – что весь этот мир – сучий. И все мы на свете – суки. И ты тоже – сука. Ну, разве ты не сука?»

«Сука», – согласилась Зинка.

«Ну, вот видишь, – сказал я. – Как же мне после этого не идти на войну? После этого я просто таки обязан идти на войну – разве не так?»

«Наверно, так, – сказала Зинка, помолчала и добавила: – Иди на свою войну».

«И пойду», – сказал я.

«Иди, – повторила Зинка, опять помолчала и сказала: – Ты иди, а я тебя буду ждать... с твоей войны».

«Зачем?» – спросил я.

«Затем, что так полагается, – сказала Зинка. – Ты будешь воевать, а я буду тебя ждать. А затем ты вернешься... когда кого-то ждут с войны, он обязательно возвращается».

«Откуда ты знаешь?» – спросил я.

«Я знаю, – сказала Зинка. – Потому что – у меня в этом мире своя функция...»

Я хотел что-то сказать... я хотел то ли возразить Зинке, то ли согласиться с ней, но неожиданно откуда-то издалека, будто с ночного невидимого неба, мне послышалось:

«Генка... Слышишь, Генка...»

Я вздрогнул, круто выматерился и почувствовал, что мне хочется заплакать – впервые, кажется, за последние двадцать лет моей жизни.

«Что с тобой?» – спросила Зинка.

«Ничего, – ответил я, затем повернулся к Зинке, оперся на локоть, долго глядел на нее... она была окутана серой мглой, лишь по ее лицу плясал отблеск какого-то далекого лучика... я не знаю, что это был за лучик, может статься, это был лучик от пробившейся, наконец, сквозь непроницаемую тьму одинокой звезды... усевестившейся звезды, которая с иных, справедливых, небес вернулась обратно на наши окаянные небеса, чтобы в своем одиночестве светить тем, кто под этими небесами обитает.

«Я хочу сделать тебе ребенка, – сказал я Зинке. – Я хочу, чтобы у нас... у меня был ребенок. Я буду воевать, а вы, то есть ты и ребенок, будете меня ждать. И тогда я обязательно вернусь... Я хочу сделать тебе ребенка... прямо сейчас, прямо этой ночью... потому что это – моя последняя ночь... завтра я уйду на войну».

«Пустая я, – горько сказала Зинка. – Как погремушка... пусто у меня внутри. Не рожу я тебе ребенка. Прости».

«Ничего, – сказал я, и мне вновь захотелось заплакать – во второй раз за последние двадцать лет моей жизни. – Ничего...»

«И все равно – я буду тебя ждать с твоей войны», – сказала Зинка.

«Да, – сказал я. – Да, конечно... жди».

...Утром мы проснулись, торопливо похмелились и дружной компанией, исключая Батона, пошли записываться на войну. Батон, впрочем, вознамерился было также идти с нами воевать, но мы его с собой не взяли, потому что он вчера отказался идти воевать и, таким образом, нас предал, а предатель на войне – это последнее дело.

«А пошел бы ты куда подальше, гад!» – в три голоса сказали мы Батону, и обнявшись, пошли вдоль по улице, а Зинка Гарантия семенила рядом и тоненько, по-бабьи, причитала, потому что так оно полагается – тоненько, по-бабьи, причитать, когда мужчины идут на войну, а женщины остаются... потому что у женщин в этом мире своя собственная функция.

«А где здесь записывают на войну?» – спросили мы, ввалившись гурьбой в первый попавшийся на нашем пути военкомат.

«На какую такую войну?» – не поняли нас вначале в военкомате.

«На любую, – ответил за всех я. – Желательно – на самую лютую и кровопролитную... чтоб дым столбом и потроха вдребезги! Это – самая подходящая для нас война. Желаем быть на ней добровольцами... контрактниками, короче говоря. Ну, так – подавайте-ка нам список всех на свете войн, и мы выберем самую для нас подходящую!»

«А, так вы желаете быть контрактниками? – вошел, наконец, в соображение военкоматовский чин. – Хорошее дело... мужское дело! Защита Родины – это, знаете ли, благородно и ответственно... ну, и все такое. Давай, ребята, диктуйте ваши имена и фамилии!»

«Тогда – начинай с меня! – велел я военкоматовскому чину. – А они – за мной следом! Братва лихая, валите за мной следом!..»

Однако моя братва, то есть Фикус и Какаду, повела себя весьма не по-компанейски и вообще предосудительно.

«Да мы, – сказали Какаду и Фикус, – как-то не предполагали, что это у тебя – по-серьезному. Мы думали, что это у тебя – пьяная блажь...»

«А у меня это – по-серьезному», – сказал я.

«Ну, и вали на свою войну сам, если это у тебя – по-серьезному, – сказали Фикус и Какаду. – А нам-то – для чего? Нам и тут неплохо...»

«Суки вы, – задушевно сказал я. – Ах, какие же вы двуличные суки!..»

«А ты нас не сучи, – сказали Фикус и Какаду. – Если тебе твоя башка не дорога, то это – твое собственное дело. А мы – пошли... Зинка, ты с нами, или как?»

«Я – с ним, – указала Зинка на меня. – А вы – идите себе... живите, пейте и жрите, пока он будет воевать! Идите на!..» – и Зинка указала Батону и Какаду конкретный адрес, куда им следовало идти.

«Психопаты ненормальные», – сказали Фикус и Какаду, повернулись и пошли.

«Видал, господин генерал, каковы защитнички Родины? – спросил я у военкоматовского чина. – Ну, так где у тебя там список всех на свете войн? Давай, показывай, а то мне прямо-таки невтерпеж...»

...Ехать на войну мне предстояло вечером того же дня. Вечером так вечером – какая разница... чем раньше, тем лучше. С этим сволочным миром меня ничего не связывало... разве что надо было сообщить обо всем мамаше. И, подхватив Зинку Гарантию под ручку, я потащил ее и себя заодно к мамаше.

Мамаша была как мамаша: узнав обо всем, она тут же запричитала, заохала, заныла, завыла... словом, все было как обычно.

«Прекрати, мамаша, свое бессмысленное вытье, – сказал я ей. – Что это, в самом деле, за привычка такая? Чуть что – сразу в вытье... остобрыдло! Сказано тебе, что я уезжаю на войну, стало быть – уезжаю... и незачем трепать мои нервы своими ахами и охами!.. А это – Зинка... прошу знакомиться... она меня будет ждать с войны. Зинка, а это – моя мамаша... мамаша, собери-ка мне какое-никакое бельишко, потому что вечером я отбываю. Все, мамаша, все... сказано – вечером я отбываю... и прекращай, наконец, свои горестные вопли!»

Спустя два часа бельишко было собрано, упаковано в походный мешок, и сам я также был собран и готов к отправке на войну... все, все!.. я оставлял этот дурацкий и сволочный мир! И мне только того и оставалось, что дожидаться вечера, то есть – прожить еще несколько дурацких, бессмысленных часов в сволочном мире...

В ожидании вечера я сидел на крыльце дома, по правую сторону от меня сидела Зинка Гарантия, а по левую – съезжившаяся и, почудилось мне, враз постаревшая мамаша... до такой степени постаревшая, что мне ее вдруг стало жаль – может быть, впервые за последние двадцать лет своей жизни.

«Ладно, мамаша, ладно... ничего, – сказал я. – Подумаешь, война... хрен ли с ней, с той войной. Да это и не война вовсе, а так, прогулка по склонам южных гор, где растут сплошные одуванчики и эдельвейсы... в военкомате мне сказали именно так... одуванчики и эдельвейсы. Хрен их знает, как они выглядят, эти эдельвейсы, дело не в этом... Да ты сама рассуди, мамаша, для чего им врать – в том военкомате?.. Зинка, подтверди, ведь ты это также слышала... насчет одуванчиков и эдельвейсов... ведь слышала же? Ну, вот, Зинка также подтверждает... она слышала. Так что ты не горюй,

мамаша! Погуляю по склонам южных гор, понюхаю одуванчики, потопчу эдельвейсы, заработаю кучу денег, и вернусь. Все будет хорошо, мамаша... все будет просто замечательно!..»

Не знаю, поверила ли моим речам мамаша... скорее всего, что и не поверила, но не в этом было дело. Дело было в другом: новая мысль вдруг неожиданно промелькнула в моей голове, и повергла меня в неожиданное смятение! Вот так дело... ну и ну... сестрица! Мне вдруг захотелось увидеть сестрицу... мне захотелось подойти к ней и сказать: так, мол, и так, уважаемая моя сестрица, сегодня я уезжаю на войну, и, честно говоря, пес его ведает, что там со мной случится, на той войне... может быть, там – вовсе даже и не одуванчики с эдельвейсами, а потому – может случиться такое, что больше нам уже и не свидеться, и по этой самой причине – прости ты меня, уважаемая моя сестрица, за все то лихо, которое я тебе причинил... а ведь я его тебе причинил, лихо-то, я это знаю... вот именно сейчас, в сию минуту, я это понимаю очень даже ясно и отчетливо! Стало быть, прости меня, дорогая моя сестрица, и еще – не зови меня больше, не выкликай мое имя, потому что из-за твоего голоса мне очень тяжело, можно даже сказать – невыносимо. А отчего оно невыносимо – хрен его разберет! Вот так-то, уважаемая моя сестрица, и – прощай покудова...

Такие, значит, неожиданные слова мне вдруг захотелось сказать моей сестрице... и сразу же за этим я понял, что – не скажу я ей этих слов... я не скажу ей вообще никаких слов! Потому что для того, чтобы сказать сестрице такие слова, мне надобно было переться в богадельню, где пребывала сейчас сестрица. А эта богадельня, между прочим, располагалась далеконокко, она была едва ли не в пяти верстах от города... а это означало, что туда пять верст, да обратно столько же... да еще там, в той богадельне, времени потратишь неведомо сколько... эдак можно и на поезд опоздать, на котором я должен отбыть на войну! Так что извини-прости, уважаемая моя сестрица, за мои невысказанные тебе прощальные слова... некстати они пришли мне на ум и недосуг мне их тебе высказывать, не осталось уже у меня на то времени... такие вот, значит, дела. А, впрочем... Черт меня совсем подери, отчего-то сегодня, за несколько часов до того, как мне уехать на войну, мне вдруг захотелось быть откровенным – уж ежели не перед другими, то хотя бы перед самим собой! Давненько, надо сказать, ничего подобного со мной не случалось... лет, наверно, уже двадцать минуло, как ничего эдакого со мной не случалось! Да-да, лет двадцать, никак не меньше: двадцать лет минуло, как я последний раз плакал, и столько же лет минуло, как я был сам перед собой откровенным. Наверно, и то, и другое как-то между собой связано... а, в общем, недосуг мне сейчас рассуждать на такие отвлеченные и неожиданные для себя темы.

Я-то хотел сказать совсем не о том... вот именно! Я хотел сказать – вовсе даже не в том дело, что до сестрицыной богадельни – пять верст езды туда, да столько же обратно... я хотел сказать о другом. Я хотел сказать, что, как это ни странно и ни поразительно, у меня не хватит сейчас духу поехать к сестрице, предстать перед ней и высказать ей те самые, неожиданные и выстраданные мною слова... вот что, пожалуй, было главным! Ехать на войну духу мне хватало, а предстать перед сестрицей и сказать ей прощальные слова – оказывается, не хватало. Вот что было главным, а не какие-то пять верст туда, и столько же обратно. Эхма!..

«Вот что, мамаша, – сказал я. – Мне уже скоро ехать... сама понимаешь – опаздывать мне никак нельзя... а ты бы сходила к ней – завтра или послезавтра, я уж не знаю... Так что ты сходи к ней, ладно?»

«Это к кому же, сынок?» – плаксиво спросила мамаша.

«К ней, к сестрице... к кому же еще, – сказал я. – Сходи, значит, к ней, и скажи... так, мол, и так, скажи, отбыл твой братец на войну и просил, чтобы ты, сестрица, не поминала его лихом. Так, значит, и скажи... а более ничего и не говори...»

«Ага, – плаксиво закивала мамаша, – ага... схожу и скажу... завтра же. Так и скажу...»

«Так и скажи», – повторил я, и закрыл глаза.

Мне сейчас не хотелось ничего: ни разговаривать, ни смотреть на этот постылый мир, ни даже дышать. В заброшенном саду, укрывшись в ветвях, настойчиво и неумолимо чирикала какая-то птаха.

«Твою мать, – с ленивым остервенением думал я об этой птахе. – Заткнулась бы ты со своим чириканьем, что ли. Ну, ты сама подумай – на кой хрен мне сейчас твое чириканье?..»

Однако невидимая птаха не унималась.

«Ладно, – сказал я, поднимаясь с крыльца. – Слышишь, мамаша, и ты, Зинка. Пойдем-ка на вокзал. Ничего, что еще рановато... и совсем даже не рановато. Пока дойдем, пока то да се, оно и будет в самый раз. Пойдем, пойдем... ничего. А то, видишь ли, чирикает тут всякая сволочь... прямо-таки душа у меня наизнанку от этого чириканья...»

...Поезд на войну уходил в девятнадцать часов ноль девять минут. Я вошел в вагон, зашвырнул мешок на верхнюю полку, и посмотрел в окно. Из окна был виден перрон. По перрону сновали люди, и среди этой бесконечной и бессмысленной человеческой суеты стояли моя мамаша и Зинка Гарантия, и, обнявшись, выли. Они выли по мне, уезжающему на войну. Я скрипнул зубами, длинно выmaterился, забрался на верхнюю полку, и отвернулся к стене. Поезд, дернулся, заголосил, лязгнул и тронулся.

В моем купе набилось народу – душ, наверно, двенадцать. Все это были ребята лихие, отчаянные, забубенные – одним словом, такие же, как и я сам. И отправлялись все они туда же, куда и я – на войну. Как только поезд тронулся, вся эта орава тут же распаковала свои мешки и баулы, и устроила самозабвенную гульбу.

«А ты – чего это? – дернул меня за ногу какой-то вояка. – Отдельная республика, что ли? Давай-ка присоединяйся и ты. А то подозрительно смотришься в одиночестве... Ну-с, за нашу будущую победу! Хоп!»

«Победу – над кем?» – криво усмехнулся я, принимая стакан.

«А какая тебе на хрен разница – над кем? – осклабился вояка, а остальные одобрительно загоготали. – Над теми, с кем мы будем воевать! Чтоб мы все были живы, а они – наоборот! До дна – и не чокаясь!..»

Мы пили много, долго и самозабвенно, орали песни, рассказывали друг другу всякие, большей частью, подчеркнута похабные истории, знакомились, менялись шмотками, целовались, выясняли отношения, норовили заехать друг дружке по мордасам, тут же мирились – и опять пили, пели, целовались, матюгались... Мы были солдатами, ехавшими на войну, и мы чувствовали себя солдатами – и какая кому была разница, с кем нам предстояло воевать, и за какие такие идеалы?..

Ближе к полуночи, когда мои однополчане уgomонились и заснули диким и заливистым пьяным сном, мне вдруг послышался голос моей сестрицы.

«Генка, – сказал мне этот голос. – Слышишь, Генка?..»

«Ну?» – мрачно отозвался я.

«Генка, – повторил сестрицын голос. – Скажи мне что-нибудь, Генка...»

«Что же тебе сказать?» – недоуменно спросил я у сестрицына голоса.

«Что-нибудь, – сказал сестрицын голос. – Что-нибудь, Генка... То, чего ты мне никогда не говорил...»

«Я избил твоего... этого, – с неожиданной для себя откровенностью сказал я. – Я его избил... в ту самую ночь, когда тебя должны были наутро отвезти в больницу, и я ночевал в твоей комнатке... помнишь? Ну, и вот... я ночевал в твоей комнатке, а он... этот, твой, в это самое время пытался забраться к тебе в окно... да. Шел дождь, ты же помнишь?... той ночью шел дождь... нескончаемый, тяжелый, будто из свинца... и я сидел у окна на стуле... а он, этот, твой, пытался влезть к тебе в окно. Вначале-то я думал, что это – не он, не твой... что он – какой-нибудь вор или забулдыга, которого поманил свет ночника в твоей комнатке... но это был он! Это был он... теперь-то я это знаю! Я только не знаю, зачем он приходил... а, может быть, и это я знаю. Да-да! Может быть, и знаю... Потому что – чего тут знать? Чего тут знать, я спрашиваю, когда один человек приходит к другому человеку... пускай даже и ночью, пускай даже и через окно, пускай даже идет нескончаемый дождь... что тут, я спрашиваю, знать, а? А, может, этот, твой... которого я избил... может быть, в ту самую ночь ему надо было тебя увидеть... так надо было увидеть, что он пошел к тебе, несмотря на ночь и на ночной свинцовый дождь... может, он знал, что ты его ждешь, или же ему самому до такой степени приперло, что... Послушай, сестрица: а, может, он, этот твой, тебя любил, а? И – может, и ты сама его любила тоже? Может, я напрасно думал, что тебя, такую, невозможно полюбить... ну кто же, в самом деле, полюбит тебя, такую-то?.. А он, этот твой, взял и полюбил... и даже смастерил тебе ребенка. Да, ребенка... И, может, в ту самую ночь он приходил проведать тебя и ребенка... а я взял, и его избил, и протащил волоком через весь сад, и вышвырнул на улицу... Вот так-то, моя уважаемая сестрица... а ты-то этого, наверно, и не знаешь, и не узнаешь никогда. Ах, сестрица, сестрица – отчего же все на свете так напутано и так паскудно... хоть бы меня поскорей убили на той войне, куда я сейчас еду! Хоть бы меня убили... в первом же бою... я бы в ноги тому поклонился, кто бы меня убил – в первом же бою! Ты слышишь меня, сестрица? Ты меня слышишь? Ну, скажи, я тебя прошу... скажи: Генка, Генка...»

Однако никто мне не отвечал. Сестрицын голос замолк, а, может, он просто удовлетворился тем, что я ему только что рассказал, и больше ему ничего было не надобно – откуда мне знать? Просто – сестрицына голоса больше не было, и мою душу объяла лютая тоска. Поезд скрипел и грохотал, за окном клубилась и липла к стеклам тьма, в которой не было ни единого проблеска света, откуда-то сверху в купе проникал холодный неуютный ветер и приносил с собой незнакомые запахи, и мне чудилось что это – запахи смерти, что именно так и должна пахнуть смерть...

«Слышишь, земляк! – дернул я за ногу какого-то воина. – Вставай-ка, да выпьем! Страсть как хочется выпить, а в одиночку – не привык!»

«А! – испуганно вскинул голову воин, долго соображал, вникая в смысл моих слов, а затем сказал: – Выпить – это, конечно, хорошо, да только – кончилась наша выпивка! Утром, конечно, мы раздобудем, да только – до утра еще, как до смерти...»

И вояка вновь уронил свою тяжелую хмельную голову, а я заплакал – горько, искренне и ни от кого не таясь, да и от кого мне было таиться? Все мои соратники спали непрошибаемым пьяным сном... а перед самим собой, за то что плачу, мне было не стыдно. Не знаю, почему я плакал. Может, потому, что хотелось выпить, а водка кончилась и до утра ее было не раздобыть, может, оттого, что мне больше не слышался сестрицын голос, может, оттого, что откуда-то сверху в купе, в котором я ехал на войну, проникал ветер, у которого был запах смерти... Откуда я знаю, по какой причине я плакал? Мне кажется, что по какой бы причине человек ни плакал – по причине того, что кончилась водка, по причине ли упорного, пахнувшего смертью ветра – он все равно всегда плачет о себе самом. Только о себе, и ни о ком больше...

\* \* \*

– Вот уже несколько месяцев я живу в интернате для инвалидов. Кончилась осень, наступила зима, скоро и зима закончится... Срок, однако! Ничего, живу. По-своему здесь очень даже неплохо. Прекрасное, насколько я могу судить, здание с зимним и летним садом, в зимнем саду – аквариумы с рыбками и клетки с попугаями, плюс вежливый уход персонала и яблоки с апельсинами на завтрак и на ужин... Но главное – это мои нынешние соседи. Здесь все такие же, как и я сама. Нас здесь много – одинаковых...

Да-да, нас здесь много, одинаковых, и благодаря этому, недавно я сделала удивительное открытие. Оказывается, когда на сравнительно небольшом пространстве скапливается множество увечных и убогих, то поневоле возникает иллюзия счастья... да-да, именно так – счастья! Поневоле начинает возникать убеждение, что весь мир состоит исключительно из увечных и убогих, что нет в мире более никого, кроме нас, что Тот, кто нас создал, и задумал нас такими, и сотворил именно такими, а это значит, что мы – совершенство, мы – венец замысла Того, кто нас создал – и отчего же, спрашивается, в таком случае не чувствовать себя счастливым?

Воспоминания о какой-то иной, прежней и непохожей на эту, жизни и о каких-то иных, не похожих на тебя и на тех, кто тебя окружает, существах? А что – воспоминания? Что такое – воспоминания? Может, это и не воспоминания вовсе, а всего лишь странные сны? А сны, как известно, бывают разные, и, коль оно так, то отчего, например, тебе однажды не мог присниться сон, будто ты жила некогда в каком-то флигельке с окном в старый заброшенный сад, и через это окно к тебе приходил таинственный любовник, который был то ли человеком, то ли небесным Ангелом, и который однажды подарил тебе три прекрасные белые розы, а затем сотворил тебе и ребенка, которого ты не родила да и никогда не родишь, потому что разве такое возможно – родить ребенка, которого тебе сотворили в твоём сне? Да и с розами также не все ясно... разве есть на свете цветы, которые называются розы... тем более – белые розы? Вообще, какое это несуразное и бессмысленное словосочетание – белые розы! Полнейшая бессмыслица! В нашем зимнем саду, например, никаких роз нет. Есть какие-то вьющиеся растения и разлапистые пальмы, есть синие и красные пятипалые цветы... причем тут какие-то розы? Приснится же...

Так что, можно сказать, жизнью я довольна. Посетителей у меня почти не бывает. Иногда, правда, приходит мать, которая тут же начинает причитать и рассказывать о том, что ее сынок и, соответственно, мой братец ушел на какую-то войну, которая невесть где и невесть с кем, да там, наверно, и сгинул, потому что ни слуху нет о нем, ни весточки, а она, мамаша, братца ждет, и не спит из-за того ночами, и выплакала из-за того все свои глаза, а вместе с ней, с мамашей, братца ожидает какая-то Зинка Гарантия, которая невесть кем братцу и приходится... да неважно все это. Мне неприятны ни материны причитания, ни сами ее посещения, ни ее рассказы о сгинувшем братце, и я всяческими силами стремлюсь от мамы избавиться: то прикинусь захворавшей, то спящей...

Гораздо для меня приятнее посещения моей подруги Ани. Когда она приходит, я прошу, чтобы меня вывезли в зимний сад, где мы с Аней уединяемся, и под щебет попугаев болтаем о всякой всячине. Я рассказываю Ане о своих соседях по палате, об обитателях второго и третьего этажей, о том, что нам давали сегодня на завтрак и что обещали дать на обед, какую книжку я читала вчера и какую буду читать завтра, а она мне – о малопонятных для меня событиях из жизни внешнего, простилающегося за стенами интерната мира – того самого мира, в существование которого я верю все меньше и меньше...

Когда же у меня не бывает посетителей и на улице хорошая погода, я прошу, чтобы меня вывезли на открытую террасу. Меня вывозят, и тогда я прошу, чтобы меня не трогали до самой темноты. На террасе мне хорошо... может быть, нигде в этом мире мне так не хорошо, как на этой террасе. О чем я думаю, когда бываю на террасе? Ни о чем. Я просто смотрю, как устилает землю снег, как срываются с крыш шальные капли – первые

предвестники то ли оттепели, то ли весны, как ближе к вечеру на срезе крыш возникают и растут звенящие под ветром сосульки... Иногда ко мне приходит ничейная собачонка, и мы вместе с ней слушаем тонкое пение сосуллек. С наступлением сумерек собачонку прогоняют, а меня увозят в палату.

...Так я прожила зиму, так для меня миновали первые весенние месяцы март и апрель. В начале мая меня навестила мать и слезливо сообщила, что ее сын и, соответственно, мой братец вернулся с войны весь израненный и нервный, и теперь напропалую пропивает деньги, заработанные им на той неведомой войне... а Зинку Гарантию, которая обещала братца ждать с войны, да не дождалась, а когда братец явился, то тут же возникла и она, Зинка Гарантия... но напрасно она возникла, потому что братец, как только завидел эту Зинку, избил ее смертным боем, так что мамаша собственноручно отливала Зинку водой, и с той поры Зинки рядом с братцем не наблюдается... а, помимо Зинки, братец в тот же самый день подрался с какими-то тремя своими давними друзьями, да и не просто подрался, а и швырнул в них самой настоящей бомбой, которую он привез с войны... и хорошо еще, что бомба не взорвалась, а то быть бы неминуемой беде...

«Ну и что?» – сказала я в ответ на все материнские горестные причитания, и мать, поохав еще с полчаса, удалилась восвояси.

Едва только мать ушла, тут же пришла Аня. Мы уединились с ней на террасе, и тут я обратила внимание на некое изменение в Аниной фигуре.

«Ого!» – сказала я, указывая на Анин живот.

«Да-да, – подтвердила Аня, – через два месяца буду рожать!»

«Когда же ты успела? – удивилась я. – И замуж выйти, и это... И почему ты мне ничего не говорила до сих пор о своем муже?»

«А нет никакого мужа, оттого и не говорила! – легко ответила Аня. – И не было. Все случилось само по себе... весенним ветром надуло!»

«Такое иногда случается...» – глубокомысленно заметила я, и мы обе рассмеялись.

Разумеется, мы тут же отбросили всякие второстепенные дела, и заговорили исключительно о грядущем событии – рождении ребенка. Аня сказала, что хочет, чтобы это была девочка... впрочем, она была согласна и на мальчика.

«Вот только не знаю, – пожаловалась Аня, – как мне его назвать – хоть мальчика, хоть девочку. Всю голову себе иссушила... и то не так, и это не нравится! Слушай, подруга, а назови-ка сама, а? Как назовешь, так и будет».

«Да что тут мудрить? – совсем уж было собралась сказать я. – Коль будет девочка, то назови Машей, а если случится мальчик, то Ваней!»

Я собралась сказать так, да только не сказала... я вообще ничего не сказала. Какая-то неосознанная тревога вдруг возникла внутри меня и стремительно ширясь, скоро завладела мною без остатка. Ваня, Маша... мне вдруг показалось, что с кем-то когда-то это уже было... кто-то когда-то уже намеревался назвать своего будущего ребенка Ваней или Машей... но затем случилось нечто предельно ужасное... вот только когда и с кем это произошло? Мне вдруг показалось, что все это произошло со мной. Со мной?! Да нет, ерунда... с какой стати это должно было случиться со мной... каким, спрашивается, образом? Должно быть, это, нечто предельно ужасное, случилось с кем-то другим, а я от кого-то обо всем слышала... а, вернее всего, это был всего лишь мой странный сон... один из моих странных снов, под стать такому же странному сну о несуществующих цветах, которые называются белыми розами... и вот сейчас каким-то



непостижимым образом этот мой сон становился явью. Ваня и Маша... да-да, Ваня и Маша...

«...А когда ребенок родится, – щебетала между тем Аня, – я обязательно позову тебя в крестные матери – только тебя, и никого другого! Представляешь, у моего ребенка будет две матери – я и ты... ведь это же так здорово... да что это с тобой, подружка!? Ты себя плохо чувствуешь?..»

Мало что соображая, я открыла глаза... должно быть, очень страшными были мои глаза, потому что Аня тут же вскочила и, придерживая руками свой живот, неуклюже куда-то побежала. Вскоре она вернулась с двумя санитарками, которые тут же развернули мою коляску и покатали меня куда-то вглубь помещения...

Пришла я в себя, кажется, довольно-таки скоро. За окнами палаты торжествовал тот же самый день, и те же самые дневные звуки слышались вдали и вблизи. Мой неожиданный приступ давал о себе знать каким-то особенным угнетенным состоянием духа, и в то же самое время я чувствовала себя – как бы поточнее выразиться – как бы устремленной куда-то ввысь, как бы окрыленной... будто бы я была сейчас некой птицей, которая вот-вот намеревается устремиться в какие-то неведомые небесные дали... Не знаю, отчего во мне образовалось такое чувство, ничего подобного я ранее не испытывала.

«Наверно, – мимоходом подумалось мне, – это – следствие моего странного припадка...»

Да, так о чем бишь я говорила... ах, да... за окном слышались разнообразные дневные звуки, там о чем-то кричали, спорили и смеялись. Многие голоса мне были знакомы – это были голоса моих сожительниц по палате, голоса увечных и парализованных мужчин со второго этажа, сестер и, кажется, главврача нашей богадельни Николая Тимофеевича. Я дотянулась до свисавшего надо мной шнурочка, дернула, где-то там, за стенами, раздался звон, и вскоре ко мне подбежала дежурная медсестра.

«Хочу туда!» – сказала я, указывая за окно.

«Нет-нет, – запротестовала медсестра, – тебе нельзя! С тобой случился приступ, тебе надо лежать!»

«Еще належусь! – мрачно пошутила я (это была любимая шутка всех постояльцев нашей богадельни). – Со мной все в порядке. А там, снаружи – люди, воздух и небо... мне там будет лучше... ну же!»

Сестра с сомнением покачала головой, но все же позвала на помощь другую сестру, вдвоем они усадили меня в коляску и покатали... и вновь я неожиданно ощутила, будто вот-вот взлечу под самые небеса и даже куда-то выше, за пределы небес или на какие-то иные, неслыханные и непостижимые небеса... явственное шевеление крыл ощутила я за своей спиной!

Во дворе было много народу. Перед моими убогими собратьями и в самом деле выступал главврач Николай Тимофеевич. Он держал в руках какие-то прутики, размахивал ими, и о чем-то горячо убеждал постояльцев подведомственной ему богадельни. Я попросила, чтобы меня подвезли поближе...

«...Да, – говорил главврач, – в нашем зимнем саду и на нашем дворе растет множество всяких растений, но одного растения у нас все же нет, и это очень плохо, что его нет, потому что это замечательнейшее, прекраснейшее растение – розы! Розы! Представляете, братцы, – розы! Значит, так... вот они, розы! – и главврач потряс кустиками. – Сейчас мы их будем сажать! Отныне наш дом... наш общий дом будет усажен еще и розами... ну, разве это не прекрасно? Значит, кто в состоянии помочь делом – милости просим, кто может помочь советом или доброй улыбкой – и это

прекрасно, потому что розы так и следует сажать – с доброй улыбкой... давайте все примем участие, давайте запомним нынешний день! Пускай отныне это будет наш всеобщий праздник – день роз! День роз... и отныне мы будем отмечать его ежегодно... всегда!»

«...Представляешь, у моего ребенка будет две матери – я и ты!» – вдруг вспомнила я недавние слова Ани... а, может, я их даже и не вспомнила, а они мне откуда-то слышались, кто-то мне вдруг их прошептал... я не знаю. Убогие постояльцы же между тем зашумели, засмеялись, всяк как мог, задвигался... Все выражали готовность принять участие во всеобщем празднике посадки роз. Все – только не я. Ощущение крыльев за моей спиной сделалось просто невыносимым, было просто-таки поразительно, отчего это я до сих пор остаюсь прикованной к коляске и не взлетаю... и вместе с тем тягостное предчувствие чего-то неизбежного одолевало меня.

«Розы... вы говорите – розы? – спросила я, и все вдруг умолкли и оглянулись на меня. – Это... розы, да, я знаю... а белые среди них будут?»

«Наверно, – удивленно ответил главврач Николай Тимофеевич, – я просил, чтобы были всякие... разных цветов... в том числе, и белые...»

«Не надо! – шепотом сказала я, но отчего-то мой шепот услышали все: кто мог, повернули ко мне головы, а полные парализики вытянулись в струну и застыли в беззвучном напряжении. – Не надо роз... особенно белых... никаких не надо! – тем же шепотом продолжала я, и вдруг перешла на крик: – Не надо роз! Я хочу улететь... разве вы не видите, что за моей спиной – крылья! Я хочу улететь... почему я не могу взлететь, когда за моей спиной крылья!? Не надо роз... слышите, не надо никаких роз... особенно – белых!..»

У меня началась истерика. Ко мне подбежали сразу несколько медсестер, развернули коляску и бегом покатали меня обратно в палату... а я все продолжала метаться, кричать и умолять... и крылья за моей спиной гудели и трепетали от ветра и желания подняться в небеса и даже куда-то выше небес...

В палате ко мне сбежалась куча народу, меня уложили и укололи в левое плечо. Я замолчала... всеобъемлющее спокойствие стало овладевать мной.

«Вот так, – сказала медсестра, – держа в руках шприц, – вот так... спи. А когда проснешься, все будет в порядке, будет новый день, все будет хорошо... спи».

Я покорно закрыла глаза...

Да, я закрыла глаза, однако же не заснула. Просто я хотела, чтобы все от меня поскорее ушли и оставили меня одну. Мне никак нельзя было спать. Я сопротивлялась наступающему сну, как только могла... у меня были на то весомые, выстраданные основания. Прежде чем заснуть, мне крайне необходимо было выполнить одно наиважнейшее дело. Это было моей тайной, которую я хранила от всего мира как только могла, и несмотря ни на что, я ее сберегла до нынешней секунды. Я сумела это сделать, я сберегла мою заветную тайну... ах, только бы мне не заснуть, прежде чем я выполню свое наиважнейшее дело!

...Не знаю: то ли на меня так подействовал укол, то ли все дело было в некстати затеянном празднике роз, то ли – в ребенке, которого должна была скоро родить моя подруга Аня, то ли – в чем-то еще... говорю же – не знаю. Однако сейчас каким-то непостижимым образом я помнила о себе все: и то, что некогда я обитала во флигеле с окнами в заброшенный сад, и то, что из этого сада, объятого напоенной дождем тьмой, приходил ко мне таинственный любовник – то ли человек, то ли Ангел, – который подарил мне три белые розы и сотворил мне ребенка, которого затем убили... Так вот: тогда, в больнице, после того, как убили моего ребенка, а меня зачем-то оставили жить, я просила у моей единственной подруги Ани микстуры или таблеток, которые можно выпить, уснуть,

и больше уже никогда не проснуться. Конечно, Аня ничего мне не дала, и я, разумеется, за это на нее не обиделась, потому что нельзя обижаться на человека, если у него – сострадательная душа, но мысль о таких таблетках либо микстуре с той поры меня не покидала. И очень скоро я осуществила свою потаенную мечту. Я добыла такие таблетки.

Вот как это случилось. Когда меня привезли в интернат, то, прежде всего, поволокли в здешнюю больницу на всякое там обследование. Я лежала на холодной кушетке, меня выстукивали, выслушивали и измеряли, ко мне подходили и от меня удалялись, и я вдруг заметила, что рядом с кушеткой, на тумбочке, лежал целый разноцветный ворох каких-то пилюль.

Вернее, дело было не совсем так. Я, может статься, и не заметила бы этих пилюль, если бы не голос. Это был тот самый вкрадчивый голос, которого я когда-то считала своим доброжелательным и единственным другом, и который когда-то давал мне советы, как мне лучше сплести веревку и свести счеты с моей незадачливой жизнью. А когда все мои жалкие попытки убить себя ничем, кроме горького разочарования, не окончились, он, этот голос, неожиданно исчез – и вот теперь, через столько времени, возник вновь. Не знаю, удивилась ли я, услышав этот голос... нет, скорее всего, я не удивилась. Я восприняла голос вполне безмятежно... да-да, именно так – безмятежно. Просто – был когда-то рядом со мной вкрадчивый голос, затем – он куда-то исчез, и вот теперь – опять появился...

«Смотри, – сказал мне вкрадчивый голос. – Вот – тумбочка... да-да, слева от тебя. Итак, слева от тебя – тумбочка, а на ней – таблетки...»

«И что же с того?» – мысленно спросила я у голоса.

«Как это – что с того? – удивился голос. – Слева от тебя – тумбочка, а на ней – пилюли. До этой тумбочки можно дотянуться, и взять эти пилюли себе. Это же так просто...»

«И для чего же они мне надобны, эти пилюли?» – мрачно спросила я у вкрадчивого голоса.

«Вот те раз! – еще больше удивился голос. – Будто это и не ты вчера просила у своей подруги Ани какую-нибудь микстуру или пилюли, чтобы уснуть – и больше никогда не проснуться! Вот же они – пилюли! Или, может, ты передумала?...»

«Я не дотянусь», – сказала я.

«А ты попробуй», – сказал вкрадчивый голос.

«Я не дотянусь, – еще раз сказала я. – И пробовать нечего...»

«А ты все-таки попробуй! – настойчиво сказал вкрадчивый голос. – Иначе – тебя всю твою оставшуюся жизнь будет мучить мысль: могла, дескать, попробовать дотянуться – и не решилась. А вдруг, будешь думать ты, получилось бы? Нет, и впрямь: а вдруг – получилось бы? Эта мысль не даст тебе покоя: она источит тебя... Попробуй!»

«Врачи могут помешать...» – нерешительно сказала я.

«Ну, так выбери момент, когда они отвернутся, – сказал вкрадчивый голос. – Попробуй, попробуй...»

Я искоса взглянула на тумбочку с лежащими на ней пилюлями. Ах, как мне хотелось до них дотянуться! Я, разумеется, не знала, что это были за пилюли, и от каких они хворей, но что с того? А вдруг это и есть те самые пилюли, которые можно проглотить, а затем уснуть и больше никогда не проснуться... ах, как мне хотелось дотянуться до пилюль! И я таки до них дотянулась: уж не знаю, судьба ли мне в том помогла, простой ли случай, или, может, каким-то образом мне помог мой таинственный советчик – вкрадчивый голос. Но вышло так, что все врачи вдруг одновременно ушли за

ширму о чем-то совещаться. Я тот же миг протянула руку к тумбочке, и – о, ты мое счастье, – дотянулась сразу до трех мягких упаковок! Название пилюль ни о чем мне не говорило, ну да ладно, вдруг это и есть те самые пилюли... вот так нечаянная радость!

Однако тут же на смену радости ко мне пришло отчаяние. Я лежала на кушетке почти обнаженной, в одной лишь короткой сорочке, и спрятать пилюли под сорочкой было делом невыполнимым! Станут меня одевать и непременно найдут... и в кулаке пилюли также никак не помещались. Засунуть мое приобретение в рот? А вдруг меня о чем-нибудь спросят, и удивятся, отчего это я не отвечаю?... Я уже совсем собралась было швырнуть пилюли на пол и удариться в плач, но вдруг великолепная спасительная мысль пришла ко мне в голову... Врачи продолжали шептаться за ширмой... я мигом свернула все три упаковки в трубочку, задрала сорочку, дотянулась рукой до своего истерзанного недавней операцией лона, откуда извлекли моего так и не рожденного ребенка, и стала судорожно запихивать бумажную трубочку туда, в лono... У меня получилось, я успела, и врачи ничего не заподозрили: пошептавшись, они вышли из-за ширмы, и тут же начали меня одевать. Я тихо торжествовала.

«Вот видишь, – мысленно сказала я вкрадчивому голосу. – И вовсе не нужны мне твои советы! Додумалась и без тебя!»

Однако голос на этот раз ничего не сказал: он исчез так же внезапно, как и появился...

Меня привезли в палату, где, может статься, мне и предстояло провести остаток моей несуразной жизни, и уложили меня на кровать.

«Через час будет обед», – сказали мне сопровождающие, и удалились.

«Я не хочу есть!» – крикнула я вслед, но никто не прореагировал на мои слова.

Я и в самом деле не хотела никакого обеда... мне, по вполне понятным причинам, нельзя было обедать. Пообедав, мое тело стало бы изъяслять известные желания – и тогда из моего тайника запросто могла бы выпасть бумажная трубочка, эта моя тайна, эта моя возможность в любой момент распорядиться своей жизнью так, как будет угодно мне самой, а не как заблагорассудится кому бы то ни было.

Через час действительно принесли обед.

«Я не хочу есть!» – еще раз сказала я.

«Хвораешь, что ли?» – спросила нянечка, держа в руках тарелку с супом.

«Хвораю!» – хотела ответить я, но вовремя одумалась. А вдруг в этом случае меня опять поволокут в тот самый кабинет с ширмой, уложат на кушетку и начнут осматривать... нет, ни за что!

«Просто не хочу – и все!» – сказала я.

«Ешь! – настойчиво сказала нянечка. – Как это так – не хочу... тебе обязательно надо кушать! Если тебе самой трудно, то могу покормить из ложечки... а чего ж?»

«Не надо, – сказала я, – я сама...»

Моя нянечка позвала другую нянечку, меня подняли, усадили, обложили подушками, чтобы я не завалилась набок, и стали смотреть, как я ем суп, затем – котлету, затем – пью компот... Как я сейчас ненавидела этих двух женщин с их участливыми лицами... как же я их ненавидела!

Вскоре после обеда случилось то, чего я так опасалась: мое тело начало требовать своего.

«Терпеть! – приказала я телу, – непременно терпеть! Надо во что бы то ни стало дожидаться ночи!»

Я прекрасно отдавала себе отчет, что только ночью, когда все утомится и затихнет, а главное – будет темно, я смогу извлечь бумажную трубочку из тайника... а сейчас – как ее извлечешь? В палате непрерывное движение, кто-то заходит, кто-то выходит, мои товарки на соседних койках то и дело косятся на меня... как же тут извлечешь? Нет, терпеть... во что бы то ни стало терпеть до наступления ночи!

Но как же медленно тянулось время! Вот уже сгущаются сумерки за окном, вот уже вошла в палату нянечка и включила телевизор... Все, кто мог, тотчас же повернули головы к экрану, прочим же головы помогала поворачивать нянечка... Дабы не вызывать подозрений, я также скосила глаза к телевизору... мне было неудобно... ну да ладно, скоро – ночь, я потерплю... да и что там смотреть, в том телевизоре? Насколько я могла уяснить, шел какой-то фильм о любви. Вот красивую золотоволосую женщину страстно любит такой же красивый мужчина... вот эта женщина уже разгуливает со своим ребенком по неправдоподобно красивой аллее... Я отвернулась и закрыла глаза. Терпеть... терпеть! Скоро – ночь!

...Разумеется, я вытерпела. Отчего же мне было не вытерпеть, когда вся моя жизнь была сплошным, непрерывным терпением, и ничем более? Когда, наконец, выключили телевизор и потушили свет, и вся палата затихла и засопела, я тотчас же проникла в свой тайник. Трубочка была на месте, я ее осторожно извлекла... но куда же мне ее было теперь девать? Засунуть в наволочку – так ведь найдут, спрятать под простыню – то же самое, найдут... Опять на меня нахлынуло отчаяние, опять я едва не ударилась в плач и опять в самый последний момент ко мне пришла замечательная, спасительная мысль... будто кто-то нарочно подсовывал мне такие мысли, когда я терялась и решительно не знала, что мне предпринять... а, может, мне их, эти мои мысли, и впрямь кто-нибудь подсовывал – например, мой таинственный советчик и собеседник – вкрадчивый голос?..

«Да в матрац же, на котором я лежу – куда же еще и прятать-то! – осенило меня. – Матрац набит ватой... в вату можно спрятать что угодно – и никто там не отыщет вовеки веков!»

Я тут же зашарила руками по матрацу, надеясь отыскать в нем хотя бы небольшую прореху, но ни на что такое мои лихорадочные пальцы не натыкались. Возможно, прорехи в матраце вообще не было, возможно, прореха находилась где-то ниже, в ногах – но чтобы в этом убедиться, мне надо было встать, а как я могла встать без посторонней помощи? Я вновь едва не расплакалась, и вновь меня осенила замечательная идея... надо же такому быть! Идея, в общем, была проста: нет прорехи – так сделай! Чем можешь, тем и делай: зубами, ногтями... Зубами, конечно, было мудрено – для этого мне надо было хотя бы повернуться на бок, чего я самостоятельно опять же сделать не могла. Оставались ногти. И я принялась терзать обшивку матраца ногтями... я терзала ее долго, до судорожной ломоты в пальцах... и вот, наконец, мои пальцы почувствовали желанную прореху. Дырочка была крохотной, однако извлеченная из тайника трубочка туда вполне пролезала – чего же еще-то? Я сунула трубочку в вату, как могла, загладила прореху... авось не заметят и не обнаружат...

В самом деле, моего нового тайника никто не обнаружил. Пилюли пролежали в матраце остаток осени, всю зиму, большую часть весны... Я это знала и чувствовала, потому что ночами я то и дело проверяла, на месте ли мое сокровище... оно было на месте. Впрочем, все это время у меня не возникало особого желания воспользоваться пилюлями, но все же, я теперь ощущала себя почти свободным человеком: вот захочу – и...

Ну, а затем я и вовсе едва не забыла о своем тайнике. Все стало покрываться прахом времени, все острия постепенно сгладились в овалы, боль превратилась в бесчувственность... Но тут возникла Аня со своей беременностью, главврач Николай Тимофеевич с розами – и время повернуло вспять: бесчувственность опять превратилась

в боль, овалы вновь засверкали пронзительными остриями углов, прах времени взметнул ветер... и я вновь отчетливо вспомнила о своем тайнике...

... Не спать, ни в коем случае не спать... все, что угодно, над собой делать – только не спать! Вот сейчас наступят сумерки, угмонятся товарки на соседних койках... не спать, не спать!.. и тогда, наконец, затрепещут и расправятся мои невидимые крылья, я воспарю, я обрету свободу от этого постылого мира, в котором мне не уготовано ничего хорошего и доброго... Не спать, не смей спать! Я изо всех сил кусаю свою руку... боль и соленый привкус во рту на какое-то время прогоняют сон. Теоретически рассуждая, я могла бы воплотить свой замысел и завтра, и послезавтра... однако, причем тут какая-то теория! Очень может быть, что завтра, не говоря уже о послезавтра, у меня исчезнет всяческая решимость... острия опять превратятся в овалы, уляжется взметнувшийся прах, явь опять станет сном... не хочу ждать до завтра, а тем более – до послезавтра! Не спать, не спать... все, что угодно, твори над собой... кусай руки, кусай губы... для чего теперь тебе руки и губы?.. Не спать, не спать!

...Неужто уже ночь? Неужели эта темень в палате и за окном, это сонное бормотание десятка изувеченных людей – не плод моего истерзанного борьбой со сном и одурманенного лекарством воображения, а – так оно и есть на самом деле? Да-да, это воистину ночь... я не сплю, я чувствую боль в своих искусанных руках, мои искусанные губы саднят и кровоточат... что ж, пожалуй, пора.

Сейчас моя мысль работала четко и ясно. Левой рукой я нащупала знакомую прореху в матрасе... теперь ее можно и расширить... отныне мне уже нечего бояться... я засунула пальцы в прореху, и пальцы ощутили там знакомую бумажную трубочку. Я обрадовалась этой трубочке, как своему давнему и доброму знакомому. Раз, два, три, четыре, пять... тридцать маленьких кругляшей. Хватит с избытком... должно хватить. Моя правая рука нащупала в темноте кружку с водой... наши нянечки всегда на ночь ставят рядом с нами кружки с водой, чтобы не бегать к нам всю ночь напролет, когда нам захочется напиться... ну что ж, и замечательно... спасибо нянечкам за их невольную доброту! Левой рукой я начала выковыривать и класть в рот кругляшки, моя правая рука поднесла ко рту кружку с водой...

Нет, не так... все было не совсем так. Перед тем, как проглотить первый кругляш, я какое-то время помедлила... мне вдруг стало казаться, что, может быть, и не надобно мне делать то, что я намереваюсь сделать, что жизнь – одна и другой жизни у меня не будет, что можно жить и так, как я жила до этого... ведь жила же я – пусть и горестно, пусть и нескладно, но – жила... И как только я так подумала, тут же мне на помощь пришел мой сокровенный друг – вкрадчивый голос.

«Ну же, – сказал мне вкрадчивый голос, – что же ты остановилась?»

«Да как-то не решаюсь, – сказала я в ответ, – а вдруг то, что я намереваюсь сделать – неправильно?»

«А правильно – это, по-твоему, как?» – с иронией спросил меня вкрадчивый голос.

«Ну, не знаю, – пробормотала я, – как-нибудь...»

«Вот именно, – сказал вкрадчивый голос. – Как-нибудь – это ты хорошо сказала... это ты правильно сказала. Как-нибудь. И так – много лет... до самого конца. И все – как-нибудь... Да если бы только это...»

«А что еще?» – испугалась я.

«Что еще? – переспросил мой невидимый собеседник, и в его голосе послышался металл. – А еще – белые розы, которые нынешним же летом вырастут в твоей богадельне. А еще – дитя, которое скоро родит твоя подруга Аня. Ты знаешь, как она назовет свое дитя? Если это будет мальчик, то Ваней, а если случится девочка – то Машей...»

«Хватит, – попросила я своего собеседника, и стала тихо плакать. – Ты, безусловно, прав, но мне все равно страшно...»

«Каких-то десять кругляшей и несколько глотков воды – что же тут страшного? – возразил голос. – Но зато потом...»

«А что – потом? – спросила я. – Скажи, ты знаешь, что будет потом?»

«Я знаю другое, – сказал мой собеседник. – Сейчас – май, а майские ночи так коротки! Скоро рассвет...»

«Да, – спохватилась я, – конечно... скоро рассвет... майские ночи так коротки... Но... Я хотела у тебя спросить... еще один только вопрос... последний. Скажи, кто ты такой?»

«Я – это ты, – не сразу ответил мой собеседник. – Вернее сказать, я – это сокровенная часть тебя самой... та самая часть, которая никогда не сомневается и всегда знает, что ей нужно, чтобы быть счастливой».

«Синяя Бутылка... – давась слезами, сказала я, и вдруг отчетливо вспомнила моего давнего любовника – не то Ангела, не то человека. – Синяя Бутылка, знающая о самом сокровенном человеческом желании, которое – смерть... Ты – Синяя Бутылка...»

«Глупости, – возразил мне вкрадчивый голос. – Никакая я не Бутылка... Я – твой наилучший, твой единственный друг... что же тут непонятного? Ну, давай же... давай! Ведь скоро – утро!»

«А там, – все еще медлила я, – ну, там... после всего... когда все закончится... там – ты также будешь со мною?»

«Скоро – утро, – отчего-то уклонился от ответа вкрадчивый голос. – Так что ты поторопись...»

«Да, – торопливо согласилась я, – да... скоро – утро...»

Кажется, я хотела сказать что-то еще, но вдруг почувствовала – моего таинственного собеседника с вкрадчивым голосом рядом со мной нет. Он вновь исчез так же неожиданно, как и появился... он всегда приходил ко мне неожиданно, и так же неожиданно исчезал... Все... все... я – одна! И я принялась за таблетки. Один кругляш, второй, третий, четвертый... восьмой, девятый... Вначале я ощущала одну лишь муторность внутри, и ничего более, но постепенно блаженная легкость наполнила меня. Крылья за моей спиной наконец-то распрямились в полную мощь, я ощутила их мощные ритмичные взмахи... и вот я уже лечу, я лечу, лечу... Господи, я лечу! Я лечу навстречу притягивающему меня как магнит таинственному свету, который – я это чувствую – излучает доброту и любовь... только доброту и любовь, и ничего более. И вот я уже внутри этого света... и я вижу там саму себя. Я вижу саму себя – будто бы со стороны... но в то же самое время я понимаю, я знаю, что видеть себя со стороны – это нормально, это естественно и правильно... это – непрременный закон того удивительного мира, в котором я очутилась. Я – легкая, красивая, искрящаяся, свободная... я иду по чудесному саду, сплошь засаженному белыми цветущими розами и держу на руках дитя... дитя смеется, называет меня мамой и целует меня... ах, какое же это чудо – поцелуй ребенка... я свободна, я свободна... наконец, впервые в жизни, я по-настоящему свободна!

«Да, но что мне теперь делать с моей свободой? – неожиданно подумала я. – Куда мне податься из этого изумительного сада... в какие неведомые и непостижимые дали? А, может, мне и уходить-то никуда не надо... может, этот сад и есть мой выстрадавший удел... может, отныне всегда так и будет – я, легкая, подвижная и искрящаяся, белые розы, дитя у меня на руках, которое смеется, целует меня и говорит, что я – его мама? Да-да, пускай так оно и будет... я хочу, чтобы все так и было – всегда, во веки веков,

бесконечно... может быть, это как раз и есть то, что я заслужила всей своей бесталанной прежней жизнью... слышите, кто-нибудь, – пускай все так и будет... во веки вечные... я не хочу ничего иного!»

...И тут я заметила, как из дивных зарослей, состоящих сплошь из белых роз, вышел какой-то мальчишка. У мальчишки были русые вьющиеся волосы и удивительные, чистые голубые глаза. Подойдя ко мне, мальчишка остановился и принялся молча на меня смотреть.

«Ты – кто? – спросила я у мальчишки. – Кажется, я где-то тебя уже встречала... или, может, ты мне однажды приснился... а, может, пригрезился... там... давно и далеко... Ты – кто?»

«Я – Ангел», – сказал мальчишка.

«Ангел... вот, стало быть, ты какой, – сказала я. – А я-то думала... значит, тот, кто когда-то приходил ко мне... он каждый раз приходил из наполненного ночным дождем сада, и каждый раз уходил от меня в тот же самый сад... значит, он не был Ангелом... вот, значит, как. Ну, здравствуй, мой Ангел. Что тебе от меня нужно?»

«Пойдем, – указал мальчишка куда-то мне за спину. – Пойдем туда... тебе нельзя здесь быть... этот сад – не для тебя... и вообще, тебе еще рано...»

«Пойдем – куда?» – не поняла я.

«Обратно», – сказал мальчишка, и взял меня за руку.

«Обратно», – повторила я, стараясь вникнуть в смысл этих слов.

А когда вникла – панический ужас охватил меня.

«Я не хочу обратно! – шепотом, чтобы не встревожить покой удивительного сада, закричала я. – Я не хочу обратно! Потому что обратно – это назад... а ты знаешь, Ангел, что это означает – вернуться назад?... Ты знаешь, что это для меня означает... ты знаешь, как мне там жилось... ты знаешь, сколько там было безысходного отчаянья... сколько боли?... Я не хочу обратно, ты слышишь, Ангел?..»

«Пошли, – терпеливо повторил мальчишка, и потянул меня за руку. – Пошли... тебе здесь нельзя!»

«А – дитя? – все так же шепотом закричала я. – Ведь у меня же на руках дитя, которое называет меня мамой и целует меня... разве ты не видишь?»

«Пошли... пора», – почти с нетерпением повторил мальчишка, и я вдруг понимаю, что никакого дитяти на моих руках уже нет, а, может, никогда и не было, может, это дитя просто мне пригрезилось... и я, легкая, счастливая и стремительная, также сама себе пригрезилась...

«Пошли, пошли... уже совсем пора!» – потянул меня за руку мальчишка-Ангел...

\* \* \*

– Станный сон... какой же странный сон! Я сплю и хочу проснуться... и понимаю, что не могу проснуться! Мне снится, будто я стою в каком-то саду. Мне кажется, что этот сад мне как будто знаком. Когда-то, то ли в какой-то иной своей жизни, то ли проживая в каком-то другом мире, я каждую ночь пересекал этот сад... в нем было много дождя и много тишины, а в глубине сада таился флигель с полуотворенным оконцем, а за тем оконцем меня ждала странная, уродливая, неподвижная женщина, которую звали Олей. Да-да, ее именно так и звали – Олей... И вот мне снится, будто я стою посреди сада, а мне навстречу идет она, Оля. Она-то она, да вроде и не совсем она... куда только подевались ее неподвижность и уродливость! Сейчас Оля красивая, легкая, изящная... и



держит в руках большой букет белых роз. Хотя постоит, это, кажется, вовсе не розы... или нет, все-таки розы, но только не белые, а красные... да нет, это все-таки не розы, это дитя, ребенок... совсем еще маленький ребенок! Улыбаясь, Оля подходит ко мне все ближе и ближе... и смертельный ужас охватывает меня! Теперь я отчетливо вижу, что на руках у Оли ребенок... но это – мертвый ребенок, точнее – это отдельные кровоточащие части мертвого ребенка! Продолжая улыбаться, Оля подходит ко мне совсем близко и говорит: «Здравствуй, милый. Вот мы и встретились... рановато ты обо мне позабыл... видишь, какая я теперь? Я принесла тебе букет белых роз... разве ты их не узнаешь? Это же те самые розы, которые ты мне подарил... помнишь?» И со счастливой улыбкой Оля протягивает мне одну розу... впрочем, это она так думает, что дарит мне розу, но я-то вижу, что это вовсе не роза, а – фрагмент расчлененного детского тела! «Оля, – в ужасе кричу я, – ты что же такое мне даришь... опомнись! Ведь это же не розы! Оля, Оля!..»

И тут-то я, наконец, просыпаюсь. В окно ошалело ломится полная луна, рядом на кровати сидит моя жена и испуганно смотрит на меня.

«Что с тобой, милый? – спрашивает она. – Ты так страшно кричал во сне... тебе приснился плохой сон? Ты звал во сне какую-то Олю...»

«А-а... – трясущейся головой, прихожу в себя, и начинаю лгать. – Да, сон... какая-то ерунда... ты говоришь, я звал какую-то Олю? Тебе, наверно, почудилось... наверно, не Олю, а Полю. Ведь ты же у меня Поля... это твое имя... вот я тебя и звал... кого же еще я мог звать?»

Жена встает с постели и подходит к окну. За последнее время она у меня очень изменилась – я имею в виду внешне. У нее огромный живот, ей скоро рожать. Врачи уверяют, что будет девочка. Я чувствую, что жена мне не верит... то есть не верит моему объяснению того, что мне приснилось.

«Ладно, малыш, – успокоительно говорю я, подходя к жене. – Чего ты, в самом деле... приснилась какая-то чушь... бывает. Я уже и позабыл...»

«Какая сегодня луна... – говорит моя Поля. – Мне даже отчего-то жутко...»

«Пойдем, малыш, – отвожу я жену от окна и укладываю ее в постель. – Давай будем баиньки... тебе нельзя волноваться... я рядом, я с тобой...»

Жена послушно закрывает глаза и начинает мерно дышать. Я осторожно кладу руку на ее живот. Мне очень нравится класть руку на живот жены. Там, внутри, таится непостижимое чудо – мой ребенок. Когда я кладу руку на живот, ребенок, вероятно, это чувствует... он тотчас же начинает шевелиться, дышать, тянуться к моей руке и, кажется мне, улыбаться.

«Не волнуйся, милая, – шепчу я жене, – сны – это пустяки... какая там Оля и какие розы... это только сны...»

\* \* \*

... – Что они делают с моим телом?! Я легкая, свободная... я смотрю с высоты на свое расprostертое тело, вокруг которого суетятся люди в белых одеждах и с белыми масками на лицах. Эти люди так и сяк вертят мое неподвижное тело... какая же безобразная я была в той, прежней моей жизни!.. Они колют мое тело и мнут, и стреляют в него голубыми огненными стрелами...

«Что вы делаете? – кричу я им. – Зачем вы это делаете... оставьте, я не хочу! Впервые я чувствую себя по-настоящему живой... я побывала в чудесном саду с белыми розами, в саду, где царит любовь... оставьте мое тело, прошу вас!»

Но люди в белых одеждах отчего-то меня не слышат: они продолжают колоть мое тело и стрелять в него голубыми огненными молниями. И – происходит непостижимое и непоправимое: я вдруг начинаю терять легкость и подвижность, я стремительно тяжелею и деревенею... какая-то неодолимая сила влечет меня вниз... мое уродливое обнаженное тело становится все ближе и ближе... и вдруг вместо недавней легкости и подвижности я начинаю чувствовать невыразимую дурноту и боль... и я открываю глаза.

«Доктор! – кричит какая-то большеглазая девочка в маске. – Она открыла глаза, она пришла в себя... она жива!»

Десяток белых масок нависает надо мной, два десятка удивленных глаз смотрят на меня.

«В самом деле... – говорит какая-то из масок. – Ну и ну... бывают же чудеса!»

Меня охватывает непередаваемый ужас. Я вдруг осознаю, что помимо своей воли вернулась из какого-то иного, изумительно прекрасного мира... что я вновь всего лишь неподвижное, уродливое, мучающееся тело...

«Зачем, – шепчу я и плачу, – зачем... кому и для чего я еще нужна в этом мире?»

Но – никто мне не отвечает. Я с трудом поворачиваю голову, и замечаю Ангела... того самого мальчишку, который увел меня из чудесного сада.

«Ну, что? – даваясь слезами, спрашиваю я у мальчишки-Ангела. – Ты не позволил остаться мне в чудесном саду, благодаря тебе, я вновь вернулась в свое уродливое больное тело... ты именно этого и хотел, да? Но зачем же... зачем? Скажи, для чего ты это сделал, почему ты не позволил мне остаться там, в том саду?..»

Но мальчишка ничего мне не отвечает... он просто стоит напротив и смотрит на меня удивительными, чистыми глазами.

«Мне не было места на этой земле, и ты выгнал меня из чудесного сада, – говорю я мальчишке. – Я не нужна ни там, ни здесь. Скажи, куда же мне теперь деваться?»

Мальчишка по-прежнему ничего не отвечает, и у меня начинается истерика. Ко мне бросаются несколько фигур в белом одеянии и с белыми масками на лицах... они колют меня в руку и говорят мне какие-то слова. Я постепенно успокаиваюсь, и скоро около меня остается лишь большеглазая девочка в маске и еще – мальчишка-Ангел, которого большеглазая девочка, кажется, вовсе не замечает.

«Я знаю, отчего ты увел меня из того дивного сада. Я просто не нашла еще свою Синюю Бутылку, – говорю я мальчишке, и улыбаюсь ему. – Просто – я не нашла еще свою Синюю Бутылку... да-да... А не найдя здесь Синею Бутылку, нельзя остаться в том саду... Я понимаю... А тот незримый голос, который приходил ко мне, и затем уходил от меня... и затем вновь возвращался, чтобы опять уйти... он никакая не Синяя Бутылка. О, я теперь знаю, что он – никакая не Синяя Бутылка! Он – кто-то другой... и, должно быть, он врал, что он – частица меня самой и мой самый лучший друг... да-да, он мне врал... потому что в этой жизни мне все врал. Все – и всегда... Ангел, мой Ангел... Коль ты здесь, коль ты рядом со мной... и коль ты не позволил мне остаться в том чудесном саду, то, значит, ты объяснишь мне, как найти Синюю Бутылку... ведь правда же, ты мне об этом скажешь? Я так думаю, что – скажешь... я в это верю. Вот настанет завтрашний день – и ты мне объяснишь...»

Меня покидают силы, и я замолкаю, а затем, передохнув, я опять начинаю говорить, потому что мне много еще надо сказать моему Ангелу. И я ему говорю:

«Ты ведь знаешь, что на свете существует Синяя Бутылка, и тому, кто ее найдет, она исполнит все его желания... самые сокровенные желания? Ты знаешь, мальчишка, каково мое самое сокровенное желание? Ты думаешь – умереть, как о том сказано в рассказе о Синею Бутылке? Что ты, мой Ангел, что ты... не-е-е-т. Самое мое сокровенное

желание – опять оказаться в том чудном саду, откуда ты меня увел. Ты меня оттуда увел, но я-то знаю, что опять туда попаду. Я знаю! Мне только надо дожить до завтрашнего дня – и завтра я найду мою Синюю Бутылку. Я ее найду, и приложусь губами к ее горлышку, и вдохну из нее воздух... и тогда я вновь окажусь в том чудесном саду... и тогда-то ты уже не посмеешь увести меня оттуда! Не-е-е-т, не посмеешь... И там же, в том саду, я опять встречу мое дитя... Машу или Ваню... мне без разницы. И – все у нас будет замечательно. Навсегда... Я это знаю...»

Я опять улыбаюсь моему Ангелу, и он в ответ улыбается мне.

«Спи, – говорит мне большеглазая девочка, – спи. Тебе обязательно нужно заснуть. Все у тебя будет хорошо. Вот увидишь – завтра у тебя все будет хорошо. Спи...»